

НОВОБЫИ  
МИР

НОВОБЫИ МИР

1973

1

1973

# Н О В Ы Й М И Р

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Год издания XLIX

№ 1

Январь, 1973 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ФЕДОР АБРАМОВ — Пути-перепутья, роман	3
ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА — Стенограммы партийных съездов, стихотворение	115
Р. МАГОМЕДОВ — Свет России, стихотворение. Перевел с аварского В. Сикорский	117
В. ТЕНДРЯКОВ — Весенние перевертыши, повесть	118
ЭДУАРД БАБАЕВ — Из Тянь-Шаньской тетради, стихи	172
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — Не на пустом месте	174
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
МЭЛОР СТУРУА — Нейстовый Дэн и другие	194
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
АЛЕКСАНДР ЛЕЙТЕС — Хлебников — каким он был...	224
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Л. ЯКИМЕНКО — Литературная критика и современная повесть. Суждения. Оценки	238
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
А. А. УХТОМСКИЙ — Письма. Публикация, вводная статья и примечания Е. И. Бронштейн-Шур	251

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	267
<b>А. Бочаров.</b> Война неотвязная.— <b>А. Турков.</b> Родник поэзии.	
<i>Политика и наука</i>	274
<b>А. Сергиев.</b> Социалистическое общество и научно-техническая революция.— <b>Марк Поповский.</b> Пессимизм или оптимизм?	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>С. Славич.</b> — Борис Богданков. Лед и пламя. ♦ <b>Ариадна Громова.</b> — Виктор Смирнов. Тревожный месяц вересень. Повесть. ♦ <b>Г. Трефилова.</b> — <b>Л. Антопольский.</b> У очага поэзии. Очерк творчества Расула Гамзатова	284
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---

---

ФЕДОР АБРАМОВ

★

## ПУТИ-ПЕРЕПУТЬЯ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1

**В**се, все было как наяву, все до последнего скрипа, до последнего шороха в заулке врезалось в память...

Ночью они с Иваном спали крепким, спокойным сном, и вдруг топот и грохот в сенях, будто стадо диких лошадей ворвалось туда с улицы, потом с треском распахнулась дверь, и на пороге — Григорий, бледный-бледный, с наганом в руке. «Вот он, вот он! — закричал Григорий. — Хватайте его!» И Ивана схватили. Петр Житов (так и заверещал немазанный протез), Федор Капитонович, Михаил Пряслин... А она, жена родная, не то чтобы кинуться на защиту мужа — слова выговорить не могла...

— Ну и приснится же такое, господи! — Анфиса перевела дух и первым делом заглянула в кроватку сына: у Родьки прорезывались зубы и он уже который день был в жару.

В мутном утреннем свете — в окна барабанил дождь — она увидела долгожданную улыбку на лице спящего сына, услышала его ровное дыхание, и блаженная материнская радость залила ее сердце.

Но радость эта продолжалась недолго, считанные секунды, а потом ее снова давила тоска, страх за мужа.

Ивана вызвали в райком на совещание три дня назад, и вот — небывалое дело — не то что его самого, весточки никакой нет.

Она все передумала за это время: заболел, уехал в показательный колхоз (есть такой возле райцентра, возят туда председателей), укатил на рыбалку с самим (второй год у Ивана какая-то непонятная дружба с Подрезовым)... Но сейчас на все это она поставила крест. Сейчас, после того как ей приснился этот страшный сон, она была уверена: с Григорием поцапался Иван.

— О, господи, господи, — расплакалась вдруг Анфиса, — да кончится ли это когда-нибудь?

Шестой год они живут с Иваном, Родька скоро на ноги встанет, а она все еще Минина и Родька Минин...

Она еще как-то понимала Григория, когда тот отказывал ей в разводе попервости, — где сразу обуздаешь свое самолюбие? Но теперь-то, теперь-то чего вставить на дыбы?

И вот они с Иваном порешили: еще раз по-хорошему поговорить с Григорием, а ежели он и на этот раз заупрямится, подать в суд.

И пускай Григорий срамит ее на весь район, пускай на всех перекрестках чешут языками...

Покормив проснувшегося сына, Анфиса встала, затопила печь и, посмотрев на часы, дала себе слово: ежели Ивана не будет до двух часов, она позвонит в райком.

## 2

Стук копыт под окошками раздался в третьем часу (у нее не хватило духу позвонить в райком), и Анфиса не помня себя выскочила на улицу — босиком, без платка, как молодка.

Мимо проходила старая Терентьевна — подивилась такой горячности. Но Анфиса и не думала обуздывать себя. Она так истомилась да исстрадалась за эти дни — обеими руками обняла, обвила мужа.

— С ума сошла! Грудницу схватить захотела? — заорал Иван и даже оттолкнул ее: стужей, осенней сыростью несло от его намокшего, колом стоявшего дождевика. И эта забота, выраженная чисто по-мужицки, грубо, откровенно, дороже всякой ласки была для Анфисы.

Прикрывая руками полуголую грудь, она одним махом взлетела на крыльцо.

— Родька, Родька! Папа приехал...

Она быстро вынесла в сени деревянное корыто и короб с настиранным бельем, подтерла вехтем пол (первое это дело — порядок в избе), собрала на стол, а потом и сама заглянула в зеркало — нельзя ей растрепой, хватит с нее и того, что Родька высушил.

Иван вошел в избу в одних — шерстяных — носках, без дождевика, даже ватник в сенях снял. Но от него все еще несло холодом, и он, прежде чем подойти к кровати сына, растер руки, размял плечи.

— Ну, как он без меня? Не получше?

— Получше, получше. Только вот только заснул — все жил, отца дожидался. Зуб хотел показать. Хорошая кусачка выросла. Матерь давеча за грудь цапнул — я едва не взревела.

— Постой-ко, у меня ведь что-то для него есть.

Лукашин на носках вышел в сени и, к великому удивлению Анфисы, вернулся оттуда с шаркунком — маленькой берестяной игрушкой в виде кубика с камешком внутри.

— На, господи, — развела она руками, — люди с пожни привозят шаркунки, а ты с района? — И пошутила: — На совещаниях, что ли, нынче игрушки делают?

— Почему на совещаниях? Я тоже на пожне был. Всю Синельгу объехал. От устья до вершины...

Теперь ей понятно стало, отчего Иван весь в колючей щетине и раскусан комарами.

— Представляешь, с полубуханкой на Синельгу? — начал рассказывать он, присаживаясь к столу. — Два с лишним дня на таком пайке...

Анфиса не выказала ни удивления, ни сочувствия. Она не любила этих мальчишеских выходок своего мужа. Его ждут-ждут дома, убиваются, места себе не находят, а он, на-ко, ехал-ехал, да пришла в голову Синельга — и поскакал. Как будто сквозь землю провалится эта самая Синельга, ежели туда на день позже выехать.

— Нельзя, — неохотно буркнул Иван, перехватив ее сердитый взгляд. — Подрезов на всех страху нагнал. Установка такая — заприходовать все частные сена...

— Колхозников? — выдохнула Анфиса.

Лукашин ничего не ответил. Он ел. Ел жадно, с ужасающей быстротой. Тарелку грибного супа, полнехонькую, вровень с краями, выхлебал, крынку пшенной каши, какую они и вдвоем не съедают, опорожнил, молока холодного, с надворья, литровую банку выпил, и все мало — кусок житника<sup>1</sup> отвернул.

— Да, вот что! Знаешь, кого я в районе видел? Илью Нетесова.

— Ну как он? Держится? — Анфиса ширнула носом и по-бабьи сглотнула слезу: у Ильи Нетесова на одном году смерть дважды побывала в дому. Сперва умерла дочь Валя, которую отец больше всего на свете любил, а потом — не прошло и полугода — отправилась на погост Марья: тоской изошла по дочери.

— Держится. Только на уши жалуется. Плохо слышать, говорит, стал.

— Это смерть Валина да Марьины у него на уши пала, — по-своему рассудила Анфиса. — Бабу бы ему какую надо... Где уж одному с ребятами маяться...

— Насчет бабы разговору не было. А вот насчет дома был. Подумывает возвращаться...

— Куда возвращаться? В колхоз?

— А что? В колхозе не люди живут? — Иван даже банкой пристукнул по столу. И она уж молчала, не перечила, хотя что же сказала такого? Разве ему объяснять, как нынче живут в колхозе?

Иван первый пошел на попятный, с испугом взглянув на кроватку:

— Ладно, выкладывай, что тут у вас. Жать начали?

— Нет кабыть.

— Почему?

— Да все потому. Погодка-то, сам видишь, какая.

— Погодка, между прочим, вчера стояла подходящая. Весь день на Синельге было сухо. Или тут у вас, в Пекашине, другой бог? А как те? — Иван круто кивнул в сторону заднего окошка. Но она и так, без этого кивка, понимала, кого имеет в виду муж. Плотников. Бригаду Петра Житова, которая на задворках, у болота, строит новый скотный двор. — Чего молчишь? Я ехал по деревне — что-то не больно слышать ихние топоры.

Анфиса решила ничего не утаивать: все равно узнает.

— Пароходы вечер пришли...

— Ну и что? — опять зло спросил Иван. Спросил так, будто она-то и есть главный ответчик за все.

А кто она такая? Какая у нее власть? Разве не по его милости она, бывшая председательница, стала рядовой колхозницей? Чтобы не кивали люди при случае — вот, мол, семейственность в колхозе развели.

И она, с трудом сдерживая себя, ответила:

— Ну и то. Грузы привезли...

— Так, — сказал Иван, — все ясно. На выгрузку укатили...

Он посидел сколько-то молча, неподвижно, все больше и больше распаяя себя, и вдруг встал — решил. И бесполезно было сейчас говорить ему: постой, Иван, одумайся! Это все равно что в огонь дрова подбрасывать. Но, с другой стороны, очень уж это серьезное дело — сено колхозников. Отнять, заприходовать его нетрудно. А что же дальше? Как же дальше-то он будет ладить с людьми?

И Анфиса, подавая мужу сухой ватник — наконец-то на улице проглянуло солнышко, — сказала осторожно:

— Сено у нас и раньше подкашивали для себя. Ведь уж как, чем-то свою корову кормить надо.

<sup>1</sup> Домашний хлеб из ячменной муки с примесью ржаной

— А колхозных не надо? Колхозные воздухом сыты будут, да? Сколько каждую весну падает от бескормья? Нет, я не я буду, ежели не обломаю им рога. Ха! Они веревки из меня вить будут... Наставили себе сена и плевать на все, что хочу делаю. Видел я на Синельге — под каждым кустом стожки...

— Ну, смотри, Иван,— уже прямо сказала Анфиса,— дерево срубить недолго, да как поставить обратно. Кабы у того же Ильи Нетесова своя корова была, да разве он уехал бы на лесопункт?

Иван, чего с ним никогда не бывало раньше, с размаху хлопнул дверью.

## 3

От шума проснулся и заплакал в кровати Родька.

Анфиса подхватила сына на руки и быстро сбоку подбежала к окну.

Иван отвязывал от изгороди Мальчика. Передохнувший жеребец начал было игриво перебирать густо забрызганными грязью ногами, задирать оскаленную морду, но Иван — все еще не остыл — наотмашь ударил жеребца кулаком по храпу, и тот сразу успокоился.

Дальше все было знакомо. Старые визгливые воротца на задворках, тропинка вдоль картофельника, баевская баня — тут муж отпустит жеребца. Наматает на голову повод, даст легкий пинок под зад, и трясись себе на конюшню...

И тем не менее Анфиса глаз не спускала с мужа. Она ждала, куда пойдет Иван от баевской бани. Ежели повернет назад, домой, то, считай, на этом и кончится ихняя размолвка — сын примирит отца с матерью, а ежели повернет на дорогу...

Никогда сроду не отличалась набожностью Анфиса, но тут начала шептать про себя молитву — до того ей хотелось, чтобы муж повернул домой. И в конце концов даже не ради того, чтобы водворился мир в ихнем доме. Бог уж с ним, с этим миром. Не впервой они ссорятся. Ей хотелось этого ради самого Ивана. Потому что поверни Иван на дорогу, куда же он сейчас пошастает, как не под гору — к баржам, к мужикам? А из этого такое может выйти, что и не расхлебать потом.

Иван повернул на дорогу.

## Глава вторая

## 1

Новый коровник в Пекашине заложили два года назад, и ох какая радость была у людей! К новостройке у болота пролегли тропы чуть ли не от каждого двора, ребятишки перенесли туда свои шумные игры, прохожие и проезжие приворачивали. В общем, все, все истосковались за эти годы по звону топора да по щеляному духу.

Стены поставили быстро, за весну и осень. А дальше — стоп. Дальше заколодило. Сперва из-за плах для пола и потолка — в Пекашине все еще не было своей пилорамы, потом из-за гвоздей — нет в продаже, хоть пальцы свои забивай, а потом вот из-за нынешней страды. Мокрядь. Сеногной. Сухие ведренные деньки наперечет. А обычно так: с утра жара, рубаха мешает — золото день, а только за грабли взялся — и потянуло из сырого угла. Ну и что было делать? Пришлось плотников бросить на сенокос.

Но, конечно, все эти помехи и задержки — и плахи, и гвозди, и нынешняя погода, — все это больше для районного начальства, для

отчетов. А сам-то Лукашин понимал, в чем главная загвоздка. В мужиках.

Когда, с какого времени сели топоры у мужиков? А с прошлой осени, с той самой поры, когда в Пекашине — который уж раз — до зернышка выгребли хлебные сусеки...

И все же, говорил себе Лукашин, выходя на деревенский угор, такого еще не бывало. Первый раз плотники не вышли на стройку днем...

Орсовский склад у реки, огромная хоромина под светлой, еще не успевшей почернеть крышей, походил на крепость, окруженную белыми валами из мешков с мукой, из ящиков со сладостями и чаем, из бочек с рыбой-морянкой.

Все это добро было предназначено для рабочих Сотюжского леспромхоза (в Пекашине у него перевалочная база, выстроенная в прошлом году), а колхозникам — ни-ни, килограмма не достанется. Ибо у колхозников своя снабженческая сеть — сельпо, а сельповская сеть известно — всегда пуста. Вот мужики и стараются урвать из орсовских богатств хоть малую толику во время выгрузки. Тут уж орс не жметя, щедро платит и натурой и деньгами.

Судя по тому, что под складом не было видно ни одного буксира, разгрузка сегодня всего скорее была закончена, и поостывший немного Лукашин начал было подумывать, а не повернуть ли ему назад. Мужики сейчас по случаю завершения работы наверняка пьяны, а с пьяными мужиками какой разговор? А потом, уж если на то пошло, он не хуже своей многомудрой женушки понимает, из-за чего удрали мужики на выгрузку. Когда, в каком месяце он выдавал колхозникам хлеб? В июне, перед страдой. А сегодня какое у них число?

Нет, приказал себе Лукашин, надо все-таки спуститься, а то, чего доброго, они и завтра удерут. У нынешнего мужика совести хватит...

## 2

Лукашин не ошибся: грузчики выпивали. На вольном воздухе, возле костерка, а чтобы огонь не мозолил глаза их женам (те под вечер каждый раз высматривают своих пьяниц с деревенской горы), прикрылись сверху брезентом. Сообразили! А у скотного двора два года не могут поставить самого ерундового навесишка, от каждой тучи к кузнице бегают...

Ефимко-торгаш, зав перевалочной базой, с ног до головы перепачканный мукой (так сказать, из самого пекла хлебной битвы вышел), заплясал перед Лукашиным как черт: чует свою вину. И у Михаила Пряслина с Борисом Саловым, молодым парнем из вербованных, которого в прошлом году привела в колхоз с лесопункта доярка Маня Иняхина, совесть заговорила: оба взгляд отвели на реку.

Ну а Петр Житов не смутился. Лихо, в упор глянул на председателя своим рыжим, уже хмельным глазом и для полной ясности смачно хлопнул по протезу — с меня-де взятки гладки.

На остальных можно было не смотреть: что Петр Житов скажет, то и они. Да и какой от них толк вообще? Самая что ни на есть нероботь: один кривой, другой хромой, третий еле видит... Даже в лес им ходу нету — вот и околачиваются в колхозе, пьют да делают бабам ребятишек.

По распоряжению Ефимка для Лукашина быстро раздобыли граненый стакан, поставили ящик из-под конфет (Петр Житов и сам Ефимко сидели на таких ящиках), и пришлось сесть. Не будешь же рубить с ходу!



— Чугаретти, а ты какого хрена? Особое приглашение надо?

Только теперь Лукашин заметил своего шофера Анатолия Чугаева, прозванного так с нынешней весны. Правда, попервости его окрестили было по созвучию имени Тольятти, и простодушный и простоватый Чугаев, когда ему растолковали, кто такой его знаменитый тезка, от радости был на седьмом небе. Но Петр Житов, человек, по местным масштабам весьма искушенный в политике, сказал:

— Не. Не пойдет. И рылом не вышел, и автобиография не та.

— Ну тогда пушай хоть Чугаретти, что ли,— предложил Аркадий Яковлев.— А то вознесли человека на колокольню и хряп вниз башкой.

— А это можно,— милостиво разрешил Петр Житов.

Так вот, Чугаретти, которому Лукашин строго-настрою, уезжая в район, наказал день и ночь возить траву на силос, сейчас в своем диковинно красном берете стоял возле полуторки у ворот склада и искося, воровато, что-то ковыряя сапогом, поглядывал на своего хозяина.

В один миг с Лукашина слетели все обручи, которые он с таким трудом набивал на себя, шагая сюда.

— Я тебе что, что говорил? Калымить?

— Да ты что, понимаешь, товарищ Лукашин,— обиженно забухал Ефимко.— Что значит калымить? Должна же быть у советского человека сознательность...

— Заткнись со своей сознательностью! Сознательность... Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?

Чугаретти, виновато горбясь, начал заводить железной рукояткой мотор грузовика. Но тут уж за обиженного вступилась вся шарага: дескать, как же это так? Человек ишачил-ишачил как проклятый, а тут, выходит, напоследок и душу согреть нельзя. Да стограммовка еще в войну прописана нашему брату. Самим наркомом...

Заступничество товарищей едва не довело чувствительного Чугаретти до слез: толстые губы у него завздрагивали, а большие коровьи глаза навывкате налились такой тоской и печалью, что, казалось, во всем мире не было сейчас человека несчастнее его.

— Ладно,— буркнул Лукашин в сторону покорно выжидающего Чугаретти,— заправляйся да уматывай поскорей, чтобы глаза мои на тебя не смотрели.

Выпили. Кто крикнул, кто сплонул, кто полез ложкой или прямо своей пятерней в котелок со свиной тушенкой...

Веребочку-выручалочку бросил Филя-петух, щупленький, услужливый мужичонка со светлым начесом над бельмастым глазом, но очень цепкий и тягловый, как говорят на Пинеге, и страшный бабник. Филя, явно тяготясь молчанием, сказал:

— Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?

— Какие вредители?

— Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели уничтожить...

— Язык? — страшно удивился Аркадий Яковлев.— Это как язык?

— Да, да,— живо подтвердил Игнатий Баев,— я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»...

— Ну вот,— вздохнул старый караульщик,— заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году академики... Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут...

— А ты думаешь, всякие черчилли зря хлеб жуют...

— Обруби концы! Кончай разговорчики! — вдруг заорал как под ножом Ефимко-торгаш и встал.

— Ты чего? — Петр Житов повел своим грозным оком. Ни дать ни взять Стенька Разин. Да для пекашинских мужиков он, по существу, и был Стенькой. Потому как умен, мастер на все руки и характер — каждого под себя подомнет. — Ты чего? — грозно спросил Петр Житов.

— А то! На моем объекте политику не трожь, ясно? Чтобы никаких разговоров про политику...

— Мишка, своди-ко его на водные процедуры. — Петр Житов вытянул руку в сторону реки.

— Можно, — ответил, усмехаясь, Михаил и с радостью начал расправлять свои широченные плечища.

Ефимко — недаром торгашом прозвали — не стал дожидаться, пока Михаил встанет на ноги да примется за него, а живехонько с ловкостью фокусника извлек откуда-то новую бутылку и поставил перед Петром Житовым.

После повторной стограммовки всех потянуло на веселье. Карaulыщик Павел, постукивая березовой деревягой, притащил из своей избушки обшарпанный голубой патефон. Но завести его не удалось: куда-то запропала ручка.

Тогда Петр Житов, скаля свои желтые, прокуренные зубы, сказал:

— Чугаретти, ты чего притих? Валяй хоша про то, как спасал Север. В разрезе патриотизма...

— Ты разве не слыхал? — удивленно спросил Чугаретти и покоился на Лукашина.

— Я не слыхал! — воскликнул Филя-петух. Разудало, с притопом, исключительно в угоду Петру Житову, потому как в Пекашине все — и старый и малый — знали про подвиги Чугаретти в минувшей войне.

— Давай, давай! — по-жеребьячи загоготал Петр Житов. — Где ты оказался на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого?..

Чугаретти вытолкали вперед, Ефимко-торгаш уступил ему свое место, и Лукашину — дьявол бы их всех забрал! — пришлось еще раз выслушать хорошо знакомую небывальщину.

— Значит, так, — заученно начал Чугаретти, — на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого я оказался не так чтобы близко от родных мест, но не так чтобы и далеко. На эansom объекте в районе железной дороги Мурманск — Петрозаводск...

— В лагере? — уточнил Филя.

— Ну, — неохотно кивнул Чугаретти.

Все знали — опять же по рассказам самого Чугаретти, — за что он попал за колючую проволоку. За лихачество. За то, что перед войной две машины угробил за год: одну утопил, переезжая осенью за речку по первому, еще не окрепшему льду, а другую разнес по пьянке — не понравилась изба, которая не захотела свернуть в сторону. И вот, хотя ни для кого не было тайн в биографии Чугаретти, ему под ухмылки и веселые перегляды товарищей пришлось рассказать и про это.

— ...Ну, сидим, значит, у себя, загорам — только что Беломор-канал отгрохали, имеем право? Радует, одним словом, солнышко пригревать стало. А то, что кругом война, немцы да финны на нас прут, мы и понятия не имеем... Ладно, сидим греемся на солнышке — выходной день дали. И вдруг в один прекрасный момент видим: начальство едет. Не наше, не лагерное, а сам командующий Севером генерал Фролов. Вот так... Ну, нас, ззков, понятно, сразу по баракам — не портить картину. «Стой! — кричит Фролов. Это нашим-то фараонам. — Стой, так вашу мать. Я с ними говорить буду...»

— С характером дядя,— заметил кто-то с усмешкой, но Чугаретти, только что начавший входить в раж, даже бровью не повел.

— Да-а, сказанул нам Фролов — вывернул и потроха и мозги наизнанку. «Ребята, говорит, в доме у нас воры». Мы глаза на потолок — какие еще воры, когда тут самое-распросамое жулье собралось. Со всего Советского Союза. «Чужие воры. Немцы. Их выкуривать надо, поскольку внезапно залезли в наш священный огород...» Понятно... Выходи на рубежи и спасай Россию, поскольку, значит, армия еще не подошла. Ну, ребятаки у нас быстренько шариками крутанули: «Чего дашь?»

— Торговаться, сволочи, да? — устрашающе заскрежетал зубами Ефимко-торгаш. Он был уже вдребезги пьян, но насчет бдительности не забывал. Сработал моментально.

Ефимка быстро успокоили, потому как здесь-то и начинался самый гвоздь рассказа.

— «Да, чего дашь?» — спрашивают Фролова ээки.— Тут Чугаретти даже привстал немного, чтобы с большей впечатляемостью передать решающий разговор генерала с ээками.— «А перво-наперво, говорит Фролов, дам хлеба». И достает вот такой каравайце.

— Не худо,— хмыкнул Аркадий Яковлев.

— «А еще чего?»,— еще больше возвысил свой голос Чугаретти.— «А еще, говорит, дам сала». И вот такую белую кусину достает. Ну и в третий раз спрашивают ээки: «Чего дашь?» И тут Фролов помолчал-помолчал да и говорит: «А еще, говорит, дам вам, ребята, нож». И вот такую филияжину достает из-за голенища.

Развеселившийся Филя-петух заметил:

— У тебя, Чугаретти, генерал-от как урка. С ножом за голенищем ходит...

— Ладно,— продолжал Чугаретти. На комариный укус Фили он, конечно, и внимания не обратил.— Ладно, харчи в брюхе, перо за голенищем — вперед на воров и смерть фашизму! Немцы, понятно, думают — мы от большевиков драпаем как пострадавшие. Приняли. Жратвы дали, шнапсу этого ихнего дали, по плечу похлопывают: «Гут, гут, рус». Хорошо, значит. А мы что же, едим да пьем: у ээка брюхо дна не имеет. А потом команда: в ножи!.. Н-да-а, чистенько сработали. Своих пять убитых да два раненых, а ихних набили — как баранов по всему полю. Ну дак уж Фролов потом не знает, как нас и благодарить. Каждого обнимает, у самого слезы. «Ну, говорит, ребята, спасибо. Родина вас не забудет...»

Последние слова Чугаретти произнес со всхлипом, вытирая своей черной ручищей мокрые глаза. Но это на мужиков не произвело решительно никакого впечатления, ибо все они за исключением разве Михаила Пряслина сами побывали на войне. Наоборот, Чугаретти — так это кончалось всегда — дружно стали уличать во вранье, требуя разных уточнений вроде того, например, где располагался ихний лагерь, далеко ли от границы? Или какие такие чудодейственные ножи были у ээков, что им и немецкий автомат нипочем?

Лукашин — он не забыл, зачем пришел,— одним дыхом выпалил:

— А у нас тоже воры завелись.— При этом слово «воры» он произнес точь-в-точь как Чугаретти, с ударением на последнем слог.

Петр Житов вопросительно поднял бровь:

— У нас воры? Где у нас воры?

— В колхозе. Я вот только что по Синельге проехал — кто-то в колхозные сена к нам залез.

Лукашину нелегко дались эти слова, ибо он знал, не хуже своей жены знал, что колхозники на дальних сенокосах всегда подкашивают

для себя. И так делается во всех колхозах. Но раз уж замахнулся — бей. И он закончил:

— Чуть ли не под каждой елью стожок...

Петр Житов — совсем не похоже на него — как-то неуверенно поглядел на своих притихших мальчиков, как он часто называл своих работяг, затем примирительно сказал:

— Что-то путаешь, товарищ Лукашин. Кто полезет в колхозные сена...

Мстительная, прямо-таки головокружительная радость охватила Лукашина — настала его пора торжествовать. Хватит, помотали они ему нервы, посмотрим, какие нервы у вас.

Он поднял высоко голову, сказал:

— Ничего не путаю, товарищ Житов. На днях пошлем специальную комиссию...

Сзади, за спиной Лукашина, громко всхрапывал, булькая горлом, вконец упившийся Ефимко — всегда одним у него кончается, — и Лукашин не к его храпу прислушивался вдруг каким-то обострившимся в эту минуту слухом. Он прислушивался к реке, к ее спокойным, затихающим всплескам внизу, за увалом, — кажется, хороший день будет завтра, — прислушивался к ровному гудению костра, на который караульщик только что бросил несколько жарких сосновых полешек, и еще он прислушивался к шагам на лугу. Кто-то — скорее всего жена одного из этих мужиков — шел сюда. И мысленно он уже представлял себе, какой сейчас концерт у них начнется, — крепко выдают бабы своим мужьям за эти выпивки на берегу. Потому что иной раз мужиков так закрутит, что не то чтобы домой какой рубль принести, а еще в долг залезают.

Из-за штабеля мешков с мукой вышла Анфиса.

### 3

Лукашин понимал, зачем притащилась его благоверная: ради него. Ради того, чтобы он не наломал дров, не разругался совсем с мужиками. И вообще, все эти пять лет, что они живут вместе, он только и слышит дома: «Иван, полегче! Иван, потише! Иван, не наступай, бога ради, на большие мозоли людям...»

Но дома — пуская: жена. Да еще и жена неглупая — сама сколько лет колхозом правила. Но она ведь и на людях стала наставлять его.

В прошлом году он застучал на молотилке двух баб — в валенки жита насыпали. ЧП. По существу, под суд надо отдавать, а она, только начал он их пушить, тут как тут со своей заступой: «Давай дак, председатель, зерно не солома. Большую ли ему щель надо, чтобы закатиться». В общем, подсказала бабам, как вывернуться, а его самого просто в дураках оставила.

То же самое в этом году. Пустяк, конечно, — рукавица семян, которую Клавдия Лобанова отсыпала на поле во время сева. Но ведь не прижать как следует Клавдию — весь колхоз растащат! Не дала. Запричитала насчет голодных ребятишек — вой кругом поднялся. «Да пойми ты раз навсегда, — втолковывал он ей дома, — в какое ты меня положение ставишь! Ведь я в глазах колхозников зверем выгляжу — этого тебе надо?» — «Что ты, что ты, Иван! Да я ни в жисть больше ничего не скажу».

И вот пожалуйста — явилась. С приветливой улыбочкой — никаких свар там, где я, — а чтобы он не мог придрататься к ней, на руке короб с бельем. Полоскать иду.

И именно эта-то неуклюжая хитрость — нитками же белыми шита! — больше всего и взбесила его сейчас. Так взбесила, что в кармане

ватника карандаш попался — в куски изломал. Ну а для житовской шараги ее приход — праздник. Все вскочили разом на ноги, заорали:

— Анфиса, Анфиса Петровна!.. — Как будто для них и человека дороже ее на всем свете нету.

Петр Житов — тот еще артист! — широким, просто-таки княжеским жестом указал на ящик справа от себя: любой выбирай. Так-то мы почитаем тебя!

— Нет, нет, Петя, не буду. Какое мне сидение — полоскать иду. Я это нарочно кряк дала, думаю: мужик-то у меня где?

— Да, дело к вечеру, — игриво ухмыльнулся Петр Житов.

— Да не мели ты чего не надо, — в том же игривом духе ответила Анфиса и даже хлопнула его по спине. — Вы мне председателя-то испортите — все с вином да с вином...

— Ладно, иди куда пошла, — как можно спокойнее сказал Лукашин и, тоже невольно переходя на язык игры, добавил: — А насчет вина мы уж сами как-нибудь разберемся.

Анфиса тут так вся и просияла, с резвостью молодой девки подняла с земли короб с бельем.

— Постой, — сказал Петр Житов. — Раз посидеть не хочешь, выпей на прощанье.

— Нет, нет, не буду. Какое мне питье — ребенка кормлю.

— Ясно. Пить с ворами не хочу...

— Чего, чего, Петя? С ворами? С какими ворами?

Анфиса медленно огляделась вокруг, пытливо посмотрела на мужа.

— В газетке одной недавно вычитал. Один руководящий товарищ колхозников так назвал...

Лукашин не успел ответить Петру Житову — его опередил Михаил Пряслин. Михаил заорал вне себя:

— Чего тут в прятки играть? Руководящий товарищ... В газетке вычитал... Председатель свой так сказал. — И то ли совесть заговорила в нем вдруг, то ли Анфису ему жалко стало, добавил: — Ладно, заводи, Чугаретти, своего рысака. В гору попадать надо.

Петр Житов — камень человек! — не пощадил Анфису. Требовательно глядя ей в глаза, спросил:

— Хочу знать твое мнение на этот вопрос... Как бывшего председателя. В разрезе какой нынче линии колхозники: хозяева или воры?..

Все примолкли — нешуточно спросил Петр Житов.

Лукашин не глядел на жену. Он зажал себя — кажется, под пыткой не проронил бы ни единого слова. Пускай, пускай повернется! Его проучил Петр Житов, так проучил, что до гробовой доски помнить будешь, но пускай и она сполна почувствует, как мужики умеют приголубить.

Анфиса усталым голосом замученной, заезженной бабы сказала:

— Какие вы воры... Воры чужое тащат, в чужой дом залезают, а вы хоть и возьмете когда чего, дак свое.

### Глава третья

#### 1

У колхозной конторы Михаил спрыгнул с машины вместе с нижкононами<sup>2</sup>.

Петр Житов — он сидел, развалясь, в кабине — зарычал:

— Мишка, а ты куды от дома на ночь глядя?

<sup>2</sup> Жители нижнего конца деревни.

Михаил даже не оглянулся — только покрепче зажал под мышками ржаные буханки. А чего, в самом деле? Разве Петр Житов не знает, куда он идет? Первый раз, что ли, с буханкой к Ставровым тащится?

Было еще довольно светло, когда он вошел в ставровский заулочек, и высокая сосновая жердь торжественно, как свеча, горела в вечернем небе.

У Михаила эта жердь, торчавшая посреди заулочка, каждый раз вызывала ярость. В темное время тут не пройдешь — того и гляди лоб раскroiшь, а когда ветер на улице — опять скрип и стон, хоть из дому беги. В общем, будь его воля, он давно бы уже свалил ее ко всем чертям. Но Лизка уперлась — ни в какую! «Егорша вернется из армии — разве захочет без радио? Нет, нет, хозяин поставил, хозяин и уберет, коли надо».

Но если в этой проклятой жердине был хоть какой-то резон (пищали после войны кое у кого трофейные приемники), то в затее свата Степана, кроме старческой дури, он ничего не видел.

Всю жизнь, четверть века, стоял ставровский дом под простым охлупнем<sup>3</sup> без конька и так мог бы стоять до скончания века: крыша хорошая, плотная, в позапрошлом году перебирали, охлупень тоже отгнили не крошится — чего надо по нынешним временам? До конька ли сейчас? А главное — ему ли, дряхлому старику, разбираться с такими делами?

Не послушался. Весной, едва подсохло в заулочке, взялся за топор. Самого коня из толстенной сосны с корнем — с ним, с Михаилом, зимой добывали из лесу — выгесал быстро, за одну неделю. И какой конь получился! С ушами, с гривой, грудь колесом — вся деревня смотреть бегала. Ну а с охлупнем дело не пошло. Отесал бревно с боков, погрыз сколько-то теслом снизу и выдохся.

И вот сколько уж времени с той поры прошло, месяца три, наверно, а новой щепы вокруг бревна по-прежнему не видать. Только свежие следы. Топтался, значит, старик и сегодня.

Степана Андреяновича он застал — небывалое дело! — на кровати. За лежкой.

— Чего лежишь? — по привычке пошутил Михаил. — А мне скажи, сват у тебя накопил силы, к сему<sup>4</sup> укатил.

— Нет, не укатил. — Степан Андреянович сел, опустил ноги в низких валенках с суконными голяшками. — Помирать скоро надо.

— Давай помирать! Ничего-то выдумал. Пятнадцать лет до коммунизма осталось.

Старик многозначительно вздохнул.

— Точно, точно говорю. Сталин это дело еще в сорок шестом подсчитал. Я, говорит, еще при коммунизме пожить хочу, а ты на много ли его старше?

— Нет, Миша, не знаю как где, а у нас моя пороца не заживает. Смотри, кто из моей ровни остался. Трофим помер, Олексей Иванович, уж на что сила мужик был, двухпудовкой, помню, крестился, помер...

— Ерунда! — Михаил положил буханки на стол и сел на прилавок к печи, напротив света. — Я недавно роман один читал — «Кавалер Золотой Звезды» называется. Ну дак там старик не ты. По-боевому настроен. Сейчас, говорит, мне только и пожить. Правда, у них в колхозе — охо-хо-хо! — насчет жратвы там или в смысле обутки с одеждой, у них об этом и думушки нету. Скажи, как в раю живут...

<sup>3</sup> У старинных домов массивное бревно на крыше, которым пригнетаются концы тесниц обоих скатов.

<sup>4</sup> На сенокос.

С улицы в избу вползла вечерняя синь. От печного тепла, от однообразного постукивания ходиков Михаила стало клонить ко сну — две ночи не спали на выгрузке, да и выпивка сказывалась, — и он, широко зевая и потягиваясь, пересел на порог, приоткрыл немного двери, закурил.

Разговор, как и в прошлый и в позапрошлый раз, в конце концов перешел к сему — о чем же еще нынче говорят в деревне? Лето сырое, дождливое, сена в колхозе выставлены наполовину — достанется ли сколько на трудодень?

Тут, кстати, Михаил рассказал о недавней стычке мужиков с Лукашиным, о том, как председатель назвал их ворами и как грозился забрать у них сено на Синельге.

— Так что дожили, — невесело заключил он. — Может, сей год и рогатку под нож. В войну я, парнишко, вдвоем с матерью Звездю кормил, а теперь сам мужик, Лизка баба да вы с матерью как никак граблями скребете — и все равно не можем вытянуть четыре копыта...

Старик все эти сетования принял на свой счет, что вот, дескать, он виноват, он в этом году ни разу на пожню не вышел, и Михаил не рад был, что и разговор завел. Поди докажи старому да больному человеку, что ты и в мыслях не имел его.

На его счастье, со скотного двора вернулась сестра.

Весть о своем возвращении Лиза подала еще с улицы — пальцами прошлась по низу рамы. И что тут поднялось в избе!

Степан Андреевич, еще недавно собиравшийся умирать, живехонько соскочил с кровати, кинулся в задоски наставлять самовар. Загукал в чулане Вася — этот точно, как по команде, просыпается вечером, в ту минуту, когда забарабанит в окошко мать. Мурка спрыгнула с печи — и она, тварь, обрадовалась приходу хозяйки.

Все это давно и хорошо было знакомо Михаилу, и если он кому и удивлялся сейчас, так это себе. Тоже вдруг встряхнулся. Во всяком случае, сонливости у него как не бывало, а руки те просто сами зашарили по столу, разыскивая лампешку.

Спичка вспыхнула как раз в ту минуту, когда Лиза появилась на пороге. И неизвестно еще, от чего больше посветлело в избе — то ли от пятилинейки, то ли от ее сверкающих зеленых глаз.

— Ну-ну, кто у нас в гостях-то! Не зря я сегодня торопилась домой. Чуюло мое сердце.

За одну минуту все сделала: разулась, разделась, сполоснула руки под ручкомойником, вынесла из чулана ребенка.

Вася к дяде не пошел, заплакал, закапризничал, и это немало огорчило Михаила, потому что, по правде говоря, он и сестру-то дожидался, чтобы племянника на руках подержать.

— Дядя, ты нас порато-то не ругай, — как бы извиняясь за сына, сказала Лиза. — Нам тоже нелегко. Мы ведь теперь материного молока не едим, да, Васенька?

Она походила-походила по избе, убаюкивая ребенка, и так как тот не успокаивался, села на переднюю лавку и дала ему грудь. На виду у брата и свекра. Чего стесняться — свои.

Степан Андреевич неодобрительно покачал головой: не дело, мол, это. С таким трудом отнимала ребенка от груди, а теперь сама приучаешь. Да разве против Лизки устоишь?

— Что ведь, — сказала она на замечание деда, — пускай уж лучше матери худо, чем ребенку.

А матери было-таки и в самом деле худо. Она морщилась от боли, закусывала сухие, обветренные губы и под конец, когда явилась с

вечерним молоком Татьяна, накинулась на брата. Из-за коровника. Из-за того, что Петр Житов с Игнашкой Баевым, как сообщила Татьяна, распянехонькие бродят по улице. А раз распянехонькие — какая завтра работа?

И вот не успел он и рта раскрыть, как Лизка начала выдавать и строителям, а заодно с ними и ему:

— Пьяницы окаянные! Сколько еще пить будете? Есть ли у вас совесть-та? Коровы опять зимой будут замерзать, а у вас только одно вино и на уме. С коровника на выгрузку удрали — где это слыхано?

Михаил сперва отшучивался, ему всегда забавно было, когда Лизка за колхозных коров заступалась — просто на глазах сатанела, дуреха, — а потом, когда в разговор встрял старик, начал понемногу и сам заводиться.

Степан Андреевич, давно ли еще вместе с ним судачивший о сене, принял сторону невестки (что бы та ни сказала, всегда заодно с ней), и Михаил почувствовал, что должен, обязан разъяснить им что и как. Ведь легче всего попрекать мужиков стопкой. А разве за стопкой бегут на выгрузку? Вот за этой самой буханкой, которую они сейчас кромсают. Может, врет он, неправду говорит?

Конечно, он, Михаил, немного хватил через край — сестру и свата вроде как попрекнул: не забывайте, мол, чей хлеб едите, — а на самом-то деле у него этого и в мыслях не было. Просто допекли его, вот он и брякнул не подумавши.

Шумно, с излишним усердием пили чай и молчали. У Васи, все еще терзавшего грудь матери, один глаз уже закатился, а другой устало, с прижмуром, как у отца, смотрел на дядю.

Михаил кое-как допил стакан и опрокинул кверху дном: все, домой пора. Но разве Лизка отпустит брата вот так, со сдвинутыми бровями?

— Давай дак, дядя, посиди с нами, — заговорила она нараспев от имени сына. — Успеешь домой. Покури. Нам, скажи, все равно надо привыкать к дыму. Скоро папа вернется — ведь уж не будет выходить из избы. Есть ли у нас, татя, сколько табаку-то? — обратилась Лиза к свекру. Она почитала старика за отца. — Может, безо всего, с голыми руками приедет. Да и вина бы бутылки две не мешало раздобыть. Ведь уж нашего папу не переделаешь, да, Васенька? С мокрым рылом родился.

Сколько раз Михаил наблюдал за сестрой, когда та начинала говорить о Егорше, а все равно не мог привыкнуть! Лицо вмиг разгорится, разалеется, глаза заблестят, а про голос и говорить нечего — соловей запел в избе.

Он тысячу раз задавал себе вопрос: чем взял ее этот кобель? За что она его так любит? Неужели за то, что предал ее на другой же день после свадьбы?

Да, послушать Егоршу, так в армию его взяли потому, что у него де льгота перестала действовать. Из-за женитьбы. Поскольку новый человек в семье появился. А при чем тут женитьба? Лизка была не в летах, не было ей еще восемнадцати, когда он ее захомутил, так что годик-то наверняка можно было покантоваться дома.

Михаил щадил сестру и никогда не говорил с ней об этом, но сам-то он знал, ради чего женился Егорша. Ради того, чтобы взвалить на нее, дуреху, старика. Чтобы самому быть вольным казаком...

У Васи уже закатился и второй глазок — запьянел, видно, с непривычки от материного молока, а сама мать все еще мыслями со своим разлюбленным, и Михаил, еще минуту назад радовавшийся отходчивому сердцу сестры, вдруг ужасно разозлился на нее.

Он круто вскочил на ноги и, не сказав никому ни слова, выбежал из избы.



## 2

...Вот и первая звезда заблестела в луже — кончается лето. И под горой, у реки, не белеет больше рожь — августовская темень задавила хлебный свет в поле.

Осень, осень подходит к Пекашину. Самое распоганое время, ежели разобраться. Налоги всякие — раз, обутка да одежонка — два (то ли дело летом: ребята босиком и сам что ни надел — лишь бы ногу не кололо). Потом это сено распроклятое, корова... Эх, да мало ли еще каких забот разом обрушивается на тебя осенью!

А ведь была, была у него возможность на всем этом поставить крест. Давалась в руки и ему большая жизнь.

Главврач районной больницы как увидел его во всей живой натуре, без прикрытий, даже привстал. Мелкий, худосочный народишко собрался на призывном пункте — война пестовала. Ну и, конечно, не мудрено в таком лесу сойти за дерево. И уж он, главврач, повертел его! И так и эдак поставит, в грудь постукает, в рот заглянет, пробежку даст — ни одного изъяна. Даже скрип в коленях куда-то пропал.

— Редкий экземпляр! В любой род войск. Ну, говори, куда хочешь. Во флот? В авиацию?

— Льгота у него, — сказал райвоенком, а сам глазом так и буравит его, Михаила: «Ну, Пряслин, решайся!» (Два часа перед этим уламывал: не беспокойся, семья не пропадет.) И как же ему хотелось сказать: да!

Но глупая — п р я с л и н с к а я — шея сработала раньше, чем губы: нет...

Что ж, вот и ишачь себе на здоровье, думал Михаил, шагая по вечерней деревне. Дураков работа любит — не теперь сказано. И он уже не осуждал сейчас с прежней решительностью и беспощадностью Егоршу. Черт его знает, может, тот и прав. Будет хоть по крайности чем вспомнить свою жизнь. А он, Михаил? Чем вспомнёт потом свою молодость? Как корову кормил? Как кусок хлеба добывал?

В школе у Якова Никифоровича был свет — единственный огонек на весь околоток. И кто-то шел оттуда — похрустывал мокрый песок на тропинке и что-то яркое и блестящее вспыхивало в желтых отблесках.

Михаил, заинтересованный (кто с таким блеском ходит в Пекашине?), остановился.

Раечка Клевакина — у нее резиновые сапожки с радугой.

— Рай, здравствуй!

Встала, замерла. Просто как диверсант какой затаилась в темени. А чего таиться, когда от самой так и шибает духами?

— Здорово, говорю.

Раечка сделала шаг в сторону.

Ого! Райка от него рыло воротит. Так это правда, что у нее шурымуры с учителем?

Он решительно загородил ей дорогу, чиркнул спичку.

Холодно, по-зимнему глядели на него большие серые глаза. Губы сжаты — проходи!

Да, вот когда он понял, что она дочь Федора Капитоновича.

Он выждал, пока спичка в его пальцах не превратилась в красный прямой стерженек (хорошая погода завтра будет), усмехнулся:

— Дак вы теперь на пару сырую картошку лопаете?

Яков Никифорович, как человек приезжий, ужасно боялся северной цинги и все ел в сыром виде. Он даже воды простой не пил — только хвойный настой.

Раечка вильнула в сторону, но Михаил вовремя выставил вперед ногу, и она вмиг забила в него в руках.

Нет, врешь, голубушка! С сорок третьего каждую молодягу в колхозе обламываю, так неужели тебя не обломать? И он резко, с силой тряхнул Раечку, так что она охнула, потом поставил на ноги, притянул к себе и долго и упрямо терзал своими сухими и жесткими губами ее стиснутый рот.

Выпуская из рук, сказал:

— Через два часа выйдешь на задворки против себя. К соломенным ометам...

— Зачем? Чего я там не видела?

— Затем, что я приду. Потолковать надо...



Хорошо тому живется,  
У кого одна нога:  
Сапогов-то мало надо  
И портяночка одна.

Петр Житов хвастался своим житьем. Ему, дурачась, тоненьким бабьим голоском подпевал Игнашка Баев, и, судя по малиновым огонькам, которые то и дело вспыхивали возле бани Житовых, там был и еще кое-кто.

Решили добавить, догадался Михаил, всматриваясь в темноту житовского огорода с дороги. Это всегда так бывает, когда мужики заведутся. Обязательно прут к Петру Житову. Олена, жена Петра Житова, терпеть не может этих пьяных сборищ в своем доме, и вот придумали: с осени прошлого года обосновались в бане. Стены да крыша есть, копилку соорудили, а больше что же надо?

Михаил, не очень-то охочий в другое время до мужичьих утех (карты, анекдоты, трепотня), сейчас вдруг пожалел, что он не может сегодня присоединиться к своим товарищам. Нельзя. Сам же сказал Райке: выйди к ометам на задворках.

Он встряхнулся, пошагал домой. Однако пройдя дома три, он опять остановился. Постоял, поглядел вокруг, словно бы заблудился, и подошел к полевым воротам с новым белым столбом, который сам же на днях и ставил, — по нему-то он и узнал в темноте ворота.

Нет, ерунда все-таки получается, думал Михаил, наваливаясь грудью на изгородь возле ворот. Покуда он был с Райкой — ух как лихорадило! А только отвернулся — и хоть бы и вовсе ее не было. Не то, не то. Совсем не то, что было с Варварой.

Сколько пережито за все эти пять лет, что они в разлуке, сколько бабья всякого побывало у него в руках — сами лезом лезут, — а увидал нынешним летом Варвару в районе, не говорил, не стоял рядом, только увидел издали, как она по деревянным мосткам идет, — и шабаш: никого не знал, никого не любил...

В клубе произносили речи — на совещание механизаторов приезжал, — потом было кино, потом выпивка была в чайной, а спроси его, кто выступал, какое было кино, с кем сидел за столом в чайной, — не сказать. Вот какая отравка эта Варвара...

На лугу, под горой, пофыркивали, хрустя свежей отавой, лошади, мигал солнечный огонек у склада, где хозяйничал теперь караульщик, и там же бледными зарницами отливала река. А вот хлебного света, сколько он ни вглядывался туда, в подгорье, не увидел. Задавила темень...

## Глава четвертая

## 1

Утро было росистое, звонкое, и коровы, только что выпущенные из двора, трубили на всю деревню.

Проводы скота в поскотину Лиза любила превыше всего. Ну-ко, семьдесят коров забазанят в одну глотку — где еще услышишь такую музыку? А потом, чего скрывать, была и гордость: выделялись ее коровки. Чистенькие, ухоженные, бок лоснится да переливается — хоть заместо зеркала смотришь.

— Ну уж, ну уж, Лизка,— качали головой бабы,— не иначе как ты какой-то коровий секрет знаешь.

Знает, знает она коровий секрет, и не один. Утром встать ни свет ни заря, да первой прибежать на скотный двор, да наносить воды вдоволь, чтобы было чем и напоить скотинку и вымыть, да днем раза три съездить за подкормкой на луг, а не дрыхнуть дома, как некоторые, да помыть, поскоблить стойла, чтобы они, коровушки-то, как в родной дом с поскотины возвращались... Вот сколько у нее всяких секретов! Надо ли еще сказывать?

В это утро Лиза не успела насладиться проводами коров. Ибо в то самое время, когда только что выпустили их из двора, прибежала Татьяна.

— Иди скорейча... Михаил велел...

— Зачем? Очумели вы — такую рань! Я ведь не у Шаталова на бирже работаю...

— Иди, говорят. Те прибежали...

— Кто — те? Ребята?! — ахнула Лиза.

Петьку и Гришку нынешней весной с великим трудом удалось записать в ремесленное училище — Михаил из-за них только в городе больше недели жил. Сперва придрались к годам — семи месяцев не хватает до шестнадцати, а потом годы уладили (Лукашин без слова выписал новую справку) — в здоровье дело уперлось. Не подходят. Больно тощие. А с чего они будут не тощие-то...

И вот, рассказывал Михаил, пообивал он пороги. Туда, сюда, к одному начальнику, к другому, к третьему — в городе, не у себя в районе: нет и нет. Рабочий класс... Надо, чтобы была сила...

Спас Пряслиных Подрезов. Сам окликнул на улице, когда Михаил с ребятами уже на пристань шел. Просто как с неба пал. «Пряслин, ты чего здесь околачиваешься?»

И вот, рассказывал Михаил, никогда в жизни не плакал от радости, а тут заплакал. Прямо в городе, среди бела дня. И Лиза тоже каждый раз плакала, когда, при случае вспоминая городские мытарства старшего брата, доходила до этого места.

Всплакнула она и сейчас, хотя тотчас же вытерла глаза: не за тем, не слезы лить зовет ее брат.

Голос Михаила она услышала еще с крыльца. Шумно, на выкрике пушил двойнят. И еще из избы доносился лай Тузика. Неужели и он, бестолковый, на ребят навалился?

Лиза быстро поправила на голове платок, взялась за железное кольцо в воротах.

Так оно и есть: хозяин летает по избе, как бык разъяренный, и собачонка неотступно за ним. Хозяин кричать на ребят, и она на них лаять. А те, несчастные, ни живы ни мертвы. Сидят на прилавочке у печи, возле рукомойника, как будто они и не дома — глаз не смеют поднять от пола. И хоть бы кто-нибудь за них, за бедняг, за-

ступился! Мать, правда, та не в счет — та век старшему сыну слова поперек не скажет. Да Татьяна-то что в рот воды набрала? Сидит, в окошечко поглядывает, будто так и надо. Да и Федька, на худой конец, мог бы что-нибудь промычать, а не брюхо гладить: немало его братья выручали.

Лиза сказала:

— Давай дак ладно. Что поделаешь, раз у них счастья нету...

— Счастья? — Михаил выпрямился — полатница над головой подскочила. — Какое им еще счастье-то надо? Худо им было на всем на готовеньком, да? Вишь, домой захотели... По дому соскучились...

— Дак вы это сами? Вас не выгнали? — Кровь отхлынула от лица Лизы. Жалости к братьям как не бывало. — Да вы что, еретики, с ума посходили?!

Михаил снял с вешалки свой рабочий ремень с ножом на медной цепочке, опоясался.

— Возьмешь к себе. Чтобы духу ихнего здесь не было. Да сегодня же отправь обратно. И не вздумай денег давать. Раз домой дорогу нашли, найдут и из дому.

— Может, хоть денек-то им можно пожить дома? — подала наконец свой голос мать. И то невпопад: разве об этом теперь надо думать?

Дверь хлопнула. Михаил ушел на работу, даже не попрощавшись с ребятами. Те заплакали.

— Ну еще! — прикрикнула на них Лиза и даже ногой притопнула. — Сами виноваты, да еще и плачете... Одевайтесь! Живо у меня.

Чтобы не мозолить людям глаза (никогда не лишня осторожность), она повела братьев подгорьем.

— Ну вот, — заговорила, когда спустились косиком к озеру. — Смотрите, раз по дому соскучились. А чего скучать-то? Всё тут — и поля и огороды, нигде не убежали. Нет, я бы на вашем месте не скучала. Вон ведь как вас одели да обули. Пальта матерчатые, башмаки, фуражки со светлым козырьком... Да вы как буржуи. Кто у нас, в Пекашине, так ходит? И кормили, наверно, — не помирили с голodu?

— Нет.

— Грамм-то пятьсот всяко, думаю, давали.

— Восемьсот...

— Чего? — Лиза остановилась пораженная. — Восемьсот грамм хлеба на день? Вам? На каждого? Ну вот Михаил-то и выходит из себя. Устраивал-устраивал вас, сколько время потратил, а вы на-ко что надумали — домой. Да где у вас голова-то? Ведь уж надо потерпеть — попервости завсегда человеку на новом месте муторно, а потом привыкают. Я бы еще не удивилась, кабы Федька деру дал, а то вы...

Лиза нагнулась, подняла с земли хворостину, погрозила Тузiku — тот с самого начала, едва они вышли из дому, провожал их лаем, а теперь надрывался где-то на угоре, возле амбара, там так и перекатывался черно-белый флок шерсти. Нет, хоть и хвалят у них этого псишку, а бестолковый, не будет из него дельной собаки. Потому что разве дело это — на своих лаять?

— Вон ведь вы что натворили! — принялась опять совестить братьев Лиза. — Тузко и тот дивится...

— А он и вчерась на нас лаял... Мы это подходим вечер с задворья к дому, а он нас не пускает... — И Петька и Гришка вдруг горько разрыдались.

— На вот! Нашли из-за кого убиваться. Маленькие! Тузко их не пускает...

— А мы его еще и не видели... Нам Таня написала — у нас собачка хорошенькая есть...

— Да вы, может, из-за этой собачки хорошенькой и домой-то прибежали?

Ребята еще пуще разрыдались. И Лиза больше уже не распекала и не стыдила их. Она вдруг поняла, что они ведь еще дети.

## 2

— Татя, смотри-ко, каких гостей веду. Узнаешь ли?

— О, о! — неподдельно удивился Степан Андреянович. — Петр да Григорий. Сватушки...

— Домой вот прибежали, — сказала Лиза, прикрывая дверь за братьями. — А знаешь, зачем прибежали? — Она рассмеялась. — Тузка смотреть. На-ко, из города, за четыреста верст Тузка смотреть. — Она опять рассмеялась. — А Тузко, глупый, и к дому их не подпустил, лай на весь заулок поднял.

— Ничего, — сказал старик ребятам. — Не вы одни из-за собаки бегали. Я, бывало, постарше вас был, в работниках уж жил, а до того скучал по собачонке прежнего хозяина — Жулькой звали, — что хоть плачь...

— Неуж, татя? — страшно удивилась Лиза.

— Да, да, было такое дело.

— Ну, ребята, тогда не расстраивайтесь. Не у вас одних заворот в мозгах вышел.

Двойнята пробыли у сестры почти целый день, и Лиза все делала, чтобы скрасить им неласковый прием дома. Первым делом она накопила молодой розовой картошки, целый чугунок наварила — ешьте досыта! Почему вы такие-то худющие — ведь когда война кончилась! Потом вымыла их в бане — что и за дом, когда в бане не побывал? Потом — не поленилась — сбегала к своим за Тузиком: Вася, мол, шибко капризит, может, с собачонкой успокоится.

Принесла в кузове за спиной, на пол вывалила — вот вам тот, по ком скучали!

В общем, не худо двойнята погостили у сестры, а уж с Тузиком наполнились да наигрались сколько хотели.

Единственно с чем плохо в этот день было — с попутной машиной. Так этих попутков сколько хочешь ныне — леспромхозовских, колхозных, каждый час мимо ставровского дома катят то в район, то из района. А сегодня Степан Андреянович часами дозорил возле дороги — и ни единого колеса.

В конце концов Лиза решила до Нижней Синельги подбросить братьев на лошади — благо ей за подкормкой ехать надо, — а там, может, попадется какая машина, а ежели нет, то до Сыломы, большой деревни, где теперь стоит пароход, добегут и сами: недалеко — одиннадцать—двенадцать верст.

Степан Андреянович стал было уговаривать ее оставить ребят до утра — ничего, мол, не случится, ежели и позже на день придут в свое училище, — но она и слышать об этом не хотела. Что она скажет в ответ Михаилу, как поглядит ему в глаза, ежели тот узнает о самоуправстве? Не посчиталась она со старшим братом только в одном — насчет денег. Дала по двадцатке каждому на дорогу, потому что на попутке проедут и бесплатно, а на пароходе как? Хватит, натерпелись они страху, когда вперед попадали с пятеркой в кармане на двоих.

Ехали неторопко, Мазурик был в оглоблях — самая распоследняя коняга в колхозе.

У болота, в сосняке, кричали и улюлюкали ребятишки — не иначе как за молодой белкой гонялись, а со стороны новостройки, как на грех, тоже ребячий крик, да со смехом, с визгом, — похоже, Петр

Житов шуганул бездельников. И, видно, очень уж горько от всего этого стало двойнятам — затаились позади сестры на телеге и ни слова.

Лиза попыталась развеселить их, вызвать на разговор об учебе, об их будущей жизни — раньше двойнята любили такие разговоры.

— Смотрите-ко, ребята, как вам повезло,— говорила она.— Во всей семье у нас ни у кого сроду не было паспорта, а у вас скоро целых два будет. Краса! Потом где захотел, там и живи — хоть в деревне-матушке, хоть на городах. Не зазнавайтесь только. Меня, может, потом и признавать не захочете, да?

Ребята не откликались.

Мазурик тащился еле-еле. Он и в молодости-то резвостью не отличался — бывало, навоз возишь, не одну вицу обломаешь, а теперь, в старости, и вовсе от рук отбился. И особенно трудно было сладить с ним под вечер, да еще когда надо от дому ехать. И Лиза невольно подумала: вот лошадь, тварь бессловесная, к своей конюшне привязана, а что же говорить о Петьке да Гришке? Уж кто-кто, а она-то знает, как с родным домом расставаться. Не забыла еще, как отвозил ее брат в лес, на Ручьи.

Наконец добрались до Синельги.

Лиза торопливо, не глядя в глаза, обняла братьев — одного, другого, подтолкнула сзади:

— Чёсайте.

И не выдержала — расплакалась, когда двойнята, перебежав мост, вдруг оглянулись и замахали ей руками.

С запада надвигалась туча, темная, лохматая, откуда только и взялась — всю дорогу было светло. Осинки у моста залопотали, задрожали на ветру, серая россыпь прошлогодних листьев полетела по песчаной дороге... Да что же это такое? Кто же глядя на ночь отсылает ребят в дорогу?

— Стойте, окаянные! Куда это полетели?

Двойнята остановились, затем нерешительно вернулись к сестре.

— Из училища-то не выпоят, ежели ночь переночуете у меня?

— Не...

— Не! Как — не? Кто вас, летунов, держать будет? Кому вы такие нужны?

— Не, мы ведь не сами... Нам на неделю разрешено...

— Вы опять за свое! — Лиза уже слышала это от братьев. Рассказывали ей эту сказку еще днем: будто не самовольно убежали, а воспитатель отпустил.— Чего из вас выйдет-то — с таких годов врте? На вот — опять в слезы... Плакать-то раньше надо было... Ладно, возьму грех на душу. Бежите ко мне обратно. Да о реку, а не дорогой. И дома у меня, как мыши, замрите, чтобы никто не видел. А то Михаил узнает — голову с меня снимет...



Был поздний вечер. Луна, которая еще недавно помогала ей управляться в потемках с коровами, скрылась за облаками, и темень стояла кромешная, августовская — Лиза два раза натыкалась на изгородь.

И вдруг, когда она подошла к своему дому, увидела в заулке свет, да такой яркий, что двойнят, сидевших за столом, хоть на карточку снимай.

Да что же это такое? Мало она натерпелась страхов за сегодняшний вечер — это ведь не шутка, ежели из-за тебя ребят выпоят из училища! — так еще свекор огонька подкидывает...

Все разъяснилось мигом, когда она вбежала в избу. Письмо, письмо от Егорши пришло!

— Когда пришло? Не в сутеменках?

— В сутеменках, в сутеменках,— живо закивал Степан Андреянович. Тоже и он весь рад.— Я как раз с лучиной вышел овцам подать — Окся-почтальонша воротца открывает...

И тут Лиза подивилась верности примет. Ведь именно в то самое время, когда начало темнеть (она как раз доить собралась), у нее зачесался нос. Правда, по этой примете ей выходило пить вино, но раз она вина не пьет, должна же быть замена! И такую замену она с радостью принимала: больше двух месяцев не было от Егорши письма.

К столу села чистая, намытая, гладко причесанная, с пылающими щеками — письма Егорши всегда зажигали у нее кровь, с сыном на руке — это уж обязательно.

«Здравствуй, дорогой и многоуважаемый дед Степан Андреянович, а также жена Лиза. С боевым солдатским приветом к вам ваш внук и муж Георгий Суханов»...

— А Васе опять привет написать забыл,— заметила, хмурясь, Лиза.— Не знаю, что за отец такой — про сына забывает.— Она перевернула листок, заглянула в конец письма.— Ну да, опять как нищему через заднее окошко: «Привет сыну Васе...»

«Во первых строках сообщаю, что наша... энская часть... — Лиза посмотрела на свекра, на ребят: это еще что? — ...наша энская часть была на боевых ученьях, то есть на маневрах, а поэтому письма написать не имел, ибо международный накал и обстановка такая, что, пожалуй, нашему брату не до писем. Данное международное положение происходит потому, что империалисты всех мастей и международный жандарм Америка...»

Лиза покачала головой, усмехнулась:

— Вот как он у нас, татя, высказывается. Как с трибуны. В котором письме уж про эту международную обстановку... Приедет домой, может, и на тракторе работать не захочет, портфельщиком станет... Ну, почитаем дальше.

«Боевые ученья прошли успешно, то есть на большой, дали, как говорится, кое-кому прикурить, на всю катушку развернули огневую мощь Советской Армии, и я за это от лица командования имею благодарность. А кроме того, на днях меня вызывали к начальству и был разговор в части сверхсрочной. Обещают сразу же присвоить воинское звание старшины, а также хорошее довольствие и жилищные условия...»

Лиза всхлипнула, посмотрела растерянно на улыбающихся двойнят, на свекра и вдруг по-бабьи заголосила:

— Татя, да он ведь не приедет к нам... Там останется... В армии...

## Глава пятая

### 1

Лукашин вышел из правления на крыльцо и заслушался. Бах, бух, бах... — топоры пели у болота. Вот песня, которую он готов слушать сутками напролет.

Потом, когда он выбежал к амбарам на задворках, увидел и самому стройку.

Не ахти какое сооружение колхозный коровник, не из-за чего тут приходиться в телячий восторг, но ежели каждое дерево ты добы-

вал с бою, ежели для того, чтобы зимой выкroeить лошадь для вывозки леса, ты всякий раз до хрипоты ругался с районом — лесозаготовки же! — ежели плотничья бригада у тебя полтора мужика, а остальные так себе, для счету, можно сказать, тогда, пожалуй, и на колхозный коровник станешь молиться.

Плотники, завидев, верно, председателя, поживее задвигали руками, и вот как он въелся в стройку — издали, на слух начал угадывать, кто как работает.

С ревом, с рыком врубается в дерево Михаил Пряслин — не щадит себя парень, не умеет работать вполсилы. Стареется сегодня Фля-петух. Трень-звень — как на балалайке наигрывает. А вот Игнатия Баева не мешало бы при случае почесать против шерсти. Стук-стук — и встали. Инвалид — кто отрицает? — но ведь топор-то не в большой ноге держит, а ручки у него — дай бог каждому.

Волнами накатывался смоляной настой. Свежая щепка, напоминавшая больших белых рыб, плавающих вокруг желтого бревенчатого сруба, сверкала на солнце...

Да, подействовал все-таки позавчерашний прижим с сеном, думал Лукашин, а вот теперь ему надо своими руками прикрывать стройку. Ничего не поделаешь: жатва подошла, первую заповедь выполняй, а кроме того, снова берись за косу, раз ведро началось.

Плотники один за другим спустились с лесов, подошел, громко визжа своим протезом, Петр Житов — он сколачивал крестовину стропил на задах, и теперь Лукашину понятно стало, почему он не расслышал голоса его топора.

— Ну дак что будем делать-то, мужики? — заговорил Лукашин по-свойски, хотя и не совсем своим голосом, когда уселись на бревна и закурили. — Первая заповедь подошла. Придется нам эту стройку коммунизма на время прикрыть, а?

— А энто уж дело хозяйское, — сказал Петр Житов.

— Хозяйское? А я думал, вы хозяева.

— Один баран тоже думал, что зимой в шубе ходить будет, а его взяли да и остригли...

Так, поговорили по душам, обсудили всем коллективом, как жить и что делать.

Лукашин подождал, пока не затих смехок, сказал:

— Ну, раз вы бараны, тогда верно — баранов не спрашивают. — И уже совсем голосом команды: — Яковлев Аркадий — на сенокос. Филипп, ты около дома жать будешь. Пряслин — на Копанец...

— А мне и здесь не худо, — огрызнулся Михаил, и взгляд исподлобья, как будто он, Лукашин, его первый враг.

Пришлось поднять все ту же незримую председательскую палку — ничего другого не оставалось:

— К обеду чтобы был там. Понял?

— И не подумаю.

— Тогда за тебя подумают.

— Кто? Может, в дальние края, на выселку?

Вопрос звучал вызовом. В соседних колхозах за невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины кое-кого ставили на место.

У Лукашина, однако, хватило выдержки. Он пощадил самолюбие парня, тем более что в это время к коровнику подъехал на полуторке Чугаретти, и ему вдруг пришла в голову одна мысль.

— Житов, Аркадий, — он с треском оторвал штаны, вставая (опять, черт подери, на смолистое бревно сел!), — вы останетесь на новостройке. Вас не будем трогать. — И крикнул вылезавшему из кабины шоферу: — Заправься поскорей. В район поедем. Живо!



Подрезова в райкоме не было — с утра уехал в Саровский лес-промхоз.

— Неважно у нас нынче с зеленым золотом, Иван Дмитриевич. Опять много недодали родине...

Помощник секретаря мог бы и не говорить об этом — кто не знает, что район уже третий год лихорадит с лесозаготовками. Но разве ему, Лукашину, от этого легче?

— Какой у вас вопрос, Иван Дмитриевич? Может, Милий Петрович поможет?

Лукашин посмотрел на дверь третьего секретаря райкома, тощую, обитую дешевенькой клеенкой, да и то полинялой, и невольно перевел взгляд налево, туда, где, затянутая в черный дерматин, пухлая, как стеганое одеяло, жарко сверкала медными шляпками дверь подрезовского кабинета. Но он все же решил зайти.

О Фокине, вернее о том, как тот стал секретарем райкома, ходили самые невероятные слухи — больно уж круто взмыл человек. Прямо из курсантов областной партшколы да в секретари!

Одни говорили, что Фокину просто повезло — на какой-то экзамен в партийную школу вдруг заявился сам хозяин области и будто бы ему так понравился ответ Фокина, что он сказал: «Нечего тут штаны протирать. В район».

По другим рассказам, Фокина подняли за его выступление на каком-то теоретическом совещании в области — всех покрыв, всех посадил в лужу, даже преподавателей, у которых учился.

Лично Лукашину более правдоподобной казалась третья история, та, которую он сам слышал от Митягина, заместителя председателя райисполкома.

По словам Митягина, все началось с болезни жены Фокина, у которой неожиданно открылся туберкулез легких. В городе оставаться нельзя — врачи категорически запретили. Что делать? Куда податься? И вдруг, на счастье Фокина, в область приезжает Подрезов. На какое-то совещание.

Фокин к нему в гостиницу: так и так, Евдоким Поликарпович, выручай крестника! А Фокин действительно у Подрезова в районе боевое крещение получил: одно время комсомолом командовал, потом начальником лесопункта был и особенно отличился на сплаве — по суткам мог вместе с мужиками не спать.

— Да,— говорит Подрезов,— крестника выручить надо. А какую бы ты работенку хотел? Ну-ко, дорогие товарищи, подскажите.

Это Подрезов к секретарям райкомов обращается, которые в ту пору в номере у него сидели. А секретарям — что? Какое им дело до какого-то Фокина? Слава богу, своих забот хватает.

— Ну, а язык как у тебя? Подвострил тут в школе? — спрашивает Подрезов.

— Да вроде бы ничего,— отвечает Фокин.— Кроме пятерок, других оценок покамест не имею.

— А мне не оценки твои нужны, а то, как ты с народом будешь разговаривать. Секретарь тебя устраивает?

Фокин, понятно, сразу скис — невелика должность быть партийным вожаком в каком-нибудь колхозе или лесопункте. Какие это масштабы для человека, который в партийной школе учился?

— Охота бы,— говорит,— Евдоким Поликарпович, поближе к районной больнице, поскольку у меня жена больна...

— Да уж куда ближе,— говорит Подрезов,— от райкома до районной больницы. Непонятно? Секретарем по пропаганде будешь.

Тут, конечно, все секретари за столом так и подскочили:

— Как, Евдоким Поликарпович, ты серьезно это? Да кто тебе позволит в области шуровать как у себя в районе?

— А это уж моя забота, — отвечает Подрезов. — Неделю на сборы хватит? — Это опять Фокину. — Ну, а насчет всяких бумажек и прочих формализмов не беспокойся. Я завтра же договорюсь с кем надо.

Вот так и стал Фокин третьим секретарем райкома, если верить, конечно, Митягину. А Лукашин верил: больно уж все это походило на Подрезова. Любил Подрезов показать себя, свою силу, особенно на людях. А кроме того, ему в то время действительно нужен был третий секретарь (прежнего забрали на повышение), и мог, мог он сам подыскивать для себя подходящего человека. Потому что с кем, с кем, а уж с ним-то, чуть ли не первым лесным тузом в области, наверху считались.

Лукашину за эти два с лишним года, что работает в райкоме Фокин, не раз приходилось слушать его выступления и на районных совещаниях и у себя в колхозе, и, в общем-то, ничего плохого о третьем секретаре он сказать не мог. Речист. Людей не боится — сам прет на них. И ловок, конечно, — знает, где можно прижать человека, а где надо приласкать. Но на этом его знакомство с Фокиным, пожалуй, и кончалось, ибо по всем сколько-нибудь серьезным делам председатели колхозов шли к Подрезову — он был всему голова в районе.

В то время, когда Лукашин переступил за порог кабинета, жаркого, душного, выходящего окнами на юг, Фокин разговаривал по телефону.

На мгновение вскинул черные прямые брови — не ожидал такого гостя! — но тут же заулыбался, закивал на стул возле стола и даже подтолкнул свободной рукой пачку «Беломора»: кури. Это уже совсем по-подрезовски. Подрезов любил угощать своих подчиненных табачком, особенно в командировках — специально возил с собой курево, хотя сам и не курил.

Разговор у Фокина был с областью — Лукашин сразу это понял по той особой, можно сказать, государственной озабоченности на его молодом румяном лице и по тем особым словечкам, которые употребляют лишь в разговоре с высоким начальством: «Так, так... вас понял... будет сделано... не подведем...» Зато уж когда повесил трубку, дал себе волю: наверно, с минуту прочищал легкие — шумно, как конь после тяжелой пробежки.

— Первый мылил, — с улыбкой сообщил Фокин. — Насчет первой заповеди... А как у тебя? Начал жать?

— Начал.

— И сенокос не забываешь?

— Кое-кого отправил на Синельгу.

Фокин кивнул за окно на солнце.

— Надо не кое-кого. Не прозевай. Бог для тебя специально не будет это колесо выкатывать. А как коровник? Покрыл?

До сих пор Лукашин отвечал и слушал как бы по обязанности: секретарь. Положено интересоваться. А тут вскинул голову: откуда Фокин такие подробности знает про ихний коровник? Вспомнил, как его, Лукашина, в прошлом году на бюро райкома песочили за то, что он сорвал обязательство, не закончил коровник к сроку?

— Ну-ну, по глазам вижу, — подмигнул Фокин своим черным хитроватым глазом. — Приехал насчет техники кланчить, так?

Лукашин только плечами пожал: Фокин ну просто читал его мысли! Именно за этим, насчет жатки, тащился он в райком, ибо раз-

добудь он эту самую жатку, меньше людей потребуется на поля, а раз меньше — значит, можно не прерывать работы на коровнике...

— Смотри, смотри, товарищ Лукашин,— сказал Фокин и кивнул на дверь, в сторону кабинета Подрезова,— с огнем играешь. До самого дойдет, какие ты художества в период уборочной вытворяешь, не поздоровится. В деле Евдоким Поликарпович отца родного не пощадит.— Это уже намек на его, Лукашина, близость с первым секретарем.

Солнце било Фокину в глаза, жарило черноволосую голову, синий китель застегнут на все пуговицы, да еще от раскаленного стекла на столе поддавало, а он только зубы скалил от удовольствия — белые, крепкие, какие не то что на севере, а и на юге не часто встретишь.

— Мне бы жатку, Милий Петрович, раздобыть,— вдруг заговорил напрямик Лукашин.— Вот бы что меня выручило.

Фокин ухмыльнулся:

— У тебя губа не дура, товарищ Лукашин. Только где же сейчас жатку возьмешь?

— Я думал, что, поскольку у меня строительство, райком пойдет навстречу...

— Ты думал!.. Сколько этой весной нам жаток завезли, знаешь? Пять. Из них четыре мы дали самым отстающим, а одну нашему показательному...

— Вот показательному-то можно было не давать. И так все добро туда валят...

— Ну, это ты с Евдокимом Поликарповичем толкуй, ежели такой смелый!..— Опять намек на его близость с Подрезовым.

Фокин прошелся по кабинету, тяжело, по-подрезовски ставя ногу в ярко начищенном хромовом сапоге, затем решительно взял телефонную трубку:

— Барышня, дай-ко мне «Красный партизан». Да побыстрее... Товарищ Худяков? Здравствуй. Вот не думал, что ты в правлении загораешь.— Фокин по-свойски подмигнул Лукашину.— Почему не думал-то? Да погодка-то, видишь, не конторская вроде. Косой надо махать... Чего-чего? Все давно смахал? Верно, верно, я и забыл. Слушай-ко, Аверьян Павлович, пожурить тебя хочу... За что? — Фокин опять подмигнул Лукашину.— А за то, что ты соседа своего обижает... Какого? Соседа-то какого? А того, у которого великая стройка... Да, да, у болота,— захохотал Фокин.— Ладно, ладно, не прибедряйся. Жатку ему надо. Да, да... Нету? Брось, брось — нету... Откуда? А оттуда, что у тебя все косилки на полях. Правильно? А у него сенокос, сенокос в разгаре... Понял?

Фокин еще несколько минут, то весело похохатывая, то наседая на Худякова, разговаривал по телефону, а когда кончил, сказал:

— Поезжай. У твоего соседки всякой всячины толсто. Да присмотришься хорошенько. Худяков — замок с секретом...

Лукашин крепко, с чувством пожал протянутую короткопалую руку в черном волосе. Все-таки это была помощь?

— Да,— окликнул его Фокин, когда он был уже у дверей,— с осени тебе дадим комиссара...

— Парторга?

— Да. Негоже приход без попа. Есть решение райкома: у вас теперь будет освобожденный парторг.

— А кто он?

— Парторг-то? А вот это покамест секретец.— У Фокина во все полное румяное лицо просияли белые, молочные зубы.— А в общем, пройдишь по райкому — он тутотшний...

## 3

Чугаретти просто взвыл от радости, когда узнал, что они едут к Худякову:

— Вот это путевочка!

Затем, когда сели в кабину, пояснил:

— У меня там шуряга проживает, муж сестры моей женки, значит. Давно в гости зовет. А второе, конечно, Худяков...

— Тоже родня? — спросил Лукашин.

— Почему родня? Никакая не родня. Разве что на одном солнышке портянки сушили. А поглядеть на Худякова кто же откажется? Ведь этого Худякова, я так понимаю, и человека на свете хитрее нету.

— А чем же он так хитер?

— Чем? — Чугаретти страшно удивился. Он даже на какое-то мгновение баранку выпустил из рук, так что машина круто вильнула в сторону и впритык прошла рядом с жердяной изгородью на выезде из райцентра. — Ну, Иван Дмитриевич... Чем Худяков хитер? А цыгана кто облапошил? Не Худяков? Не слышали? Ну, после войны дело было. Цыган, вишь, вздумал пожить за счет «Красного партизана». «Давай, говорит, лошадьми меняться, хозяин». А Худяков — чего же? «Давай». Ну, сменялись. Цыган пять верст от деревни отъехал — подохла кобыла, а у Худякова коняга тот и сейчас жив. Во как! Да чего там, — Чугаретти коротко махнул рукой, — у него даже сусеки в амбарах не как у всех. С двойным дном.

— Какие, какие? — живо переспросил Лукашин.

— С двойным дном, говорю.

— Это зачем же?

— А уж не знаю зачем. Затем, наверно, чтобы на зуб себе всегда было. Их доят, доят, а они все с хлебом...

Лукашин захохотал: нет, исправим все-таки этот Чугаретти. Начнет вроде бы здраво, а кончит обязательно брехней и выдумкой. А жаль. Хотелось бы ему поговорить об Аверьяне Худякове. Сосед. Да и мужик больно занятный. По сводкам — сдача мяса, молока, хлеба — всегда впереди, а не любит языком трепать. На районных совещаниях его не увидишь на трибуне, только разве вытащат когда, пробубнит несколько слов, а так все помалкивает и сидит не на виду, а где-нибудь в сторонке, сзади.

Лукашин давно уже хотел познакомиться с этим человеком поближе. Да, оказывается, не так-то просто это сделать, хоть он и твой сосед. Летом с ходу к нему не попадешь — за рекой живет, — а на председательских «собраниях», которые иногда бывают в районе после совещаний, его тоже не увидишь: то ли потому, что расходов лишних избегает, то ли оттого, что не пьет.

— Так, говоришь, сусеки у Худякова с двойным дном? — разве селился вдруг Лукашин.

Чугаретти — коровьи глаза навывкате, ноздри в гривенник — яростно накручивал баранку.

Машина подпрыгивала как шальная, ветер завывал в кабине, но Лукашин ничего не говорил — пускай порезвится, дурь свою повытрясет: они теперь лугом ехали.

Благодарзумие к Чугаретти вернулось за мостом — с грохотом пролетели. Он задвигал дегтярной кожей на лбу, захолопал глазами, а потом начал виновато поглядывать на своего хозяина.

— В следующий раз за такие фокусы выгоню, — предупредил Лукашин.

— А чего и не верите. — Чугаретти по-ребячьи, с обидой ширнул

носом.— Я, что ли, выдумал про эти сусеки? Поди-ко послушай, что говорят про этого Худякова.

— Кто говорит?

— Народ. У них ведь, в «Красном партизане», что было до Худякова? А такой же бардак, как у всех протчих. А Худяков пришел — ша! Дисциплинка — раз и два — на лапу. «Я, говорит, научу вас землю рыть носом, но что полагается — дам, голодом у меня сидеть не будете...» Во как сказал Худяков на собрание, когда его в головки ставили.

— Ну и дал? — спросил Лукашин.

— А то! Худяков да не дал. Его, бывало, твердым заданием обложили — смолочурня у отца была: врите, поклонитесь еще Аверьяну Худякову! Ну и поклонились. На лесозаготовки загнали в Вырвей, в самую глухоту, а он и оттуда на свет вырубился. Первым стахановцем стал — во как! Правда, — сказал Чугаретти, подумав, — народишко в Шайволе не как у всех протчих. Дружный. Горой друг за друга. И вообще у Худякова такой порядочек: что народ решит, так тому и быть. Про Манечку-то небось слышали? Ну, как он с дочерью родной разговаривал... Нет? Да это ж у нас ребенка малого спроси — знает!

Чугаретти опять начал горячиться. Это не по нему — рассказывать вполголоса. Он уж так: ежели возносить человека, то возносить до небес.

— Ну и ну! — воскликнул Чугаретти и помотал головой. — Да вы, я вижу, про Худякова ни бум-бум. Ну а насчет того, как в город веники возил продавать... Чтобы пятаками разжиться?

У Лукашина вдруг что-то вроде ревнивой зависти шевельнулось в груди, и он сказал:

— Ты давай сперва про эту самую... Манечку...

— А-а, это насчет дочери-то. Ну, так, значит, было. Приходит Манечка, младшая дочь, к отцу: «Папа, дай справку. Я учиться поеду». — «А ты разве не знаешь, дочи, какой у нас порядок?» Это отец, Худяков, значит, спрашивает. А порядок у них такой: никого из колхозу. До семилетки учишь, не препятствуем, а дальше — стоп. Работай. Вот такой порядочек. Сам Худяков завел. Ну, а девка у Худякова отличница круглая да и не робкого, видать, десятка — заявление. Прямо на общее собрание адресовалась: так и так, хочу учиться. Отпустите.

Тут Чугаретти сделал небольшую передышку — специально, конечно, для того, чтобы дать Лукашину все как следует прочувствовать.

— Ладно. Собралось в назначенный час собрание. Вопросы: итоги на посевной, а также протчее в разном. Ладно. Дал Худяков картину по первому вопросу, все как полагается. «А сейчас, говорит, дело такое, что мне, говорит, лучше в сторону. Одним словом, семейный вопрос, передаю собрание своему заместителю». Ну, выслушали заявление. Сколько-то, может, помялись, потужились, а решение вынесли единогласно: разрешить учебу Марии Аверьяновне Худяковой, как отлично окончила школу. Первое, конечно, то, что дочь председателя — надо же уважить человека, раз столько для колхоза сделал, а второе — пятерки Манечкины. Кому охота талант живьем зарывать. Не звери же — люди сидят... И вот тут-то в это самое времечко поднимается Худяков. — Чугаретти аж всхлипнул — до того расчувствовался. — «Никакой учебы для Худяковой. Как отец — за, а как председатель — нет». То есть вето. Как в Объединенной Нации. Одним словом, запрягайся, Манечка, в колхозные сани. Все у нас одинаковы...

За открытым окном кабины косматился иссиня-зеленый рослый ельник, белые березки вспыхивали на солнце. Потом Лукашин увидел ягодниц — двух беленьких девчушек с берестяными коробками — и сразу понял, что они подъезжают к Шайволе.

— Ну и чем кончилась эта история? Так и не отпустил Худяков дочку?

Чугаретти удивленно вытаращил глаза: какое, мол, это имеет значение?

Лукашин не настаивал. Ведь то, что рассказывал Чугаретти про Худякова, скорее похоже на легенду, чем на житейскую историю, а легенде разве до подробностей и до мелочей всяких?

## 4

Пинега под Шайволой не уже и не мельче, чем под Пекашином, но перевоза нет, и Чугаретти увидел в этом еще одно подтверждение мудрости Худякова.

— Вот так, — сказал он многозначительно. — Мало того, что он рекой от начальства отгородился, дак еще и всю связь ликвидировал.

Однако связь была. Не успели они спуститься с крутого увала к воде, как с той стороны, из-за острова, выскочила длинная узконосая осиночка с белоголовым подростком, который, как выяснилось, уже с полчаса поджидал Лукашина.

— К правленью-то дорогу без меня найдете? — спросил парень, когда они переехали за реку. — А то бы мне за травой надо съездить.

— Мотай, — сказал Чугаретти и вдруг страшно обиделся: — Да ты что, понимаешь, Чугаретти не знаешь? Чей будешь?

— Ивана Канашева.

— Чувак! А за дорогой от вас кто проживает? Кого ты видишь каждое утро из своего окошка в белых подштанниках?

Парень захохотал:

— Олексея Туголукова.

— Олексея Туголукова... — передразнил Чугаретти. — Шурыга мой. Где он сейчас? На Богатке?

— Не, дома кабысь. Ногу порубал — к фершалице ходит.

Чугаретти пришел в восторг:

— Вот это да! Везуха! С моим шурыгой можно кашу сварить.

Шайвола раскинулась на пологой зеленой горушке, примерно в полуверсте от реки, и Лукашину с Чугаретти пришлось сперва идти лугом, на котором уже стояли зароды, а затем полями.

Луг был небольшой, гектаров восемь от силы, и Лукашин спросил у Чугаретти, есть ли еще домашние покосы у шайволян, то есть покосы возле деревни.

— Нету. Всё тут. О, кабы у них были такие сена, к примеру, как у нас, Худяков раздул бы кадило. А то у них за пятьдесят верст ехать надо, да и то какие это сена — кот заплакал. Ну, Худяков нашел выход. Раньше у них сено гужом добывали да зимой — чистый разор. Просто съедали лошади колхоз. А Худяков пришел: «Не будем возить сено к скоту. Скот погоним к сену». Мой-от шурыга круглый год живет на Богатке, телят кормит. Там у них дело поставлено...

За лугом, при выходе с поля, Чугаретти свернул налево — шурин его жил в нижнем конце деревни, — и Лукашин вздохнул с облегчением. Он любил ездить с Чугаретти — не соскучишься, но сколько же можно — Худяков, Худяков...

День был теплый, безветренный, душно и сытно пахло нагретой на солнце рожью, через которую шла дорога.

Рожь была неплохая, но и не лучше, чем у них в Пекашине. Капустник под самой горушкой тоже не удивил Лукашина — кочаны как кочаны, — а вот деревня его поразила.

Ни одного заколоченного дома (по крайней мере в середине, которой он проходил), а главное, и жилые-то дома выглядят как-то иначе, чем в других деревнях. У них, к примеру, в Пекашине какие дома уделаны? Те, где живет мужик. А на вдовьи хоромы, а их большинство, и смотреть страшно: как Мамай проехал.

Тут же вдовья нищета и обездоленность не бросались в глаза, и Лукашин, хоть и не без некоторой ревности, должен был признать, что это дело рук председателя. Его, Худякова, заслуга.

Присмотрелся Лукашин и к конюшне, которая встретила на пути. Сперва показалось диким — грязь и базар посреди деревни, чуть ли не под самыми окнами правления (спокон веку хозяйственные постройки в колхозах на задворках), а потом подумал и решил: здорово!

Лошадь зимой, когда все тягло на лесозаготовки забирают, на части рвут, нигде не бывает столько ругани и скандалов, как на конюшне. А тут, когда председатель под боком, много не поскандалишь, не покричишь. Да и конюх всегда на прицеле — поопасется самоуправничать.

Худяков встретил его у колхозной конторы.

— Долгонько, долгонько, товарищ Лукашин, попадаешь, я уж, грешным делом, едва не маханул в поле.— Худяков указал рукой куда-то на задворки, очевидно, там были тоже поля.— Как насчет чайшка? Не возражаешь? Солнце-то, вишь, где — на обед сворачивает.

Лукашин не стал возражать — он теперь, как истый северянин, не меньше трех раз на дню пил чай, — и Худяков повел его домой.

Ничего особенного Лукашин как раньше не находил в Худякове, так не нашел и сейчас. Мужик как мужик.

Правда, сколочен крепко и надолго. Ему уж было за пятьдесят, а в чем возраст? В глазах? В походке? Ногу в кирзовом сапоге ставит неторопко, твердо — хозяин идет. Да и вообще по всему чувствовалось — корневого человек. Вагами выворачивать — не вывернуть... Глубоко, как сосна, в земле сидит.

Лукашин все время думал, кого же напоминает ему Худяков, и только когда тот стал расспрашивать его о райкоме, решил — Подрезова. Вот у кого еще самочувствие и хватка хозяина.

Раскаленный самовар стоял уже на столе, когда они вошли в избу.

Лукашин поздоровался со старухой, сидевшей за зыбкой, и посмотрел на хозяина. Тот отвел глаза в сторону, и Лукашин понял: его ребенок, а не дочери или сына, который был в армии.

М-да, с новым удивлением посмотрел Лукашин на хозяина, у него везде жизнь на полном ходу...

Закуска к водке (Худяков выставил непечатую бутылку) оказалась самой обычной, по сезону: молодые соленые грибы и лук — свежие головки с пером, только что выдернутые из грядки, — зато житник, пестрый, мягкий, хорошо пропеченный, был на славу.

Лукашин, с аппетитом уминая его за обе щеки, подмигнул:

— Поучил бы, Аверьян Павлович, как такой хлеб делать.

— А это уж к хозяйке надо адресоваться. Она у меня мастерица.

— Да хозяйка и у меня не без рук, — сказал Лукашин. — С хозяином загвоздка.

— У нас на Севере, товарищ Лукашин, всему голова — навоз. На-

ши пески да подзолы без навоза не родят... И я первым делом, когда встал на колхоз, взялся за навоз...

— Ну, у меня навоз тоже не валяется. Но живем вприглядку. Хлеб видим, покуда он на корню...

— Везде порядки одинаковы,— уклончиво ответил Худяков и посмотрел на старинные ходики, висевшие на печном стояке, за зыбкой, потом для полной ясности взглянул за окошко, в поле.

Лукашин нисколько не обиделся: к делу так к делу — он и сам был не очень-то рад, что в такой день сидит за рюмкой. И потому начал прямо, без всяких подходов: выручай, мол, Аверьян Павлович, соседа. У тебя сенокос закончен, вся техника брошена на поля — чего тебе стоит дать одну жатку хоть на недельку.

Худяков махнул рукой:

— Ну, это пустое дело. Давай об чем-нибудь об другом.

— Да почему пустое? — загорячился Лукашин.

— А потому. Коня отдай соседу, а сам пешком — так, что ли? Да меня за такие дела колхозники со свету сживут. Скажут: из ума выжил старый дурак...

Лукашин попробовал припугнуть райкомом — разве не звонил ему только что Фокин? Получилось еще хуже: Худяков посмотрел на него с откровенной усмешкой: неужели, мол, ты это всерьез?

— Не по-соседски, не по-соседски, Аверьян Павлович,— заговорил другим голосом Лукашин.— Вон я недавно кино видел — «Кубанские казаки» называется. Так там, понимаешь, дружба у председателей — не разлей водой.

Худяков рассмеялся:

— А председатели-то кто там — забыл? Мужик да баба...

Шутка, видно, размягчила немного прижимистого хозяина. Он стал заметно разговорчивее и даже раза два выразился в том смысле, что помогать надо, без подмоги не прожить, а после того как Лукашин сказал, что он не задаром просит жатку, заплатит что положено, Худяков и вовсе запоглядывал весело.

— Ну, а что бы ты, к примеру, мне отвалил, а? — спросил он.— Я ведь такой купец: деньгами не беру.

— А чем же берешь? Натурой?

Худяков кивнул.

— Ну, насчет натуры извини. Сами вприглядку живем.

— Есть у тебя натура,— сказал Худяков.— Та, которая на лугах да на пожнях растет.

— Сено? — удивился Лукашин.— Нет, Аверьян Павлович, плохо ты районку читаешь. У меня сенокос, знаешь, на сколько выполнен? На шестьдесят пять процентов.

— Знаю. Да я не сено у тебя прошу. Ты мне покосишко какой уступи. К примеру, озадки на Марьюше. У вас они все равно под снег уйдут.

В общем-то, это верно — невпроворот у пекашинцев всяких сенокосов, в то время как Шайвола испокон веку обделена ими. Но легко сказать — уступи. А что скажет райком? Разбазаривание колхозных земель — так это называется?

— Ты бывал на войне? — спросил Худяков, глядя прямо в глаза.— Забыл, что там без риска не только дня, а и часу одного не проживешь?

— То на войне.

— Ну, как хочешь.— Худяков опять посмотрел на ходики.— А я тебе вот что скажу: чистеньким на нашем месте — не выйдет. А что касается этих самых покосов, то я их каждый год покупаю у соседей. И в районе, кому положено, знают это...



В конце концов Лукашин принял условия Худякова — другого выхода у него не было.

— Жатка у меня на той стороне, на вашей, — сказал Худяков, — хоть сегодня забирай. Только без шума. Не к чему на весь район звонить.

## Глава шестая

### 1

Августовский день был на исходе. Над главной улицей райцентра из конца в конец стояло красное облако пыли, поднятое возвращающимися из поскотины коровами, овцами и главной скотинкой районного люда — козами.

Лукашину с Чугаретти пришлось остановиться возле школы.

— У нас мужики тоже подумывают об этих бородатых коровах, — заговорил Чугаретти. — Петр Житов подсчитал это дело: кругом выгода. Корму в обрез — раз, и два — никаких налогов...

Лукашин вылез из кабины.

— Жди меня у Ступиных.

Это дом, где он обычно останавливался.

Чугаретти закивал головой — даже он понимал, что к райкому лучше не подъезжать на машине. Да и чего тут мудреного! Страда, председатели вкальвают на поле да позже за первого мужика, а тут на-ко, второй раз на дню в райком. Уборщица увидит и та руками разведет.

Гулко запели деревянные мостки под ногами, потянулись знакомые дома, конторы, потом впереди на повороте замаячил райком — пожар в окнах от вечернего солнца, а Лукашин все еще не решил, говорить ли ему с Фокиным о том, что рассказал Чугаретти, — на тот случай, конечно, если нет в райкоме Подрезова.

Чугаретти — дьявол его задери! — довел Лукашина до белого каления. Ему было строго-настрого сказано: не напивайся у шурина, не забывай, что тебе за рулем сидеть, — а он явился к реке — еле на ногах держится. Ну и что было делать? Лукашин загнал его в воду и до тех пор полоскал, пока тот не посинел от холода.

За реку ехали молча — Чугаретти дулся и чуть не плакал от обиды. Но разве он может долго молчать?

Только сели в машину — заскулил, как малый ребенок:

— Вот и служи вам после этого. Я, понимаешь, все секреты про Худякова вызнал, а вы меня как последнюю падлу...

— Ладно, — сказал Лукашин, — можешь оставить свои секреты при себе, а я тебя последний раз предупреждаю, Чугаев. Понял?

Чугаретти не унимался. Он опять стал пенять и выговаривать, а потом вдруг бухнул такое, что у Лукашина буквально глаза на лоб полезли: у Худякова на бывшем выселке по названию Богатка, где работает его шурина, не только телят откармливают, но и сеют тайные хлеба...

— Какие, какие хлеба? — переспросил Лукашин.

— Потайные. Которые налогом не облагают...

— Как не облагают?

— А как их обложишь? Какой уполномоченный пойдет на ту Богатку — за восемьдесят верст, к черту на рога? Нет, — сказал убежденно Чугаретти, — люди зря не будут говорить про сусеки с двойным дном...

Лукашин, никогда до этого не принимавший всерьез рассказы своего шофера, тут поверил сразу. Каждому слову.

«М-да,— думал он,— вот так Худяков!.. А я-то еще час назад ломал голову, как он умудряется концы с концами сводить. А оказывается вон что — потайные хлеба...»

Лукашин высунул голову из кабины. Они сворачивали к шайвольской мызе, где по записке Худякова он должен был получить у бригадира жатку.

— Поворачивай обратно! — вдруг распорядился он. — В район поедем.

Чугаретти всполошился:

— Только, чур, Иван Дмитриевич, меня не выдавать. Хо-хо?

— Хо-хо, хо-хо,— сказал Лукашин.

Вот так он и оказался второй раз на дню в райкоме.

Сперва, когда он услышал про тайные хлеба, он так вскипел, что на все махнул — и на жатку, и на коровник, и на дом (только бы на чистую воду вывести этого ловкача Худякова!), а сейчас, подходя к райкому, он уже не ощущал в себе первоначального мстительного запала. И даже больше того: глядя на чистое, в вечернем закате небо, он жалел о потерянном дне.

## 2

Подрезов был у себя, к нему была очередь: предрика, редактор районной газеты, директор средней школы — все народ крупный, не обойдешь, и Лукашин, чтобы не терять понапрасну времени, побегал цыганить, то есть клянчить по учреждениям и магазинам всякие строительные материалы — гвозди, олифу, стекло, замазку — и, конечно же, курева.

С куревом с этим была беда, в сельпо не купишь — только на яйца да на шерсть, и вот приходится председателю добывать не только для себя, но и для мужиков — иначе и на работу не дождешься. Теперь, правда, после выгрузки у пекашинцев было что дымить, но раз уж оказался в райцентре, надо побегать: кое-какой НЗ завести разве плохо?

В последнее время Лукашина частенько выручал председатель райпотребсоюза, с которым он познакомился близко на сплаве, но сегодня ничего не вышло — все служащие райпотребсоюза, в том числе председатель, были на уборочной в показательном колхозе.

Лукашин думал-думал, ломал-ломал голову и вдруг кинулся за дорогу, в орс леспромхоза. Не важно, что не Сотюжский леспромхоз, — система та же. И ему по всем статьям обязаны выплачивать калым. Во-первых, за землю — разве не на пекашинской земле стоит орсовский склад? А во-вторых, кто разгружает орсовские баржи?

И вот выгорело. Сорок пачек махры отвалил начальник орс да потом еще по собственной доброй воле накинул десять пачек «Звездочки». Это уж исключительно для него, Лукашина, чтобы он, как добавил, смеясь, начальник, не слишком притеснял Ефимка-торгаша...

В общем, через каких-нибудь полчаса Лукашин притащил к Ступиным, где его поджидал с машиной Чугаретти, целую охапку разного курева. А кроме того, в кармане у него лежала еще накладная на десять килограммов гвоздей — тоже из начальника орс выбил.

Гвозди нужны были позарез — вот-вот начнут крыть коровник, и потому Лукашин тотчас же послал Чугаретти на базу к реке — авось еще застанет там кладовщика.

— Я, кажется, задержусь немного,— сказал на прощанье Лукашин. — А ты на всех парах домой да по дороге, ежели не совсем те-

мень будет, прихвати жатку. А то утром за ней скатайся, пока то да се...

Окрыленный удачей, Лукашин от Ступиных направился в милицию, вернее к Григорию. Рубить ихний узел.

Григорий замучил их до смерти. На развод с Анфисой не соглашается — хоть ты башку ему руби. Это милиционер-то, страж законности! Затем — сколько еще разводить канитель вокруг дома? Ни тебе, ни мне. Ни я вам свою половину не продам, ни вашу не куплю. Живите в полузаколоченном доме! Давитесь от тесени в одной избе...

Как все-таки это хорошо, что на свете есть показательные колхозы! Всю жизнь клял их за иждивенчество, за то, что на чужом горбу едут, а сейчас, когда ему в милиции сказали, что Григорий с Варварой и двумя милиционерами на уборочной в показательном колхозе, он чуть не подпрыгнул от радости. Надо, вот как надо покончить с этим делом, но если можно отложить хотя бы на недельку разговор с Григорием, то он за то, чтобы отложить...

В приемной Подрезова, куда впопыхах примчался Лукашин — он все боялся опоздать, — по-прежнему томились редактор районки и директор средней школы.

— Евдоким Поликарпович знает, что вы здесь, — тихо и вежливо сказал помощник.

Лукашин поблагодарил и подсел к редактору — у того в руках был «Крокодил».

Редактор знал его — раза два был в Пекашине по поводу строительства коровника и даже чай пил у него, — но тут, в райкоме, на виду у портретов, которые взирали на них с двух стен, счел невозможным такое занятие, как совместное разглядывание веселых картинок в журнале, и, отложив его в сторону, стал расспрашивать, как поставлена в колхозе политико-воспитательная работа в связи с развертыванием уборочных работ на полях.

Лукашин отвечал в том же духе, в каком спрашивал редактор: политико-воспитательная работа поставлена во главу угла... политико-воспитательной работе уделяется большое внимание... политико-воспитательная работа — основа основ успеха, — а потом вдруг встал: вспомнил давешний разговор с Фокиным про парторга.

Интересно, интересно... Кого Фокин решил дать ему в комиссары? Лукашин прямо прошел в инструкторскую — не пошлют же в колхоз кого-нибудь из завотделами!

Тут было людно, в инструкторской: целая бригада сидела молодых здоровых мужиков, каких сейчас — по всей Пинеге проехать — ни в одном колхозе не найти. Одеты все одинаково — полувоенный китель из чертовой кожи и такие же галифе. Крепкая материя. Один раз схлопотал — и лет десять никаких забот...

Лукашин поздоровался, вытащил начатую пачку «Звездочки» — мигом ополовинили. Тоже и они, низовые работники райкома, до сих пор ударяют по «стрелковой».

Лукашин курил, перекидывался шутками — тут никто из себя номенклатуру не корчил, — присматривался потихоньку, но так и не решил, кого из этих молодцов прочит ему в комиссары Фокин. Народ все был малознакомый, новый, подобранный Фокиным: тот как-то на районном активе заявил, что все парторги на местах должны пройти выучку в райкоме.

— А где у вас Ганичев? — спросил Лукашин. — В командировке?

— Нет, собирается еще только.

Лукашин пошагал в парткабинет: где же еще искать Ганичева, раз на носу у него командировка?

Ганичев на этот счет придерживался железного правила: прежде чем заряжать других, зарядись сам.

«А как же иначе? — делился он своим опытом с Лукашиным, когда тот еще работал в райкоме. — Не подработаешь над собой — всю кампанию можно коту под хвост. Так-то я приехал однажды в колхоз. Бабы плачут, председатель плачет — тоже баба. У меня и получилось раскисание да благодушие... А ежели, бывало, подработаешь над собой, подзаправишься идейно как следует, все нипочем. Плачь не плачь, реви не реви, а Ганичев свою линию ведет».

Память у Ганичева была редкая. Он назубок знал все партийные съезды, все постановления ЦК, он мог свободно перечислить всех сталинских лауреатов в литературе, сказать, сколько у кого золотых медалей, и, само собой, чуть ли не наизусть выдавал «Краткий курс». С ним он не расставался, всегда носил в полувоенной кожемитовой сумке на боку, и, смотришь, чуть какая минутка выдалась — присел в сторонку и началась работа над собой.

Сейчас Ганичев один сидел в парткабинете, склонившись над столом с керосиновой лампой под зеленым абажуром, а что делал, не надо спрашивать: штурмовал труды товарища Сталина по языку.

Все теперь были заняты изучением этих трудов. Они появились в «Правде» как раз в сенокос — Лукашин в то время был на Верхней Синельге. И вот вызвали на районное совещание.

Сорок семь верст он проехал верхом почти без передышки, сменил двух коней, в районный клуб вошел, хватаясь руками за стены, — до того отхлопал зад.

Зал был забит до отказа, некуда сесть. И он уцепился обеими руками за спинку задней скамейки, на которой сидели такие же, как он, запоздавшие работяги, да так и стоял, пока Фокин кончил свой доклад.

А Фокин хоть по бумажке читал, но читал зажигающе:

— Товарищи! Труды товарища Сталина... мощным светом озаряют наш путь... идейно вооружают весь наш советский народ...

Последние слова докладчика Лукашин расслышал с трудом — они потонули в шквале аплодисментов, — да ему теперь было и не до них. Хотелось поскорее в парткабинет, хотелось самому своими глазами почитать.

Прочитал. Посмотрел в окно — там шел дождь, посмотрел на Сталина в мундире генералиссимуса и начал читать снова: раз это программа партии и народа на ближайшие годы, то должен же он хоть что-то понять в этой программе.

Несколько успокоился Лукашин лишь после того, как поговорил с Подрезовым.

Подрезов словами не играл. И на его вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем им, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать». И добавил самокритично, нисколько не щадя себя: «Ну, а насчет всех этих премудростей с языком я и сам не очень разбираюсь. К Фокину иди».

К Фокину, третьему секретарю райкома, Лукашин, однако, не пошел — страда на дворе, да и самолюбие удерживало, — а вот сейчас, когда он увидел за сталинскими работами Ганичева, решил поговорить: Ганичев — свой человек.

— Ну что, Гаврило, грызем? — сказал он.

Ганичев поднял высоко на лоб железные очки, блаженно заморгал натруженными голубенькими, как полинялый ситчик, глазами:

— Да, задал задачку Иосиф Виссарионович. Я попервости, когда в «Правде» все эти академики в кавычках стали печататься, трухнул маленько. Думаю, все, капут мне — уходить надо. Ни черта не понимаю. А вот когда Иосиф Виссарионович выступил, все ясно стало! Нечего и понимать этих так называемых академиков. Оказывается, вся эта писанина ихняя — лженаука, сплошное затемнение мозгов...

— А как же допустили до этого, чтобы они затемняли мозги?

— Как? А вот так. Сволочи всякой у нас много развелось, везде палки в колеса суют...

Лукашин вспомнил, как мужики на выгрузке толковали про сталинские труды.

— Слушай, Гаврило, а у нас поговаривают: вроде как диверсия это. Вредительство...

— А чего же больше? Ожесточение классовой борьбы. Товарищ Сталин на этот счет ясно высказался: чем больше наши успехи, тем больше ожесточается классовый враг. Смотри, что у нас делается. Даже в естествознании вылазку сделали, против самого Лысенко пошли...

Тут зазвонил телефон — Лукашина вызывали к Подрезову, — и разговор у них оборвался.

Ганичев сразу же, не теряя ни минуты, опустил со лба на глаза свои железные очки, и больше для него никого и ничего не существовало — он весь, как глухарь на току, ушел в свою зубрежку. И Лукашин с каким-то изумлением и даже испугом посмотрел на него.

Все в том же неизменном кителе из чертовой кожи, как четыре и восемь лет назад, когда Лукашин впервые увидел его, и дома у него худосочные, полуголодные ребятишки — все шестеро в железных очках, и сам он тоже в прошлом не от хорошей жизни маялся куриной слепотой. Но какой дух! Какая упрямая пружина заведена в нем!

Эта самая куриная слепота на Ганичева обрушилась летом в пяти километрах от Пекашина, на Марьиных лугах. И он всю ночь пробродил по росяным лугам, пока, мокрый, начисто выбившись из сил, не натолкнулся на колхозный стан. Но что сделал Ганичев после того, как взошло солнце и он снова прозрел глазами? Приказал скорей отвезти его в районную больницу? Нет, пошагал дальше, в дальний колхоз, где создалось критическое положение с сенокосом.

Над Ганичевым смеялись и потешались кому не лень, и сам Лукашин тоже не помнит случая, чтобы он расстался с ним без улыбки. А сейчас, в эту минуту, когда он смотрел на Ганичева, занятого самонакачкой, как шутили в райкоме, он не улыбался. Сейчас непонятная тоска, щемящее беспокойство поднялось в нем.

### 3

Подрезов стоял у бокового итальянского окна, как бык, упершись своим крепким широким лбом в переплет рамы, — верный признак того, что не в духе. А почему не в духе — гадать не приходилось.

С заготовкой кормов в районе плохо, строительство скотных помещений сорвано, план летних лесозаготовок завален. По всем основным показателям прорыв! А раз прорыв — значит, тебя лопатят на всех областных совещаниях и даже в печати расчесывают твои кудри. Каково? Это при его-то гордости да самолюбии!

Правда, в самом главном — в лесном деле — у Подрезова было оправдание: район переживал период реорганизации — от лошади перешли к трактору, от «лучка» к электрической пиле, словом, внедряли механизацию по всему фронту работ.

Но реорганизация реорганизацией — об этом можно иногда напомнить первому секретарю обкома, да и то когда он в хорошем настроении, — а срыв государственного плана есть срыв. И когда? В какое время? Два года подряд...

— Что скажешь?

То есть какого дьявола разъезжаешь по району, когда дорог каждый час? Вот как надо было понимать вопрос Подрезова.

— Насчет жатки хлопочу.

— А Худяков что? Не дал? — Подрезов уже знал про поездку Лукашина в Шайволу.

— Худяков вроде дает, да только за калым.

— Ну насчет калыма говорить не будем. Здесь райком, а не базар, — отрезал Подрезов. Это означало: договаривайтесь сами, а меня не вмешивать.

Ладно, подумал Лукашин, и на том спасибо.

— Сенокос гонишь? — Подрезов уже отошел от окна и, твердо ставя массивную ногу в запыленном, туго натянутом на мясистых икрах сапоге, зашагал по кабинету, красному от вечерней зари.

Лукашин доложил коротко, как обстоят у него дела, и вдруг ужасно разозлился. И на себя и на Подрезова.

Его не первый раз вот так принимает Подрезов, и благо бы на народе — тогда чего обижаться. Секретарь. Надо вожжи в руках держать. А то ведь он и наедине удилами рот рвет.

И вообще, что у них за отношения? Приятелями их не назовешь — Подрезов всегда стену ставит, — но и делать вид, что он, Лукашин, для Подрезова только председатель колхоза, тоже нельзя. Не каждому председателю позвонит первый секретарь: «Ну, как живешь-то? Заглянул бы, что ли...»

Лукашин заглядывал, они целую ночь пропадали на рыбалке, ели из одного котелка — казалось бы, свои в доску.

Черта лысого!

Через неделю, через две, когда Лукашин приезжал в райком на очередное совещание, Подрезов едва узнавал его, а уж колхоз пекашинский разделявал под орех...

Однажды после такого разделявания Лукашин месяца три не заходил к Подрезову в кабинет. И не только не заходил, но и всячески избегал прямых встреч с ним вплоть до того, что, увидев на улице хозяина района, демонстративно сворачивал на другую сторону.

Подрезов первый пошел на примирение. Да как!

Раз вышел из райкома со своей свитой — кто там такой храбрый шагает по мосткам на той стороне и не здоровается?

— Лукашин, ты?

— Я.

— А чего не подходишь?

— А чтобы не подумали, что подхалимничаю.

— Хорошо, — сказал Подрезов. — Раз ты не подходишь, я по-дойду.

И что же? Пошлепал через грязную дорогу на виду у всей свиты — здороваться с председателем колхоза...

— Ну, как Худяков? Видел хозяйство? — спросил Подрезов.

Лукашин молчал, хотя об этом-то он и собирался говорить. Не сплетничать, не доносить — это попервости только ему хотелось как

следует причесать своего соседа,— а разобраться прежде всего самому: как хозяйничает шайвольский председатель? Насколько верны эти рассказы насчет тайных полей?

В кабинет вошел сияющий помощник Подрезова.

— Телеграмма, Евдоким Поликарпович. Приятная.

Подрезов быстро развернул протянутый листок, пробежал глазами.

— М-да, род Подрезовых пошел в гору. У сына дочь родилась, так что я теперь дважды дед.— Он горделиво, по-молодецки вскинул свою большую умную голову и кивнул Лукашину: — Есть предложение двинуть ко мне. Как ты на это смотришь?

Лукашин замотал головой: нет. Он по всем статьям должен ехать домой, да и надоели ему эти перепады в подрезовском настроении. Но разве Подрезов отступится от своего?

— Нет, нет, пойдем. Да ты у меня еще и не бывал, так?

Потом вдруг снял трубку, сам позвонил в Пекашино: передайте Миминой — муж задерживается на совещании...

## 4

Подрезов жил недалеко от райкома в небольшом желтом домике с красивым, пестро разрисованным мезонинчиком.

Кроме этого мезонинчика, у дома была еще одна достопримечательность — кусты черемухи и рябины, посаженные тут еще старым хозяином, доверенным знаменитых пинежских купцов Володиных. Но Подрезов кусты эти основательно поукоротил — он любил, чтобы жизнь била в его окна.

Света в верхнем этаже, где жил Подрезов, несмотря на поздний час, не было, но сам Подрезов несколько не удивился этому.

По крутой лестнице высокого, на столбах, крыльца они поднялись наверх, вошли в сени.

Подрезов чиркнул спичку. На той стороне длинных сеней обозначились зыбкие переплеты черной рамы, дверь сбоку с большим висячим замком.

— Иди туда. Замок это так, вроде пугала. А я сейчас.

Лукашин по-ребячьи, совсем как в далеком детстве, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, пошагал в темноту, потом долго шарил по стене, отыскивая замок.

Яркий свет ударил ему в глаза, когда он наконец открыл дверь: Подрезов с лампой в руке встречал гостя у порога.

— Устраивайся. А я буду хозяйничать. Женку не трогаю. Она у меня нездорова.

Запели, заходили половицы под ногами увесистого хозяина, захлопали двери — Подрезов раза три выходил в сени. На столе, накрытом старенькой клеенкой, появилась квашеная капуста, соленые грибы, редька.

— Тебя упрекал как-то — без рыбы живешь, а у меня тоже небогато. Тоже на лешье мясо<sup>5</sup> больше нажимаю. А надо бы рыбки-то достать... Чего все глазами водишь? Непривычно?

Лукашину действительно было непривычно. Столярный верстак, рубанки, фуганки, стамески, долота... Самая настоящая столярка! И у кого? У первого секретаря райкома.

— Не удивляйся,— сказал Подрезов,— я ведь, брат, по специальности столяр. Не слыхал? Да и столяр-то, говорят, неплохой. Поезжай

<sup>5</sup> Грибы.

в верховье района — там и теперь шкафы моей работы кое у кого стоят. Мне двенадцать, что ли, было, когда меня отец стал с собой по деревням таскать... И вот когда в райком запрягли, специально это хозяйство завел. Хоть для разминки, думаю. Черта лысого! Забыл, как и дерево-то под рубанком поет. А ведь когда-то я с закрытыми глазами на спор мог сказать, что в работе — елка там, сосна или береза... По звуку...

Подрезов налил гостю, себе, чокнулся, выпил. Потом, смачно хрустя капустой, смущенно подмигнул:

— Ну, еще какие вопросы будут? В разрезе автобиографии первого? Образование — начальное, семейное положение — женат. Старший сын — техник. Ребенком вот обзавелся. Дочь — учительница. Замужем. И тоже с приплодом. Так что я по всем статьям дед.

— А сколько же этому деду лет?

— Мне-то? А как ты думаешь?

— Ну, думаю, лет на пять, на шесть меня старше, не больше.

Подрезов довольно захохотал, слезы навернулись на его голубых, с бирюзовым отливом глазах.

— Ты с какого? С девятьсот шестого? Так? Так. Подрезова, брат, не надуешь. Всех своих коммунистов знаю. А в войну и лошадей по кличкам знал. По всему району, во всех колхозах. Бывало, к примеру, твоей Анфисе звонишь. «Нету, нету лошадей, Евдоким Поликарпович!» Как так нету? А Туча где у тебя? А Партизан? А Гром? Мининой и крыть нечем.

— А все-таки сколько же тебе лет? — спросил Лукашин.

— Хм... Нет, я тебя маленько помоложе. По годам, — как бы мимоходом бросил Подрезов. — С девятьсот седьмого. Знаю, знаю — старше выгляжу. Не ты первый удивляешься. Я, брат, рано жить начал — в этом все дело. Знаешь, сколько мне было, когда я первый раз женился? Семнадцать. — Подрезов смущенно заулыбался. — А жене моей двадцать один, и я ее ученик...

Заметив недоверчивый взгляд Лукашина, ухмыльнулся:

— Думаешь, сказки рассказывает Подрезов? Нет, правды не пересказать. Выру, речку, знаешь? Приток Пинеги? Ну дак я белый свет, а вернее, ели да сосны на этой самой Выре впервой увидел. Там моя родина. Выселок. За девяносто верст от ближайшей деревни. Беглые солдаты когда-то, говорят, скрывались. Школы до революции, понятно, не было — двадцать домов население. И вся твоя академия — псалтырь да библия, да и то по вечерам, когда ты уж лыка не вяжешь. Я с восьми лет стал за верстак, а в десять-то я уж рамы колотил... И вот когда мне повернуло уж на семнадцать, приезжает к нам учительница. Первая. Культурную революцию делать. В одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году...

— Памятный год, — сказал Лукашин.

— Слушай дальше! — нетерпеливо перебил Подрезов и так разошелся, что даже кулаком по столу стукнул. Как на заседании. — Ты когда город впервые увидел? Не помнишь, поди, такого? Ни к чему. А я до шестнадцати лет не то что города, а и человека-то городского не видел. Понимаешь, что такое был для меня приезд Елены? — Подрезов налил в стакан водки, жадно выпил. — Да-а... А школы-то в Выре нету — где делать культурную революцию? Ну, я ребят кликнул — с этого и началась моя общественная деятельность: построили к осени школу. И вот где пригодилось мое столярство! Старики на дыбы — не надо школы, под старину подкоп, зараза мирская: староверы все у нас были... Меня дома братья да отец дубасят — из синяков не вылезаю. Но и я упрямый. Даром что пенек лесной, а сообразил: нельзя



без школы. В общем, построили школу — пятистенок на два класса да еще горенка для учительницы. Да-а... — Подрезов широко улыбнулся. — Школу-то мы построили, а первое сентября подошло — ни одного ученика. Не пустили родители: «Мы без школы жили, и дети проживут». Ну, я опять пример подал: пришел, сел за парту — учи. В общем, весной результаты такие: у меня на руках свидетельство за начальную школу, а у Елены брюхо...

— Способный ученик!

— Ну, ты! — Подрезов свирепым взглядом полоснул улыбнувшегося Лукашина. — Знай, где губы распускать. Девка одна-одинешенька. Как среди волков... Матрена у нас была. Старуха. Ни разу в мир за свою жизнь не выезжала. Чтобы святость соблюсти, с никонианами не опоганиться. Да и эта Матрена, знаешь, что сделала? Ночью школу соломкой обложила да жаровню живых угольков притащила... Ладно, не сердись. Когда человека топят, разве он разглядывает, какое бревно под руку попало? Да я, уж если на то пошло, и бревно-то не последнее был. Лес на школу под выселок приплавил — никто лошади не дает. И помощнички у меня — соплей перешибешь. Я один среди них жернов. В дедка. Тот у нас в восемьдесят лет изгонял дьявола из плоти. Да и что я сделал? На себе, вот на этом самом горбу, перетаскал от реки бревна. Она, Елена, в жизни своей такого не видала. А история со стеклом была! Охо-хо!.. Все готово: пол набран, потолок набран, окна окосячены, рамы сделаны, одного не хватает — стекла. А стекло за девяносто верст, в деревне, и навигация на нашей Выре только ранней весной да поздней осенью, когда паводки. А так порог на пороге — в лодке не проехать. И вот я ждал-ждал дождей да и пошел камни в порогах пересчитывать. Привез стекло. Через сто десять порогов и отмелей протащил лодку. Вот какая у меня любовь была! Да и разве она могла устоять перед такой силой?

Подрезов взялся рукой за свой тяжелый, круто выдвинутый вперед подбородок, мрачно уставился в стол.

Ничего-то мы друг про друга не знаем, подумал Лукашин и, прислушиваясь к шумно прогрохотавшей под окном машине (не Чугаретти ли опять загулял?), спросил:

— А Елена твоя... Что с ней?

— Нету. В тридцать первом отдала концы... — Подрезов помолчал, махнул рукой: — Ладно, кончили вечер воспоминаний...

Однако Лукашина так взволновал подрезовский рассказ, что он не мог не спросить, отчего умерла Елена.

— От хорошей жизни, — буркнул Подрезов. — Можно сказать, я сам ее зашиб. Ты знаешь, сколько во мне тогда этой силы лесной, окаянной было? Жуть! Я как вырвался на просторы из своей берлоги — мир, думаю, переверну. В восемнадцать председатель сельсовета — ну-ко, поставь нынешнего сосунка на такое дело! В двадцать председатель коммуны... Потом дальше — больше. Первая пятилетка, коллективизация — вся жизнь на дыбы. Меня как бревно в пороге швыряло. Сегодня в лесу, завтра на сплаве, послезавтра в колхозе... По трем суткам мог не смыкать глаза. Лошади подо мной спотыкались да падали, а тут городская девчонка... Пушкинка... Да чего там — дубы пополам ломались, а она уж что...

— Да, было времечко, — с раздумьем сказал Лукашин. — Ух, работали!

— Еще бы! — подхватил Подрезов. — Мир воздвигался новый. Социализм строили. Сейчас сколько у нас в лесу техники, тракторов, узкоколейку делаем... А ты знаешь, что в начале тридцатых годов мы лошадкой да дедовским топором миллион кубиков давали! Миллион!

Одним районом. Вот ты у Худякова сегодня был. Какой, думаешь, у него рекорд в тридцатые годы был? Сто двадцать кубов в день при норме в три... Вася Дурьнин с ним соревновался — на войне мужика убили. Прочитал это в районке, аж заплакал от расстройства. «Ну, говорит, черева из меня вон, а достану Худякова...»

— Кстати, насчет Худякова,— сказал Лукашин.— Что это у него за тайные поля?

Подрезов рывком поднял свою гривастую голову, по-секретарски сдвинул брови:

— Это еще что такое?

— Говорят. На Богатке телят откармливает и хлеб сеет. А налоги с того хлеба не платит...

— Ерунда!

— Ничего не ерунда.

— А я говорю, ерунда! — рывкнул Подрезов.

Лукашина начала разбирать злость. Чего глотку показывать? Где они? На бюро райкома? Он вовсе не хотел бы наговаривать на Худякова (избави боже!), но раз Подрезов делает вид, что ему ничего не известно,— молчать?

— А откуда же у него, по-твоему, хлеб в колхозе, а?

— Откуда?

— Да, откуда?

— А оттуда, что он работать умеет. Хозяин!

— Ах вот как! Хозяин. Работать умеет. А другие не работают, другие баклуши бьют. Так?

— Да! — рубанул Подрезов.— Ты который год свой коровник строишь?

Это был удар ниже пояса. Лукашин вскочил на ноги, выпалил:

— А ежели так будет дальше... ежели так выгребать будут... еще десять лет не построю!

— Ты думаешь, что говоришь? Кто это у тебя выгребает?

— А ты не знаешь кто? За границей живешь?

— Советую: не распускай сопли! — опять с угрозой в голосе сказал Подрезов.— А то смотри — схлопочешь...

— Когда печать колхозную сдавать? Сейчас? Или на бюро райкома сперва вызовешь?

Подрезов медленно отвел голову назад, наверняка для того, чтобы получше разглядеть своего гостя. Но разглядеть его он не успел — Лукашин уже громыхал половицами в коридоре.

## Глава седьмая

### 1

Вышли из дому рано — ни одного дымка еще не вилось над крышами, серебряными от росы. И было прохладно, даже зябко. А когда добрались до болотницы да начали в тумане пересчитывать ногами старые мостовины, Лизе и вовсе стало не по себе.

Но Степан Андреевич был весь в испарине, как если бы они шли в знойный полдень, и шагал тяжело, шаркая ногами, с припадом.

И Лиза опять в который уже раз сегодня спрашивала себя: а правильно ли она делает, что больного старика одного отпускает на пожню?

Степан Андреевич первый заговорил с ней о дальнейшей жиз-

ни. Так и спросил вечер, когда она вернулась с коровника: как жить думаешь, Лизавета?

Она заплакала:

— Какая у меня теперь жизнь...

— А я твердо порешил: как ни вздумаешь жить, а передние избы твои. Я и бумагу велю составить...

Вот тут-то она и разглядела своего свекра, поняла, каково ему. Ведь не только ее переехал Егорша — переехал и деда своего. На-ко, ждал-ждал внука домой, думал — хоть последние-то годы во счастье поживу, а тот взял да как обухом по старой голове: на сверхсрочной остаюсь...

— Татя, да ты с ума сошел! Какие мне передние избы? Ты что — порознь со мной хочешь?

— Да я-то что...

— Ну и я что... Вот чего выдумал: передние избы тебе... Да у нас Вася есть... Васю растить надо... Нет уж, как жили с тобой раньше, так и дальше жить будем...

Степан Андреевич слезами умывался от радости: нет, нет, не хочу заедать твою молодую жизнь. А сегодня встал как до болезни — о восходе солнца — и на Синельгу. На пожню. Нельзя, чтобы Вася без молока остался!

И Лиза сама помогала старику собираться, сама укладывала хлебы в котомку...

— Ты, татя, почаще отдыхай, — наставляла она сейчас шагавшего сзади нее свекра. — Никуда твоя Синельга не убежит. Всяко, думаю, к полудню-то попадешь. Да сегодня не робь — передохни. Ведь не прежние годы...

Через некоторое время, когда стали подходить к Терехину полю — тут век прощаются, когда на Синельгу провожают, — она опять заговорила:

— Да Васе-то какой-никакой шаркунок сделай. А время будет, и коробку из береста загни. Побольше, чтобы солехи с бору носить. Нету у нас коробки-то — та, старая, лопнула... А я все ладно скоро проведу тебя. Да не убивайся, смотри у меня. Иной раз и днем полежи на поже. Хорошо на вольном-то воздухе, полезно... А без коровы не жили — как-нибудь и вперед прокормим. Ведь уж Михаил не допустит, чтобы Вася без молока остался...

Она передала старику ушатику, котомку, бегло обняла его и не оглядываясь побежала домой: боялась, что расплатится...

## 2

От завор<sup>6</sup> Лиза пошла было болотницей, той самой дорогой, которой шла со свекром вперед, да вдруг увидела на новом коровнике плотников — как самовары по стенам наставлены — и круто повернула налево: сколько еще избегать людей? Ведь уж как ни таись, ни скрытничай, а рано или поздно придется выходить на народ.

И вот заставила себя пройти мимо всех бойких мест — мимо колодцев, мимо конюшни (тут даже с конюхом словцом перекинулась: когда, мол, лошадь дашь за дровами съездить?), а дальше и того больше — подошла к новому коровнику да начала на глазах у мужиков собирать свежую щепу.

Петр Житов жеребцом заржал со стены:

<sup>6</sup> Проезд в изгороди.

— Лизка, мы с тебя за эту щепу натурой потребуем...

И она еще игриво, совсем как прежде, спросила:

— Какой, какой натурой?

Все-таки щепу она не донесла до дому — рассыпала возле большой дороги у колхозного склада. Потому что как раз в ту минуту, когда она задворками вышла к складу, из-за угла выскочила легковушка с брезентовым верхом, точь-в-точь такая же, на какой, бывало, шоферил Егорша, и не останавливаясь, шумно, с посвистами прокатилась мимо, а она так и осталась стоять возле дороги, накрытая вонючим облаком пыли и гари.

После этого Лиза уже не храбрилась. Шла от склада к дому и глаз не вытирала. Только когда вошла к себе в заулок да увидела Раечку Клевакину, начала торопливо заглатывать слезы.

Не любила она при Раечке выказывать свою слабость. При ком угодно могла, только не при Раечке. И дело тут не в том, что та дочь Федора Капитоновича, которого Пряслины с войны терпеть не могут. Дело в самой Раечке, в ее изменчивом характере.

Сохла-сохла всю жизнь по Михаилу, вешалась-вешалась на шею, а тут подвернулся новый учитель — и про все забыла, за легкой жизнью погналась. Вот за это и невзлюбила Лиза Раечку. Невзлюбила круто, исступленно, потому что нравилась она ей, и уж если на то пошло, так лучшей жены для брата Лиза и не желала.

— Что, невеста? Скоро свадьба? — спросила Лиза, подходя к крыльцу, возле которого стояла Раечка. (Только о свадьбе ей и спрашивать теперь!)

Раечка полной босой ногой ковыряла песок под углом — для Васи насыпан. Большую ямку проковыряла. Да и вообще вид у Раечки был несвадебный. Хмуро, с затаенной тоской глянула ей в лицо.

— Зайдем в избу, — предложила Лиза. — Чего тут под углом стоять?

Зашли. А лучше бы не заходить, лучше бы оставаться на улице. Все разбросано, все расхристано — на столе, на полу (сразу двоих собирала — и старого и малого), — неужели и у нее теперь такая же жизнь будет, как эта неприбранная изба?

— Райка, у тебя глаз вострый. Посмотри-ко, нет ли у меня какой соринки в глазу? — схитрила Лиза.

Она потянула Раечку к окошку, к свету, а у той, оказывается, у самой на глазах пузыри.

— Вот тебе на! Да у тебя сорина-то, пожалуй, еще больше, чем у меня.

Раечка ткнулась мокрым лицом ей в грудь, глухо застонала:

— Меня тот до смерти замучил...

— Кто — тот? Учитель?

— Ми-и-и-ишка-а-а...

— Михаил? — удивилась Лиза. — Наш Михаил?

— Да...

— Ври-ко давай...

— Он... Тут который раз встретил вечером... Выйди, говорит, к ометам соломы...

— Ну и что?

Раечка жгла ей своими слезами голую шею, грудь, но молчала. Котлом кипела, а молчала. Потому что дочь Федора Капитоновича. Гордость. И Лиза, уже сердясь, тряхнула ее за плечи:

— Ну и что? Чего у вас было-то?

— Он не пришел...

— Куда не пришел? К ометам, что ли?..

— Да...

— И только-то всего? Пстой-пстой! — вдруг вся оживилась Лиза. — А когда это было-то? Не в тот ли вечер, когда он с мужиками на выгрузке был? Вином-то от него пахло?

— Пахло...

Лиза с облегчением улыбнулась — наконец-то распутался узелок:

— Ну дак он не мог прийти в тот вечер. Никак ему нельзя было.

Раечка недоверчиво подняла голову.

— Правда, правда! У нас в тот вечер ребята прикатили — Петька да Гришка... Подумай-ко, устраивал, устраивал их Михаил в училище, а они взяли да домой. По Тузку соскучились... Что ты, было у нас тогда делов. И теперь еще не знаем, что с ними. Как на раскаленных угольях живем...

У Раечки моментально высохли глаза, она стала еще красивее, а Лиза смотрела-смотрела на нее и вдруг ужасно рассердилась на себя: зачем, кого она утешает? Какое горе у этой раскормленной кобылы?

Она резко встала и сама удивилась жестокости своих слов:

— Худо тебя припекло, за жабры не взяло. Скажите на милость, как ее обидели! Час у омета вечером выстояла. Да когда любят понастоящему-то, знаешь, что делают? Соломкой стелются, веником под ноги ложатся... А ты торгуешься, как на базаре, все у тебя расчеты... Насыто, насыто плачешь — вот что я тебе скажу... Михаила она испугалась! Да Михаил-то у нас на копейку возьмет, а на рубль вернет... Слыхала это?

Раечка мигом просияла. На улицу выбежала — и горя и слез как не бывало.

Лиза сняла со стены зеркало, присела к столу. Не красавица — это верно. Не Раечка Клевакина. И скулья выпирают, и глаза зеленые, как у кошки. Да разве только красивым жить на этом свете? А то, что она три года, три года, как собака верная, ждет его, служит ему, — это уж ничего, это не в счет? А в прошлом году приехал на побывку на два дня, потому что, видите ли, дружков-приятелей в городе и в районе встретил, — сказала она ему хоть словечушко поперек? Наоборот, стала еще от деда и брата защищать: хватит, мол, вам человека мылить. Хоть и погуляет сколько — не беда, солдатскую службу ломает...

В избе она не стала прибираться — первый раз в жизни махнула на все рукой. Да, по правде сказать, и некогда было — на коровник пора бежать.

### 3

Никогда в жизни не ездила Лиза больше трех раз за травой на дню, а сегодня съездила четыре и поехала еще — пятый. Поехала для того, чтобы вырветься.

И она ревела.

По лугу ходил вечерний туман, яркая звезда смотрела на нее с неба, а она каталась по мокрой некошеной траве, снова и снова терзала себя:

— За что? За что? За какую такую провинность?

За эти два дня и две ночи она перебрала все, припомнила всю свою жизнь с Егоршей — как и что делала, когда и какие слова говорила (можно было припомнить, немного они и жили — две недели) — и нет, не находила за собой вины. Не в чем ей было каяться. А уж если и винить ее в чем, так разве только в молодости. Тут она виновата. Выскочила семнадцати лет, зелень зеленью — какая же из нее жена?

В кустах жалобно горевала какая-то птаха (тоже, может, брошенка?), а на деревне кто-то веселился — лихо наяривал на гармошке...

Лиза села, начала перевязывать намокший от травы платок.

Никто еще не знал, не ведал о ее беде. Она даже брату слова не сказала. А ведь узнают, придет такой день — начнут перемывать косточки.

— Слыхала, страсти-то у нас какие?

— Какие?

— Лизку Пряслину Егорша бросил.

— Ври-ко?

— А чего врать-то? Правды не пересказать.

— Да за что бросил-то? Месяца не жили...

— А уж это ты у его спроси. Ему лучше знать...

И Лиза мысленно уже представляла себе, с каким пакостным любопытством присматриваются к ней при встречах бабы: есть, есть какой-то изъян, раз муж бросил...

Нет, нет! Не будет этого. Не будет!

Она решительно вскочила на ноги, без тропинки, напрямик побежала к Дуниной яме.

Об этой Дуне, какой-то разнесчастной пекашинской бабе или девке, утопившейся в застойном омуте возле берега, Лиза думала еще днем. Кто она такая? Из-за чего нарушила себя? Может, и ее муж кинул?

Мокрая трава била ее по коленям, мокрые кусты хлестали ее по лицу, по глазам... Остановилась, когда из-под ног комьями посыпалась в воду глина.

Густой белый туман косматился над Дуниной ямой, и холодом, ледяным холодом несло из ее черных непроглядных глубин...

Господи, да как же она, окаянная, о своем Васе-то забыла? С ребенком-то что будет? А свекор? Он-то как, старый старик, будет один маяться без нее?

Лиза пошла назад. Сперва тихонько, еле переставляя ноги, а потом побежала бегом: коровы уж час добрый как пришли из поскотины — чем они-то виноваты?

## Глава восьмая

### 1

Анфиса торопилась. Солнышко сворачивало на обед, и вот-вот должен явиться Иван с Подрезовым, а у нее еще и пол не мыт.

Подрезов задал им сегодня работы. Ввалился утром с шумом, с грохотом:

— Встречайте гостя!

Ну и как было не встречать. Барана зарезали (ох, вспомнят они про этого барана, когда время подойдет мясной налог платить!), мукой белой разжились — она нарочно к реке, на склад к Ефимку-торгашу, бегала. А как же иначе? Не простой гость, не деревенский — чего сунул, и ладно. Хозяин района. Хоть разорвись, хоть наизнанку вывернись, а сделай стол.

И она делала. Варила свежие щи, тушила баранину с молодой картошкой, опару для блинов заранее растворила — чтобы без задержки, с жару, с пылу подать на стол.

Но надо правду говорить: без радости все это делала. Не нравилась ей эта дружба Ивана — ни раньше не нравилась, ни теперь. Она еще как-то понимала — съездить вместе на рыбалку, при случае поси-

деть вдвоем за бутылкой, а как понять, к примеру, сегодняшний фокус Подрезова? Пяти часов не прошло, как расстались, а он уж катит к ним. Дети, что ли, они — друг без дружки жить не могут? А потом, как же это председателю с первым секретарем дружить? А ежели у тебя в колхозе завал, а ежели ты своим колхозом весь район назад тянешь — тогда как?

Нет, она на этот счет думала без затей: секретарь к председателю зашел чаю выпить, пообедать — это нормально, это спокон веку заведено, а председателю ходить на дом к секретарю незачем. И даже нельзя. Потому что слух разнесется — ты любимчик у секретаря, ох, нелегко жить будет.

Обо всем этом Анфиса хотела поговорить с мужем сразу же, как только тот на рассвете приехал от Подрезова, но не решилась. Надо сперва хорошенько подумать, прежде чем со своим мужем разговаривать, — вот до чего у них дошло.

Размолвки меж ними, само собой, случались и раньше — как же без этого в семье? — но размолвки только до ночи. А ночь примиряла их. Ночь сводила их воедино и душой и телом — они любили друг друга со всем пылом людей, не успевших израсходовать себя в молодости.

Теперь они спали врозь.

Первый раз Иван лег от нее отдельно в тот вечер, когда вышла эта история у орсовского склада.

Она знала: нельзя ей туда ходить. Ивану и без того на каждом шагу чудится, что она в его дела вмешивается, его наставляет. И все-таки пошла. Пошла ради самого же Ивана. Думала: мужики пьяные, Иван в судорогах — долго ли разругаться в пух и в прах? А вышло так, что хуже и придумать нельзя... А через день у них с Иваном опять была ссора. И ссора снова из-за того же Петра Житова.

Петр Житов приперся к ним на дом: нельзя ли, дескать, травы за болотом, напротив молотилки, пособирать — женка присмотрела?

— Нет, — буркнул Иван, — ты и так пособирал.

Это верно, поставили Житовы стожок на Синельге воза на два, да разве это сено для коровы на зиму?

Она решила замолвить за Петра словечко — как не замолвишь, когда тот глазами тебя ест?

— Давай дак, председатель, не жмись. Не все у нас с одной ногой.

Сказала мягко, необидно, а главное, с умом: любой поймет, почему Петру Житову разрешено.

Нет, глазами завзводил, как будто она первый враг его. А Петр Житов тоже кремешок: раз ты так, то и я так. Ищи себе другого бригадира на коровник, а я отдохну.

— Смотри только где отдохнешь, — припугнул Иван.

Анфиса только руками всплеснула: ну разве можно так разговаривать с человеком?

— Ну, довольна? — заорал на нее Иван, когда Петр Житов ушел от них. — Опять мужа на позор выставила? Вот, мол, какая я, мужики, заступница ваша, а то, что мой муж делает, это не моя вина...

Она смолчала, задавила в себе обиду.

## 2

Хозяин с гостем пришли не рано, во втором часу, так что Анфиса все успела сделать: и обед приготовить, и пол подмыть — праздником сияла изба, — и даже над собой малость поколдовать.

Платье надела новое, любимое (муж купил!) — зеленая травка по

белому полю, волосы на висках взбила по-городскому и сверх того еще ногу поставила на каблук: наряжаться так наряжаться.

В общем, распустила перья. Подрезов, привыкший видеть ее либо на работе, либо за домашними хлопотами, не сразу нашелся что и сказать:

— Фу ты черт! Ты не опять взамуж собралась?

Но Подрезов — бог с ним: посидел, уехал, и все. Муж доволен был. Вошел в избу туча тучей — не иначе как Подрезов только что мылил (вот ведь как дружбу-то с таким человеком водить), а тут увидел ее — заулыбался.

Анфиса сразу повеселела, молодкой забежала от печи к столу.

— Ну как, Евдоким Поликарпович, наше хозяйство? — завела разговор, когда сели за стол. — Где побывали, чего повидали?

— Хозяйство у вас незавидное. А знаешь, почему?

— Почему?

Она ждала какого-нибудь подвоха — уж больно не по-секретарски заиграли у Подрезова глаза, — но поди угадай, что у него на уме!

А Подрезов шумно, с удовольствием втягивая в себя носом душистый наваристый пар от щей — она только что поставила перед ним большую тарелку, — подмигнул, кивая на Ивана:

— А потому что больно часто его мясом кормишь. Не в ту сторону настраиваешь.

Шутка была обычная, мужская, и ей бы тоже надо от себя подбросить огонька — вот бы и веселье получилось за столом, а ее бог знает почему повело на серьезность.

— Нет, Евдоким Поликарпович, — сказала она, — не часто нынче едят мясо в деревне. В налог сдают. И мы не едим.

— А это что? Из бревна варено? — Подрезов размашисто ткнул пальцем в свою тарелку. Он все еще шутил.

— А это я овцу свою недавно зарезала.

— Для меня? — Подрезов сразу весь побагровел.

Иван стриганул ее глазами: ты в своем уме, нет? А ее как нечистая сила подхватила — не могла остановиться:

— Да чего на меня зыркать-то? Евдоким Поликарпович без меня знает, как в деревне живут. А ежели не знает, то сам глаза завесил.

— Кто завесил? Я?

— А то нет? — Поздно было уже отступить. Разве закроешь сразу плотину, когда вода хлынула? — Я-то не забыла еще, как ты в сорок втором году к нам приехал. Помнишь, Новожилов помер и тебя первым назначили? Ну-ко, вспомни, что ты тогда нам говорил?

— Есть предложение выпить, — сказал, чеканя каждую букву, Иван. Специально для нее, чтобы одумалась.

— Нет, обожди, — сказал Подрезов. — Пускай уж до конца говорит.

— А чего говорить-то? — Анфиса тоже начинала горячиться: муж рот затыкает, словно она невесть что мелет, гость набычился — вот-вот рявкнет. — Разве сам-то не помнишь? «Бабы, потерпите! Бабы, после войны будем досыта исть...» Говорил? А сколько годов после войны-то прошло? Шесть! А бабы все еще терпят, бабы все досыта куска не видели...

Анфиса, покамест говорила, нарочно не глядела в сторону мужа, чтобы все высказать, что на сердце накипело, зато когда отбарабанила — озноб пошел по спине. Нехорошо, ох, нехорошо получилось. Подрезов у них гость, и разве такими речами гостя угощают? А насчет мяса так она и вообще зря разговор завела. Кто поймет ее как надо?

Подрезов не ел, муж не ел — она не глазами, ушами видела это.



И она кусала-кусала свои губы, ширкала-ширкала носом, как просту-  
женная, и — только этого и недоставало — вдруг расплакалась.

— Ты уж не сердись на меня, Евдоким Поликарпович. Сама не  
знаю, как все сказала. Может, оттого, что я ведь тоже не со стороны  
на все это глядела... Я ведь тоже бабам так говорила...

— Но здесь не бабы! — отрезал Иван.

Она хотела встать — чего давиться слезами за столом, — но рука  
Подрезова властно удержала ее.

— Анфиса, мы с тобой когда-нибудь пили?

— Вино?

— Да.

— С чего? Я ведь у тебя в любимчиках не ходила. Ты меня все го-  
ды в черном теле держал...

— Так уж и держал?

— Держал, — сказала Анфиса. — Чего мне врать?

Подрезов налил граненый стакан водки. Полнехонький, с краями,  
воплавь, как говорят в Пекашине. Поставил перед ней.

— Выпей, Анфиса, со мной. Только не отказывайся, ладно?

Вот так именитого-то гостя принимать: то сивер на тебя нагонит,  
то жар. Ну а как своя, домашняя гроза?

Выпей! — приказал глазами Иван.

Анфиса голову вскинула по-удалому, по-бешабашному: сама ко-  
ней в топь завела, сама и на зелен луг выводи.

— За такого гостя можно выпить.

— Нет, не за гостя, — сказал Подрезов.

— А за кого же?

— За кого? А ни за кого. За то, что мы с тобой тут, на Пинеге,  
фронт в войну держали...

Выпила. По уму сказал слова Подрезов. Чуть не половину стакана  
опорожнила, а потом и того хлестче: дно показала. Иван виноват.  
Сказал бы — стоп, и все. А то не поймешь, чего и хочет. Выпей, а как  
выпей — все или только пригуби? А Подрезов — известно: покуда на  
своем не поставит, не слезет. «Выпей! Докажи, что зла на меня не  
держишь...»

И вот Анфиса глубоко вздохнула, набрала в себя воздуха, как  
будто в воду нырнуть хотела, прислушалась (как там сын в задосках?)  
и — будем здоровы.

Минуты две, а то и больше никто не говорил — не ждали такого,  
и в избе до того тихо стало, что она услышала, как в своей кровати  
зевнул во сне Родька.

Первым заговорил Подрезов:

— Да, значит, я обманщик, по-твоему, Анфиса? Да?

«Так вот ты зачем меня вином накачивал! Чтобы выпытать, что  
о тебе думают. А я-то, дура, уши развесила, думала — он труды мои  
вспомнил».

— А сам-то ты не знаешь! — сказала Анфиса и прямо, без всякой  
боязни глянула в светлые пронзительные глаза Подрезова. — А по мне  
дак человек, который слова не держит, обманщик. Вот ты по колхозам  
ездишь. Не стыдно в глаза-то людям глядеть? А мне дак стыдно...

— Ты опять про свое? — цыкнул Иван.

— А про чье же еще? — Она и на него глянула во все глаза.

— Да пойми ты, дурья голова, от секретаря все зависит? Ду-  
маешь, он всему голова?

— А кто же? Разве помимо евонной воли каждый год у нас вы-  
гребаловку делают? Чьи — не его уполномоченные с утра до ночи  
возле молотилок стоят?

— Правильно, Анфиса, мои, — сказал Подрезов. — Только пока-

мест без этой выгребаловки, видно, не обойтись. Про войну забываешь.

— Ничего не забываю. А только докуда все на войну валить? Чуть кто вашего брата против шерсти погладил — и сразу война. Да ведь войны-то и раньше бывали. После той, гражданской, уж на что худо было! Гвоздя не достанешь, соли не было — кислое молоко в похлебку клали. А года два-три прошло — ожили. А теперь карточки уж который год отменили, а деревенскому человеку все в лавке хлеба нету, только одним служащим по спискам дают. Долго это будет? А скажи-ко на милость, трава каждый год под снега уходит, а колхознику нельзя для коровенки подкосить — тоже война виновата?

— Ну, села на любимого конька...

— Села! — с запалом ответила мужу Анфиса. — И тебе это говорю: не умеешь с народом жить, все войной, все войной на людей, за каждую охапку сена калишь...

— Да если их не калить, они колхозное стадо без кормов оставят! И так ни черта не работают.

— А по мне дак больно еще хорошо работают. За такую плату...

Иван выскочил из-за стола, забегал по избе, а она, Анфиса, и глазом не повела. Бегай!

Как-то она стала Петра Житова совестить (Олена попросила): зачем, мол, ты, Петя, все пьешь? «А затем, чтобы человеком себя чувствовать», — ответил ей Петр Житов. — Я, когда выпью, ужасно смелый делаюсь. Никого не боюсь». И вот, наверно, вино и в самом деле смелости прибавляет. Сейчас она тоже никого не боялась — ни мужа, ни Подрезова.

Правда, Подрезов сегодня вроде и не Подрезов вовсе. У нее крепы в голове и в горле лопнули — чего ни наговорила, как его ни разделала, в другой раз и подумать страшно, что было бы. А сегодня сидит, слушает и чуть ли еще не оправдывается.

— Я тебе только одно скажу, Анфиса, — заговорил Подрезов, когда Иван снова сел за стол. — Не у нас одних трудно. В других краях и областях не лучше живут. Это я тебе точно говорю.

— Больному не большая радость от того, что его сосед болен, — сказала Анфиса.

И опять ее стало подмывать, опять потянуло на разговор — вот сколько накопилось всего за эти годы!

Но тут Иван напомнил Подрезову, что им пора ехать.

— Куда? — удивилась Анфиса.

— На Сотюгу думаем, — сказал Подрезов. — Надо сено там у вас и у водян посмотреть, а заодно и рыбешки пошуровать. — Покосился на нее мужским взглядом и весело добавил: — Чтобы ты его посылнее любила.

— А я и так мужа своего люблю. Без рыбы! — с вызовом ответила Анфиса и, чего никогда не бывало с ней на людях, потянулась целовать его.

Иван, конечно, осадил ее — нож по сердцу ему всякие нежности на виду у других, — но она выдержала характер, чмокнула в нос, а потом запела: вот когда по-настоящему вино заходило.

— Чем людей-то пугать, сходила бы лучше за лошадьми.

— Нет, давай уж сами! — захохотал Подрезов. — Ей сейчас и конюшни не найти.

— Мне не найти? — Анфиса вскочила на ноги, лихо стукнула кулаком по столу — только стаканы звякнули. — Нет, врешь! Найду!

Ее качнуло, она ухватилась за спинку кровати, но у порога выровнялась и на улицу вышла с песней.

## §

Когда в прошлом году Анфиса смотрела кино под названием «Кубанские казаки», она плакала. Плакала от счастья, от зависти — есть же на свете такая жизнь, где всего вдоволь!

А еще она плакала из-за песни. Просто залилась слезами, когда тамошняя председательница колхоза запела:

Но я жила, жила одним тобою,  
Я всю войну тебя ждала...

Это про нее, про Анфису, была песня. Про ее любовь и тоску. Про то, как она целых три долгих военных года и еще почти год после войны ждала своего казака...

И вот сейчас она шла, пошатываясь, по дороге и выводила свою любимую. Во весь голос.

Из коровника выбежали скотницы — кто поет-гуляет? Строители перестали топорами махать, тоже вкогтились в нее глазами, ребятишки откуда-то налетели видимо-невидимо...

А, ладно, смотрите на здоровье. Не часто Анфиса гуляет. Кто видал ее хоть раз пьяной после войны?

Конюха на месте не оказалось — за травой уехал или лошадей под горой перевязывает, но кто сказал, что ей помощник нужен? Всю войну по целым страдам с кобылы не слезала, так уж заседлать-то двух лошадей как-нибудь сумеет!

Она широко распахнула ворота конюшни, смело прошла к стойлам — лошадь любит, когда с ней уверенно обращаются, — вывела сперва Мальчика, затем Тучу.

Туча — смиренная, сознательная кобыла, и она быстро ее оседлала, а Мальчик как черт: крутится, вертится, зубами лязгает — не дает надеть на себя седло.

— Стой, дьявол! Стой, сатана!

Она взмокла, употела и ужарела, пока подругу под брюхом затянула, а потом конь вдруг взвился на задние ноги — все полетело: и привязь Ефимова полетела — чего со старичонки требовать? — и она сама полетела. Прямо в песок перед воротами конюшни, в пыль истолченный конскими копытами.

— Мальчик, Мальчик, куда?

Она вскочила, побежала вслед за конем туда, к старому коровнику, где громом небесным стонала земля.

Только добежала до коровника — Мальчик обратно: тра-та-та-та... Чуть не растоптал. Пролетел, мало сказать, рядом — брызгами залепил лицо.

Сколько заворотов он сделал от конюшни до скотного двора? Может, десять, а может, двадцать. Седло съехало под брюхо, сам от пыли гнейдой стал (это Мальчик-то, черный как смола!), а она все бегала, месила горячий песок между конюшней и коровником. До тех пор, пока его, окаянного, не перехватила Лизка. У колоды с водой возле колодца.

Анфиса кое-как подняла с брюха на спину седло, затянула подругу, попросила Лизу:

— Отведи его, бога ради, лешего, к нам, а я сейчас.

Она стянула с себя пыль — до слез жалко было нового платья, — заправила назад потные, растрепавшиеся волосы, пошагала к коровнику — к мужикам. Напрямик, не дорогой, по свежераспаханному песку.

Подошла к стене, задрала вверх голову, бросила:

— Сволочи, нелюди вы! Вот кто вы такие!

А кто же как не сволочи? Самые разнастоящие сволочи! Она, баба, целый час моталась за конем по жаре, по песку, и хоть бы один из них пошевелился. Расселись по стене туесами да знай ржут, скалят зубы — весело!

Петр Житов закричал:

— Лукашина! — Знает, когда как называть. — Остановись! Дай тормоза...

Не остановилась. И не оглянулась даже.

Всю жизнь она за людей своих горой стояла. С начальством из-за них всегда лаялась, мужа постоянно пилит из-за них: «Иван, полегче! Иван, дай людям жить!» А они-то сами дают Ивану жить?

Нет, худо еще давит вас Иван. Худо. Нынешний мужик без погоняла палец о палец не ударит. А как же председателю-то быть? Председатель-то не может, как они, плюнуть да махнуть на все рукой.

Хмель совсем вышел из головы. Она заторопилась, побежала домой. Где Родька? Как Иван уедет без нее?

## Глава девятая

### 1

За Пекашином, как только спустишься с красной глиняной горы да переедешь Синельгу, начинаются мызы и поскотина.

Поскотина — еловая сырь, заболоть с проклятой ольхой да кочкарником, где все лето изнывает комар, — справа, вдоль Пинеги. А мызы — по левую руку, на мохнатых лесистых угорах.

Мыз в Пекашине десятки — они тянутся чуть ли не на пять верст, вплоть до Копанца, и у каждой мызы свое название: по хозяину, по местности, по преданию — поди-ко запомни все.

Местному жителю легче. Местный житель с детства незаметно для себя постигает эту лесную грамоту. А каково приезжому? Как запомнить названия навин<sup>7</sup> — там на сотни счет? Как разобраться с покосами? Синельга Верхняя, Синельга Нижняя, Сотюга, Вырда, Нырза, Марьюша... Одиннадцать речек! И по каждой речке пожни: иссады, бережины, мысы, наволоки, чищанины, ламы... — сам черт ногу сломит.

Лукашин за пять лет овладел этой лесной грамотой вполне. Он знал почти все названия на очень сложной и путаной пекашинской карте. И вздумай, к примеру, сейчас Подрезов устроить ему экзамен, он бы запросто перечислил и самые мызы, мимо которых они проезжали, и те предания, которые у пекашинцев связаны с ними.

Но Подрезов молчал. Сидел в седле, покачивал своей крупной головой в такт поступи коня и изредка посматривал по сторонам — то на Пинегу, серебряно вспыхивающую справа в просветах между елей, то на угоры, щедро расшитые красными узорами поспевающей брусники.

Мальчик — а Лукашин уступил ему своего коня — был уже в испарине. Нелегко, видно, привыкать к новому седоку. Да Подрезов по сравнению с ним и грузен был. Жиру лишнего вроде нету, а увесистый — то и дело всхрапывает конь от натуги.

Заговорил Подрезов, когда поравнялись с высоким старым пнем, на который гордо, как петух, вылез ярко-оранжевый, в белую крапину мухомор.

— Грибов много наносил?

<sup>7</sup> Н о в и н ы, или н а в и н ы, — поля, раскопанные в лесу.

— Раза два ходил с женой.

— А я ни разу. Не ел еще в этом году лесовины от своих рук.

За Согрой, узеньким, но беспокойным ручьем, стало светло и весело: пошли легкие, лопочущие осинники по угорам, березовые рожицы с зелеными лужайками справа, за дорогой. Лошади сами, без всякого понукания перешли на рысь.

Стали попадаться кое-где пустоши — заброшенные поля.

Дико: в войну бабы да ребятишки распахивали эти поля, а после войны забросили. И так было не в одной только «Новой жизни». Так было и в других колхозах. Председателей мылили, песочили, отдавали под суд — ничего не помогало: пустошей становилось больше год от году.

Копанец начался полевыми воротами с засекой, или, по-местному, осеком, который отгораживает его от поскотины.

Но была у Копанца сейчас и еще одна примета — грохот жатки, который Лукашин услышал за километр, а может, и за два.

— Ты езжай, Евдоким Поликарпович, я догоню. Мне к Пряслину надо заглянуть.

— К Михаилу? Это он наяривает? — Подрезов указал на рослый березняк, из-за которого доносился шум.

— Он.

— Валяй. Я тоже гляну.

Росстань на Копанец — торная, широкая, но только до Михейкиной избы, вернее, до старого пепелища, до груды камней и чащобы крапивника, где стояла когда-то изба.

Михей Харин, хозяин этой избы, первый из пекашинцев раскопал поля на Копанце и лет за пять стал самым богатым человеком в деревне — вот какая тут земля. Черная, жирная, без навоза родит.

Зато уж попадать на этот Копанец с машиной — всю матушку со всей России соберешь, как говорят в Пекашине. И небольшая бы канава, в засушливое лето даже не напешься, да грунт тут такой, что не только лошадь — человека не держит.

В первые годы после войны пекашинцы каждый год строили мост, а потом отступились. Потому что вороватые водяне (они тут рядом, за рекой) все, что ни построй, разберут и увезут на дрова.

И вот единственный выход — крепкий мужик.

У Михаила Пряслина на берегах Копанца произошла целая битва: кустарник, жерди, кряжи, наваленные в канаву, измочалены до белого мяса.

Лукашин и Подрезов спешились у канавы, привязали к кустам лошадей и пошли пешком на треск и грохот жатки, которая как раз в это время появилась на закрайке поля, возле канавы.

Михаил спокойно, даже равнодушно смотрел на выходящего из кустов Лукашина, но когда увидел сзади него Подрезова, мигом вытянул шею, привстал, а потом бух-бух — напрямик через несжатый ячмень навстречу.

Сперва поздоровался с ним, с Лукашиным, но бегло, на ходу и без всякой радости, зато уж с Подрезовым — снимай кино: руки вытер о штаны, рот до ушей и куда девалась всегдашняя хмури!

Лукашин понимал: кому не лестно — первый секретарь райкома на поле к тебе пожаловал! Рассказов и воспоминаний хватит на год. Но было обидно. Он вчера специально гонял на Копанец Чугаретти — отвези табак Михаилу, и даже пачку «Звездочки» накинул, от себя урвал, а Михаил даже спасибо не сказал.

— Ты совсем как отец стал. Понял? — сказал Подрезов. — Только у того волос посветлее был. А насчет этого ящика, — Подрезов крепко

кулаком стукнул парня по смуглой, мокрой от пота груди, внушительно проглядывавшей из расстегнутого ворота старой солдатской гимнастерки, так что звон пошел, — а насчет этого ящика ты, пожалуй, даже перещегоолял отца.

Михаил заулыбался, закрутил запотевшей на солнце головой.

— Учти, председатель, такого богатыря в других колхозах у нас нема.

Подрезов сказал это не без умысла, он любил и умел похвалить нужного человека. Молодежь в колхозах после войны не держалась, а если и попадались где изредка парни, то их не скоро и от подростков отличишь: худосочные, мелкорослые, беззубые — одним словом, военное поколение.

Михаил Пряслин тоже был с военными отметинами. Лоб в морщинах-поперечинах — поле распаханное, не лоб. Карий глаз угрюмый, неулыбчивый — видал виды... Но все это замечаешь, когда хорошенько всмотришься. А так — залюбуешься: дерево ходячее! И сила — жуть. Весной на выгрузке по два мешка муки таскал, а один раз, на похвас, — Лукашин сам видел — даже три поднял.

Подбодрив Михаила словом, Подрезов пошел к жатке, чтобы самому сделать круг. Это уж обязательно, это его правило: не только перекинуться словом с рабочим человеком, но и залезть в его, так сказать, рабочую шкуру. Хотя бы на несколько минут. Тем более что Подрезов все умел сам делать: пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, орудовать багром, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод. И надо сказать, людей это завораживало. Лучше всякой агитации действовало.

Так было и сейчас.

Объехав два раза поле, Подрезов остановил лошадей возле Лукашина и Михаила, слез с жатки, растер руки — надергало с непривычки вожжами.

— Ничего колымага идет, — сказал он, кивая на жатку. — Сколько даешь?

— В день? — спросил Михаил. — Гектара три.

— Мало, — сказал Подрезов. — Четыре можно.

— Ну да, четыре, — недовольно фыркнул Михаил и заговорил с секретарем как равный с равным. — Больно жирно! Сколько тут одних переездов, поломок!..

Подрезов и не подумал обижаться. Когда речь заходила о работе, он не чинился. Наоборот, любил, чтобы с ним спорили, возражали, доказывали свою правоту.

— Ты знаешь, на чем проигрываешь? Круги маленькие делаешь. Заворотов много.

— Ерунда! Как большие-то круги делать, когда тут кругом межи да пни?

— А вот это уж председателя надо за штаны брать. Долго ваши пни выкорчевать? Видимость одна. Когда тут расчистки делали? Лет тридцать — сорок?

Лукашин мог на это возразить: до корчевки ли теперь здесь, на Копанце, когда у них рядом, под боком, зарастают кустарником поля? Но Подрезов уже пошагал к шалашу.

Шалаш стоял на открытой веселой поляне, под пушистой елью, густо осыпанной розовой, налитой смолой шишкой. Крыша двойная: и собственное перекрытие, и сверху еще навес из еловых лап. Никакой дождь не страшен.

Отмахиваясь от комаря, Подрезов заглянул в шалаш, высланный свежим сеном.

— Тут ночуешь?

— Иной раз тут,— ответил Михаил.— Коней-то не все равно за пять верст гонять.

Подрезов кивнул на Тузика, не спускавшего с него глаз,— казалось, и тот разбирался, кто тут главный.

— Ну, с таким зверюгой не страшно. У тебя все в порядке? — И сразу же предупредил: — Насчет фуража не говори. Мне и Анфиса всю плешь переела. Да и вообще сам знаешь: пока первую заповедь не выполним, никакой речи быть не может.

Михаил, казалось, проникся государственной озабоченностью хозяина района — по крайней мере, принял его слова как должное.

— Ну так что же? Есть ко мне вопросы? — повторил Подрезов.

Михаил поглядел на Тузика, зажавшего меж лап берестяное корытце, из которого его кормили, покусал губы: что бы такое спросить, чтобы и Подрезова не поставить в неловкое положение и чтобы в то же время было важно для него, Михаила?

Вспомнил!

— Да, вот что, Евдоким Поликарпович! У меня тут соплёносые — братишки, значит, натворили... Помните, еще в училище ремесленное помогали мне их устраивать?

— Помню. Как же!

— Ну дак не знаю, что теперь с ними. Тут недавно домой прибежали. Вишь, по этому шпингалету соскучились... — Михаил кивнул на Тузика.— Не видали, без них завел. Ну, я, конечно, дал им задний ход, сразу отправил. А вот письма нету больше недели. Может, уже отчислили?

— Ладно, вернусь с Сотюги — позвоню в обком. Там поговорят с кем надо. Думаю, все будет в порядке.— И Подрезов крепко, по-бульдожьей сомкнул челюсти, словно зарубку у себя в голове сделал.

Михаил до самой канавы провожал их.

Уже выехав на дорогу, Лукашин оглянулся назад. Михаил все еще стоял на берегу Копанца, высокий, широкоплечий, с ног до головы вызолоченный мягким августовским солнцем, и улыбался.

## 2

Самый красивый бор, какой знал Лукашин на Пинеге, это Красный бор. Между Копанцем и Сотюгой.

Лес — загляденье: сосняк да лиственница. Это со стороны Пинегги. А на север от дороги, там, где посырее, — ельник, пекашинский кормилец.

Всего полно в этом ельнике. В урожайные годы грибов да ягод — лопатой гребь. В прошлом году, например, Лукашин с Анфисой на каких-нибудь пять-шесть часов выезжали, а привезли домой ушат соlex, ушат брусники да корзину обабков<sup>8</sup>.

Само собой, была на этом бору и дичь. Осенью, когда по первому морозцу едешь, то и дело вспархивают стайки пугливых рябчиков, а иногда, случается, и самого батюшку глухаря поднимешь — просто пушечный выстрел раскатится по гулкому лесу.

Но самое удивительное, самое незабываемое, что видел на этом бору Лукашин,— олени.

Было это два года назад. Он возвращался домой с Сотюги, с покосов, рано утром, когда только-только поднималось над лесом солнце. Спал он в ту ночь мало, от силы часа три, и ехал шагом, дремля в седле. И вдруг какой-то шорох и треск в стороне от дороги.

<sup>8</sup> Грибы для сушки

Он поднял отяжелевшую ото сна голову, и у него перехватило дух — алые олени. Летят во весь мах к нему по белой поляне и солнце, само солнце несут на своих ветвистых рогах...

Олени эти оказались вещими. Дома, когда он подъехал к крыльцу, его встретила Анфиса неслышанной радостью: у них будет ребенок.

До войны такие боры, как Красный, шумели по всей Пинеге. А война и послевоенная разруха смерчем, ветровалом прошлись по ним. Стране позарез нужен лес, план год от году больше, ну и что делать? Как не залезть с топором в приречные боры, когда и древесина тут отборная и вывозка — прямо катать в реку?

Выжить Краснобору в эти тяжкие времена, как это ни странно, помогла его бесхозность и ничейность. Дело в том, что на Красный бор издавна претендовали две деревни — Пекашино и Водяны. Одно время, чуть ли не сразу после революции, бор принадлежал водянам — деревня их тут рядом, за рекой. Потом Краснобором снова сумели завладеть пекашинцы. Да не просто завладеть, а на этот раз закрепить свои права в государственном акте о колхозных землях.

«Не согласны!» — сказали несговорчивые водяне и недолго думая послали бумагу прямо в Москву.

И вот это-то бесхозное положение Красного бора и отводило от него до сих пор топор. Иной раз, кажется, уже всё — капут красноборскому сосняку, а потом вдруг вспомнят про бумагу, которая где-то по Москве гуляет, — и ладно, давай поищем что-нибудь другое.

У Лукашина улыбка заиграла, как только они въехали в бор: сразу два белых гриба. Красавцы такие в беломошнике возле самой дороги стоят, что хоть с лошади слезай.

— Надо будет на обратном пути прочесать немножко этот лес, — кивнул он Подрезову.

Подрезов не ответил. Его тяжелое, массивное лицо, еще недавно такое живое и веселое, сейчас было хмуро и мрачно, как озеро, на которое вдруг налетел сиверко.

Что ж, подумал Лукашин, Сотюжский леспромхоз (а он был не за горами) — это и есть для первого секретаря сиверко. План по лесозаготовкам не выполняется второй год, рабочая сила не задерживается, строительство железной дороги — сам черт не поймет, что там делается... А кто в ответе за все? Первый секретарь.

Когда за рекой на угоре засверкали белые крыши новых построек сотюжского поселка, Подрезов не оборачиваясь (он ехал впереди) направил своего коня к перевозу, и в этом, конечно, ничего особенного не было: как же хозяину не заскочить на такой объект? Ведь и он, Лукашин, не проехал мимо Копанца. Но почему не сказать, не предупредить его, как это водится между товарищами? В конце-то концов не на бюро же райкома они! И Лукашин, сразу весь внутренне ошетинившись, съязвил:

— Показательные работы здесь тоже будут?

Подрезов покачал головой:

— Нет, показательных работ здесь не будет. — Потом помолчал и со свойственной ему прямоотой признался: — В этом-то вся и штука, что я не могу здесь показательные работы развернуть. Там, где бензин, я пасую. Я только в тех машинах разбираюсь, которые от копыта заводятся. Понял?

Они переехали вброд за Сотюгу, медленно поднялись в гору.

Бывало, когда тут заправлял еще Кузьма Кузьмич, у самой речки встречали с а м о г о — каким-то нюхом угадывали приезд. А сейчас директор леспромхоза вышел к ним только тогда, когда они подъехали к конторе и слезли с лошадей.



Вышел молодой, самоуверенный, светловолосый, и никакого заискивания, никакой суеты. Лукашин оказался к нему ближе, чем Подрезов, и что же — обошел его, к первому секретарю кинулся? Ничего подобного! Сперва его руку тиснул, а потом уже протянул хозяину.

Инженер Зарудный сейчас был самым популярным человеком в районе. О нем говорили повсюду — на лесопунктах, в райцентре, в колхозах. Во-первых, должность. Шутка сказать — директор первого механизированного леспромхоза в районе, предприятия, с которым связано будущее всей Пинеги. А во-вторых, он и сам по себе был камешек, из которого искры сыплются.

Три директора было на Сотюге до Зарудного, и все три ходили навтыяжку перед Подрезовым. А этот сосунок по годам, два года как институт окончил — и сразу зубы свои показал.

Вызвал его однажды Подрезов к себе на доклад да возьми и уйди на заседание райисполкома. И вот Зарудный посидел каких-то полчаса-час в приемной, а потом вырвал листок из блокнота, написал: «Товарищ первый секретарь! У меня, между прочим, тоже государственная работа. А потому прошу в следующий раз назначать время точно».

Записку передал помощнику Подрезова, а сам, ни слова не говоря, обратно. На Сотюгу.

Конечно, выкинь такой номер кто-нибудь другой, из своих, местных, Подрезов устроил бы ему сладкую жизнь. Но что сделаешь с человеком, которого прислали из треста? Прислали специально для того, чтобы поставить на ноги Сотюжский леспромхоз.

— Ну как ты, со мной пойдешь или к своим заглянешь? — спросил Подрезов Лукашина.

Судя по тону, Подрезову явно не хотелось, чтобы он присутствовал при его разговоре с директором леспромхоза.

И Лукашин сказал:

— Пожалуй, к своим.

— Добре. Тогда в твоём распоряжении полтора часа.

### 3

Лукашин не был в поселке на Сотюге больше года и теперь, идя по нему с лошадьё в поводу, просто не узнавал его. Развороченный муравейник! Все разрыто, везде возводятся новые дома, ремонтируются и отстраиваются старые. Стук и грохот топоров, десятков четырех, не меньше (не то что в Пекашине!), заглушал даже звон молотков и наковален в кузнице, а она стояла сразу за поселком, возле ям с водой, из которых когда-то брали глину.

Илья Нетесов выбежал из кузницы, когда Лукашин еще и людей-то в ее багряных недрах как следует не разглядел. Выбежал в парусиновом, до блеска залощенном фартуке — и с ходу обнимать.

Раньше Илья жил неподалеку от кузницы в просторном брусчатом домике, а сейчас привел его в какую-то живопырку, где размещалась не то кладовка, не то сушилка.

Тесень была страшная, и, наверно, поэтому ребята — два диковатых черноглазых мальчика и девочка — кувыркались на широкой железной кровати, которая занимала почти всю комнату.

Лукашин полюбопытствовал:

— За какие это грехи ты в немилость попал?

Илья заморгал своими добрыми голубоватыми глазами — не слышал.

— За что, говорю, тебя в такую каталажку закатали?

— А-а, нет, не закатали. Это у нас уплотнение теперь по всем линиям. Я-то еще хорошо. А есть по две, по три семьи вместях. Сам директор в конторе живет.

— Да ну?!

— Так, так. Видишь, навербовали людей отовсюду — с Белоруссии, с Украины, со Смоленщины, а жилья не подготовили. Сам знаешь, много ли у нас бараков. Тесень, тесень... В бане уж которую неделю не моемся — и там люди живут. А многие в соседних деревнях приютились — мотаются взад-вперед. Не продумали. С самого начала леспромхоз на живу нитку тачали...

— А почему? — Лукашину давно хотелось хоть немного разобрататься в сотюжских делах, о которых теперь даже в областной газете пишут.

— А потому перво-наперво, — начал с обычной своей рассудительностью объяснять Илья, — что леспромхоз затеяли, а леса вокруг вырублены. Значит, выход какой — железная дорога. А она у нас все еще на десятой версте...

— Ну, а как новый директор?

— Евгений-то Васильевич?

Илья и тут подумал — не из тех, кто попусту сорит словами.

— Характеристику со всех сторон не дам, меньше году человек работает. Да и часто ли его я вижу из своей кузницы? Ну, а против прежних директоров — чего говорить? Голова. Все знает, во всем разбирается. Трактор, к примеру, поломался — механики копаются-копаются, все ничего, покуда директор сам не возьмется. Ну и об людях заботу имеет. Мы тут до него месяцами зарплату не получали, банк все какие-то тормоза ставил как предприятие, не выполняяши план, а Евгений Васильевич живо порядок навел. И в столовой с кормежкой получше стало...

С улицы донеслось тревожное ржанье и перебор копыт. Лукашин высунулся из открытого окошка, погрозил неумным бесенятам Илья, которые, конечно же, вились вокруг Тучи, привязанной к сосне.

— А я про самовар-то и забыл, — спохватился вдруг Илья, но Лукашин наотрез отказался от чая и снова стал пытаться Илью про сотюжское житье-бытье.

— А я думаю, ежели Евгений Васильевич по молодости не сорвется да кое-кто не обломает ему рога, дело будет.

Лукашин вопросительно скопил глаз:

— А кто ему может обломать рога? Подрезов? Да, скучать нам, кажется, не придется. Два медведя в одной берлоге... Ну а сам-то ты как, Илья Максимович? Не раздумал насчет переезда?

— Нет, решено — на зиму домой. В думках-то хотел еще к уборочной, да, вишь, Зарудный, Евгений Васильевич, стал упрашивать: постучи, говорит, еще недельки две в кузнице...

Лукашин, кажется, впервые за все время, что сидел у Илья, вздохнул полной грудью. Его всегда занимали сотюжские дела, он с неподдельным интересом расспрашивал Илью про молодого директора, но если говорить начистоту, то затаенная мысль его все время, пока они разговаривали, вертелась вокруг самого Илья: не передумал ли? Вернется ли в Пекашино? И дело было не только в том, что Илья — кузнец каких поискать. У Лукашина во всем Пекашине не было человека ближе его. Первая опора во всяком деле. Уж на него-то можно положиться. Не за Петром Житовым пойдет — за ним.

Все же Лукашин решил честно предупредить Илью:

— Не знаю, Илья Максимович, может, тебе и не стоит спешить. Леспромхоз против колхоза — сам знаешь...

Илья ничего не ответил. Он только тяжело вздохнул и посмотрел

в красный угол, туда, где у верующих висят иконы. У него там висела увеличенная фотография покойной дочери. Под стеклом, в еловом веночке, перевитом красной лентой.

Лукашин обвел глазами другие стены.

— Нету Марьиной карточки,— сказал Илья.— Всю жизнь прожила, а так ни разу и не снялась...

Да, подумал Лукашин, вот она, жизнь человеческая. Будет, будет сытно в Пекашине, обязательно будет, может, рай даже будет. А только будет ли счастлив в этом раю Илья Нетесов? Без Вали, без жены...

— Ну, ладно, Илья Максимович, завтра к вечеру буду в Пекашине, зайду к твоим на могилы. Что передать?

Илья опять ничего не ответил.

## Глава десятая

### 1

Веселая, речистая река Сотюга.

Ясным страдным вечером едешь — заслушаешься: на все лады поют, заливаются пороги. А сегодня сколько километров отмахали — и полная немота. Захлебнулись пороги. Начисто. Как в половодье.

— Может, повернем обратно? — сказал Лукашин.— Какая уж рыбалка в такую воду...

Подрезов вместо ответа огрел коня плеткой.

Они гнали вovsky. До Рогова, старых лесных барачков, где их ждала лодка и сетки, оставалось еще километров восемь, а солнце уже садилось — красной стеной возвышался на той стороне ельник.

— Поедем мысами,— предложил Подрезов, когда впереди на голый щелье<sup>9</sup> замаячила сенная избушка. То есть той дорогой, которой в страду ездят косари,— вдвое ближе.

Лукашин махнул рукой: согласен. Правда, ехать мысами — значит, раз десять пропахивать вброд Сотюгу, но что делать? Ведь если они и смогут добраться до Рогова засветло (а в темноте там и лодки не найти), то только этим путем.

Первый брод — под Еськиной избой — проскочили легко, только воду взбурлили, за второй тоже не плавали, а под Лысой горой едва не утонули. И все, конечно, из-за упрямства Подрезова.

Лукашин ему доказывал: выше брод, у черемушника, там, где две колеи сползают в речку, а Подрезов — нет и нет, везде под Лысой горой брод.

Коня вздыбил, на стремена привстал — Чапай да и только,— а через минуту пошел пускать пузыри, в самую яму втяпался.

— Ноги, ноги высвобождай! — заорал что есть силы Лукашин и, ни секунды не раздумывая, кинулся на помощь.

Деликатничать было некогда — он схватил первого секретаря за шиворот и просто стащил с коня.

После этого Мальчик быстро выбрался из пучины, а кобыле Лукашина пришлось туго: двух человек вытаскивала одна.

О том, чтобы ехать дальше, не могло быть и речи: вымокли до нитки и надо было немедленно разводить костер.

На их счастье, дрова разыскивать не пришлось: березовый сушняк белым частоколом стоял в покати холма, напротив брода. А вот

<sup>9</sup> Приречный крутой берег.

насчет огня хоть караул кричи. Спички у обоих превратились в кашу, изба сенная, где наверняка последними ночлежниками по обычаю Севера оставлен коробок со спичками, за рекой.

Снова стали перебирать и выворачивать карманы, и вот повезло — у Подрезова в пиджаке оказалась светленькая зажигалка: давеча, когда ехал в Пекашино, взял у шофера из любопытства — новая, — да и сунул по рассеянности к себе в карман.

Руки у обоих ходили ходуном, стучали зубы — от сырости, от вечернего холода, а еще больше от страха: а вдруг и зажигалка подведет.

Нет, есть, есть бог на свете: проклюнулся огонек. С первого щелчка.

Подрезов прямо в руки Лукашина — он пытал счастье — начал совать берестяные ленточки, и скоро забушевал огонь.

Первым делом они просушили одежду — наверно, целый час два голых мужика скакали вокруг жаркого костра в алом березовом сушняке, — потом принялись за обогрев изнутри. Крутым пунчем — полкружки горячего, с огня, чая и полкружки водки.

Подрезов мало-помалу стал приходить в себя. Еще недавно белое, как береста, лицо его раскалилось докрасна. Громовые раскаты появились в голосе.

— Жалко, что здесь застряли, — сказал он. — А то бы мы сегодня с рыбой были.

— А по-моему, нечего жалеть, — возразил Лукашин. — Кто по такой воде за рыбой ездит?

— Вот именно что по такой. Курью под Роговом знаешь? Старое речичье? Ну дак в такую воду, как нынешняя, рыба просто лезом лезет в эту курью. На зеленку. Только сетью горло перегороди — и вся с тебя забота.

В вечернем тумане на мысу задорно и чисто вызванивал подзвонки, который Лукашин перед выездом из поселка повязал своей кобыле: урчала и причмокивала вода в Сотюге, потом вдруг над их головой со свистом разорвался воздух — похоже, утиная стая пронеслась мимо.

Лукашин с живостью поднял голову, посмотрел на розовый от костра круг в черном небе, а Подрезов не пошевелился. Сидел грузно на коряге, помещивал палкой в огне: должно быть, все еще не мог примириться с постигшей их неудачей.

Лукашин дососал подсушенную на огне папироску, встал. Ночь предстояла длинная, холодная, и надо было сходить за сеном: рискованно в такое время на голой земле лежать.

## 2

Сток был поблизости, за кустарником справа (тут, на Сотюге, Лукашин был как у себя дома), и он быстро обернулся.

Подрезов все так же сидел, склонившись над огнем, но без рубахи, точь-в-точь как солдат на фронте, когда того донимала шестиногая скотинка.

Лукашин пошутил, бросая на землю охапку сена:

— У нас сегодня по всем линиям война...

— Тебе весело, да? А у меня по всему телу красные пятна. — Подрезов вдруг смутился и начал натягивать на себя рубаху. — Иной раз бюро, пленум, надо мозгами ворочать, а я как в огне. Мне кричать, драться хочется, все крушить к чертовой матери...

— А медицина что?

— Медицина... Медицина известно: надо солнце, надо морские купанья, спокойную жизнь... В позапрошлом году я был на курорте — год человеком жил, а нынче разве выберешься...

Над костром огромным снопом взметнулись искры — это Подрезов сгоряча бросил в огонь целый березовый кряж.

После молчания он вдруг сказал:

— А в общем-то, я обманщик... Права твоя Анфиса...

— Чего права? Это ты все насчет того давешнего разговора? Брось! Мало ли чего наскажет пьяная баба...

— Нет,— покачал головой Подрезов,— правильно она сказала. Накормить людей досыта — это всем задачам задача. Посмотри ведь, что у нас делается.— Подрезов начал загибать пальцы.— Сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый... Четыре года войны... да шесть после войны... Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба...

Лукашину теперь понятно стало, почему так мрачен сегодня первый секретарь. Не только, оказывается, из-за Сотюжского леспромпхоза, который камнем висит у него на шее, но и из-за того разговора, который у них был перед поездкой на Сотюгу.

Он подбросил сена Подрезову — садись по-человечески! — сказал:

— Так будем хозяйничать, еще десять лет не накормим.

— А ты, между прочим, тоже хозяин. Почему плохо хозяйничаешь?

— Я хозяин? Ну-ну! Видал ты такого хозяина, который за одиннадцать копеек валенки продает, а они ему, эти валенки, обошлись в рубль двадцать? А у меня молоко забирают так — за одиннадцать копеек, а мне оно стоит все два рубля.

— А кто у тебя забирает-то? Государство?

— Ты меня на слове не имай! — Лукашин рывком вскинул голову.— Ну и государство. А что? Ленин после той, гражданской, войны как сказал? Надо, говорит, правильные отношения с деревней установить, не забирать у крестьянина все подряд...

— Так,— сказал сквозь зубы Подрезов.— Еще что?

— А уж не знаю что,— отрезал Лукашин.— Только по-старому нельзя. К примеру, меня взять... хозяина... — Лукашин натянуто усмехнулся.— Я ведь только и знаю что кнутом размахиваю. Потому что, кроме кнута да глотки, у меня ничего нет. А надо бы овсецом, овсецом лошадку подгонять...

— Да так-то оно так,— промычал неопределенно Подрезов и поглядел по сторонам.

И Лукашин поглядел. Жутковато было — непривычные речи говорили они. А с другой стороны, думал Лукашин, кого бояться? Ночного ельника, лошадей, которые то и дело пучили на них из розового тумана свой огромный лошадиный глаз, костра?

Костер пылал жарко. Он заражал своей яростью. А потом, полезно, черт побери, первому секретарю знать, о чем думает народ. В Пекашине уж который год про это говорят. И тут хочешь не хочешь, а закрутишь шариками, полезешь в красные книжки сверять сегодняшнюю жизнь с Лениным...

— На брюхе плохая экономия,— сказал Лукашин.— Да и какой, к дьяволу, голодный — работник! У нас, бывало, в деревне Иван Кропотов... Кулак... Но в экономике толк понимал будь здоров! Так он что говорил своей женке, когда утром вставал? Скупая, жадная была баба. «Корми работников досыта». Это у него первый наказ с утра был.

Потому как понимал: сытый работник горы своротит, а от голодного один убыток...

— Все правильно,— сказал Подрезов,— но ты не забывай, что у нас война была.

— Ну, войну не забудешь, даже если бы захотел. Об этом, по моему, нечего беспокоиться.

Лошади подошли к самому огню.

Лукашин схватил какую-то хворостину, замахнулся на них.

— Медведя, наверно, чуют,— сказал Подрезов.— Тут, на Сотюге, их полно, а теперь темные ночи пошли — самое им раздолье. А я, знаешь, первого медведя когда убил? В двенадцать лет. Вернее, не я убил, а дедко меня капкан взял смотреть...

На Севере любят рассказывать всякие были и небывальщины про медведей, и Лукашин любил их слушать, но сейчас он не поддержал Подрезова. Сейчас ему было не до медведей. У него все так и ходило и кипело внутри. Шутка сказать — такой разговор завели!

Они долго молчали, оба уставившись глазами в костер.

Наконец Подрезов сказал:

— М-да-а... Разговорчики у нас... Ели и те, наверно, головой качают...— Потом встал, секретарским голосом подвел черту: — Ладно, хватит ели да березы пугать. Давай лучше еще по кружечке чайку дернем — и спать, раз уж мы здесь застряли.

### 3

Утром встали на рассвете.

Туман. Костерик чадит еле-еле. Лошадиные морды устало смотрят на них из тумана — должно быть, и в самом деле где-то поблизости разгуливал ночью медведь.

Сходили на речку, сполоснули лицо, навесили чайник.

Все время молчавший Подрезов заговорил после выпитой кружки чая:

— Есть предложение заняться делом, а свидание с рыбой отложить до следующего раза. Не возражаешь?

— Нет,— сказал Лукашин.

— Тогда я поеду в леспромхоз. Этому молокососу пора дать по рукам.

— Кому? Зарудному?

Подрезов спросил:

— А ты что намерен делать?

— Мне на Синельгу надо. К сеноставам.

— Добре.— Подрезов помолчал немного, посмотрел на Сотюгу, где в белесой толще тумана всходило багряное солнце.— А на то, что говорили ночью, наплевать. Понятно? А то с этой мутью в голове далеко не уедешь...

Тут он первый раз за утро взглянул прямо в глаза Лукашину. Потом покусал-покусал губы и начал топтать мокрыми сапогами костерик, который и без того дышал на ладан. Мало этого. Будь его воля, он наверняка бы и ели и березовый сушняк, свидетелей ихнего ночного разговора, растоптал. Во всяком случае, так подумалось Лукашину, когда он увидел, как Подрезов, тяжело, со свистом дыша, своим разгневанным оком водит по сторонам.

Он уехал не попрощавшись. В утренней росяной тиши гулко рассыпалась дробь лошадиных копыт, а Лукашин, опустив голову, еще долго смотрел на чадившие у его ног головешки — остатки ночного костра.

## Глава одиннадцатая

## 1

Тузик извел его за эти дни — с раннего утра до позднего вечера надрывается в кустарнике, в озеринах.

Поначалу Михаила это забавляло и даже радовало: хорошая собака будет, а он, Михаил, с детства мечтал об охоте...

Однако вскоре это безмерное усердие щенка встало ему поперек горла. Никакой работы! Только сядешь на жатку, только приладишься, лошадей направишь — слезай. Тузик залаял. И бесполезно звать, подавать свист: до тех пор будет глотку драть — все равно на кого: на ворону, на корову, случайно забредшую на Копанец, на лося, вышедшего на водопой, — пока хозяин не подойдет.

Вот и сегодня раз пять Михаил шлепал к дуралею, делал внушения — не помогло: опять принялся за свое.

— Тузко, Тузко, ко мне!

Лай в ольшанике, там, где были остатки старых переходов за канаву, не смолк. Наоборот, он разгорелся еще пуще.

Михаил, зверея, соскочил с жатки, на ходу выломал здоровенную черемуховую вицу — ну, задам я тебе сейчас, гаденыш! А когда подошел совсем близко, вдруг почувствовал себя охотником. Пригнулся, ногу на носок, а потом и того больше: затаил дыхание, осторожно раздвинул кусты, скользнул прищуренным глазом по прыгающему внизу черно-белому клоку шерсти, зыркнул туда-сюда и едва не расхохотался: Райка.

Стоит на той стороне у переходов, смотрит как замороженная на скачущую у своих ног собачонку и ни с места.

— Рай, какими судьбами? А ну, брысь ты, окаянный! Перейдешь сама?

Раечка в один миг перемахнула к нему, вспыхнуло на солнце красное, в белую полоску платье. И духами вокруг запахло. Это уж всегда. Бывало, зимой встретишь — вкусно, будто первым июльским сенцом тебя опашнет.

Михаил заглянул в берестяную коробку на ее полной загорелой руке — ни одного гриба, посмотрел на босые ноги — так не приходят на поле снопы вязать.

Раечка сама объяснила причину своего внезапного появления в его лесном царстве:

— Пестроху ищу... Где-то корова у нас запропала...

— А-а, то-то же! — улыбнулся Михаил. — А я уж было подумал, не рыжики ли солить пришла? — На местном языке это означало целоваться.

Он был доволен собой: ловко сострил.

— Ну что — в гости ко мне пойдём, так?

Тузик первый построчил к шалашу, а Михаил за ним. И вот пока одолел пеструю, в белой ромашке полянку, спустил с себя семь потов. И не от жары, нет. А оттого, что какая-то муха укусила его — начал для Раечки торить дорогу. Шел и старательно уминал своими тяжелыми кирзовыми сапогами траву на тропинке, как будто и в самом деле не деревенская девка к нему в гости идет, а какое-то неземное, сказочное диво.

Чайник с водой стоял у него в холодке за шалашом, под ватником, и он осушил его наполовину — до того у него вдруг пересохло в горле.

— Не хошь? — предложил своей гостье.

Раечка покачала головой.

— Верно. Вода не вино — много не напьешь... А Пестроха-то у вас когда потерялась? Такая смиренная корова...

— Вчерась...

— А отец тоже ищет?

— Ищет...

— А у пастухов-то спрашивали?

— Спрашивали...

— И поля перед Копанцем обшарили? Там коровы любят шлендрать...

Тьфу! — вдруг выругался про себя Михаил. Он старается, старается, с той стороны зайдет, с другой, а она все да да нет. Уж ежели не о чем говорить, то хотя бы рассказала, что в деревне делается. Он два дня не выезжал с Копанца.

Нащупав рукой пачку «Звездочки» в кармане, он вытащил папиросу, сел в тень возле шалаша, стал разминать ее пальцами.

— Садись. Я еще не медведь — не ем заживо.

Раечка не села — только с ноги на ногу переступила.

Он скошенным взглядом обежал ее полные красивые ноги с налипшими мокрыми травинками, воровато, ящерицей юркнул под подол.

Захмелевшее воображение живо дорисовало то, что скрывал от глаза ярко-красный ситец, но он владел собою. До тех пор владел, покуда не напоролся взглядом на крутые, торчмя торчавшие груди. А тут обвал произошел, все запруды и плотины лопнули в нем, и он с быстротой зверя вскочил на ноги.

Раечка не сопротивлялась, и даже когда он опрокинул ее на землю, не стала отпихивать его — только отворачивала от него лицо, как будто и в самом деле что-то решал сейчас поцелуй.

Он выпустил ее из рук — какого дьявола обнимать мертвую колоду! И к тому же запрыгал и забесился Тузик — нашел время свое усердие хозяину выказывать.

— Вставай! — зло прохрипел Михаил. — Я еще в жизни никого нахрапом не брал.

Раечка встала, пошла, как большая побитая собака. Даже не отряхнулась и ворот платья не застегнула.

— Коробку-то забыла!

Раечка обернулась, слезы светлыми ручьями катились по ее побледневшим щекам — только этого и не хватало, — потом вдруг схватилась руками за голову и побежала. По той самой тропинке, которую он еще каких-нибудь полчаса назад старательно мял для нее.

Тузик с лаем бросился за ней.

— Тузко, Тузко, не смей!

Тузик нехотя повернул назад, а он смотрел-смотрел на большое мотающееся тело на тропинке, на алую ленту в темно-русых волосах и вдруг все понял: да ведь это для него, болвана, надела она и праздничное красивое платье, и вплела алую ленту в волосы — кто же в таком наряде ищет корову в лесу!

— Рай, Рай, постой!

Он догнал ее уже у переходов, крепко обнял и тотчас же почувствовал увесистую пощечину.

— Рай, Рай...

А может, и в самом деле это его рай? — пришло ему в голову. Чем худа девка!



— Рай, Рай...— Он с радостью, с каким-то неведомым раньше наслаждением называл ее так.— Потерпи немножко. Вот развяжемся малость с полями, и я к тебе по всем правилам... Со сватами... Хочешь?

## 2

— Но, но! Давай, давай! Пошевеливайся!

Ликующий голос Михаила звучно, как весенний гром, раскатывался по вечернему лесу. Лошади бежали — цок-цок-цок: умята, утоптана высохшая дорога — не то что три дня назад, когда он нырял со своей жаткой в каждой рытвине. А ему все казалось — тихо, и он, привстав на ноги, постоянно крутил над головой сложенными петлей вожжами.

Тузик строчил рядом с жаткой, задрал хвост. Рад дурак. А чего ему-то радоваться? Не все ли равно, где глотку драть. На Копанце даже лучше. Дома заулок, от передних воротец до задних — и все твое царство, а на Копанце просторы — ай-ай! И дичь — не старуха, проковылявшая мимо дома по дороге, а в перьях, в меху. Да, есть уже у Тузика одна белка на счету: облаял давеча днем, когда та вышла на водопой к Копанцу.

Нет, уж если кому радоваться, то радоваться ему, Михаилу. Впервые, отмытарил на Копанце — это всегда праздник, а во-вторых, даешь новую жизнь! Хватит, поколобродил он за свои двадцать два года. Пора и на прикол вставать. А чего ждать? Кого еще искать?

Его любили и бабы и девки, и он из себя монаха не строил. Но такого еще у него не было — чтобы вот так, среди бела дня, пришла к нему девка. Сама! Да еще девка-то какая! И чтобы — на, делай со мной что хочешь...

Лошади бежали — тра-та-та, сыроег, маслят возле дороги навалом. Гнездами, ручьями красными и желтыми разбежались. Вот когда пошли по-настоящему — когда землю солнышком прогрело. А по угорам меж осин бабы красные шали развесили: брусника крупная, сочная, с ребячий кулак кисти.

Да, в этом году он пойдет за красными<sup>10</sup> с Раечкой. Да и вообще — зачем было отпускать ее вчера? Какого лешего в прятки играть, раз все решено! Вот бы и не выл он сегодня всю ночь напролет. А то ведь до самого рассвета не смыкал глаз. Лежал в шалаше и перемигивался со звездами...

Мимо, мимо летят телеграфные столбы, сверкают на солнце зеленые и белые чашечки изоляторов... Эх, и побито же было этого добра в свое время, когда он с мальчишками пас коров! Самое это любимое занятие у них было — сбить камнем чашечку с телеграфного столба...

А вот и столица нашей родины, как любил, бывало, говорить Егорша, когда они подъезжали к Пекашину, — красный глиняный косяк в гору, а на горе знакомый аккуратненький домик...

Лошади выбежали к искрящейся на вечернем солнце Синельге, жадно потянулись к воде.

Михаил спрыгнул с железного сиденья, пошел, буравя ногами светлый ручеек, спускать у лошадей чересседельник и вдруг словно споткнулся: дым. Дым над крышей Варваринного дома...

<sup>10</sup> Местное название брусники.

Нет, дым был у Лобановых. От бани, которая стоит на задворках, в покати.

Но что перечувствовал, что пережил он, пока рассеялся его обман!

Все вспомнил. Вспомнил, как белыми ночами ездил к Варваре с Синельги, вспомнил, как под прикрытием ночного тумана крался к ее дому, карабкался по углу на поветь-сеновал, жадно иссохшими губами припадал к ее сочному податливому рту...

И еще бог знает почему вспомнил, как провожал вчера на Копанце Раечку. Перевел по переходам за канаву, подмигнул как-то по-дурацки, по-Егоршиному, и помахал рукой. Ну разве так бы он прощался с Варварой!

Михаил поехал не по деревне — болотницей: хуже всякой пытки проезжать сейчас мимо Варвариного дома.

## 3

...Что такое? С задворок, от воротец вся семья бежит к нему на встречу: мать, Лизка, Татьяна... Одного Федюхи не видно. Может, с ним, с бандитом, какая беда стряслась?

— Ну, слава богу, дождались, — запричитала мать. — А малого-то не видел?

Михаил терпеть не мог паники. Он завернул лошадей на лужайке возле воротец — тут всегда стоят у него в страду косилка и жатка, когда он дома, — слез с сиденья и только тогда спросил:

— Чего у вас? Где я должен видеть малого?

— Миша! Миша! — со слезами бросилась к нему Лиза. — Тятя болен. Мы за тобой только что Федюху верхом послали... По деревне поскакал...

Вот теперь уже кое-что ясно.

— Где он? — спросил четко.

— Тятя-то? Да на Синельге, у своей избы... Один... Который уж день...

— Порато, порато болен. Иван Митревич только вот только приехал...

Михаил с яростью зыркнул на сестру, на мать: всегда вот так! Начнут молотить обе сразу — ни черта не поймешь.

Полную ясность, как всегда, внесла Татьяна — даром что девчонка:

— Иван Дмитриевич только что с Синельги приехал. Приезжаю, говорит, к избе — где старик? А старик в сенцах лежит — пошевелиться не может. Левая половина отпала. Дак я, говорит, в избу за ташил, а теперь пускай Михаил за ним едет...

Михаил все-таки ничего не понимал: почему старик на Синельге? Как туда попал?

— Я, я виновата... — зарыдала Лиза. — Ведь я-то знала, что его нельзя было отпускать...

— А раз знала, дак за каким дьяволом отпустила?

— Да как не отпустишь-то? Тот письмо прислал — мы с татей с ума сошли...

— Кто — тот? Какое письмо?

Лиза спохватилась, заширкала носом, запоглядывала по сторонам, но разве скроешь от своего брата? Давясь слезами, призналась:

— Тот... Егорша письмо прислал... В армии хочет остаться...

Мать завсхлипывала — и она ничего не знала про Лизкино горе.

Михаил рывкнул — как кнутом стеганул. Потому что ежели распутиться с ними, вой поднимут на всю улицу.

— Мати! На конюшню! Сани запряги. (На телеге на Синельгу не попадешь.)

— Да есть сани. Я уж схлопотала...

Михаил начал распрягать лошадей, попутно отдавая распоряжения:

— Веревку несите. Да одежку какую. Живо! Чего стоите? Не за бревном — за человеком еду.

Он торопился, Солнце уже садилось за крыши, а до Синельги самое малое час трястись. Ну разве есть время слезы точить да причитать?

## Глава двенадцатая

### 1

В эту ночь Лиза не сомкнула глаз и на минуту.

Сперва, вернувшись со скотного двора, мыла пол в избе — хотелось, чтобы больной свекор попал в чистоту (старик любил опрятность), — потом стала перебирать его постель да увидела клопа на стене возле кровати — начала лопатить весь стариковский угол. Все перемыла, перескочбила: стены, кровать, голубец кипятком ошпарила, а потом уж заодно и перину перетряхнула. Чего больной человек будет маяться на старых соломенных горбылях? То ли дело свежее сенцо! И мягко и дух приятный, луговой.

Вот так со всеми этими делами — с мытьем пола, с приборкой стариковского угла, с перебивкой перины — она и проваландалась до двух часов ночи, а там уж и спать никак: надо печь топить, какую-то еду для больного сообразить, Васю к своим отнести (насчет коров она договорилась еще вчор с Александрой Баевой).

Лиза привыкла начинать свой трудовой день с первыми дымами на деревне — такова уж работа у доярки, но сегодня она и того раньше выскочила из дому, а к матери прибежала — та еще в постели.

— Чего всполошилась такую рань? Попей хоть чаю — я сейчас согрею.

Лиза только рукой махнула. До чаю ли сейчас! Неужели матери родной надо объяснять, что у нее на душе делается?

Утро было холодное, сырое. Кустарник возле дороги поседел от росы, и ох же полоскало ее в одном платишке — привыкла по утрам носиться сломя голову.

Но на ходу все-таки потеплее, а каково стоять? А Лиза, наверно, с час или с два коченела у Терехина поля. И все прислушивалась, все ждала: вот-вот раздастся конская ступь и из березняка выедет Михаил.

Но Михаил не ехал.

Лиза начала волноваться. Что там могло случиться? Со стариком паохо? Везти нельзя?

И как только ей пришла в голову эта мысль, она уж больше не томилась у Терехина поля. Сама побежала навстречу. По грязной лесной дороге, четко разутюженной накануне полозьями.

Встретила она брата возле темной еловой рады — не меньше версты прошлапала по грязи.

Сидит, качается на запаренной кобыле, настегивает ее вицей, а старика она сперва и не увидела. Сено, показалось, везет на санях брат. С ног до головы обложил старика сеном, чтобы грязью не заляпало да комар не беспокоил — только для дыханья дыра оставлена.

— Татя, татя, — запричитала на весь лес Лиза, — да что же это такое? Разве так возвращаются люди с покоса?

— Не ори! — коротко бросил Михаил. Он слез с кобылы, устало подошел к саням, приоткрыл лицо старика. — Ну как? Жив? Не вытрясло совсем душу?

Ни единого звука не услышала Лиза в ответ, и она с ужасом перевела взгляд на брата:

— Чего с ним? Пошто он не говорит?

— Выходной взял! — свирепо рыкнул Михаил и вдруг заорал на нее: — Чего стоишь как столб? Не знаешь, как отца встречают?

Лиза и в самом деле стояла как-то в стороне, на отшибе, и поняв это, поспешно кинулась к саням, к дыре в сене, откуда чуть заметно шел парок.

— Татя, татя... — Она встала на колени прямо в грязь возле полоза, судорожно обхватила руками старика, вернее охапку сена, потом срыла сено с груди в ноги — какое теперь комарье, когда к дому, можно сказать, подъехали? Да и она зачем тут? Разве не может веткой отгонять?

Степан Андреянович узнал ее.

— Ы-ы-за-а... — чуть слышно сказал он, но так, что и она и Михаил — оба услышали, затем на его старых, испугом налитых глазах навернулись слезы.

— Ну, это ты хорошо, старик, надумал, — сказал Михаил и от радости похлопал сестру по плечу. — А то я вчерась приезжаю к избе — покойник покойником. И сегодня, сколько ни кликал, не мог докликаться. А тебя, вишь, с первого слова услышал...

## 2

Разлад в теле у Степана Андреяновича начался еще тогда, когда он шел с невесткой полями. Хорошее, свежее было утро, ветерок прыскал, а он обливался потом, на великую силу тащил стопудовые сапоги.

Лиза что-то щебетала, давала наказы, советы, а он только и думал о том, как бы добраться до Терехина поля да поскорее распрощаться с невесткой — не хотелось ее пугать, посреди дороги разлеживаться.

И вот когда наконец Лиза осталась позади, он дотянул кое-как до березняка за полем, ткнулся горячим потным лицом в мокрую, еще не высохшую от утренней росы траву и так долго лежал.

Потом эти лежки пошли у него чуть ли не у каждого муравейника, не у каждой кокоры<sup>11</sup>.

В этот день он с косой, конечно, не разбирался: догреб, доплелся до своих старых владений на Синельге, заполз в избушку, и все — не ел, не пил, до утра лежал, зарывшись в какую-то старую сенную труху, во всей одежде, в сапогах.

Но назавтра он встал молодцом. Легко, без всякой шаткости вышел из избушки, будто и хворости не было, а когда увидел траву в поклоне, густую, тучную, белую от росы, руки сами потянулись к косе.

И покосил.

В одну сторону прошелся, в другую, пьянел от травяных запахов, и как же радовалась стариковская душа! Вот, думалось, не зря ем хлеба. Есть, есть еще от него польза. Будет у Васи молоко...

После утренней напористой косьбы Степан Андреянович поел с

<sup>11</sup> Корневища вывороченного ветром дерева.

аппетитом, попил чаю с дымком всласть, а потом вздумалось ему сходить на свою старую расчистку—посмотреть, что там делается, нельзя ли сколько-нибудь травы потюкать для себя.

И вот с этой-то расчистки все и началось — не нашел он своей пожни.

Все на месте: Синельга на месте, мыс на месте, старые стожары<sup>12</sup> на месте, только расчистки нет, только пожни нет. Кусты всколосились, ольха да осина вымахали. Из края в край. По всей бережине. И Степан Андреевич сел на старую валежину у ручья и заплакал.

Господи, на что ушла его жизнь? Двадцать лет он убил на эту расчистку. Двадцать... Первые кусты начал вырубать еще при царе Горохе, и, помнится, возле деревни тогда потешалась над ним. Кустарник страшный, двум комарам не разлететься, топором не взмахнуть, а ели — боже мой, в пору на небо лезть. Ну какой же тут покос?

А он на этот-то кустарник как раз и возлагал все свои надежды: уж ежели ольха да береза так вымахали, то трава и подавно будет.

И он не ошибся. Перед колхозами по тридцать возов самолучшего сена снимал со своих Ольшан — вот каким золотом обернулся для него непролазный кустарник вдоль Синельги.

Правда, он уж и работал — жуть!

Избушка от расчистки далеко ли? За речкой, напротив, четверти часа ходу не будет, а он и эти четверть часа жалел. Тут, на расчистке, спал. Под елью, возле огня. Да и спал ли он вообще в те годы? Кто, разве не он корчевал пни по ночам при свете костров?

Эх, да только ли он себя одного рвал? А Макаровну? Уж ей-то досталось, бедной, она-то, верно, до последнего вздоха помнила эту расчистку. Потому что тут, на расчистке, родила своего единственного сына. Шастала, шастала возле него, отгаскивала в сторону сучья, потом вдруг уползла в кусты, к ручью, а вышла оттуда уже с ребенком на руках. Белая-белая, как береза...

И вот все напрасно. Напрасно надрывался сам, напрасно жену в три погибели гнул, сына малолетнего мучил напрасно — снова кусты. По всей пожне кусты. Как сорок лет назад. И комары. Даже сейчас, в конце августа, вой стоял от них в воздухе...

Степан Андреевич вяло обмахивался березовой веткой, смотрел на буйно разросшийся кустарник за ручьем, и жизнь, прожитая им, представлялась вот такой же запущенной и задичавшей расчисткой. Да и вообще он давно уже не понимал, что происходит вокруг. Люди в колхозе годами считай что работают задаром — почему? А почему добрая половина пекашинцев не имеет коровы? Каждый год трава уходит под снег, а мужик не смей косить — под суд...

Все-таки Степан Андреевич нашел чистую травяную полянку и даже помахал немного косой.

Лиза помогла. Вспомнил про нее, свое солнышко, подумал, сколько у нее радости будет, ежели он поставит воз-другой сена, и пошла коса, заходили руки...

Да, да, удивлялся Степан Андреевич: вот как обернулась жизнь. Родной внук отвернулся, под самое сердце саданул, а эта, чужая кровь, родней родной стала. «Да что ты, татя, куда я от тебя? Как жили вмести, так и дальше жить будем...»

Он плакал. Плакал ночью, перед выходом на Синельгу, плакал сейчас, помахивая косой. За всю жизнь не слыхивал слов радостнее этих...

Степан Андреевич выкосил полянку, нарезал бересты для ко-

<sup>12</sup> Жерди, которые служат остовом для стога.

робки и шаркунка для Васи — как было забыть про наказ Лизаветы! — а на обратном пути, когда он уже вошел в сенцы избушки, с ним и случилась беда.

— Степа, Степа! — услышал он зовущий голос Макаровны.

Он обернулся — как тут очутилась жена, которая давно умерла? — и вдруг яростный гром грохнул над головой, задрожала, закачалась земля под ногами — и он упал...

## 3

Речь к Степану Андреяновичу вернулась на третий день, и первым словом его было: властей позовите.

— Что? Что? Властей? — Михаил, ничего не понимая, посмотрел на сестру, на мать. — Зачем тебе власти-то? Тебе не о властях думать надо, а как бы на ноги встать.

— Властей... Быстрее...

Не посчитаться с больным человеком нельзя, и пришлось послать за председателем мать, которая вскоре вернулась с Анфисой Петровной: Лукашин с утра уехал в район.

В избу вошла Анфиса Петровна уверенно, не по-бабьи. Есть практика. В войну все похоронки на себя принимала, первой являлась в дом, куда смерть приходила.

— Ну что, сват? Какую кашу с властями варить надумал?

— Бумагу... хочу... дом...

— Ну, насчет дома не беспокойся. Егорша у тебя есть, никакой бумаги не надо...

Степан Андреянович помолчал, видно набираясь сил, и вдруг четко выговорил:

— Лизавета — хозяйка... Лизавете дом...

— Чего? Чего? Лизавете дом хочешь отписать?

— Да... Весь...

Среди старух, бог знает когда набравшихся в избу, пошли шепотки, пересуды: всем в удивление было, почему старик решил отписать дом невестке. Разве у него родного внука нету?

Лиза, давась слезами, — она стояла в ногах у старика — протянула к нему руки:

— Татя, ты ведь неладно говоришь. Какой мне дом? Что ты... На веку не слыхано, чтобы невестке дом отписывали...

— Верно, верно, сват, — поддержала Анфиса. — У тебя внук родной есть и правнук есть. Лизавета тебе как родная, всяк знает, а только порядок есть порядок...

В том же духе говорили старику мать, Марфа Репишная, Петр Житов и особенно с жаром убеждал Михаил, потому что отпиши старик дом Лизке, разговоров не оберешься: а-а, скажут, оболванили старика, вот он и твердит без памяти — Лизавете...

Ничто не помогало. Степан Андреянович стоял на своем: весь дом и все постройки при доме — Лизавете. Одной Лизавете...

В конце концов что было делать? Села за стол колхозная счетоводша Олена Житова, и скоро все услышали: «Я, такой-то и такой-то, в полной памяти и здравом рассудке завещаю свой дом со всеми пристройками невестке моей Пряслиной Елизавете Ивановне, в чем собственноручно и подписуюсь...»

Степан Андреянович расписался сам, потребовал, чтобы приложили руку свидетели, и лишь после этого облегченно вздохнул и закрыл глаза.

Он завершил свои земные дела.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Глава первая

## 1

Егорша, тягуче зевая, продрал глаза и аж подскочил: половина десятого! А потом увидел желтенькие, с детства памятные цветочки на старомодных ходиках с белым потрескавшимся циферблатом и, успокоенный, откинул голову на подушку: он дома.

Голова трещала — страсть сколько выпито было за вчерашний день. Первую бутылку за помин деда они раздавили еще на аэродроме с Пекой Черемным и Алексеем Тарасовым.

Пека Черемный, диспетчер районного аэродрома, — старый калымщик, и как минуешь его? Просто клещом вцепился, когда он, Егорша, вывалился из самолета. А вот Алексей Тарасов его удивил. Сам приехал. Специально. Это инструктор-то райкома! Правда, инструктор он особенный — за тот же самый овечий хлев когда-то бегал, что и он, Егорша, — ихние дома в Заозерье впритык друг к дружке, но все-таки, что ни говори, шишка.

И вот помянули деда — прямо в райкомовском «газике». А дальше известно: заехали к Алексею на квартиру чайку попить — помин, в Марьюше на председателя колхоза наскочили — помин, а под Шайволой райтопа встретили — как было не открыть бутылку?

В общем, набрались.

В Пекашино приехали — не знаешь, как и из машины вылезти. Правда, он-то, Егорша, сам, без посторонней помощи выкарабкался, а Алексея Тарасова, того, как архиерея, под руки вывели.

— Эй, кто дома?

Никто не отозвался на его голос. Ни в избе, ни в чулане.

Солнце начало припекать его светловолосую голову. Он повернулся на бок, лицом к медному пылающему рукомойнику в заднем углу и стал припоминать, как очутился тут, на полу, на жаркой, набитой оленьей шерстью перине, — в бриджах, в натальной рубахе, босиком.

Он все помнил, что было поначалу. Помнил, как подъехал к дедовскому дому — народу жуть, вся деревня, похоже, собралась, — помнил, как, подхваченный Мишкой, шел по заулку под окошками и плакал даже, как Мишка на ходу разъяренно шептал ему на ухо: «Нажрался, гад! Не мог потерпеть». (Да, такими вот словами встретил его закадычный друг и приятель!)

Потом, конечно, запомнил встречу с дедом. Он просто упал, просто рухнул на колени, когда увидел деда в белом сосновом гробу — маленького, ссохшегося, какого-то ветошного против прежнего.

Да, деда он запомнил, на всю жизнь запомнил, а дальше, как говорит, пшенная каша в голове: красное, распухшее лицо Лизки, плач, рев, гнусавый старушечий «святой боже, святой крепкий», постоянные подталкивания Мишки сбоку: «Стой прямо!..»

Нет, еще ему припоминается, как, возвратясь с кладбища, сели за поминальный стол. Анфиса Петровна — век бы не подумал — такую речу толкнула, до пяток прошибло: «Труженик... пример... никогда не забудем...» А потом до вина дело дошло — что такое? Из наперстков за такого труженика? Подать стаканы! Ну, и он, Егорша, конечно, жарнул первый: не кого-нибудь — деда родного похоронил...

Вот после этого стакана у него в голове и загуляли шестеренки в разные стороны...

Егорша поднялся с постели, прошел за занавеску, зачерпнул ковшем воды из запотелого ведра.

Водичка была что надо — холодная, утешного приноса, и у него немного поосело внутри. Потом он опохмелился: какая-то добрая душа на самое видное место — на столик в задосках — выставила неполного малыша. Лизка?

Егорша глянул на ходики уже без всякого усилия: хорошо теперь работали шейные подшипники. Одиннадцатый час. Самое бы время ей возвращаться со своего коровьего предприятия...

Блаженно, до хруста в плечах потягиваясь, он вышел на крыльцо, спустился на землю и рассмеялся: колется земляца — вот что значит долго не ходить по ней босиком. А вообще-то у них, у Ставровых, не земля, а шелк — по всему заулку зеленый лужок. Это еще от бабки. Бабка Федосья любила травку-муравку под окошками...

Ничего не изменилось в заулке за его отсутствие, если не считать, конечно, дедовской деревянной кровати с матрасом, выставленной на солнце у изгороди. Та же мачта белая посреди заулка, которую он поставил перед уходом в армию, те же ушаты под потоками, то же тяжелое, высеченное из толстеного выворотня било, на котором гнут полозья, и даже роса в тени у изгороди возле нижней жерди та же...

Нет, новое в заулке было — охлупень. Огромное, стесанное с обоих боков бревно, уложенное на березовых слегах вдоль стены двора.

Сам охлупень уже потемнел, и, судя по всему, к нему дед не притрагивался с весны, а вот над конем трудился недавно: и затесы свежие и щепы на земле белая...

Егорша все-таки дал течь. Не у охлупня, нет, — насчет этого охлупня он ясно писал деду: не надрывайся, ни к чему. И уж, конечно, не оттого, что увидел дедовскую кровать с матрасом: такой обычай — всегда все сушат да проветривают после покойника.

Разревелся он, как баба, когда напоследок заглянул в сарай да увидел, как шевелятся, шелестят белые стружки от гроба. А ему вдруг почудилось, что это дед с ним разговаривает. Ну и брызнул. Обоиными шляпами брызнул. И только потом, когда вспомнил, что он солдат, сумел ликвидировать эту позорную аварию.

## 2

Солнце разгулялось вовсю. Даже в том городе, где стоит их энская часть, не всегда так припекает в данную пору. А ведь этот город с энской частью, в которой он три года служил верой и правдой родине, где, в каких краях? В тех самых, про которые поется в песне: «Зацвели яблони и груши...»

В общем, здорово! Хорошо подставить свою ряху пекашинскому солнышку. Просвечивает насквозь. Как рентгеном.

Его можно просвечивать. Бриджи под коленками в обтяжечку, из офицерского шевита, сапожки хромовые — смотришь заместо зеркала, подворотничок свеженький — белая каемочка, ну и соответственно ремешок со звездой. Блеск, одним словом. Офицер не каждый так ходит...

Ну, а вы чем, братья славяне, похвастаетесь? Какие у вас за три года достижения?

У Василисы, постной Пятницы, двор разломан наполовину, у Баевых на усадьбе тоже строительство — второй угол у боковой избы-зимницы кромсают на дрова. А что с теремом Кузьмы Павловича? В каких боях-сражениях инвалидность получил — с двух сторон костылями подперся?

Да, вздохнул Егорша, хорошо тут заканчивают первую послевоенную пятилетку. Намного превзошли довоенный уровень...



Нет, он не Мишка, не сох по этим пекашинским развалюхам. В первый же час, в первую же минуту, как только переступил порог казармы, из головы вон выбросил. А как же иначе? За этим в армию призывают? В ихней роте и без него хватало мокрых тюфяков, у которых глаза выворачивались от тоски по дому. Жуть что делалось попервости! Какая-нибудь дубина — бревно под потолок, а сидит в углу, как мышка, да точит слезу. По мамочке, видите ли, скучает. А одного у них лба даже к профессору водили, гипнозом лечили...

Первый день в армии, первые развороты-повороты по-военному... Разве забудешь когда-нибудь, как их первый раз в военном обмундировании выстроили?

Ух, видик! Командир роты старший лейтенант Терещенко идет вдоль строя — качается, зубами скрипит: не солдаты, а чучела огородные. У того гимнастерка до колен, у того портки как бабья юбка, у третьего ремень обвис, как шлея на худой кобыле... И вдруг просиял — его увидел.

— Как фамилия?

Егорша отрапортовал по всем правилам — еще в войну с деревянной винтовкой начал проходить боевую подготовку. Вытянулся, щелкнул каблучками:

— Рядовой второго отделения третьего взвода первой роты Суханов-Ставров.

— Во как! Суханов, да еще и Ставров? Сразу две фамилии. Как у барона.

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— Образование?

— Семь классов.— Егорша всегда немножко округлял для краткости.

— Почерк хороший?

— Хороший, товарищ старший лейтенант.

— Выйди из строя. Будешь писарем роты.

Вот так! Сразу, с первого утра, на командную должность — все только ахнули. А из-за чего? Почему? Грамотой всех шибче? Ничего подобного! После подсчитали: двадцать гавриков у них со средним образованием да еще три лба с высшим. А взяли его, с незаконченной семилеткой. Потому что у этой незаконченной семилетки чердак шуршит, обстановка учитывает.

Покамест его товарищи глаза друг на дружку лупили, да пол в казарме мерили, да письма домой строчили (это в первый-то день в армии!), он что сделал, когда три часа свободных дали?

Прежде всего разведал у вольнонаемного персонала, где тут поблизости можно бабу разыскать, которая иголкой ковыряет. Потому что чего ждать, когда очередь до тебя дойдет в батальонной обшиваловке?

Разыскал. К бабе вошел, как и все, куль кулем, а от бабы вышел — шаровары на нужном месте, гимнастерочка вподруб, подворотничок белевский... Солдат, одним словом.

Вот старший лейтенант Терещенко и заприметил его сразу. Понял, что этот парень не лаптем щи хлебает.

Но, понятно, воинская служба не коврижки-коржики с медом. Были, понятно, и у него эпизоды — шагом арш!

Раз к ним в ротную канцелярию — он, Егорша, только-только начал в курс входить — вкатывается командир батальона. Злой как черт — язва в брюхе и женка, говорят, на сторону копытом бьет. Вкатывается — то не так, это не так, а потом увидел его:

— Кем на гражданке работал?

— Шофером, товарищ капитан.

— Шофером? Старший лейтенант Терещенко, разве вы не знаете

приказ — всех шоферов направлять в АХЧ? (Административно-хозяйственная часть.)

Направили. И вот тут он хлебнул солдатского лиха по самые ноздри. Четыре месяца возил уголь на старом грузовике. Утром вскакиваешь по подъему в пять тридцать, лезешь в грязные шаровары, гимнастерка тоже колом от грязи, на кухне чего-то плеснули — шрапнели (каши, значит) в железную миску кинули: за руль, ребята!

Жуть! Войну добром вспомнишь. За день этим угольком так прокоцагарисься — черти в аду и те тебя чище. Самая последняя лахудра рожу от тебя воротит. Но больше всего Егорша страдал из-за алюминиевой ложки. Другие — как так и надо. Скидал в рот что тебе сунули — и за голенище сапога до следующей заправки. А он никак не мог привыкнуть к этому.

Кто знает, сколько бы он в этой АХЧ мытарил. Может, все три года, до окончания службы, да, на его счастье, заболел шофер у командира дивизии. Ну, тут уж он крутанул своими шариками как следует, чтобы временную прописку в генеральском «ЗИСе» сделать постоянной...

...Пусто в Пекашине. За все время, что Егорша шел от своего дома до правления, ни одного пекашинца не встретил — ни малого, ни старого: все, видать, на поле. В правлении его тоже не большое село ждало — замок в пробое.

Он пошел в магазин сельпо — как раз в это время продавщица начала греметь дверями, должно быть, с обеда возвратилась.

Продавщица по нынешним временам важная птица в деревне. Она да председатель колхоза, можно сказать, жизнь в своих руках держат, и Егорша чертом влетел в магазин: самое это главное в мужском деле — с ходу взять бабу, ошарашить.

Но кого он вздумал ошарашивать? На кого порох тратил? На Ульяку Яковлеву — она, оказывается, была продавщицей. А Ульяка Яковлева еще до войны трясла головой, как старая кобыла, — так разве ей на солнце глядеть?

А потом, было бы ради чего выворачиваться. На хлебных полках шаром покати, сахаром-конфетами тоже не пахнет, а в мясной отдел и заглядывать нечего. Там как до войны: наглядное пособие — схема, как разделять коровью тушу. Все расчерчено-разлиновано. От зада до переда. По-научному. Только мяса нет.

От магазина Егорша двинул на задворки — на колхозные объекты. Может, там больше повезет?

Ни черта не больше. Старый коровник заперт (где только Лизка? неужели задворками домой уперлась?), а на новом скотном дворе тоже, похоже, безлюдье.

Лизка ему в каждом письме про эту пекашинскую новостройку докладывала, так что он знал, как говорится, всю автобиографию коровника, но все-таки не поленился: обошел коровник кругом и даже внутрь заглянул. Надо! А вдруг где-нибудь на командных высотах зайдет разговор — глазами прикажете хлопать?

Работенка неплохая, углы сшиты — хоть воду лей (сразу узнаешь почерк Петра Житова), но когда же он думает сдать в эксплуатацию свой объект? Окна окосячены наполовину, дверей нет, потолок не набран... А потом, ведь нужны стойла, перегородки, всякая другая хреновина...

Егорша поднял с земли толстый обрубок от гладко выстроганной потолочины, размашисто написал плотничьим карандашом — тут, среди инструмента, нашел: «Солдатский привет ударникам великой стройки коммунизма!!!»

Обрубок поставил на чурку (прямо наглядная агитация получилась), потом подумал-подумал и на обрубок насыпал горку беломорин — весь портсигар вытряхнул, только одну для себя оставил.

## 3

К тещиному дому Егорша подошел с тыла, то есть с задворок.

Сперва надулся: что это такое — жена не показывается все утро? Домой он приехал или куда? А потом за воротца скрипучие перешагнул, да шарахнуло по ноздрям свежим коровьим навозом из открытого настежь двора, да зажужжали, завывали вокруг мухи — и начало, и начало травить.

Все вспомнилось. Война вспомнилась, ихняя дружба с Мишкой вспомнилась, первый выезд в лес в серок втором году вот в это же самое время... И даже Звездоня, покойница, вспомнилась. Мишка уже тогда разорялся насчет кормежки для нее. В первый же день, как только они приехали на Ручьи, потащил его на болото траву смотреть...

Старенькое, кособокое, основательно изрубленное ребятишками крыльцо проскрипело шатучими ступеньками: здравствуй!

— Здравствуй, — улыбнулся Егорша.

А вообще-то не мешало бы перебраться крыльцо, или у Мишки всегда, до самой смерти так будет: в колхозе мнем до беспамятья, а дома дядя сделай?

В сенцах у Пряслиных не лучше — всю жизнь в слепака играют. Руки отпадут два-три раза топором хлопнуть да какой-нибудь осколок стекла в дыру воткнуть?

Наконец Егорша, шаря рукой по двери, еще с незапамятных времен обитой для тепла рваной-перерванной мешковиной, нащупал железную скобу, постучал.

Стук вышел дай боже: дятлом рассыпался сухой, как кость, сосновый косяк, но разве тут понимают по-культурному?

Закипая злостью, Егорша изо всей силы рванул на себя дверь, перешагнул за порог да так и застыл: сын... Его сын...

Сколько он тут, на пекашинской земле? Сутки без мала. Туда, сюда сходил, то, это посмотрел, а про своего гвардейца и не вспомнил. А он — вот он: как штык стоит посередке избы. Вернее, не штык, а ухват сухановский — у них в отцовском роду у всех смалу ноги кренделем, и у него самого, сказывала мать, такие же были.

Егорша присел на корточки, протянул руки:

— Ну, шлепай ко мне. Не узнаешь?

Вася нахмурился — с характером мужик! — а потом вдруг улыбнулся и тяп-тяп к нему, к отцу...

И тут бог знает что сделалось с ним. В горле пересохло, в коленках дрожь, а когда он сграбастал обеими руками сына да прижал к груди, то тут и вообще ерунда началась...

К счастью, в избу в это время вошла теща.

## Глава вторая

## 1

Старый коровник, поставленный еще в первые дни колхозной жизни, разваливался на глазах. Стены у него изнутри выгнили, проросли белыми погаными грибами, в скособоченных окошках торчали соломенные и травяные затычки, а крыша местами так провалилась, что того и гляди кого-нибудь задавит.

Страх всем внушал и племенной бык Борька. Борька нынешней весной размял в поскотине молодую коровенку, и с тех пор его на волю не выпускали. И вот днем, когда рядом с ним не было ни коров, ни доярок, бык просто из себя выходил: ревел, гремел цепями, каждую минуту мог вылететь на улицу.

Сегодня, к великому удивлению Александры Баевой, Борька молчал.

Кто-то из наших там, подумала Александра. Но кто же?

Две дурехи есть у них на скотном дворе, которые готовы день и ночь убиваться из-за колхозных буренок, — она, Александра, да Лизка. Но Лизку она сама давеча, уезжая за травой на луг, отправила домой: та, видите ли, после дойки вздумала чистоту в стойлах наводить, это на другой-то день после возвращения мужа из армии!

— Иди, иди, глупая! — сказала она ей. — Да ни о чем не думай: ни о коровах, ни о подкормке. Все сделаю.

Наскоро привязав лошадь, Александра вбежала в коровник, заглянула в избу, прошла между стойлами — никого.

И все-таки не зря у нее сердце сжималось: был человек в коровнике. И человек этот — Лизка. В самый темный угол забралась — в отсек с травой, так что если бы не белый платок, то она бы и не заметила ее.

— Лиза, Лиза, что с тобой? — закричала Александра, обмирая от страха.

Лизка, слава богу, была жива. Она лежала, уткнувшись лицом в пахучую траву, и навзрыд рыдала.

— Господи, да что ты тут делаешь? Разве слезы тебе точить сегодня? Муж приехал — скакать надо от радости... Вставай, вставай!

Александра подняла давящуюся от слез подругу, крепко прижала к себе, села рядом.

— Ну, чего стряслось? Чего не поделили?

— Ни-че-го...

— Как ничего!.. Из-за ничего-то не убегают от молодого мужа в такой день.

— Да не я убежала... Он от меня...

— Что, что? — неподдельно удивилась Александра. — Егорша от тебя убежал? Ну уж нет, не поверю. В жизнь не поверю!

— Чего не верить-то? Не я ему писала: меня домой не жди, на сверхсрочной останусь...

— Домой не жди? Да когда он это писал?

Александра еще долго так пыталась зареванную Лизу, и та наконец толком рассказала о своей беде.

— Ничего, ничего, — начала успокаивать ее Александра, — не страшно. А я уж думала, бог знает что у вас вышло...

— Да разве не вышло? Я ждала, ждала его — не то что дни, часы высчитывала, а он и не думал обо мне... — И Лиза снова зарыдала.

Александра молча подняла ее на ноги, отвела в избу, умыла под рукомойником, причесала.

— А теперь иди.

— Куда? — Страх, растерянность и робкая надежда мелькнули в мокрых зеленых глазах Лизы.

— Домой иди. К счастью своему иди. Глупая, разве нашему брату капризничать теперь, когда кругом одни юбки? Да и было бы из-за чего хвост поднимать. Из-за какого-то письма, из-за того, что Егорша чего-то не так написал... Ох, девка, девка... Меня, бывало, муженек покойничек редкий божий день не бивал. Как разминку себе делал. Все не так, все не эдак... Даже в том я виновата, что у меня здоровья воз. А сказали бы мне сейчас — у тебя Матвей жив, да господи, до

Москвы бы до самой на коленцах сползала... — Тут Александра сама коротко всплакнула, потом притянула к себе Лизу, обняла. — Иди, иди! Бери свое счастье. Нынче вперед заглядывать не приходится — днем живем...

## 2

Лиза выскочила из старого темного коровника и подивилась сияющей красоте дня. Солнышко, небо синее — без единого пятнышка. И ее будто на крыльях подняло — такая вдруг небесная, ликующая радость хлынула ей в душу.

Домой, домой!

Самой короткой дорогой — мимо кузницы, мимо старой закоптелой пивоварни, у которой еще года четыре назад Егорша своим трактором своротил угол, к колхозному складу напротив ихнего дома...

Сердце у нее билось у самого горла, щеки пылали полимем: что сейчас ее ждет? как встретит Егорша?

Вечор, по правде сказать, она его и не разглядела как следует. Да и не хотелось, если честно говорить, и разглядывать. Она в эти дни распухла, угорела от слез и рева, Михаил ходил как в воду опущенный, а он, внук родной, единственный, пьяный приехал, лыка не вяжет. Да не один, а с Олёгой Тарасовым.

Олёга из Заозерья, сосед, может, родственник еще дальний, Олёга — власть, в райкоме сидит, но кому не ведомо, что он пьяница зарезной?

Ну и скандал. Старушонки перед выносом гроба затеплили ладан, запели «святой боже, святой крепкий...», а он на всю избу: «Цыц, старые вороны! Нету бога. С богом у нас еще в семнадцатом году покончено».

Что было бы дальше, даже и подумать страшно. Может, он, дьявол бессовестный, и похороны все разогнал бы, да спасибо мужикам — не сробели: вытащили вон. А там в машину, дверцы на запор — уматывай, покуда кости целы...

Надо остановиться, надо прибрать волосы — куда же растрепой на деревню, на люди?

А ноги бегут, ноги не хотят останавливаться... Потому что глупые. Потому что головы не слушаются...

Все-таки у воротца перед заулком она остановилась — забрала власть над ногами. И даже сердце немного утихомирила.

По заулку, мимо окошек, пошла шагом, лицо нахмурила — не дам потешаться над собой, но разве рассчитаешь все заранее? Из-за угла неожиданно брызнул Васин смех, и вот уж она про все свои запреты, которые только что сама на себя наложила, позабыла — козой взвилась.

Самую желанную, самую радостную картину увидела она: сын и отец. И оба за работой. Вася, довольнехонький, слюнки радужным пузырем на губах, крутит руками маленькую меленку, или самолет, как теперь называют, а рядом отец — еще одну меленку мастерит, побольше.

Лиза, конечно, сразу заметила непорядок: на лучшее красное одеяло расселись, прямо на голой земле разостлали, но ей и в голову сейчас не пришло попрекать за это своих растяп — таким счастьем, такой радостью вдруг дохнуло на нее с этого красного одеяла.

— А-а, гулена наша пришла! Ну что, сынок, постегаем немножко ремешком маму — для вразумления?

Лиза все про себя отметила — и «маму», и «сынка», и то, как смотрел на нее Егорша, — но все-таки огрызнулась хоть для видимости:

— Хорошему сынка учишь — маму ремнем стегать. Мама-то не на плясах была — на работе.

— Разговорчики! А ну марш к шестку — мужики проголодались! Лиза побежала в избу. В шутку, конечно, подавал команды Егорша, но правда-то на его стороне. Куда это годится — человека до такой поры голодом морить! Да, правду сказать, она и сама теперь хотела есть.

## 3

Самовар шумит, стол накрыт, перина, на которой валялся Егорша, вынесена в сени... Еще чего?

Она то и дело воровато из глубины избы посматривала на заулок. Сидят. Все сидят. И о чем-то, кажется, разговаривают — Егорша даже палец большой поднял. Наверно, что-то внушает сыну, как положено отцу.

Вася ее удивлял немало. Нелюдимый ребенок. Кроме матери да Татьянки, никого не хочет признавать. Даже к дяде Мише, даром что тот его хлебом магазинным да сладостями постоянно подкармливает, и к тому с ревом иной раз идет. А вот с отцом дружба с первого взгляда. Кровь родная сказывается? Или уж такой у них отец — кого угодно околдует с первого взгляда, стоит ему только свой синий глаз с подмигом навести?

Солнце рылось в Егоршином золоте на голове. Золота в армии заметно поубавилось — не налезает больше волосы на глаза, плечи раздались, а в остальном, ей казалось, Егорша и не изменился: та же тонкая, чисто выстриженная на затылке мальчишеская шея, тот же чуть заметный наклон головы набок и та же привычка ходить дома босиком, в нижней нательной рубашке...

Смятение охватило Лизу.

Она подняла глаза к божнице в красном углу, вслух сказала:

— Татя, что же мне делать-то? Надо бы спросить его сразу, как он жить думает, а я и спросить чего-то боюсь...

Дробью застучала дресва по стеклам в раме — Егорша бросил: поторапливайся, дескать.

— Сичас, сичас! — И Лиза кинулась в чулан переодеваться: не дело это в том же самом платьишке, в котором коров обряжает, дома ходить.

Платьями она, слава богу, не обижена. Степан Андреевич на другой же день после свадьбы повел ее в амбар и всю женскую одежду, какая осталась от Макаровны и Егоршиной матери, — сарафаны, кофты, шубы, платки, шали — передал ей: перешивай, дескать, и носи на здоровье.

И Лиза не стеснялась: и себе шила, да и Татьяну с матерью не забывала — где им взять, когда в лавке для колхозника ничего нет?

Солнце из чулана уже ушло, но пестрая копна платьев, развешанных в заднем углу, напротив печки-голландки, все еще хранила тепло, и от нее волнующе пахло летними травами.

Она выбрала кашемировое платье бордового цвета — и не яркое (как забыть, что только что схоронили деда!), и в то же время не старушечье.

— А-а, вот ты где!..

Лиза быстро обернулась: Егорша...

— Уйди, уйди! Бога ради, уйди... Я сичас...

Она испуганно прижала к голым грудям кашемировое платье, попятилась в угол.

Егорша захохотал. Его синие припухшие глаза вытянулись в колючие хищные щелки.

— Не подходи, не подходи... — Лиза лихорадочно обеими руками гребастала на себя платя, юбки.

Егорша улыбался. А потом подошел к ней и с шумом, с треском начал срывать с нее платя. Одно за другим. Как листки с настенного календаря.

И она ничего не могла поделать. Стояла, тискала на груди кашемировое платя и не дыша, словно замороженная, смотрела в слегка побледневшее, налитое веселой злостью Егоршино лицо.

### Глава третья

#### 1

У Ставровых началась великая строительная лихорадка: с утра до позднего вечера Егорша гремел топором.

Работал он легко, весело, как бы играючи, так что не только ребята, бабы постоянно вертелись возле ставровского дома.

Первым делом Егорша занялся крыльцом у передка. Старые, подгнившие ступеньки заменил новыми, вбил железную подкову — на счастье, а потом — разошелся — раз-раз стамеской по боковинам, и вот уж крыльцо в кружевах.

Точно так же он омолодил баню, жердяную изгородь, воротца в заулке.

Но, конечно, больше всего охов да ахов у пекашинцев вызвал охлупень с конем, который Егорша поднял на дом.

Лиза, когда вернулась с коровника да увидела — в синем вечернем небе белый конь скачет, — просто расплакалась:

— Дед-то, дед-то наш был бы доволен! Все Михаила перед смертью просил: «Ты уж, Миша, коня моего подыми на дом, всю жизнь хотел дом с конем»... А тут и не Миша, внук родной поднял...

— Но, но! — басовито, по-хозяйски оборвал жену Егорша. — Разговорчики!

Ему нравилось быть семейным человеком. Он с радостью, с удовольствием возился с сыном, его не на шутку увлекла новая, почти незнакомая до этого роль мужа.

Сколько через его руки всякого бабья прошло! И ничего себе штучки были — не заскучаешь. А все же такого, как с Лизкой, у него еще ни с кем не было — это надо правду сказать. Утром проснешься, уставилась на тебя своими зелеными, улыбается: «Я не знаю, с ума, наверно, сошла... Все глежу и глежу на тебя и нагледеться не могу...» А с коровника своего возвращается — ух ты! Вся раскраснелась, застыдилась — как, скажи, на первое свиданье с тобой пришла...

Заскучал Егорша на седьмой день.

В этот день у него с утра заболел зуб, ну и как лечить зуб в деревне? Вином. А потом — вино не помогло — взял аршинный ключ от амбара, пошел в амбар — там у бабки, бывало, целое лукошко стояло со всякими зельями и травами.

И вот только он открыл, гремя ключом, дверь — увидел свою тальянку на сусеке. Вся в пыли, в муке, как, скажи, сирота неприкаянная.

Он взял ее, как своего ребенка, на руки, смахнул пыль рукавом рубахи, а потом уселся на порожек — ну-ко, голубушка, вспомним былые денечки! В общем, хотел заглушить боль в зубе — рванул на всю катушку, просто вывернул розовые мехи, а получил скандал. Получилось черт знает что!

— Ты с ума, что ли, сошел? Что люди-то о нас подумают? Скажут, вот как они веселятся — рады, что старика схоронили...

Егорша на самой высокой ноте осадил гармонь, резко сдвинул мехи. А потом глянул на приближавшуюся к нему по тропке Лизку, и у него впервые при виде возвращающейся со скотного двора жены зевотой свело рот.

## 2

Зубы заговорила Марина-стрелеха. Зачерпнула ковшом воды из ушата, пошептала что-то над ним, дала отпить, и полегчало вроде. Во всяком случае, Егорша вышел от нее, уже не держась за щеку.

Была середина дня. За рекой на молодых озимях шумно горланили журавли — не иначе как проводили общее собрание по случаю скорого отлета в теплые края...

Куда пойти?

Домой ему не хотелось. От дома пора взять выходной — это он хорошо понял сегодня. К теще податься? Так и так, мол, угощайте зятя. Что это за безобразие — вот уж неделя, как он дома, а у тещи еще и за столом как следует не сживал.

Егорша пошагал в колхозную контору: вспомнил — председатель на днях с Лизкой наказывал зайти.

Лукашин был в правлении один — сидел за своим председательским столом и играл на костяшках.

— Все дебет и кредиты сводим? — нашел нужные слова Егорша.

— Да, приходится.

— Ну и как?

— Подходяще! — Лукашин сказал это бодрим голосом, но распространяться не стал, полез за папиросами. Очень удобная штука эти папиросы для начальства: всегда есть предлог оборвать нежелательный разговор.

Егорша, слегка развалясь на старом деревянном диванчике, памятно ему еще с войны, с любопытством присматривался к этому человеку. Он всегда вызывал у него интерес. Ведь это же надо — добровольно, по своей охоте к ним на Линегу пришлепать. В бабьи сказки насчет любви и всего такого Егорша никогда не верил. Анфиса, конечно, баба видная, но уж не такая она ягодка, чтобы ради нее на край света ехать. Из-за карьеры?

Признаться, попервости он, Егорша, так и думал: в такой глухомани, как ихняя, умный человек быстрее выдвинется. Но сколько лет прошло с тех пор, как у них Лукашин? Четыре-пять? А воз, как говорится, и поныне там. Как потел в колхозных санках, так и теперь потеет.

— Так, так, Суханов, — сказал Лукашин, закуривая, — отломал, говоришь, три годика, выполнил свой патриотический долг...

— Примерно. На месяц раньше демобилизовали. По причине семейных обстоятельств.

— Да, старик мог бы еще пожить. Рано отчалил к тем берегам. Зимой нас крепко выручал — всю упряжь чинил...

Егорша со скорбным видом принял соблезнования, даже папиросу вдавил в пепельницу (все та же щербатая тарелка, как три года назад), вздохнул.

— Ну, а какие планы? Как жизнь устраивать думаешь?

— Покамест недоработки стариковы по дому ликвидировал, а вообще-то надо подумать.

— А по-моему, и думать нечего, — сказал Лукашин и начал загибать пальцы: — Жена у тебя в колхозе — раз, дом — вон какой, с конем! Прямая дорога к нам. Видел, какой мы дворец для наших буренок отгрохали?

— Видел.



— Ну тогда чего же тебя агитировать! Подключайся к Житову. Веселый народ — не заскучаешь.

— Так, — сказал Егорша. — Насчет веселья вопросов не имею. А как насчет этого самого? — Он на пальцах показал, что имеет в виду.

— Насчет этого самого... — Тут Лукашин прямо-таки дымовую завесу поставил между собой и им. Не иначе как для того, чтобы собраться с мыслями.

В конце концов, кашляя и чихая, признался, что трудодень у них нежирен. С голоду, дескать, не помираем, но и закрома от излишков не рвет.

— Понятно, — усмехнулся Егорша. — В общем, раскладка не та.

Лукашин вопросительно посмотрел на него.

— Это в части у нас повар был, Иван Иванович. Толстый такой, жирный боров — как баба беременная. Но мастер — во! Генералу с начальством готовил. И вот этот Иван Иванович, как только, бывало, выедем за город на пикник, — Егорша старательно выговорил последнее слово и посмотрел на Лукашина: знает ли? — ...начнет вздыхать да охать: ах, в деревню хочу, ах, на природу-кустики желаю... Ладно. Демобилизовался. Уехал в деревню. А ровно через полгода возвращается обратно. Худющий, как, скажи, чахоткой заболел. Без паспорта и не узнать. Ну, все-таки до генерала допустили — такие повара на улице не валяются. «Так и так, товарищ генерал-майор, желал бы снова вернуться во вверенную вам часть». — «А как же с деревней, с природой, Иван Иванович? — спрашивает генерал. — Не понравилось?» — «Понравилось, товарищ генерал. И даже очень понравилось. Только раскладка не та...»

— Ну, и взял генерал этого повара обратно? — спросил Лукашин и как-то невесело, скорее для приличия, улыбнулся.

— А то как! Такого повара да не взять.

— Зря, — сказал Лукашин. — А кто же будет деревню поднимать?

Вопрос уже был обращен к нему, Егорше, и он подумал, что, пожалуй, перегнул немного насчет этой раскладки. Но с другой стороны — что это такое? Ничего не спросил: где, как, кем служил, — полезай на угол. Маши топором. Даже грузовик колхозный не предложил. И вообще, разозлился вдруг Егорша, чего он свой руль задирает? Дворец этот самый, которым он тут хвастался, когда готов будет? Когда буренки от холода околеют? Так? А другие колхозные показатели? Что-то он, Егорша, не помнит, чтобы Лизка и Мишка взахлаб писали ему по поводу этих самых показателей. Да он и сам не слепой. Не с одного КП просмотрел Пекашино за эту неделю...

Однако Егорша и виду не подал, какой закрут у него внутри. На кой хрен ему ссориться с головкой своей деревни!

И кончил миролюбиво, по-свойски, с улыбкой:

— Погоди маленько с работой, товарищ Лукашин. Дай человеку прийти в себя. У меня ведь как-никак дед родной неделю назад помер. А кроме того, отпуск. Согласно закона о демобилизации...

Лукашин вздохнул, но ничего не сказал.

### 3

Сперва полверсты отшагал вдоль болота, потом пересек болото, а точнее, проплывал его по вертялым замшелым жердинам и бревнышкам, потом продирался мокрым кустарником — плакали хромовые сапожки и гимнастерка шерстью обросла, пришлось даже с себя снимать, чтобы отчистить, потом еще сколько-то поблуждал-покрутился на пустошах и только тогда увидел главного колхозника.

Нет, товарищ Лукашин, сказал мысленно Егорша, подождем немного. Суханов-Ставров не прочь помочь своим землякам — когда бежал от трудностей? Но и ишачить за вас — нет, извините, дураков нема. За три года, что он служил в армии, куда страна в целом шагнула? А в Пекашине что? У вас какой оборот по части прогресса?

Три года назад этой самой пустоши, на которой он сейчас стоит, на пекашинской карте не было — он точно это помнит, потому что как раз перед самым отъездом в армию они с дедом в этом квадрате рубили дрова и дед еще, когда проходили мимо поля, очень разорался насчет ржи. Дескать, плохая рожь ноне на поле, землю навозом не удобряют, а вот у него тут в старые времена рожь была такая, что хоть топором руби...

Мишка напоминал Егорше глухаря на току. Глухарь, когда весной свою любовную песню заведет, ни черта не слышит и не видит, охотник под самую сосну подходит, чуть ли не колом сшибает. Вот так и Мишка. Егорша вышел на обочину поля, как верстовый столб встал. А Мишка рядом, в двух шагах, проехал — и не заметил. Сидит себе, качается в своей железной люльке и, похоже, совсем очумел от треска и хлопанья граблей — с открытыми глазами слепой.

Да, усмехнулся Егорша, хорошо, что он все это увидел в голой природе. А то ведь он размяк, разнежился на домашних пуховиках — о чем стал подумывать в последние дни? А о том, чтобы пополнить собой колхозные кадры, тут, в Пекашине, на постоянный причал встать...

Егоршу обнаружил Тузик.

Тузик плелся сзади жатки, без всякой радости, просто так, по собачьей обязанности путался в ржаных валках. А тут увидел незнакомого человека — загремел на все поле, а потом, дьявол его задери, еще того чище — на него бросился.

Вот тогда-то Мишка и соизволил поднять свои карие.

Сели на солнышке, на скос старой, давно высохшей канавы, густо заросшей брусничником.

Таких канав великое множество в пекашинских навинах — точь-в-точь как старые, отслужившие свое окопы, в которых веками, из поколения в поколение, велись сражения с лесом да с болотом. Иной мужик вроде его деда треть жизни своей выстоял в этих самых канавах-окопах. Вот каким трудом добыта каждая пядь пахотной земли на Севере! А теперь что?

Мишка все же уважил гостя: сам сел на ягольник, а ему, Егорше, бросил ватник.

— Что-то не вижу у тебя бабсилы, — сказал Егорша, окидывая своим цепким глазом ржаное, наполовину выжатое поле.

Мишка, конечно, не понял с первого слова, что такое бабсила, — пришлось растолковывать, на какой тяге едет ихний колхоз.

— В лес женки укатали, — буркнул Михаил. — Вишь, какое тепло стоит. Хотя последние грибы взять...

— Ясно, — подвел политическую подкладку Егорша, — частный сектор наступает на пятки общественному.

Мишка — всегдашняя опора и любимец пекашинских баб — завелся сразу:

— Частный сектор, частный сектор!.. А этот частный сектор должен чего-нибудь жрать, нет? В прошлом году по триста грамм на трудодень отвалили, а в этом году сколько?

Егорша скорехонько вытащил из брюк белоголовку, две луковицы с зелеными перьями, потому что Мишкины разговоры по этой части он знает с сорок второго года, и ежели его вовремя не остановить, будет кипеть и яриться часами.

— Стакана у Ульки-продавщицы не привелось, а домой я не заходил,— сказал Егорша,— так что придется вспомнить счастливое детство...

Однако тут не сплосал уже Мишка: быстро выхватил из ножен свой клинок, срезал с молодой березы ленту тонкой бересты с золотистой изнанкой, загнул два угольника — чем не посуда?

— Ну, рассказывай, как у тебя на петушином фронте,— сказал Егорша, когда выпили.

— На петушином? — удивился Мишка (совсем мозга не работает!). — Это еще что?

— А это такой фронт, на который все с полным удовольствием... Без погоняла... Солдатик один у нас в отпуск ездил. Домой к себе, в колхоз. Ну, съездил как положено. Без чепе. В срок явился, доложил. А через девять месяцев семь заявлений: просим с такого-то Сидорова-Петрова взыскать алименты. Ну, насчет алиментов — сам знаешь: какие с солдата капиталы? Главное — политико-воспитательная работа минус. Майор, замкомандира по политчасти, вызывает Сидорова-Петрова: что ты наделал, такой-раздакий? «Виноват, товарищ майор, а только никак иначе нельзя было». — «Почему?» — «А потому что когда кур полный курятник, а петух один — что петуху делать?»

— Да,— рассмеялся Михаил,— а ведь действительно петушиный фронт.

— Вот я и спрашиваю, как у тебя дела на петушином фронте. Перешагнул за поцелуйные отношения с Раечкой?

— Раечка — девка.

— Все когда-то были девками.

Мишка махнул рукой — всегда на этом месте буксует. Подумаешь, секреты государственные у него выпрашивают! Пробурчал:

— У нас чего — известно. Ты лучше про городских. Как оны?

— Да все так же. Существенных расхождений не наблюдается. Ни в рельефе местности, ни в натуре. Первым делом хомут на тебя стараются надеть.— Егорша помолчал немного и блаженно улыбнулся.— У меня хохлушечка одна была, пухленькая такая курвочка, черные очи... Ну, умаялся. Я так, я эдак — из себя выхожу. Всё мимо, всё за молоком. А ей, видишь, по-хорошему хочется. Чтобы на семейную колею, значит... Ладно, хрен с тобой — получай обещание — поженимся. Ну и понятно, первый угар прошел — она счет: женись. Э-э, нет, говорю, коханочка (это у них навроде нашей дрелочки), ежели ты, говорю, хотела, чтобы я женился на тебе, надо было подол покрепче в зубах держать. «А как же, говорит, честное слово ты давал?» Ну, говорю, ты еще с быка, когда он корову увидел, честное слово возьми. Солдат, говорю, одной присяге верен, понятно тебе, а всякие там слова и обещания для него не в счет...

Михаил сказал:

— А говорят, теперь служить против прежнего тяжелее, никуда из казармы не выпускают.

— Ну правильно! — живо согласился Егорша.— Только много ли я в этой самой казарме кантовался? А потом — у генерала стал шоферить — знаешь, какой у меня горизонт был? Сегодня мотаешь в один полк, завтра в другой, послезавтра в округ, в субботу — «подать машину в девятнадцать ноль-ноль. На рыбалку едем. С пикником». — Последнее слово Егорша выговорил с особым старанием, но, как он и предполагал, Мишке это слово ничего не говорило.

— Пикник,— начал разъяснять Егорша,— это та же рыбалка на свежем лоне, только с бабами и с большой выпивкой. Понимаешь, у начальства в летний период заведено так: в выходной день за го-

род. А то и в субботу иной раз шпарят, прямо на ночь... Н-да, была у меня одна история на этом самом пикнике...

— Какая?

— Да такая, что только здесь и рассказывать, за две тысячи от места происшествия.

Егорша выждал, пока Мишка закручивал себя в нужном направлении (это перво-наперво — передох, ежели хочешь по черепу ударить), и спокойно, даже как бы с ленцой объявил:

— С генеральшей маленько в жмурки поиграл.

— С женой генерала? Ври-ко!

— А чего врать-то? Правды не пересказать. Ты думаешь, раз генерал — по всем делам генерал? Естество и природность как у всех протчих. После пятидесяти в долгосрочный отпуск. Весной дело было. Крепко подвыпили — первый пикник на ложе был. Меня это подзывает к себе генерал. Стакан коньяку — по-ол-нее-хонький. И вот такую балясину мяса жареного на железном шомполе — шашлыком называется, только что повар Иван Иванович с огня снял. «Выпей, Суханов, и чтобы через пять часов как стеклышко. Понял?..» — «Так точно, товарищ генерал-майор. Есть через пять часов как стеклышко». Ну, выпил я, залез в свой «ЗИС», прямо на заднюю подушку — вот как хорошо! Знаешь, у «ЗИСа» целый диван на задку. Ладно, спит солдат — идет служба. А через энное время стук в дверцу: жена генерала. Замерзла. Ну я, конечно, моменталом: пилотку в руки и пожалуйста — свободно помещение. А она как толкнет меня обратно...

— Жена генерала?

— А кто же еще? Свидетелев в таком деле не бывает...

У Мишки веревкой вдруг сошлись выгоревшие за лето брови над переносем, а желваки на щеках как собаки — так и забегали, так и забегали взад-вперед, только что не лают. В чем дело? Сидели-сидели два друга-приятеля на теплом солнышке, под кустиком, обменивались мирно опытом под водочку с берестяным душком — и вдруг трам-тарарам и гроза на ясном небе. Позавидовал? Генеральша эта самая в печенки вьелась?

— Объясни свое поведение, — потребовал Егорша. — У нас старшина Жупайло, знаешь, как в этом разе делал?

Мишка вскочил на ноги, морду в землю — прямо дугой выгнулась косматая, давно не стриженная шея — и наутек. Не в обход по тропинке, а напрямик, через кусты, — только треск пошел.

Яростно залаял, прикрывая отход своего хозяина, Тузик.

Егорша схватил недопитую бутылку, шарил, как гранату, в сторону собачонки — задавись, сволочь! — а потом встал, отряхнул гимнастерку и бриджи, затянул ремень на последнюю дырочку, так что ящичком расперло грудь, и пошел не оглядываясь на дорогу, по которой только что верхом проехал Лукашин.

## Глава четвертая



Туман, туман над Пекашином...

Как будто белые облака спустились на землю, как будто реки молочные разлились под окошками...

Редко, очень редко на пекашинскую гору забираются туманы, все больше вокруг деревни ходят. Низом, по подгорью, по болоту. Но уж когда заберутся — прощай белый свет: в собственном заулке ничего не увидишь.

Да, подумал Михаил, стоя на крыльце и поеживаясь от сырости, сегодня до обеда нечего делать в поле.

Он бросил недокуренную папиросу, с криком влетел в избу:  
— Федька! Татьяна! Живо за грибами!

Федька заворочался на своих полатях только тогда, когда Михаил проехался кулаком по полатнищам, а Татьяна та и вовсе голоса не подала из своего девчешника. И как тут было не вспомнить Петьку да Гришку! Те, бывало, команды не ждут, сами все уши прожужжат: «Миша, за грибами ехать надо... Миша, заморозки скоро начнутся...» — а уж утром-то в день выезда на бор только пошевелишься чуть-чуть — как штыки вскочат.

Вчера наконец от Петьки и Гришки получили письмо. Дурачье — двадцать копеек на марку пожалели, с Гриней-карбасом из Водяи послали, а Гриня в районе накачался — замертво, как бревно лежащее, мимо Пекашина провезли. И вот только вечер, через десять дней, занес — Михаил как раз с поля приехал, когда Гриня в заулоч ввалился: «Мишка, ставь полбанки — письмо от братьевников». Вести были что надо: учатся! Сошел с рук Тузик, и, хоть в доме не было ни копейки, Гриню угостили: под дрова четвертак у Семеновны заняли.

Михаил вышел из дому один. Татьяне и Федьке, оказывается, в школу сегодня идти, а матери и подавно нельзя: корова, печь, Вася...

В тумане он прошел заулоч, задворье и вдруг подумал про Лизку, про Егоршу: а им-то грибы надо?

## 2

К Ставровым Михаил подкатил на телеге.

По привычке он гулко забухал сапогами на крыльце боковой избы — подъем, подъем! — и только наткнувшись на мокрый кол в воротах, вспомнил, что Егорша и Лизка на днях переселились в передние избы.

Открыла ему сестра.

— Чего такую рань? Мы ведь еще дрыхнем... — И, стыдливо потупив глаза, отступила в сторону.

Зато Егорша — ни-ни, одеяла на голое брюхо не натянул. И вообще, зубы стиснуты, глаза в потолок — пошел ко всем дьяволам!

Понятно, понятно, сказал себе Михаил. Не понравилось, как я вчера на поле вскипел. А кто бы не вскипел на его месте, когда перед тобой петушинные подвиги расписывают, сестру твою родную предадут да в грязь топчут?

Однако он сейчас и виду не подал, что накануне между ними черная кошка пробежала.

— Давай, давай! Мигом! Солдат еще называется!

Он схватил Егоршу за ноги, стащил с постели, вольготно раскинутой посреди избы — совсем как в былые времена! — кивнул на белые, наглухо затканые туманом окна:

— Грибы наказывали, чтобы мы в гости приехали. Заждались, говорят.

— А ведь это мысль! — сразу воспрянул Егорша.

— Мысля! Молчи уж лучше — не трави душу. Умные люди с вечера о грибах думают.

— Да в чем дело? — спросил Михаил у насупленной сестры.

— Со стиркой я вечер разобралась. Оля выходной дала — дай, думаю, приберусь немного...

— Ерунда! — успокоил сестру Михаил. — Стирка и до вечера пождет.

Все решила команда Егорши. Тот, нисколько не думая про спящего сына, заорал как в казарме:

— Разговорчики! Пять минут на сборы. Понятно?

Собирались весело, со смехом, с шутками.

Егорша — дурь в голову ударила — начал притворно выговаривать Михаилу, зачем он не подождал, сон ихний оборвал на самом интересном месте — нарочно, чтобы вогнать в краску Лизку, и та, конечно, не выдержала — выскочила из избы.

— Ты бы все-таки эту жеребятину оставлял за порогом, когда в свою избуходишь, — с мягким укором посоветовал Михаил.

— А между прочим, — Егорша по-прежнему в этом слове старательно нажимал на «т», — насчет этой жеребятини самой, знаешь, какое мнение у кобыл?

Последовал похабнейший анекдот, и Михаил первым затрясся от смеха.

Лиза не возвращалась. Умылся и оделся Егорша, Вася успел проснуться, а ее все не было.

Наконец забрякало железное кольцо в воротах.

Михаил по-свойски закричал было на переступившую порог сестру и прикусил язык: Лизка была не одна. Вслед за Лизкой в избу входила Раечка.

Егорша от радости подпрыгнул чуть ли не до потолка — любил компанейскую жизнь:

— По коням!

А Михаил только посмотрел на свою сестру, на ее сияющие зеленые глаза и все понял. Нет, ей мало быть счастливой самой. Она хотела, чтобы и брат был счастлив.



В Пékашине, если не считать заречья, самые грибные места за навинами и в Красноборье.

Занавинье грибом богаче, особенно солехами, да и ягоды там всякой больше, но Михаил решил ехать в Красноборье. Во-первых, надо Васю к матери забросить, а это как раз по дороге, а во-вторых, в занавинье сегодня сыро — до последней нитки перемокнешь.

Егорша, как только сели на телегу, начал травить анекдоты — на всякий случай у него притча да присказка. К примеру, Лизка спросила у Михаила, не забыл ли он свой нож, надо бы дырочку у коробки повертеть, ручка разболталась, — пожалуйста анекдот о дырочках...

Конь бежал ходко. За разговорами да за смехом и не заметили, как проскочили мызы, выехали к Копанцу.

Там кто-то уже был — в сторонке от дороги, под елью, горбилась лошадь. А пока они ставили своего коня да разбирали коробья, объявились и грибники — Лукашин и Анфиса Петровна, оба с полнехонькими корзинами желтой сыроеги.

— Покурим? — предложил Лукашин.

Михаил промолчал, вроде как не слышал, а из женщин из тех и подавно никто не поддержал председателя: раз приехали в лес, какое куренье?

Но Егорша, конечно, зацепился.

— Шлепайте! — крикнул. — Догоню.

Рассыпались вдоль ручья. Места хорошие: холмики, гривки, верейки. Всего тут бывает толсто — и гриба и ягод.

Лизка, глупая, сразу же отскочила в сторону, якобы для того, чтобы пошире ходить, а на самом-то деле дурак не догадается, что у нее

на уме. Хочет оставить их вдвоем с Раечкой, создать, так сказать, соответствующую обстановку.

Раечка кружила у Михаила под носом, он постоянно натыкался на ее широко распахнутые голубые глаза — они, как фары, высвечивали из тумана, звали, манили к себе, хотя тотчас же и пропадали. Но Михаил и шагу не сделал в сторону Раечки. Что-то удерживало, останавливало его. Только раз он, пожалуй, был самим собой с Раечкой — недели две назад, когда вечером столкнулся с ней возле школы. Да и то, наверно, потому, что навеселе был. А во все остальные встречи он будто узду чувствовал на себе.

Все-таки в одном месте они оказались впритык друг к другу. Это у муравейника, где спугнули глухарку.

Глухарка взлетела с треском, с громом, так что не только Раечка насмерть перепугалась — он, Михаил, от неожиданности вздрогнул. Потом он поднял с муравейника рябое, с рыжим отливом перо, обретенное птицей, понюхал:

— Чем, думаешь, пахнет?

Тут их догнал Егорша. Все было тихо, спокойно, и вдруг свист, гуканье, верещанье — по-собачьи, по-кошачьи, по-всякому, а потом и прибаутка на каком-то нездешнем мягком говоре:

«— Мамка, а мамка? У грибов глаза есть?»

— Не, дочка.

— Врешь, мамка. Когда их едят, они глядят».

— Ты лучше, чем зубанить-то, покажи, что набрал,— спросила, улыбаясь, подоспевшая к ним Лиза.

В берестяной коробке у Егорши перекатывалась горстка мокрых, запорошенных старой рыжей хвоей козляток, каких они, Пряслины, вообще не берут. У Раечки тоже было негусто, зато у Лизки — полкороба. И какие грибы! Желтые маленькие сыроежки (самые лучшие грибы для соления), масляные грузди, рыжики... А меж них красная и синяя строчка из брусники и черники пущена. Это уж специально для красоты.

Впрочем, Лизкин короб никого не удивил. В Пекашине — это всем известно — нет ягодницы и грибницы, равной ей. Сама Лизка этот свой дар объясняла просто — тем, что ее бог наградил зелеными глазами, которые сродни всякой лесовине. «Вот они, грибы-то да ягоды,— говорила она в шутку,— и выбегают ко мне по знакомству, когда я иду по лесу, только подбирай».

Довольная, широко скаля свой крепкий белозубый рот, Лиза переложила половину своих грибов в коробку Егорши, шлепнула игриво по спине — носи, мол, раз лень самому собирать,— и только ее и видели: умотала.

Первые коробья наполнили довольно быстро — к телеге подошли, еще туман ходил по лесу.

От мокрой Раечки шел пар — вот как она бегала, чтобы не подкачать. Потому что, как там ни пой, а неудобно девушке, да еще невесте, с пустым коробом к телеге выходить.

На этот раз Михаил покурил сидя, без особой спешки — имеет право! — затем вынес на обсуждение вопрос, что делать дальше. В запасе у них часа полтора — куда двинем? В сторону поскотины, чтобы пособирать на луговинах волнух и рыжиков, или побродим в сосняке на речной стороне, то есть в том лесу, который, собственно, и принято называть Красноборьем?

— В сосняке! В сосняке!

Другого ответа он и не ожидал. Так у пекашинцев испокон веку: уж если довелось тебе забраться в Красный бор, то хоть немного, а покружи в приречном лесу. Грибов да ягод тут, может, много и не

наберешь, а на свет белый глянешь повеселее. В любую погоду в Красном бору сухо. И светло. От сосен светло. И от самой земли светло, потому что земля тут беломошником выстлана.

## 4

Обратно шли пешком — телега в два этажа была заставлена коробьями с грибами.

Лиза была довольнехонька: быстро обернулись. Когда подъехали к Синельге, туман еще был под горой.

Конь легко взял пекашинский косик и мог бы без передыха дотащиться до дому, но Егорша крикнул: «Перекур!» — и конь послушно стал.

Лиза и Раечка, как водится у женщин, начали прихорашиваться, перевязывать на голове все еще сырые платки, Егорша занялся сапогами — в деревню въезжаем, — и только Михаил ни рукой, ни ногой не пошевелил. Потом — как-то совсем машинально — он повел глазами по Варвариным, веселым от солнца окошкам и вдруг вздрогнул всем телом: ему показалось, что из глубины избы поверх белой занавески на него смотрят знакомые темные глаза.

Он, как ошпаренный кипятком, повернул голову к Егорше — тот, к счастью, не глядел на него, вицей огрел коня.

Взглянуть второй раз в окошко у него не хватило духу.

## Глава пятая

## 1

На Севере сенокос обычно начинают с дальних глухих речек, так как траву там только тогда и высушишь, когда солнце жарит. В таком же примерно порядке убирают и с полей: сперва на лесные навины наваливаются, а потом уж зачищают все остальное.

У Михаила в бригаде из дальних полей недожатой оставалась Трохина навина — тот самый участок, на котором вчера соизволил навестить его Егорша. Но сегодня после такого тумана нечего и думать было о Трохиной навине — низкое место. Поэтому, чтобы не терять даром времени, он после обеда перегнал жатку на Костыли — так называются поля за верхней молотилкой.

Работа на этих Костылях — все проклянешь на свете: холмина, горбыли, скаты. За день и сам начисто вымотаешься, и с лошадой не один пот сойдет.

Но весело.

Деревня за болотом как на ладони. Кто по дороге ни прошел, ни проехал — всех видно. Обед по сигналу. Как только взвьется белый плат над крышей своего дома, так и знай: Татьяна и Федька из школы пришли.

Но самое главное веселье, конечно, — молотилка у болота, к которой вплотную подходят поля. К бабам на зубы попадешь — изгрызут, измочалят, как сноп, а чуть маленько зазевался — чох из ведра водой, а то и с жатки стащат. Навалится со всех сторон горластая хохочущая орда — что с ними сделаешь?

Сегодня Михаил с удивлением посматривал в черную грохочущую пасть ворот, в которых столбом крутилась хлебная пыль. Он уже три раза проехал мимо, и хоть бы одна бабенка выскочила к нему из гумна.

Ага, вот в чем дело, догадался наконец, Железные Зубы тут (он



узнал Ганичева по черному кителю, жестяно отливающему на солнце возле конного привода).

Районных уполномоченных стали приставлять к молотилкам с осени прошлого года. И будто бы такая мода заведена не только у них на Пинеге, но и в других районах области. Для того, чтобы колхоз быстрее выполнил первую заповедь. И для того, чтобы поменьше зерна попадало бабам за голенища. Так, по крайней мере, говорят, в шутку сказал Подрезыв на каком-то районном совещании.

Поднявшись в угор, Михаил слез с жатки, выломал на промежке, возле дороги, черемуховую вицу: лошади сегодня ни черта не тянут, особенно Серко, на котором за грибами ездили.

Над черемуховым кустом лопотали осины, уже прошитые желтыми прядями. Серебряные паутинки плавали в голубом воздухе...

Михаил вспомнил, как из этого самого осинника он когда-то воровски поглядывал на Варварину повесть, и невольно посмотрел на ее дом.

У него глаза на лоб полезли: ворота на Варвариной повести были открыты. Те самые ворота, в которые он когда-то залезал по углу.

Он сел на промежек, чтобы прийти в себя. Значит, давеча ему не показалось — Варварины глаза были в окошке...

Мысли у него прыгали и скакали в разные стороны, как лягушата. Голова взмокла — не от солища, нет. Сердце гремело, как колокол. Все, все было точь-в-точь как раньше, когда он был мальчишкой.

Что придумать? Что? Дождаться вечера? Темноты?

Он глянул на солнце — целая вечность пройдет, покуда дождешся вечера.

Так ничего и не придумав, он сел наконец на свое железное сиденье, погнал лошадей вниз, к молотилке.

Ворота на Варвариной повести все так же зазывно были открыты...

У молотилки остановил лошадей (те только этого и ждали), с бесшабашным видом пошел к бабам.

— Пить нету?

Глупее этого, наверно, ничего нельзя было придумать, потому что бабы с нескрываемым изумлением переглянулись меж собой: дескать, какое тебе питье надо — болото с ручьем под боком.

Нюрка Яковлева первая повернула разговор на «божественное»:

— С кем целовался? Какая милаха так жарила, что осенью высох?

— Ха-ха-ха-ха!

— Охо-хо-хо-хо!

Подошедший на смех Ганичев строго заметил:

— График срываешь, Пряслин.

Барабан загрохотал.

— Ну, ладно! — беззаботно махнул рукой Михаил. И громко, чтобы все слышали: — Пойду к Лобановым. Я еще не привык с лошадьми из одной колоды пить.

## 2

Раньше, пять лет назад, когда он белой ночью, как вор, крался с задов к Варвариному дому, самым трудным для него было проскочить от амбара в поле до повести — три окошка у Лобановых нацелены на тебя. И сколько же топтался и трясся он возле этого амбара, прежде чем решиться на последний бросок!

Сегодня Михаил прошел по меже мимо амбара не останавливаясь, а на лобановскую избу даже и не взглянул.

Закачало его, когда он подошел к воротцам да увидел в заулке свежепримятую траву: Варвара своими ногами топтала.

У него не хватило духу поставить свой сапог на ее след, и он начал мять траву рядом.

Руки сами по старой привычке нащупали в воротах железное кольцо с увесистой серьгой в виде восьмигранника. Сноп яркого света ворвался в нежилую темень сеней, вызолотил массивную боковину лешенки, по которой он столько раз поднимался на поветь...

Но он задавил в себе нахлынувшие воспоминания, взялся за скобу.

Варвара мыла пол. Нижняя подоткнутая юбка белой пеной билась в ее смуглых полных ногах, красная сережка-ягодка горела в маленьком разалевшемся ухе...

— Ну, чего в дверях выстал? Так и будешь стоять?

Михаил перешагнул через порог. Дунярка разогнулась.

Да, это была она, Дунярка, хотя и не так-то легко было признать в этой сытой, раздобревшей женщине с румяным лицом его мальчишескую любовь.

Впрочем, Дунярка и сама не скрывала происшедших с нею перемен.

— Крепко развезло? На дистрофика не похожа? Ничего, Сережка у меня не возражает. Его на сухоробриц не тянет.

Сполоснув руки под медным, уже начищенным рукомойником, она поздоровалась с ним за руку, подала стул, села сама напротив.

— А я тебя давеча тоже не сразу узнала. Вон ведь ты какой лешак стал, баб-то всех с ума, наверно, свел. Я в районе у тетки два дня жила — не видала такого дяди, ей-богу!

Дунярка говорила запросто, по-свойски, как бы приноравливаясь к нему, но именно это-то и не нравилось Михаилу. Как будто он уж такой лопух — языка нормального не поймет. А потом — за каким дьяволом постоянно вертеть глазами? В Пекашине и так всем известно, что в ихнем роду глаза у баб исправны.

За занавеской заплакал ребенок. Михаил вопросительно глянул на вскочившую Дунярку.

— А это Светлана Сергеевна проснулась. Ты думаешь, так бы меня Сережка и отпустил одну? Как бы не так. К каждому пню ревнует.

Дунярка не могла не похвастаться своим сокровищем и, прежде чем начать кормить девочку, вынесла показать ему.

— Вот какая у нас есть невеста, не видал? И два жениха еще растут. А чего теряться-то? Хлебы себе под старость растим. А ты все еще на прикол не стал? Не хочешь на одной пожне пастись? Хитер парниша! — И Дунярка опять покрутила глазами.

— А ежели тебе завидно, жила бы в девках, — сказал Михаил, на что Дунярка — уже из-за занавески — громко расхохоталась.

В избе, как показалось Михаилу, сладко запахло парным молоком.

— А я ведь пить зашел, — сказал он, и ему и в самом деле захотелось пить. А кроме того, пора было сматываться. Поздоровался, пять минут посидел для приличия, а еще что тут делать?

Он встал, взял ковш со стола и увидел на стене знакомую фотографию Варвары. Карточка была давняя, довоенная, из-за отсвечивающего стекла лица не видно, но он так и влип в нее глазами...

— Скажу, скажу тетке, как ты на нее смотрел, — раздался вдруг сзади смех. — Вот уж не думала, что у вас такая любовь. А я ведь, когда мне рассказывали, не верила...

У Михаила огнем запылало лицо. Он бешеным взглядом полоснул Дунярку и смутился, увидев у нее на груди, на белом, туго натянутом полотне, два темных пятнышка от молока.

Стиснув зубы, он пошел на выход. Дунярка схватила его за рукав.

— Вот кипяток-то еще! Слова сказать нельзя. Нет, нет, насухо ты от меня не уйдешь. Не выйдет!

Она силой усадила его к столу, вынесла из задосок начатую бутылку, из которой, по ее словам, уже отпил шофер, который вез ее из района, надила стакан с краями.

— Давай! За нашу встречу... — И простодушно, даже как-то застенчиво улыбнулась.

— А ты?

— А мне нельзя. У меня, видал, какая невеста-то? Или уж выпить? А, выпью! — вдруг с подкупающей решительностью сказала Дунярка и лихо, со звоном поставила на стол стопку.

Водка шальным огнем заиграла в ее черных и плутоватых, как у Варвары, глазах. И что особенно поразило Михаила — у Дунярки была та же самая привычка покусывать губы.

— А ты очень тогда на меня рассердился? — спросила она.

— Когда — тогда? В городе?

— Ага.

— Будем еще вспоминать, как ребятишками без штанов бегали!

Шутка Дунярке понравилась. Она залилась веселым смехом. Потом долгим, как бы изучающим взглядом посмотрела на него.

— Чего ты?

— А ты не рассердишься?

— Ну?

— Нет, ты скажи: не рассердишься?

— Да ладно тебе...

Дунярка заглянула ему в самые глаза.

— А ты скажи: сюда бежал — думал, тетка приехала, да?

Михаил махнул рукой (вот далась ей эта тетка!) и встал. Дунярка тоже встала, проводила его до дверей.

— Приходи вечером, — вдруг почему-то шепотом заговорила она. — Придешь?

— Можно, — сказал не сразу Михаил и ринулся на улицу.

Он ругал себя ругательски. У него есть невеста — чем хуже Райка? Разве не стоит этой вертихвостки? А его только хвостом поманили — и поплыл. За что же тогда мочалить Егоршу?

Нет, с этим надо кончать, кончать... — говорил себе Михаил, спускаясь с Варвариного крылечка.

Говорил и в то же время знал, что никакие заклинания теперь не помогут. Он пойдет к Дунярке. Пойдет, хотя бы все пекашинские сабаки вцепились в него...



Лизка глазами захлопала, Егорша шею вытянул... Даже Вася, показалось ему, своими голубыми глазенками разглядывал его праздничный пиджак, который он напялил на себя в этот будничный вечер...

Михаил не стал тянуть канитель. Рубанул с плеча:

— Сестра, я жениться надумал.

— Ну и ладно, ну и хорошо, — живехонько согласилась Лиза и прослезилась.

Она не спрашивала — на ком. И Егорша не спрашивал: давешняя поездка за грибами расставила все точки.

Но Егорша сразу же придал сватовству деловой характер: даешь бутылку!

— Сиди! — рассердилась Лиза. — Мало у тебя бутылок-то за эту

время перебивало! Надо все обговорить, все обдумать, а он: даешь бутылку...

— Насчет бутылки я капут, — признался Михаил. — Может, завтра с утра сколько у председателя раздобуду, а на данное число у меня ни копыя...

Бутылка, к великой радости Егорши, нашлась у Лизы — та еще в девках насчет всяких заначек была мастерица.

Выпили. Причем выпила и Лиза: как же по такому случаю не выпить!

— А мама-то хоть знает? Маме-то ты сказал? — спросила она.

Михаил круто махнул рукой: с чего же будет знать мама, когда он и сам до последней минуты не знал! Сидел, брился дома (ну что-то из ихней встречи с Дуняркой выйдет?), а потом вышел на вечернюю дорогу из своего заулка, посмотрел в верхний конец деревни и вдруг повернул на все сто восемьдесят градусов.

— Нет, как хошь, — рассудила Лиза, — а маме надо сказать. Что ты! Кто так делает? Сын женится, а мать сидит дома и не знает. Ладно, идите вы вдвоем, а я побегу к своим.

Лиза быстро оделась и вдруг пригорюнилась:

— Мы ведь с ума, мужики, посходили. Кто это женится, когда из дому только что покойника вынесли?..

— Это ты насчет дедка? — уточнил Егорша. — Ерунда на постном масле. Дедко ему родня на девятом киселе. Подумаешь — сват! А потом, дедка я знаю. Дедко обеими руками за. Я помню, как он обрадовался, когда я преподнес ему тебя на золотом блюдечке.

Лиза в конце концов сдалась: она ведь сама хотела этой свадьбы. И, может быть, даже больше, чем жених.

На улице Егорша предупредил Михаила:

— Все переговоры с родителями и все прочее под мою персональную ответственность. А твое дело телячье. Ты в этом деле голоса не имеешь. Понял?

Вечер был теплый и тихий. Запах печеной картошки доносился откуда-то из-под горы. Михаил, водя головой, искал в темноте ребячий костер.

Костра он не увидел. Вместо костра он увидел огни на реке.

— Да ведь это пароход идет!

— А чего же больше? Новый леспромхоз на Сотюге — знаешь, сколько надо забросить всяких грузов?

— Значит, это буксир, — сказал Михаил. — Выгрузка будет.

Егорша хлопнул его по плечу:

— Брось! Нам, дай бог, со своей выгрузкой управиться. Думаешь, так вот с ходу: тяп-ляп — и вывернул карманы у Федора Капитоновича?..

Михаил как-то обмяк за последнее время, забыл про Райкиного отца. А сейчас, когда заговорил о нем Егорша, у него так все и заходило внутри.

Пожалуй, никого в жизни не ненавидел он так, как ненавидел Федора Капитоновича. Ненавидел за житейскую хитрость, за изворотливость, за то, что тот, как клоп, всю жизнь сосет колхоз. И мало того что сосет — еще в почете ходит. До войны кто на колхозных овощах домину себе отгрохал? Федор Капитонович. А ведь в газетах расписали: колхозник-мичуринец, южные культуры на Север продвигает. То же самое во время войны с самосадам. Развел на колхозном огороде, у всех карманы вывернул, сколько-то на оборону бросил — патриот, северный Голованов. На всю область прогремел. Ну, а после войны и того чище — заслуженный колхозник на покое. Пен-

сия, налоги вполтину, личный покос для коровы и председатель ревизионной комиссии...

Да, такой вот был человек Федор Капитонович. И этого-то человека судьба подкидывала Михаилу в тестя!

Надо, однако, отдать должное старику: принял их с почетом. И не на кухне, а в передней комнате.

— Проходите, проходите, гости дорогие.

Как будто он только их и ждал. А потом подал какой-то знак хозяйке — мигом раскрылась скатерть-самобранка: рыба — треска жареная, солехи с луком, огурцы свежие (Михаил так и побагровел при виде их) и, конечно, бутылка «московской».

Егорша ликовал. Он наступал на ноги Михаилу под столом, подмигивал: смотри, мол, в какой ты рай залетел!

Михаилу интересно было оглянуться вокруг — он первый раз был в передней комнате у Федора Капитоновича, но шёя у него как-то не ворочалась, и он только и видел, что было перед его глазами: пышный зеленый куст во весь угол да высокую белую кровать с лакированной картиной на стене — полуголая красotka в обнимку с лебедем.

Егорша по поводу этой картины шепнул ему на ухо:

— Для возбуждения аппетита.

Речь свою повел Егорша, когда выпили.

— Как говорится, молодым у нас дорога, старикам везде у нас почет. Так говорю, Федор Капитонович? Не переврал песню?

Федор Капитонович пожал плечами и искоса поверх очков посмотрел на Михаила.

— Я в песнях не горазд, особенно когда про нынешнюю молодежь...

— Вот и напрасно! — воскликнул Егорша. — Ну да это дело поправимо. Где Райка? Сейчас мы эту песню споем.

Раечки дома не оказалось, она ушла полоскать белье на реку, но Егоршу это нисколько не смутило.

— На данном этапе это несущественно, — важно, со знанием дела сказал он. — Суду и так все ясно: у нас, как говорится, купец, у вас товар — и хватит бочку взад и вперед перекатывать: пиво варить надо.

Федор Капитонович, как положено родителю, поблагодарил сватов за честь, которую оказали ему, а потом и запетлял и запетлял: дескать, не очень хорошее время выбрали, лучше бы повременить, поскольку еще в прискорбии ходите, и все в таком духе. В общем, выставил то же самое, о чем их предупреждала Лиза, — смерть Степана Андреяновича.

Егорша на это авторитетно возразил:

— Касаемо свата ты брось. Ни в одной анкете у нас такая родня не указывается. А мы с вами, я думаю, не в Америке живем. В Сэсэрэ.

— В Сэсэрэ-то в Сэсэрэ, — вздохнул Федор Капитонович, — да в каком Сэсэрэ? В пекашинском. Вас-то, может, народ и не осудит, а мне-то по улице не ходить. Каждый будет пальцем указывать.

Смерть Степана Андреяновича для Федора Капитоновича была только предлогом для того, чтобы отказать им, — это Михаилу было ясно. А с другой стороны, нельзя было и не призадуматься над его словами: рановато им затевать свадьбу. И анкетой Егоршиной рот пекашинцам не заткнешь.

Тут в самый разгар переговоров в комнату влетела Раечка — в ватнике, в пестром платке. В первую секунду она страшно удиви-

лась, увидев таких гостей за столом, а потом все поняла и жаром занялась ее лицо.

— Вот, доченька, сваты,— сказал Федор Капитонович.— А я говорю, не время, подождать надо...

Егорша — закосел сукин сын! — с ухмылкой оборвал его:

— Подождать можно, почему не подождать, да только чтобы посуда не лопнула.— И кивнул на Раечкин живот.

Конфуз вышел страшный. Федор Капитонович просто посерел в лице — какво отцу такое услышать! — и мать, как раз в это время заглянувшая с кухни, чуть не упала, а у самой Раечки на глазах вернулись слезы.

Михаил четко сказал:

— Ничего худого про свою дочь не думайте. Райка у вас честная. А ты думай, что говоришь!

— А что я такого сказал? — огрызнулся Егорша.— Не все равно, когда обручи с бочки сбивают...

— А мы таких речей про свою дочь не желаем слышать,— сказала ему в ответ Матрена, Райкина мать.

Мир за столом мало-помалу восстановился. Федор Капитонович пошел даже на попятный: они с матерью, дескать, не будут заедать жизнь своей дочери. Раз она согласна, то и они согласны. Но согласны только при одном условии: молодым жить у них, в ихнем доме.

— Ну, это само собой! — воскликнул Егорша.— Дворец у жениха известен...

— Нет, не само собой! — оборвал его Михаил.— Я со своего дома уходить не собираюсь.

— А чего? — удивился Егорша.

— А то! Мне, может, еще скажут, чтобы я и семью бросил, да?

— Райка, ты чего молчишь? — крикнул Егорша.

Раечка — она сидела с матерью на кухне — показала в дверях.

— Ну, доченька,— сказал Федор Капитонович,— закапывай отца с матерью заживо в могилу...

— Да к чему такой поворот? — возмутился Михаил.— Кто вас закапывает?

— А одних немощных стариков бросить? Ни воды, ни дров не занести.

— Ну, чего ты стоишь истуканом? — подтолкнула сзади Раечку мать.— Худо тебя отец родной поил-кормил? Разута, раздета ты у него ходила?

Раечка испуганно переводила взгляд с отца на Михаила, кусала губы, а потом сзади запричитала мать («Что ты, что ты, доченька, делаешь? Без ножа родителей режешь...»), запричитала и она.

Михаил ничего подобного не ожидал. Ведь все же ясно как божий день. Райка его любит, он любит Райку — какого еще дьявола надо? А тут слезы, стоны, плач — как будто их режут. И добро бы только старуха заливалась, а то ведь и сама Райка ревет.

— Ну, вот что,— сказал Михаил и встал из-за стола,— я еще никого за глотку не брал. Так что посидели — и хватит. Спасибо за угощенье.

— Нет, нет,— кинулась к отцу Раечка.— Я пойду за него, папа. Я люблю его...

И опять во весь голос завелась Матрена: дескать, его-то ты, доченька, любишь, а нас-то на тот свет отправишь...

Михаил выбежал из дому.

Выскочивший вслед за ним Егорша схватил его за рукав:

— Чего ты делаешь? Все на мази, Райка согласна! Да я бы такую девку зубами вырвал! Слезы тебя расквасили, да? Папочку с мамоч-

кой жалко стало? Идиот несчастный! Да по мне хоть вся деревня меня на коленях умоляй, от своего бы не отступился!

Когда они отошли немного от дома Федора Капитоновича, Егорша опять закричал, ругаясь:

— А-а, к такой тебя матери! Иди. Дома ему жить надо... Как же! Чтобы навоз в свою кучу падал. Катай! Вон видишь, пароход у берега стоит, грузчиков ждет? Топаи! Буханку заработаешь...

— Ну и потопаю! — взъярился Михаил. — Да, за буханкой потопаю. Думаешь, валяются у нас буханки-то на дороге? Тебе вон паек дали за то, что ты в отпуске, а мне чего дают?

— И правильно делают! Не будь ослом. Сколько я тебе говорил: уматывай из Пекашина! Не послушался. Ну дак и не вякай. Тащи комут. Эх, да ну вас к дьяволу! Семь дней живу в вашем Пекашине, а только и слышу: буханки, корова, налог... Кроты несчастные! Хоть бы раз увидели, как люди по-человечески живут!

Егорша не попрощавшись вильнул в сторону.

Михаил прислушался к летучим шагам в темноте, посмотрел в сторону поля, туда, где у леспромхозовского склада яркими огнями сверкал пароход, и — дьявол со всей свадьбой — побежал к реке.

## Глава шестая

### 1

Утром, лежа в постели, Егорша подводил итоги своего недельного пребывания в Пекашине: деда схоронил, семейное дело наладил, коня на крышу водрузил, винца, само собой, попил...

Хватит! Пора подумать насчет работенки, а то, чего доброго, найдутся любители в свои оглобли тебя загнать. К примеру, тот же самый Лукашин. Живо захомутает, ежели ворон считать. А захомутает — кому пожалуешься? Комсомолец. Внеси свой вклад в подъем сельского хозяйства.

Сказано — сделано.

Быстрый, по-военному, завтрак — большая, чуть ли не литровая крынка утреннего молока с холода, — затем беглая разведка насчет транспорта, и вот он уже мчится в район на колхозной машине. С Чугаретти, которого Лукашин послал в райпотребсоюз за стеклом, на весными петлями и прочим железом для нового коровника.

В районе остановились напротив райпотребсоюза, в виду райкома.

Егорша сразу же, еще сидя в кабине, объявил себе боевую тревогу: быстро прошелся по запыхавшимся сапогам рыжей бархоткой, которую всегда носил в кармане завернутую в газетку (сапоги — это самое главное в солдатском деле), затянулся ремнем на последнюю дырочку, оправил гимнастерку, посадил, как положено по уставу, пилотку на голове (два пальца над глазами) и с острым, бодрым холодком в груди выскочил на деревянные мостки. Нельзя ударить в грязь лицом перед райцентром, а особенно перед Подрезовым. Подрезов любит, заложив руки за спину, обозревать райцентр со своего КП. И кто его знает, может, он и сейчас стоит у окна.

Подрезова, однако, на месте не оказалось (он был в отпуске), и в первое мгновенье Егорша чуть не брызнул слезой — такая досада его взяла. Ведь мало того, что с Подрезовым были связаны все его расчеты. Хотелось еще предстать перед первым во всем своем

параде. Посмотри, дескать, на своего бывшего шофера. Не подкачал? Оправдал высокое доверие?

— А когда же первый из отпуска вернется? — спросил Егорша у помощника.

— Думаю, не раньше чем через месяц. Потому как у Евдокима Поликарповича две недели еще за прошлый год не использованы.

— Понятно, — сказал Егорша.

Он уже овладел собою, тем более что Василий Иванович, помощник Подрезова, предложил ему присесть на большой черный диван, а на этот диван Василий Иванович садит не каждого — это Егорша хорошо знал по прошлому. Да и вообще, Василий Иванович, часто мигая своими темными ласковыми глазами, с нескрываемым любопытством присматривался к нему: не часто такие солдаты заходят в райком.

Егорша, держа в руках свежую газету — для солидности, — начал выпрашивать про обстановку в районе. И в первую очередь про то, как район справляется с лесозаготовками, поскольку лес — это золотая валюта и основа нашего богатства.

— А похвастаться, пожалуй, нечем, — осторожно отвечал Василий Иванович. — За этот квартал план на пятьдесят три процента выполнили.

— Причины? — Егорша придал своему лицу должную государственную суровость и озабоченность.

— Причины — реорганизация. Лесок поблизости от рек выбрали и теперь с лошадкой ничего не сделаешь. Надо на механическую тягу переходить, узкоколейки строить, лежневки...

Тут из кабинета Подрезова вышел Фокин, третий секретарь райкома, который сейчас, в отсутствие Подрезова, командовал всем районом.

Егорша мигом вскочил на ноги, встал по стойке «смирно», от-рапортовал:

— Товарищ первый секретарь райкома ВКП(б)! Младший сержант Суханов-Ставров закончил действительную службу в Советской Армии и прибыл в вверенный вам район для прохождения дальнейшего мирного и патриотического труда на благо партии и народу...

Рапорт этот, обдуманный и обкатанный Егоршей со всех сторон еще по дороге в район, предназначался для Подрезова, но все равно получилось здорово: заулыбался Фокин, показал, какие у него зубы, а то ведь вышел из кабинета с замком на губах. Строгостью да важностью самому Подрезову, пожалуй, не уступит.

— Это что же, из Пекашина Ставров?

Егорша уж помалкивал, виду не подал, что Фокин знает его как облупленного. В войну комсомолом в районе заправлял — на сплаве за один багор бревно таскали. Хрен с ним, раз надо инкогнито навести, наводи.

Отчеканил:

— Так точно, товарищ секретарь, из Пекашина. А лучше сказать, из Заозерья, поскольку Заозерье место рождения.

— Из Заозерья? А ну-ко, зайди, зайди.

Когда они оказались вдвоем в кабинете, Фокин, глубоко сунув руки в карманы галифе, спросил:

— Ты чего ж это, Суханов, райком компрометируешь, а?

Егорша вздрогнул: политика!

— Был у тебя на похоронах Тарасов?

— Был.



— В каком состоянии был?

— Да вроде так... нельзя чтобы сказать...

— Нельзя сказать... А ты скажи! Чему тебя три года в армии учили? В дымину, без задних ног был Тарасов. А ты что сделал? На народ распяющего работника райкома выставил? Вот, мол, полюбуйтесь... Так?

— Виноват, товарищ секретарь,— упавшим голосом сказал Егорша. (Чего говорить — сухой, коли в куче дерьма сидишь.)

— То-то! — погрозил пальцем Фокин и подошел к зазвонившему телефону.— Зарудный? Здравствуй, товарищ Зарудный. Ну, чем порадуешь?.. (Егорша сразу догадался: директор Сотюжского леспромпхоза звонит.) Так, так, закончили прокладку дороги до Росох? На пять дней раньше? Это хорошо... Хорошо, говорю. А где лес?.. Лес, спрашиваю, где? Кубики... Ты мне брось на всякие причины ссылаться. Стране лес нужен, а не причины. Понял?

Ничего нового в самом разговоре для Егорши не было. Сколько он живет на белом свете, столько и разговоры про лес слышит. Поразил его Фокин. Лет восемь назад, когда он, Егорша, начинал свою трудовую жизнь, кто бы всерьез принял Мильку Фокина! Приедет к ним на Ручьи, только у него и дела что зубы тебе заговаривать да клянчить насчет повышенного обязательства. Просто как бес вьетса вокруг тебя в делянке. А теперь наоборот: ты вокруг него вьешься. А он горло поставил — не хуже Подрезова погромыхивает.

Когда Фокин повесил трубку и сел за подрезовский стол, Егорша с видом человека, очень хорошо понимающего главные заботы районного руководства, спросил:

— Чего-то не пойму, товарищ секретарь райкома... Все в части леса жалобы... Недооценка момента...

— Лес действительно поблизости вырублен,— сказал хмуро Фокин.

— Есть лес, товарищ секретарь. Мы на днях грибную вылазку делали — хорошую древесину видели. Первый сорт.

— Где такая?

— В Красноборье. Под самым боком у Сотюги.

Фокин вздохнул:

— Красноборье — лес колхозный...

— Но, как говорится, государственные интересы у нас превыше всего... Когда колхозы не шли навстречу Родине?..

Черный фокинский глаз, как-то вразброд гулявший до этого по залитому солнцем кабинету, прилип к Егоршиному лицу. Ему сразу стало жарко: неужели лянул что-нибудь не то?

— Какие у тебя планы насчет работы? Решил что-нибудь? — спросил Фокин.

— Нет еще. Но хочется, чтобы направили в разрезе профессии, поскольку в армии я был водителем машины у генерала...

— У генерала? — живо воскликнул Фокин.— То-то я смотрю на тебя да все ломаю голову: с каких это пор у нас такая форма у солдат? А ты вон какой важной птицей был! Самого генерала возил... Так, так... Ну, а если все-таки мы тебя в другом направлении двинем? А? Что ты на это скажешь?

На лесозаготовки, с упавшим сердцем подумал Егорша, и сказал:

— Оно, конечно, лесной фронт во главе угла... Но ввиду семейных обстоятельств желательно, чтобы при доме, на широкой трассе, поскольку я только что похоронил деда...

— Значит, в колхозе решил? — сказал Фокин.— А если мы, ска-

жем, в районе покрутиться предложим? Коммунальный отдел райисполкома знаешь? Дома, бани, пекарни, учреждения... Большое хозяйство. А скоро будет еще больше — растет у нас район. Очень важный участок. А он у нас оголен... Вот такие коврижки-коржики,— вдруг совсем весело и просто сказал Фокин.— Я думаю, хватит у тебя энергии, чтобы вытащить нашу районную коммуну. Ну, а мы, райком, поможем...

Егорша взмок от всех этих слов... Он готов был пойти в пляс, вприсядку, скакать до потолка, а то и со второго этажа прыгнуть — скажи только Фокин слово.

Самое большое, на что он рассчитывал, это снова сесть за баранку райкомовского «газика», а тут вон как — на руководящую, да и на руководящую-то какую! На отдел райисполкома, в номенклатуру райкома! Было от чего закружиться голове. Правда, иной раз приходили ему мыслишки, что и он бы мог быть каким-нибудь начальником — сколько их, олухов, развелось,— но дальше завхоза или начальника снабжения мечты его не шли, потому как понимал: с его семьей классами, да и то незаконченными, по нынешним временам высоко не прыгнешь.

Фокин встал, по-подрезовски заложив руки за спину, вышел из-за стола, и Егорша, стоя навытяжку, так и начал крутиться вслед за ним. Как подсолнух за солнцем. А за кем же ему крутиться? Кто когда возносил его на такие высоты?

— Значит, так, Суханов,— сказал Фокин,— дней через десять заглянешь. Попробуешь... Сперва, конечно, врию, а там уж от тебя все будет зависеть. Как поворачиваться начнешь... Ясно?

— Ясно, товарищ секретарь. Суханов-Ставров не подведет.

## 2

Из райкома Егорша вылетел как застоявшийся жеребец — сила распирала его. И, честное слово, не будь это райцентр, дал бы строчку на километр, на два. А райцентр — ша, замри! Зануздай и захомутай себя.

Он любил дисциплинку, любил, чтобы было кому доложить и от-рапортовать. И чтобы тебе сказали: правильно, Суханов! Молодец, Суханов! В разрезе линии шагаешь! А то бы и рыкнули при случае, ежели ногу сбил.

Раньше таким человеком для него в районе был Подрезов — вот чье одобрение и похвалу хотелось всегда заслужить. А сейчас оказалось, что и Фокин ничего — умеет команды подавать. Хорошо взял его попервости в работу, неплохой расчес дал.

Как раз в то время, когда Егорша выскочил из калитки райкомовского палисадника, на деревянном настиле у райпотребсоюза замаячил кумачово-закатный берет Чугаретти.

— Чугаев,— крикнул Егорша,— приставь ногу!

Чугаретти, направлявшийся к своей машине, которая стояла в заулке райпотребсоюза, напротив базара, где сейчас не было ни единой души, остановился. Он был ужасно мрачен, и от него несло сивухой.

— По случаю победы рванул?

— Не, с горя,— ответил Чугаретти и обиженно, по-детски ширнул своим широким негритянским носом.

— А конкретно, в расшифрованном виде?

— Чего — конкретно? Тот, Кондраха, уперся — никаких гвоздей. Слушать не хочет.

— Кондраха — это кто? Телицын, председатель райпотребсоюза?

— Ну.

Острое, до зуда в ладонях желание борьбы охватило Егоршу. Он посмотрел на плавающее от солнца широкое итальянское окно на втором этаже, за которым сейчас сидел Фокин.

— Где у тебя документы?

— Какие документы?

— Наряды и все прочее.

— Нема бумаг. Иван Дмитриевич по телефону вчера договоривался.

— Айда за мной!

Кондратия Телицына по его наружности давно бы надо поставить на конюшню: чистый мерин. Лицо длинное, пухлое, желтое от оспы, нос горбылем и плешь с головы до пят. Как Невский проспект в Ленинграде, где Егорше довелось-таки раз побывать. Правда, в торговом деле Телицын дока. С дореволюционным стажем. Еще у купцов Володиных выучку прошел.

Егорша к нему в кабинет без стука и с ходу на басы:

— Это что за фокусы, товарищ Телицын? Я выхожу из райкома, а колхозный труженик, понимаешь, несолоно хлебавши от тебя... Не пойдет!

— С кем имею честь говорить? — спокойно, чуть ли не с позево-той спросил Телицын.

— Насчет чести покамест помолчим, товарищ Телицын. В данный момент твоя честь не очень чтобы очень... В подрыв колхозному строю!

— Точно, — подал откуда-то сзади голос Чугаретти. — У нас, понимаешь, снопы на молотилку не вожены, а машина где...

Егорша, не оглядываясь, махнул рукой: заткнись, тебя не спрашивают! Потом взял из пачки, лежавшей на столе у председателя, беломорину, не спеша размял ее, остукал о стол, не спеша закурил и, мало того, сел на стол сбоку — генерал у них всегда так делал, любил почесать красную генеральскую лампасину о стол подчиненного.

Что тут поделалось с Телицыным, этого и сказать нельзя. Желтое лошадиное лицо вытянулось чуть ли не до стола, плешь пошла багровыми пятнами... Но вот что значит смелости! Стерпел, подтянул нижнюю губу и даже как-то весь подобрался.

— Не мудри, не мудри, старик, — сказал Егорша и запросто, но в то же время и по-начальнически похлопал председателя по рыхлому загривку. — Кончай с этими старыми прижимами! — Намек на не очень революционное прошлое Телицына: на его службу у купцов Володиных. — Важную политическую кампанию срываешь. В показательные «Новую жизнь» выводим, а ты как помогаешь? Палки в колеса?

— Но я не могу отменять распоряжения райкома...

— Какие это распоряжения райкома? Я что-то не слышал...

— Башкин сегодня звонил...

— Башкин?

Егорша на какую-то долю секунды замешкался. Кто такой Башкин? Новый человек в райкоме? Инструктор? Завотделом? Одно ему было ясно: не секретарь. А раз не секретарь, можно немножко этого Башкина и осадить. Да и что ему делать? Поздно было отступить.

— Ох, опять мудрит этот Башкин... — озабоченно вздохнул Егорша.

— Башкин сказал,— как по газете начал читать Телицын,— чтобы все стекло, имеющееся в наличии на складах райпотребсоюза, передать Сотюжскому леспромхозу... ввиду того, что этот объект в настоящее время является ударной стройкой...

— Ну, правильно! — живо воскликнул Егорша.— Об этом же самом сейчас обсуждали у Фокина... Лес — это основа, товарищ Телицын, золотой фонд... А у нас картина в данный момент один минус. Худо работаем. На пятьдесят три процента план третьего квартала выполнили...

Телицын, медленно ворочая своей лысой головой, делал вид, что внимательно, с пониманием слушает этого необычного посетителя, а на самом-то деле — Егорша был уверен в этом — только и делал что ломал свою лошадиную голову над тем, кто он, Егорша. Где служит? Старый, опытный волк — боялся сделать промашку: а вдруг да этот человек, так нахально развалившийся у него на столе под самым носом, какая-нибудь важная шишка!

Егоршу это забавляло. Но в конце концов он сжалился над стариком.

— Не верти впустую подшипниками. Новый зав коммунальным отделом райисполкома.— Егорша назвал свою фамилию, пожал руку председателю и сразу заговорил как равный с равным, как товарищ по работе.

— А в части стекла соображать надо, товарищ Телицын. Башкин ему сказал... А кто, Башкин будет отвечать за срыв коровника в Пекашине? Завершающий этап колхозного строительства на данную пятилетку... Башкину будет расчесывать кудри Подрезов?

Непонятно, как это раньше ему не пришло на ум имя Подрезова, зато сейчас ничего больше разъяснить Телицыну не нужно было. Все понял в один миг. Вот какой пароль это имя. Все двери открывает.

В общем, девять ящиков стекла Егорша вырвал. Ну, а насчет личного провианта вопрос решился без всяких прений. Два килограмма сахара, три восьминки чая, три буханки черного хлеба, две буханки белого — это Телицын отвалил сразу.

На улице Чугаретти, с восторгом глядя на Егоршу, воскликнул:

— Ну, товарищ Суханов, ты и мастер же по части заправлять арапа...

— Шлепай, шлепай,— снисходительно сказал Егорша.

В магазине народу не было — хлеб по спискам выдают с утра,— и продавщица, довольно смазливенькая чернушка, быстро отоварила его.

— Еще дымку подбрось, дорогуша, хоть пачечки две,— попросил Егорша.

— А дымку вам не положено,— ответила продавщица.

Действительно, про дымок Телицын забыл — Егорша обнаружил это уже тогда, когда вышел на улицу. Но возвращаться ему не хотелось. Да и самолюбие не позволяло. Какой же он, к хрену, завотделом райисполкома, ежели сельповский прилавок не сумел самостоятельно взять?

— Давай, давай, милуша, не разоришься,— зачастил Егорша, а главное, нажал на свой синий глаз с подмигом.

И глаз сработал: продавщица, улыбаясь, выбросила из-за прилавка две пачки «Звездочки».

Точно так же Егорша поупражнял свой глаз и на другой продавщице, из соседнего мясного и рыбного отдела, хотя на морду та была и не шибко съедобна. Он запомнил слова старшины Жупайло, кото-

рый в минуты отдохновения любил поучать своих питомцев: «Сколько раз увидишь бабу, столько раз и выворачивайся чертом, а иначе в нужный момент можешь дать осечку».

## 3

— Все в порядке, Иван Дмитриевич! Привез девять ящиков — как в аптеке... Ну, жмот этот Кондраха! Гад буду, всю договоренность вашу похерил. Райком, райком — и никаких гвоздиков. Трясись обратно... Ставров помог! Как начал, начал Кондрахе массаж на лысину наводить, тот и копыта кверху — хоть все склады выворачивай...

— Ладно, Чугаев. Иди. До завтрашнего дня свободен.

Чугаретти угрюмо сверкнул своими беляшами, подождал, не скажет ли еще что хозяин, и вышел.

Загремела, застонала лестница под сапожищами, пушечным выстрелом бабахнули ворота на крыльце, а затем Лукашин услышал яростный визг и скрежет железа под окошком — Чугаретти заводил грузовик.

Анатолий Чугаев, при всей своей разбойной наружности, был как малый ребенок. Набезобразил, напортачил — выругай, хоть выпори — не обидится. Но уж если он сделал хорошее дело — приголубь, не пожалей хороших слов, а иначе он и не работник на другой день.

Лукашин хорошо знал эти причуды своего шофера, но разве ему сейчас до этого было? Разве человек, у которого пожар в доме, улыбается? А у него был пожар — плотники опять удрали на выгрузку. И когда! Среди бела дня, чуть ли не у него, председателя, на глазах.

Первой мыслью его было кинуться к реке: сволочи! Что делаете? Неужели не понимаете, что ежели коровник к холодам не будет готов, вся скотина померзнет?

Но он взнуздal себя — пошел в контору. Он ходил уже раз на берег, разговаривал с пьяными мужиками, а что вышло? Кричал, разорялся, грозился стожки отнять, а сегодня чем грозить?

На задворках, за амбарами, там, где новый коровник, догорало усталое, натрудившееся за день солнце. Красные лучи его насквозь прошивали колхозную контору, скользили по худому, небритому лицу Лукашина, который затравленно, как волк, бегал из угла в угол.

Что делать? Как совладать с этими мужиками?

Была, была одна закрутка — дать выставку из своей деревни. Решением общего собрания колхозников. За невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины. Кое-где подтягивали так подруги в сорок восьмом — сорок девятом годах. Но, во-первых, плотники у него все сплошь инвалиды — какой с них спрос? Благодарите бога, что вообще что-то делают. А во-вторых, даже если бы и удалось кого-нибудь закатать — разве это выход?..

Долго, до темноты раздумывал Лукашин, прикидывал так и этак. И ничего не решил — все с той же сумятицей в голове вышел из конторы.

## Глава седьмая

## 1

Пекашино гуляло.

И добро бы только мужики завелись — без этого ни одна выгрузка не обходится, — но сегодня, похоже, и баб и девок закружило.

У миленочка одиннадцать,  
Двенадцатая я.  
Он по очереди любит,  
Скоро очередь моя.

Задумчивая подруга,  
Супостаток сорок семь.  
Я на это не обижусь,  
Погулять охота всем.

Горе нам, горе нам,  
Горе нашим матерям.  
Выдай, маменька, меня -  
Не будет горя у тебя.

Девкам Лукашин не удивлялся. Молодость. Самой природой положена любовь в эти годы. И что же им делать, когда на весь колхоз один стоящий парень — Михаил Пряслин? Топчи свой девичий стыд, хватай крохи с чужого стола, а то так и засохнешь на корню, как засохли твои старшие подруги, юность которых пала на войну.

Но бабы, бабы... вдовы солдатские... У них-то откуда берется сила?

Разуты, раздеты, жрать нечего — старухи беззубые, какая им любовь? А ну-ко послушай — кто это врезался своим хриповатым, простуженным голосом в звонкие девичьи переборы?

Да, жизнь брала свое. И всходили всходы, первые послевоенные всходы — хилые, худосочные, не знающие ни мужского догляда, ни ласки. Дички, имя которым безотцовщина...

Долго, до тех пор, пока Лукашин не вошел в дом Житовых, рвали его слух то тут, то там вспыхивающие в осенней темени задорные частушки.

На кухне у Житовых была одна хозяйка. Выгнув полную белую шею, она сидела за кроснами — массивным ткацким станком — и при свете лампы ткала холст.

Кросна из жизни деревни ушли еще перед войной, но сейчас многие из тех, у кого они уцелели, годами пылясь по темным углам повети и клетей, снова запрягли их в работу.

Труд допотопный, на износ: ведь надо коноплю и лен посеять, убрать с поля, вымочить в яме, высушить, превратить в волокно, потом волокно это спрясть, выбелить, навести основу... — каждый аршин холста выходил золотым. Но что делать? Голым ходить не будешь — приходится идти и на этот труд.

— Где хозяин? — спросил Лукашин.

— В клубе своем, наверно.

— В каком клубе?

— В бане. Так они, пьяницы, зовут нынче нашу баню. Раньше, в те годы, все тут, на кухне, табак жгли, а зимой я с кроснами разобралась — выгнала. Вот они и обосновались в бане.

Лукашин вышел на крыльцо. Из кромешной осенней темени на задах действительно лучился свет.

Как же он раньше-то не догадался об этом? Ведь сколько раз видел этот свет по вечерам! И еще удивлялся: ну какие чистюли эти Житовы — чуть ли не каждый день в бане моются...

## 2

Лукашину не раз приходилось бывать в бане Житовых, которая для хозяина одновременно служила столяркой. Поэтому, выкурив на крыльце папиросу, он довольно уверенно двинулся по тропинке на свет на задах огорода.

Крепкий мужичий хохот докатывался оттуда. Взрывами, залпами. Как будто там то и дело метали жар на раскаленную каменку.

Когда он наконец, изрядно вымочив в картофельной ботве брюки на коленях, вышел к бане, к нему из темноты прыгнула ласковая мохнатая собачонка, и он понял, что тут в числе прочих есть и Филя-петух.

Собак в Пекашине сейчас было три: Найда, злая, свирепая сука, заведенная объездчиком Яковлевым на смену Векше, которую года три назад переехало грузовиком, голосистый щенок Пряслиных и вот эта самая малорослая шавка, которую нынешней весной всучил Филе какой-то приятель с лесопункта за старые долги.

Верка, жена Филя, поначалу выходила из себя: в доме самим жрать нечего — до собаки ли? Но Филя, по его же собственным словам, раза два сделал Верке внушение — крепкие, увесистые у него кулаки, хоть сам и маленький, — и собачонка осталась.

Лаская рукой игриво прыгающую вокруг него Сильву — такое имя было у собачонки, — Лукашин тихонько вошел в сенцы, ощупью отыскал скобу на дверке и вдруг услышал свою фамилию:

— Лукашин-то прищучит? Да клал я на него с прицепом. Чего он мне сделает? Поразорется, поразорется да сам же и поклонится...

Игнатий Баев ораторствовал — его блудливый голос разливался за дверкой.

— Не скажи, — возразил ему Петр Житов.

Но тут с треском, с грохотом начали припечатывать костяшками — в бане забивали «козла», — и какое-то время только и слышалось оттуда про азики, про рыбу, про мыло. Потом, когда игра понемногу выровнялась и страсти поулеглись, Игнатий Баев опять принялся трясти его, Лукашина. Дескать, какого хрена перед ним на задних лапах ходить? В случае чего ведь можно и выставку дать — колхоз у нас, а не частная лавочка.

— Полегче на поворотах, — раздался предостерегающий голос Петра Житова. — Советую.

— А что?

— А то. В Водянах один все глотку надрывал, знаешь, теперь где?

— Это Васька-то беспальный?

— Хотя бы.

— За Ваську не беспокойтесь, — живо вмешался Аркашка Яковлев. — На днях письмо было. Ничего, говорит, края сибирские, — жить можно. Без коклет да без компоту за стол не садимся — на золотых приисках вкалывает. И бабе своей тысчонку да посылку сварганил.

— Ну вот видишь? — торжествуя воскликнул Игнатий. — А мы с тобой много этих самых коклет да компоту едали? И потом вот что я тебе скажу. Он хоть и чужак-чужак, а понимает: без нашего брата ему никуда....

— Кто чужак? — вскричал Чугаретти. — Иван Дмитриевич? Не согласен!

Тут в бане поднялся страшный шум и галдеж. Игнатий Баев, Аркашка Яковлев, Филя-петух — все трепали и рвали Чугаретти, учили уму-разуму: дескать, не вылезай из общей упряжки, не холуйничай, не сучься.

Чугаретти попервости огрызался, тому, другому сдачи давал, но под конец и он запросил пощады:

— Да что вы, понимаешь, все под дыхало да под дыхало! Когда

Чугаретти сухой был? Чугаретти, понимаешь, всю жизнь по честно-сти...

Лукашин решил воспользоваться шумихой в бане и дать задний ход — все равно теперь никакого разговора с мужиками не будет, а ежели и будет, то один крик, — но тут на дороге у Житовых взыграли частушки, и вскоре в огороде зашаркали сапоги.

Неужели какая-нибудь баба шлепает сюда, чтобы выманить на улицу мужиков?

Нет, девки и бабы скорее всего гнались за Михаилом Пряслиным — его упрямый, с поперечной бороздкой подбородок, освещенный малиновой сигаркой, качнулся в темноте у порога.

Прижавшегося к шероховатой, пропахшей дымом стене Лукашина больно ударило дверкой по ногам, желтая полоска света наискось разрубила темные сенцы.

В бане взвыли от радости:

— Мишка, ты?

— Давай, давай сюда!

— Хочешь за меня постучать?

— Я тоже могу уступить.

— Не, играйте, — сказал Михаил и с треском опустился не то на скамеечку, не то на какой-то ящик.

Тем временем бабы и девки на дороге опять начали подавать свои позывные, и Аркашка Яковлев рассмеялся:

— Какая ему игра сегодня? Вишь ведь какой спрос на него...

— Ну как, Пряслин, крепко угостил зятек? — любопытствовал Петр Житов. — Говорят, из района приехал — воз всякой продукции навез.

— Тащил бы его сюды — может, и нам чего откололось.

— Ну уж нет! — сказал Аркашка. — Ежели с кого и приходится сегодня калым, дак с самого Мишки.

— С меня? Это за что же?

— За что? А хотя бы за то, что из холостяков выписываешься.

— Мишка, правда?

— Неуж к нашему берегу надумал?

— Ух и девка же эта Райка! М-да-а-а...

— А я бы, мужики, век с холостяжной жизнью не расставался, — сказал Филя-петух.

Все так и грохнули.

У Филя-петуха в тридцать два года только в одном Пекашине насчитывалась дюжина ребятишек (пятеро в своей семье да семеро россыпью по всей деревне). А кроме того, был еще немалый приплод на лесопункте, где он каждую зиму отбывал трудповинность. Черт его знает что за человек! Сам маленький, щупленький, бельмо на одном глазу, а юбочник — каких свет не видал.

Игнатий Баев — хлебом не корми, а дай поточить зубы — сказал:

— Ты хоть бы, Филипп, раскрыл нам свои секреты, поделился опытом передовика на данном фронте...

— Чего, скажи, мне делиться-то, — ответил за Филю Аркашка (тоже ерник не последний). — Надо, скажи, патриотом быть, сознательность иметь. Верно, Филя?

— Да, я, мужики, это дело уважаю. Моему здоровью оно не вредит...

Простодушный ответ Филя вызвал новый взрыв смеха, затем Аркашка, явно желая продолжить удовольствие, подбросил еще одно полено в огонь.

— Ну, чего я говорил! — воскликнул Аркашка на полном серьезе. — Он в бабку свою Дуню, да, Филя? Ту, бывало, у нас дедко до



самой смерти хвалил. За эту самую сознательность. К другой, говорит, идти — надо тетеру или еще какой провиант прихватить, а Дунюшка, говорит, ничего не спрашивает — только чтобы сам в исправности был...

Положение у Лукашина было самое идиотское. Ведь если его накроют мужики за подслушиванием — скандал на всю деревню. Да и не только на деревню. На весь район. А с другой стороны — что делать? Кто-то из мужиков, как назло, толкнул в сенцы дверку — наверняка чтобы дым табачный выпустить, — и он в углу за этой дверкой оказался как в капкане: не то что двинуться к выходу — пошевелиться нельзя.

Между тем в бане перестали стучать костями, и по всем признакам было ясно, что мужики вот-вот начнут расходиться: шумно, с потягом зевали, слова из себя выжимали нехотя, подолгу молчали. И вдруг, когда Лукашин уже решил было поднять в сенцах шум и грохот, а затем с беззаботным видом ввалиться в баню — надо же было как-то выбираться отсюда! — за дверкой опять разгорелся спор. И какой спор! Как будто специально по его, Лукашина, заказу — о том, что делать завтра. Можно ли взять с утра азимут на берег, к орсовскому складу? (Игнатий Баев так выразился — разведчиком на войне был.)

Четверо — Аркашка Яковлев, Филя-петух, сам Игнатий и тугодумный молчун Вася Иняхин (первый раз открыл рот за весь вечер) — без колебаний высказались за. Чугаретти, как шофер, был не в счет. Петра Житова, наверно, не спрашивали из уважения к его положению.

Оставался еще Михаил Пряслин — его ответа ждали.

Наконец Михаил сказал:

— Я поближе к вечеру подойду.

Тут баня заходила ходуном. Кто яростно наседал на Михаила (дескать, друзей, товарищество подрываешь), кто, наоборот, с такой же горячностью защищал его (у Пряслина нет в кармане белого билета — можно и застучать), кто вдруг ни с того ни с сего начал восхвалять Худякова. За то, что у Худякова завсегда люди с хлебом...

На это Чугаретти сказал:

— А чего дивья? Потайные поля у него...

Чугаретти, как всегда, не поверили, его начали уличать во лжи, в завиральности до тех пор, пока свое веское слово не произнес Петр Житов:

— Насчет потайных хлебов не скажу, может, и брехня. А то, что у Худякова голова шурупит, это факт. И про нашего брата думу имеет — тоже факт.

После некоторого молчания — это, между прочим, всегда так бывает, когда Петр Житов высказывается, — Игнашка Баев раздумчиво сказал:

— Некак приспособиться — вот в чем вся закавыка. Никакой щели не осталось — все запечатали. У меня зять Николай пишет, на Украине живет: все яблони, говорит, у себя похерил.

— Как это похерил?

— Порубал. Каждую яблоню налогом обложили.

— А у нас покамест сосны да ели еще обложить не догадались.

Тут опять в разговор вмешался Петр Житов: заткнись, мол, не на те басы нажимаешь.

— Пошто не на те? Я по жизни говорю!

— А я говорю, включи тормозную систему. Спокойнее спать будешь по ночам. Понял?

Лукашин не мог больше оставаться в своем закутке — вот-вот попрут на выход мужики, — и он, уже не заботясь о тишине, с шумом, грохотом ринулся в ночной огород.

## 3

Ну и сволочи! Ну и сволочи... Нет, какие сволочи! Лукашин — чужак, Лукашин жить им не дает...

Да, за эти полчаса-час, что он стоял, затаясь, в сенцах, он узнал пекашинцев, пожалуй, больше, чем за все пять лет своей председательской работы. Да и председательствовал ли он? Был ли хозяином в Пекашине? Не Петр ли Житов со своей компанией вершил всеми делами? Ведь что, по существу, было сейчас в бане у Житовых? А заседание мужичьего правления. Да, да, да! Нечего тень на плетень наводить. Все обсудили, все порешили: как быть с выгрузкой, кому можно идти, кому остаться на колхозной работе...

Лукашин шагал в кромешной темноте осеннего вечера, думал о том, что приоткрылось ему только что в житовской бане, а девки и бабы по-прежнему трезвонили свое.

У клуба его опознали, и вслед ему полетели знакомые припевки:

Это что за председатель,  
Это что за сельсовет?  
Сколько раз я заявляла:  
У меня миленка нет!

Девоч много, девочек много,  
Девоч некуда девать.  
Из Москвы пришла записка —  
Девоч в сани запрягать.

У кого миленка нет,  
Заявляйте в сельсовет.  
В сельсовете разберут,  
Всем по дробечке дадут.

В правлении горел свет. По сравнению с чахлыми коптилками в домах колхозников он походил на маяк — вот что значит лампа со стеклом.

Но кто же там сейчас? Ганичев?

Ганичев, уполномоченный райкома по хлебозаготовкам, каждый вечер приходил в контору и сидел тут долго, до часу ночи. На случай, если позвонит районное начальство. Времени, однако, он зря не терял: оседлав железными очками свой сухой, костлявый нос, штудировал «Краткий курс», который, впрочем, и так знал чуть ли не наизусть, либо читал другую политическую литературу.

— Ну, как дела в Водянах? — спросил Лукашин.

Ганичев почти неделю пропадал у соседей, где он тоже шуровал по хлебным делам.

— Порядок. Мы там ценную инициативу проявили — круглосуточные посты дежурства на молотилках организовали. У вас это тоже надо сделать.

— У нас не то что посты — хлеб некому убирать.

— Это другой вопрос — организация труда, — сказал Ганичев. — А я в данный момент на бдительности и охране зерна заостряю.

— А сам-то ты как? Ел сегодня? — чисто по-человечески поинтересовался Лукашин.

— Давеча немного в Водянах подзаправился.

— А чего же к нам не зашел? Жена бы накормила.

Ганичев что-то невнятно пробормотал себе под нос и опустил глаза.

Лукашин про себя обиженно хмыкнул: тоже мне невинная девица! Как будто ему в новинку подкармливаться в ихнем доме. Да не бывало дня, чтобы, приехав в Пекашино, Ганичев не пил и не ел у них. А когда Лукашин ехал в район, Анфиса специально совала ему шаньги да ватрушки — гостинцы для вечно голодных ребяташек Ганичева.

Пройдя к своему председательскому столу, Лукашин полез в ящик: страсть как хотелось курить. Последнюю папиросу он выкурил еще на крыльце у Житовых.

Ничего! Даже самого завалящего окурка не было. Ну, а Ганичева насчет курева и спрашивать нечего. Ганичев курил. И курил жадно, взсос, но только тогда, когда его угощали, а своего табака не имел. Не мог тратиться — дай бог дома концы с концами свести.

Лукашин снова начал рыться в столе, даже бумаги из ящика начал выкладывать, и вдруг рука его в глубине ящика наткнулась на какой-то острый, колючий камень.

Он вынул его, положил на стол.

Странный какой-то камень — серый, очень легкий и с вмятинами. — Чего там нашел? — спросил Ганичев.

Лукашин взял камень в руки — пальцы влипли во вмятины. Плотно. Емко. Настоящий кастет! Только слишком легкий...

И вдруг вспомнил, что это такое. Хлеб. Хлеб, которым его угостила когда-то Марья Нетесова. В тот день, когда они с Ганичевым подписывали Нетесовых на заем. Он сунул тогда этот страшный мокрый кусок, похожий не то на черное мыло, не то на глину, в карман шинели и всю дорогу до самого правления сжимал его в кулаке. Вот откуда эти глубокие вмятины, в которые так плотно вошли его пальцы.

Ганичев что-то говорил ему, спрашивал, но что — Лукашин не мог понять. Он только видел его железные зубы. Крепкие железные зубы на худом голодном лице...

Так ничего и не сказав ему, он вышел на улицу, сжимая в кулаке проклятый сухарь.

...Никто не думал, что умрет Марья. Когда хоронили Валу, все боялись за Илью. Потому что все знали, как он любил дочку. А Марья — что же? О Марье и речи не было. Да и на похоронах она держалась не в пример своему мужу. Того прощаться с ВалеЙ (перед тем как заколотить гроб) привели под руки, а Марья — нет. Марья сама отпела дочку, сама курила над ней ладаном, а на кладбище даже лопату в руки взяла, чтобы помочь ему, Лукашину, поскорее зарыть могилу, — никого из мужиков, кроме него, не было в деревне, все были в лесу на месячнике.

И вот не прошло после похорон Вали и полугода, как вдруг однажды утром, хватаясь за косяки дверей, вваливается в избу Анфиса — за водой ходила:

— Илья Нетесов еще одну покойницу привез... Марью...

— Марью? Жену?

— Да. С тоски, говорят, по Вале померла...

На этих похоронах Лукашин не был: его в тот день вызвали на бюро райкома с отчетом о строительстве скотного двора. И — чего скрывать — он был рад этому вызову. Потому что он боялся встречи с мертвой Марьей. Потому что, как ни крути, ни верти, а есть, есть его вина в смерти обеих — и дочери и матери...

Сухарь, зажатый в кулаке, начал покрываться слизью, и на какое-то мгновение Лукашину показалось, что вовсе и не было этих долгих трех лет, что все по-старому, все так, как было в тот день, когда они с Ганичевым возвращались от Нетесовых...

Сверху, из непроглядного мрака ночи, на разгоряченное лицо упало несколько прохладных капель. Неужели дождь будет? — подумал Лукашин. Ну тогда хоть живым в землю ложись. Мужики с утра удерут на выгрузку, и никакими веревками их оттуда не вытянешь: законно! Сам бог за них...

Зашуршало, залопотало над головой (вот куда его в темноте занесло — к маслозаводу, где стоял один-единственный тополь в Пекашине) — припустил дождик. У клуба кто-то жалобно, словно нарочно бередя ему сердце, пропел:

Конь вороной,  
Белые копыта.  
Когда кончится война,  
Поедим досыта.

Лукашину вспомнился мужичий разговор про потайные поля у Худякова. Да, вот с кем ему хотелось бы сейчас поговорить — с Худяковым.

Давай, Худяков, раскрой свои секреты. Расскажи, как ты ухитряешься накормить своих колхозников. А у меня ни хрена не получается. Бьюсь, бьюсь как рыба об лед, а толку никакого. Все один результат: весной сею, а осенью выгребаю...

Дождик кончился внезапно — тучка, наверно, какая-то проходная брызнула.

Надо действовать! Надо во что бы то ни стало, любой ценой удержать мужиков на коровнике. А иначе — гроб. Гроб всем — и коровам и колхозу...

## 4

— Кто там?

— Я, Олена Северьяновна. К хозяину.

На какой-то миг за воротами наступила мертвая тишина (Олена, видно, раздумывала, как ей быть: открывать или не открывать), и Лукашин отчетливо услышал шаги в ночной темноте на дороге. И даже чуть ли не разочарованный вздох. Это Нюрка Яковлева отвалила.

Нюрку встретил он напротив дома Фили-петуха и, хотя была крошечная темень, сразу узнал ее по накалу серых беспокойных глаз.

— Что, Нюра, на осеннюю тропу вышла?

И вот столько и надо было Нюре. Живехонько пристроилась сбоку, пошла, похохатывая и скаля в темноте зубы...

Глухо, как отдаленный гром, прогремела железная щеколда. Лукашин вошел в знакомые сени и, шагая вслед за Оленой, от которой волнуяще пахло теплой постелью, переступил порог кухни.

В кухне горела коптилка. Белым ручьем вытекал холст из сумрака красного угла.

— Вставай! — услышал Лукашин сердитый голос из-за приоткрытых дверей. — Председатель пришел.

— Какой председатель?

— Какой, какой! Какой у нас председатель?

— Я, между прочим, не звал никакого председателя.

— Не выколупывай, дьявол, а вставай. Начитается всяких книжек и почнет выколупывать. Слова в простоте не скажет.

В избяной тишине жалобно охнула пружина, потом что-то стукнуло о пол («Костыль берет», — подумал Лукашин), и вскоре из передней комнаты вышел Петр Житов. Хмурый, недовольный, в одном белье.

— Ты уж, Петр Фомич, извини, что в такое время беспокою...

— Лишний звук! К делу.

Опираясь на крепкий березовый костыль своей работы, Петр Жи-

тов проковылял к столу, сел на свое хозяйское место и гостю кивнул на табуретку возле стола.

Лукашин присел.

— Ты знаешь, зачем я пришел, Петр Фомич. Так что давай выкладывай.

— А чего мне выкладывать? За других не скажу, а завтра к реке иду.

— На выгрузку?

— Вроде.

— Так,— медленно сказал Лукашин.— А как с коровником?

— А у коровника хочу отпуск взять. По инвалидности,— добавил Житов, чтобы сразу же исключить всякие недомолвки.

— Ясно. Работать на коровнике не можем — инвалидность мешает, а таскать мешки — это мы пожалуйста...

Петр Житов покачал головой.

— Я думал, у тебя, товарищ Лукашин, пониманье есть, сердце... А ты... Эх ты! Чем вздумал попрекать Петра Житова? Выгрузкой? А ты не видал, нет, как Петр Житов идет на эту самую выгрузку? Полдороги пехом да полдороги ребята под руки ведут... Понял? Вот как Петр Житов на выгрузку идет. Да как думаешь — есть от такого грузчика польза? Выгодно со мной мужикам?

Темная, лопатой лежавшая посреди стола волосатая ручища судорожно сжалась. Короткий всхлип вырвался из груди Житова.

— Да ежели хочешь знать, мне каждая буханка, каждый кусок с берега поперек горла. У мужиков ворую. Понял?

Да, Лукашин знал, что это за каторжный труд — выгрузка. Бывал весной. До дому кое-как от реки доберешься, а чтобы поесть, попить чаю — нет: замертво валишься. Так ведь то его, здорового мужика, так выматывает, а что же сказать о Петре Житове с его деревягой?

Темная тяжелая рука лежит на столе перед Лукашиным. Указательный палец торчит обрубком, большой палец раздавлен — в прошлом году под бревном на скотном дворе прищемило,— мизинец скрючен... А сколько на ней, на этой руке, белых рубцов — порезов и порубов!

Нелегкая, неласковая рука. Но все, все, что делалось в ихнем колхозе за последние пять лет, делалось этой рукой. Аркашка Яковлев, Игнатий Баев, а тем более Василий Иняхин и Филя-петух — ну какие они сами по себе мужики? Топора и пилы не наставить, самая что ни есть нероботь...

Да как же я раньше-то этого не понимал? Всю жизнь считал Петра Житова за своего врага, думал: он мутит воду, он палки в колеса ставит. А что бы я делал без этого врага?

Лукашин достал из грудного кармана пиджака растрепанный блокнот, вырвал листок и быстро написал записку.

— Вот. По пятнадцать килограмм ржи на плотника. Можете завтра с утра на складе получить, да только, пожалуйста, потише. Незачем, чтобы вас все видели...

Петр Житов надел очки, внимательно прочитал записку. Положил, подумал.

— С огнем играешь.

— Ладно,— махнул рукой Лукашин. Не все ли равно, из-за чего пропадать: из-за разбазаривания хлеба в период хлебозаготовок или из-за массового падежа скотины, который начнется с наступлением холодов.

Петр Житов закурил. Лукашин тоже наконец прополоскал свои легкие махорочным дымком.

Эх, если бы еще он догадался захватить бутылку! Вот бы и посидели, вот бы и поговорили по душам. А то что это такое? Пять лет он живет в Пекашине, а все как-то сбоку, все в одиночку...

— А все-таки зря ты разоряешься из-за этого коровника...

— Зря? — Лукашина будто обухом по голове хватили. Ведь он-то думал: поняли они наконец друг друга.— Почему зря?

— Да потому... Чего он даст нам, этот коровник?

— Я думаю, ясно чего: молоко. Раз земледелие в наших условиях разорительно, какой же выход?

— Ерунда, — насупился Петр Житов. — Нас, ежели хочешь знать, и так коровы съели... Молоко... Ну-ко прикинь, чего нам стоит литр молока. Рубля два с половиной. А сколько нам за литр платят? Одиннадцать копеек....

Лукашин молчал. Ему нечего было возразить. Каждый мало-мальски умный человек понимал это. И разве они с Подрезовым не об этом же самом говорили на Сотюге? Но что делать? Не может же он сказать Петру Житову: правильно! Махнем рукой на коровник.

За приоткрытой дверью тяжело ворочалась во сне на кровати полнотелая Олена. На улице под окошком что-то хрустнуло — неужели кто-то там стоял?

Лукашин разудало и беззаботно тряхнул головой:

— Так, значит, договорились? Завтра с утра на коровник? — И, быстро сунув руку хозяину, выскочил на улицу.

Ночное небо прояснилось — хороший день будет завтра.

Эх, подумал с горечью Лукашин, глядя на мерцающую звездную россыпь над головой, и у них на небосводе с Петром Житовым проступила было ясность. Да только ненадолго, всего на несколько минут. А теперь, похоже, опять все затянет облажником...

## Глава восьмая

### 1

В ту самую минуту, когда по сосновой крышке гроба застучали первые горсти земли, Лиза, задыхаясь от слез, дала себе слово: каждый день хоть на минутку, на две забежать на могилу к свекру.

И не сдержала слова. Ни на другой день, ни на третий, ни на четвертый...

Бегала, моталась мимо кладбища туда-сюда — то на коровник, то с коровника — сколько раз на дню? А ничего не замечала, ничего не видела: ни нового столбика, белеющего в соснах за дорогой, ни самих сосен — те-то уж просто за подол цеплялись. Одна думушка владела ею: когда увижу Егоршу?

И даже вчера, в девятый день, не выбралась к дорожному покойнику.

Вчера с Егоршей они уговорились: днем, как только он вернется из района, всей семьей, всей родней сходить на могилу, а затем, как положено, справить поминки.

Но Егорша вернулся только поздно вечером и распятым-пьянехоньким. Да мало того: стал куражиться, похваляться какой-то большой должностью, которую ему в районе дали, а потом, когда она, Лиза, начала выговаривать ему все, что у нее накипело на сердце за день, просто взбесился: не тебе, навознице, меня учить!.. Скажи спасибо, что тебя на свет вывели...

А тут, как на грех, в избу вошел Михаил и все, все высказал Егорше: дескать, ты довел дедка до могилы! Своим письмом довел... Из-за тебя старик на Синельгу побрел...

Оба кричали, оба орали — только что кулаки в ход не пускали. И это в девятый-то день!

Тихо, с покаянно опущенной головой подходила Лиза к могиле.

Холмик у Макаровны колосился высоким, тучным ячменем — Лиза весной его посеяла, — а могила Степана Андреяновича была голая, по-сиротски неуютная, с двумя неокоренными сосновыми жердинками, вдавленными сверху в желтый песок. Черные угольки валялись по обе стороны заметно осевшего бугра — остатки от камины с ладаном, которым Марфа Репишная окуривала могилу...

Лиза опустилась на колени.

— Ты уж, татя, прости меня, окаянную. С ума я сошла... Начисто потеряла и стыд и совесть... Вчера-то уж я знала, что ты меня ждешь... Да я... Ох, татя, татя... Хватит, порасстраивала я тебя немало и живого, а что — таить не буду... Опять у нас все вкривь да вкось пошло... Я уж, кажись, все делала, все как лучше хотела, венником и метелкой вокруг него бегала, а ему — не знаю чего и надо... Ох, да что тебе сказывать, ты ведь и сам все видишь...

Тут Лиза, сложив руки на груди, подняла кверху заплаканное лицо да так и застыла.

Ну не диво ли? Не чудо ли на глазах сотворилось? Из дому вышла — туман, коров провожала — туман и сюда шла — тоже туман, чуть не руками разгребала. А вот сейчас солнце и радуга во все небо...

Это татя, татя меня успокаивает, он бога упросил солнце выкатить, растроганно подумала Лиза.

Спустил ее на грешную землю Игнатий Баев, который вдруг, как медведь, вылез сбоку, треща сухими сучьями. Да не порожняком, а с мешком за плечами — вот что больше всего поразило Лизу.

Да откуда же это он? Что у него в мешке? — подумала она, провожая глазами нескладную, долговязую фигуру, и тут же устыдилась своей суетности: господи, в кои-то поры выбралась к свекру на могилу, так нет того, чтобы хоть полчасика мыслями и сердцем побыть с ним, — начала по сторонам глазеть.

Однако сколько ни стыдила и ни совестила себя она, Игнат Баев не выходил у нее из головы, а тут вскоре, к ее великому удивлению, и еще один мешочник на кладбище объявился — Филя-петух.

— Филипп, откуда вы это с мешками? Чего тащите?

Филя три года проходу ей не давал. Где ни встретит, когда на глаза ни попадешься, начнет хихикать да своим кривым глазом подмигивать: когда, мол, дролиться начнем? Страсть какой охотник до баб! А тут она сама окликнула — не только не остановился, стал удирать от нее. Как сорока-белобока занырял в сосняке, так что она с трудом и догнала его.

— Откуда это ты, Филипп? Что за моду взяли — по кладбищу с мешками разгуливать? Дороги для вас нету?

— Да я это, вишь, так... Вишь, свернул маленько, — заблеял Филя и уж так старательно начал осматриваться кругом, как будто тут не беломошник растет, а золото рассыпано.

Лиза пощупала рукой в мешке. Зерно.

— Ох, прохвосты, жулики! Дак это вы с молотилки жито воруете!

— Да ты что — спятила? — ахнул Филя.

— Не спятила! Откуда еще хлеб можно взять? Вон как! Люди — в чем душа держится, а мы дорожку к молотилке проторили. Через кладбище. Никто не увидит, не догадается...

Филя божился, заклинал ее: нет и нет, близко у молотилки не был, — и под конец, когда она, распалившись, уже перешла на крик, признался: на складе получил.

— На складе? — страшно удивилась Лиза. — Да когда об эту пору колхозникам на складе давали? Заповедь не выполнена...

— Председатель немножко выписал. Для плотников... Только ты не сказывай никому. Нельзя это... Чтобы тихо все...

— А Михаил-то наш тоже получил?

— Не знаю, девка. Я вроде как его там не видел.

— Как не видел? На складе не видел или в ведомости?

— На складе.

Лиза наконец отпустила Филю — чего зря воду в ступе толочь — и, вздохнув, пошла к могиле.

Нет, тут что-то не то, подумала она. Михаила не видел... А почему? Иголка Михаил-то?

Она посмотрела вокруг, покачала сокрушенно головой и побежала к своим.

## 2

Слух о том, что в колхозе дают хлеб, с быстротой ветра облетел утреннее Пекашино. Жней, доярки, молотильщицы, подвозчицы кормов — все кинулись к хлебному складу на задворках у Федора Капитоновича.

Василий Павлович, колхозный кладовщик, не растерялся — вовремя успел выкатить к дверям какую-то старую телегу, бог весть почему оказавшуюся в хлебном складе, и это больше всего выводило из себя разъяренных баб.

— Вот как! Мы не люди? Нам не то что хлеба — ходу на склад нету!

— Да это с кем ты придумал?

— Бабь, чего на него смотреть! Нажимай!

Телега затрещала, сдвинулась с места, но Василий Павлович уперся своими толстыми коротышками и откатил назад.

Тогда тихая, набожная Василиса решила пронять его жалобным словом.

— Ты, Васильюшко, неладно так делаешь. Раз уж одним дал, дак и других не обижай. Мы в войну из хомута не вылезали и теперека на печи не лежим. А поисть-то хлеба, Васенька, всем охота...

— Дура! — завопили со всех сторон на Василису. — Нашла кого уговаривать да совестить.

— Ему что! Он, боров, рожу наел — разве поймет нашего брата?

Тут в кладовщика через головы баб полетели камни и палки — это уж Федька Пряслин со своей бандой вступил в работу. Никто из ребят в это утро не дошел до школы, все завязли в заулке у склада. Орали, толкались, колотили матерей по спинам, по тощим задкам, готовы были зубами прогрызть себе лаз в склад: теплым зерном несло оттуда.

Один камень угодил кладовщику в плечо, и Василий Павлович заорал благим матом:

— Да вы что — с ума посходили? Я, что ли, председатель? Мое дело выдать, когда бумага есть. А где у вас бумага?

— А и верно, бумага-то у нас нету, — спохватился кто-то в толпе.

— К председателю надо!

— Да где он, председатель-то? Еще даве чуть свет в поскотину укатил.

— Неужели?

— Да что они сговорились, сволочи!

— Знамо дело — не без того же.

— Ну и паразиты! Ну и прохвосты!



— Кто паразиты? Кто прохвосты? Кому нужна подмога Советской Армии?

Егорша подходил к складу — его беззаботный и ликующий голос взмыл над орущей толпой.

Нюрка Яковлева схватилась за платок, Манька Иняхина, коротыга, привстала на цыпочки, да и другие бабы, которые помоложе, не отвернулись. Не часто, не каждый день такое увидишь: руки в брюки, хромовые сапожки горят на ноге и улыбка во всю рячу — своя, нашенская, от души.

— Ну, из-за чего разоряемся? — спросил Егорша, игриво щуря свой синий глаз. — Почему шуму много, а драки нет?

— Да в том-то и беда, что драка, — отозвался из склада Василий Павлович.

— Какая драка? Штаны с тебя снимают, а ты упираешься? — Егорша опять по-свойски подмигнул, адресуя свою улыбку сразу всем бабам.

— Хлеб требуют. Хлеб приступом хотят взять.

— Хлеб? Какой хлеб? — Егорша перестал улыбаться.

— Какой, какой! Известно какой. У людей перво-наперво как бы с государством рассчитаться, заповедь выполнить, а у нас первая забота — как бы брюхо свое набить...

— Врешь, ирод! Мужикам-то небось давал...

— Тихо! — вдруг грозно, по-командирски рыкнул Егорша. Затем, не дав опомниться растерявшимся бабам, быстро разгреб их по сторонам, занял позицию у телеги, перегораживающей вход в склад. — А ну назад! Сдай, говорю, назад. Живо! Яковлева! — окликнул он по фамилии Нюрку. — Бери подол в зубы и чеши, покамест не поздно. А ты чего, Иняхина? Советской власти у нас нету?

Дрогнув бабий залом у дверей склада. Одна за другой, как бревна, извлекаемые опытным багром, завывскакивали из толчеи.

В общем, быстро навел порядок Егорша, всем дал нужное направление: и бабам («На работу! На работу!») и школьникам — прямо в руки молоденькой учительницы передал, которая за ними прибежала.

Но тут в заулок влетел Михаил Пряслин верхом на храпящем, на взмыленном коне, и все закружилось сызнова.

— Михаил! Миша! — в один голос возопили бабы. — Да что же это такое? Кому в рот, кому в рыло? Разве мы не люди?

Соскочившего с коня Михаила обступили со всех сторон. К Михаилу тянулись черными суковатыми руками. На Михаила смотрели как на своего спасителя: уж он-то им поможет, уж он-то наведет справедливость, их всегдашняя опора и заступа.

Михаил, сцепив зубы, двинулся к дверям. Его и так-то трясло от бешенства (все продали: и председатель и дружки!), а тут еще это бабье голошенье...

— Покажи ведомость. Кому выписан хлеб?

— Осади, Пряслин! — ответил за кладовщика Егорша. — Колхоз первую заповедь не выполнил, а ты насчет фуража...

— Чего? — У Михаила надолбом встала черная бровь. Он, конечно, сразу заметил Егоршу в дверях. Как же не заметишь! Приметный! Но он думал, тот просто так перед бабами выдрочивается, а он, оказывается, в начальника играет.

— А ну проваливай! Без тебя разберемся.

— Пряслин, осади, говорят! Последний раз предупреждаю! — громко, на весь заулок крикнул Егорша и, бледный, решительный, с воинственно выкинутыми вперед кулаками, шагнул ему навстречу.

Михаил не размахнулся, не врезал как следует, хотя и не ме-

шало бы: не забывайся! Но проучить этого нахалюгу надо. Потому что он и раньше был из породы тех, кого пока бьешь, до тех пор он и человек. И вдруг, когда Михаил начал поднимать руку, страшная боль опалила его, и он упал на колени.

— А-а-а! — взметнулся над оцепеневшей толпой истошный крик Лизы. Она как раз в это время с Анфисой Петровной подбежала к складу.

Меж тем Михаил поднялся на ноги. Его шатало. Из разбитого рта и носа ручьем хлестала кровь.

— Ах, сволочь! Ах, сволота!.. Дак ты меня боксой... Боксой... Научился!..

Он неторопливо вытер ладонью рот, посмотрел на ярко горевшую на солнце алую кровь и вдруг, как разъяренный бык, ринулся на Егоршу.

Они не успели на этот раз добраться друг до друга. На Егорше с двух сторон повисли Лиза и Федька, а Михаила облапила сзади Анфиса.

— Миша, Миша... Опомнись! Бабы, а вы чего рот-то разинули? Уходите, бога ради, домой. Уходите! Разве не понимаете, чем это пахнет...

Михаил хрипел, страшно ругался, таскал по земле растрепанную Анфису, пытаясь стряхнуть ее со своей шеи. Егорша тоже выходил из себя — только голос выдавал его ликование.

— Нет, фига! Нет, дудки с купоросом! — выкрикивал он звонко. — Кабы ты рубаху мою, к примеру, взял — ладно, пользуйся, слова не скажу. А то куда ты лапы потянул? К священной основе!.. Тут от Суханова-Ставрова не жди пощады. Всегда на страже!..

Анфиса заплакала.

К складу подходила сама беда. Целую неделю Ганичев не показывался в Пекашине, а вот вечер заявился. Как будто нарочно выжидал этой заварухи у склада.

### 3

Весь день бабы на скотном дворе вздыхали да охали: что будет? С кого спросят власти? Удержится ли ихний председатель? А она, Лиза, думала еще о том, как пойдет теперь у них жизнь, удастся ли ей примирить брата с мужем.

Егоршу она не видела с утра, с той самой минуты, как с доярками ушла от склада на коровник. И брата не видела, хотя днем три раза бегала и домой и к матери.

Самые неотложные дела зывали к ней в ее немудреном хозяйстве: дрова и вода, белье неприбранное — целый ворох лежал на столе, — овцы, не кормленные и непоеные, горланили в хлеву... А она вошла в избу, села на прилавок, да так и сидела в потемках не шевелясь.

И на уме у нее было все то же: Егорша, Михаил... Где-то они сейчас? Не сцепились ли опять друг с другом? И еще почему-то сердце сжималось от страха за Васю, как будто ему грозила какая-то беда...

Когда в избе стало совсем темно, Лиза решила еще раз сходить к своим.

И вот только она поднялась — Егорша. Пьянехонький: на весь дом пролаяло железное кольцо в воротах.

— Чего огня нету? Или, думаешь, раз у тебя кошачьи глаза, дак и другие в темноте видят?

Егорша покачался в проеме дверей, перешагнул за порог.

— Ну, кого спрашиваю?

Лиза вспыхнула:

— Чего глазами-то корить? Я не сама их выбирала...

— Всё вы не сами! У вас, у Пряслиных, завсегда дядя виноват. Может, и давеча, на складе, ты не сама кинулась на меня? Сука! Жена называется!.. Вцепилась, как падла, в своего мужа... Небось не в братца, а?

— Да ведь ты братца-то насмерть убивал.

— И убил бы! — Егорша горделиво вскинул свою светлую голову. — А чего? Прости те времена, когда он командовал парадом. Ха-ха-ха! Разлетелся: я, я... Как бык слепой. А того не соображает, балда, что быка всю жизнь бьют обухом по черепу!

В голосе Егорши было нескрываемое торжество и ликование. Он бегал по избе, потрясал кулаками, и Лиза с ужасом всматривалась в его бледное, облитое лунным светом лицо: да неужели это Егорша, ее муж? Или он, как всегда, разыгрывает ее?

— Ты думаешь, нет, чего говоришь-то? — сказала она задыхающимся от возмущения шепотом. — Ведь Михаил-то тебе кто?.. Шурин... Заместо брата...

Егорша захохотал, затем круто обернулся к Лизе.

— Он контра подлючая — вот кто твой брат. Поняла? А как ты думаешь — середь бела дня колхозный склад выворачивать? Это что? Евонный подарок матери-родине? — Егорша звонко и смачно впечатал кулак в свою распахнутую в ворота грудь. — Ну нет, не тому учен Суханов! Стоял три года на боевом посту у родины и всегда будет стоять. И тут для меня нету ни братьев, ни сватьев. Запомни это! Всех к ногтю! И твоему братцу это так не пройдет. Подожди, кое-кто им еще займется.

— А чего им заниматься-то? Что он сделал?

Егорша отчеканил чуть ли не по слогам:

— Хлеб колхозный в период хлебозаготовительной кампании хотел украсть у государства!

— Да хлеб-то этот он сам и сеял и сам убирал. Хоть какой килограмм и достался бы, дак не беда. На-ко! — возмутилась Лиза. — Всем плотникам хлеб выписан, а самому первому работнику нету...

— Первому, первому!.. Ты долго еще будешь тыкать мне в нос этим своим первым работником? Вот бы и выходила взамуж за своего первого работника.

— Да ты сдурел вовсе! Чего мелешь-то? За брата взамуж выходи...

— Ничего не мелю! — вконец разошелся Егорша. — Все вы сволочи! Михаил, Михаил... Первый работник... А что вы сделали с этим первым работником, покамест я в армии был? А-а, замолчала? Прикусила язык? Ну дак я скажу. Ну-ко расскажи, как тебе дом старик отписал... А-а, молчишь? Глаза закатываешь? Думаешь, все шито-крыто? Не узнает Егорша?

Пушечным выстрелом бабахнула запухшая дверь, со звоном, с грохотом ударились о стену ворота, затем Лиза услышала знакомый летучий скрип хромовых сапожек — и всё, жизнь ушла из дому.

*(Окончание следует)*



---

---

ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА

★

## СТЕНОГРАММЫ ПАРТИЙНЫХ СЪЕЗДОВ

Стенограммы партийных съездов,  
Пульс Истории в толще книг —  
Удивительной силы средство  
Против личных невзгод моих.

Я одна в полуночном доме,  
В окнах — шорохи сентября.  
Нахожу в долговечном томе  
Собеседников для себя.  
В каждой строчке — эпохи лепта.  
Поднимаюсь по строчкам я  
В мир высокого интеллекта —  
Сущность светлую бытия.

Иногда еще заскорузло,  
Полуграмотно речь звучит,  
Но уже в единое русло  
Собрались крутые ручьи.

Ты с трибуны былой взываешь,  
Неизвестен мне, незнаком, —  
Из трамвайной Москвы товарищ,  
Процитирую целиком:

Товарищи! Отмечу в прениях, что под водительством компартии у нас огромные достижения в точном машиностроении, а это база и гарантия. Рабочим трудом и потом дается точность до волоска, что подтверждается историческим перелетом Москва — Токио — Москва. 154 летных часа! И в моменты перелета, в моменты остановок наш мотор не пришлось исправлять ни разу, он годится для рейсов новых. Товарищи, эти успехи дают нам возможность по-ленински смело смотреть вперед и на несомненной базе этих достижений в социализм продолжать полет.

Убежденно, достойно, чисто,  
Хоть наивна в своем огне,  
Речь рабочего-коммуниста  
Входит в мир ЭВМ, ко мне,  
Где незыблемы и основа  
И решающее звено,

Где партийного съезда слово  
Электронно подкреплено;  
В мир космических траекторий,  
Волн, кричащих наперебой...

Что-то сходное в том моторе  
Есть, пожалуй, с моей судьбой.

Жизнь казалась такой бескрайней,  
Дела было невпроворот.  
И хотя для высотных зданий  
Смехотворен мой «перелет»,  
Как отрезок пути, как вектор  
Анонимно осталась я  
В стенограмме партийной века,  
В светлой сущности бытия.



---

---

Р. МАГОМЕДОВ

★

## СВЕТ РОССИИ

*С аварского*

В горах и долах мечется метель  
и воет, как бездомная волчица.  
Звенят под ветром белые кусты,  
и перекасти-поле в темень мчится.

А я, младенец голый и босой,  
иду навстречу сумраку седому,  
и, вспомнив о домашнем очаге,  
я плачу по оставленному дому.

О, как люблю я жаркий тот огонь!  
Огонь, огонь — в нем чистота и сила.  
Вот здесь в метель мать развела б костер  
и всех замерзших греться пригласила...

Весь мир стонал от холода и тьмы,  
казалось, нет исхода, что ни делай,  
когда Россия встала, словно мать,  
и разожгла костер в пустыне белой.

Каким угрюмым был бы этот мир  
без яркого костра! С пути бы сбился  
и я, когда б не вышел на огонь,  
который мне ночами в холод снился.

Народов многих дети у костра,  
как братья, сели — и согрелись руки,  
и отошли уставшие сердца,  
застывшие от ледящей муки.

Россия, мать, и я твой сын родной,  
и я с тобой увидел свет воочью.  
Да здравствует костер, что ты зажгла  
холодную октябрьскою ночью!

*Перевел В. СИКОРСКИЙ.*



---

В. ТЕНДРЯКОВ

★

## ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ

Повесть

**Д**юшка Тягунов знал, что такое хорошо, что такое плохо, потому что прожил на свете уже тринадцать лет. Хорошо — учиться на пятерки, хорошо — слушаться старших, хорошо — каждое утро делать зарядку...

Учился он так себе, старших не всегда слушался, зарядку не делал, конечно, не примерный человек — где уж! — однако таких много, себя не стыдился, а мир кругом был прост и понятен.

Но вот произошло странное. Как-то вдруг, ни с того ни с сего. И ясный, устойчивый мир стал играть с Дюшкой в перевертыши.

1

Он пришел с улицы, надо было садиться за уроки. Вася-в-кубе задал на дом задачку: два пешехода вышли одновременно... Вспомнил о пешеходах, и стало тоскливо. Снял с полки первую подвернувшуюся под руку книгу. Попались «Сочинения» Пушкина. Не раз от нечего делать Дюшка читал стихи в этой толстой старой книге, смотрел редкие картинки. В одну картинку вглядывался чаще других — дама в светлом платье, с курчавящимися у висков волосами.

Исполнились мои желания. Творец  
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,  
Чистейшей прелести чистейший образец.

Наталья Гончарова, жена Пушкина, кому не известно — красавица, на которую клал глаз сам царь Николай. И не раз казалось: на кого-то а похожа, на кого-то из знакомых, — но как-то недодумывал до конца. Сейчас вгляделся и вдруг понял: Наталья Гончарова похожа на... Римку Братеневу!

Римка жила в их доме, была старше на год, училась на класс выше. Он видел Римку в день раз по десять. Видел только что, минут пятнадцать назад, — стояла вместе с другими девчонками перед домом. Она и сейчас стоит там, сквозь немывтые весенние двойные рамы среди других девчоночьих голосов — ее голос.

Дюшка вглядывался в Наталью Гончарову — курчавинки у висков, точеный нос...

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,  
Чистейшей прелести чистейший образец.

Красавица!.. Голос Римки за окном.

Дюшка метнулся к дверям, сорвал с вешалки пальто. Надо проверить: в самом ли деле Римка красавица?

А на улице за эти пятнадцать минут что-то случилось. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было, и все не так. Небо не просто синее, оно тянет, оно засасывает, кажется, вот-вот приподымешься на цыпочки да так и останешься на всю жизнь. Солнце вдруг косматое, непричесанное, весело-разбойное. И недавно освободившаяся от снега, продавленная грузовиками улица сверкает лужами, похоже, поеживается, дышит, словно ее пучит изнутри. И под ногами что-то посапывает, лопается, шевелится, как будто стоишь не на земле, а на чем-то живом, изнемогающем от тебя. И по живой земле прыгают сухие, пушистые, согретые воробьи, ругаются насадно, весело, почти что понятно. Небо, солнце, воробьи, девчонки — все как было. И что-то случилось.

Он не сразу перевел глаза в ее сторону, почему-то вдруг стало страшно. Неровно стучало сердце: не надо, не надо, не надо! И звенело в ушах.

Не надо! Но он пересилил себя...

Каждый день видел ее раз по десять... Долговязая, тонконогая, нескладная. Она выросла из старого пальто, из жаркой тесноты сквозь короткие рукава вырываются на волю руки, ломко-хрупкие, легкие, летающие. И тонкая шея круто падает из-под вязаной шапочки, и выбившиеся непослушные волосы курчавятся на висках. Ему самому вдруг стало жарко и тесно в своем незастегнутом пальто, он сам вдруг ощутил на своих стриженных висках щекотность курчавящихся волос.

И никак нельзя отвести глаз от ее легко и бесстрашно летающих рук. Испуганное сердце колотилось в ребра: не надо, не надо!

И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Хочется оторваться от этой страдающей земли хотя бы на вершок, поплыть по воздуху — такая внутри легкость.

О чем-то болтают девчонки. О чем? Их голоса перепутались с воробьиным базаром — веселы, бессмысленны, слов не разобрать.

Но вот изнутри толчок — сейчас девчоночий базар кончится, сейчас Римка махнет в последний раз легкой рукой, прозвонит на прощание: «Привет, девочки!» И повернется в его сторону! И пройдет мимо! И увидит его лицо, его глаза, угадает в нем подымающую легкость. Мало ли чего угадает... Дюшка смятенно повернулся к воробьям.

— Привет, девочки! — И невесомые топ, топ, топ за его спиной, едва касаясь земли.

Он глядел на воробьев, но видел ее — затылком сквозь новую шапку: бежит вприпрыжку, бережно несет перед собой голубые в любой момент взлететь руки, задран тупой маленький нос, блестят глаза, блестят зубы, вздрагивают курчавинки на висках.

Топ, топ — неведомое уже по ступенькам крыльца, хлопнула дверь, и воробьи сорвались с водопадным шумом.

Он освобожденно вздохнул, поднял голову, повел недобрый взглядом в сторону девчонок. Все знакомы: Лялька Сивцева, Гуляева Галка, толстая Понюхина с другого конца улицы. Знакомы, не страшны, интересны только тем, что недавно разговаривали с ней — лицом к лицу, глаза в глаза, надо же!

А раскаленная улица медленно остывала — небо становилось обычно синим, солнце не столь косматым. А сам Дюшка обрел способность думать.

Что же это?

Он хотел только узнать: похожа ли Римка на Наталью Гончарову?



«Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна...» Он и сейчас не знает — похожа ли?

Двадцать минут назад ее видел.

За эти двадцать минут она не могла измениться.

Значит — он сам... Что с ним?

Вдруг да сходит с ума?

Что, если все об этом узнают?

Страшней всего, если узнает она.

## 2

Дюшка жил в поселке Куделино на улице Жан-Поля Марата. Здесь он и родился тринадцать лет тому назад. Правда, улицы Жан-Поля Марата тогда не было, сам поселок тоже только что рождался — на месте деревни Куделино, стоявшей над дикой рекой.

Дюшка помнит, как сносились низкие бараки, как строились двухэтажные улицы — Советская, Боровая, имени Жан-Поля Марата, названная так потому, что в тот год, когда ее начинали строить, был юбилей французского революционера.

В поселке была лесоперевалочная база, речная пристань, железнодорожная станция и штабеля бревен. Эти штабеля — целый город, едва ли не больше самого поселка, со своими безымянными улочками и переулками, тупиками и площадями, чужой человек легко мог заблудиться среди них. Но чужаки редко появлялись в поселке. А здесь даже мальчишки хорошо разбирались в лесе — тарокряж, крепеж, баланс, резонанс...

Надо всем поселком возносится узкий, что решетчатый штык в небо, кран. Он так высок, что в иные, особо угрюмые, дни верхушкой прячется в облака. Его видно со всех сторон за несколько километров от поселка.

Он виден и из окон Дюшкиной квартиры. Когда семья садится за обеденный стол, то кажется — большой кран рядом, вместе с ними. О нем за столом каждый день ведутся разговоры. Каждый день целый год отец жаловался на этот кран: «Слишком тяжел, сатана, берег реки не выдерживает, оседает. В гроб загонит, будет мне памятник на могилу в полмиллиона рублей!» Кран не загнал отца в могилу, отец теперь на него поглядывает с гордостью: «Мое детище». Ну, а Дюшка большой кран стал считать своим братом — дома с ним, на улице с ним, никогда не расстаются, даже когда засыпаешь, чувствуешь — кран ждет его в ночи за окном.

Отец Дюшки был инженером по механической выгрузке леса, мать — врачом в больнице, ее часто вызывают к больным по ночам. Есть еще бабушка — Клавдия Климовна. Это не родная Дюшке бабушка, а приходящая. У нее в том же доме на нижнем этаже своя комната, но Климовна в ней только ночует. А когда-то даже и не ночевала — нянчилась с Дюшкой. Сейчас Дюшка вырос, нянчиться с ним нужды нет, Климовна ведет хозяйство и страдает за все: за то, что у отца оседает берег под краном, что у матери с тяжелобольным Гринченко стало еще хуже, что Дюшка снова схватил двойку. «О господи! — постоянно вздыхает она обреченно. — Жизнь прожить — не поле перейти».

## 3

Непривычная, словно раскаленная, улица остыла, снова стала знакомому грязной, обычной.

Ждать, ждать, пока Римка не выскочит из дома и улица опять не вспыхнет, не накалится.

Нет, сбежать, спрятаться, потому что стыдно же ждать девчонку.

Стыдно, и готов плюнуть на свой стыд.

Хочет — не хочет, хоть разорвись пополам!

А может, он и в самом деле разорвался на две части, на двух Дюшек, совсем не похожих друг на друга?

Бывало ли такое с другими? Спросить?.. Нет! Засмеют.

За домом на болоте слышались ребячьи голоса. Дюшка двинулся на них. Впервые в жизни, сам того не понимая, испытывал желание спрятаться от самого себя.

Болото на задах улицы Жан-Поля Марата не пересыхало даже летом — оставались ляжины, до краев заполненные черной водой.

Сейчас на окраине этого болота, как встревоженные галки, прыгали по кочкам ребята. Среди них в сплавщицкой брезентовой куртке, в лохматой, «из чистой медвежатины», шапке — Санька Ераха. Дюшке сразу же расхотелось идти.

Санька считался на улице самым сильным среди ребят. Правда, сильнее Саньки был Левка Гайзер. Левке, как и Саньке, шел уже пятнадцатый год, он лучше всех в школе «работал» на турнике, накачал себе мускулы, даже, говорят, знал приемы джиу-джитсу и каратэ. Впрочем, Левка знал все на свете, особенно хорошо математику. Вася-в-кубе, преподаватель математики, говорил о нем: «Из таких-то и вырастают гении». И Левка не обращал внимания на Саньку, на Дюшку, на других ребят, никто не смел его задевать, он не задевал никого.

Дюшка среди ребят улицы Жан-Поля Марата, если считать Левку, был третьим по силе. Там, где был Санька, он старался не появляться. И сейчас лучше было бы повернуть обратно, но ребята, наверное, уже заметили, поверни — подумают, струсил.

Санька всегда выдумывал странные игры. Кто выше всех подбросит кошку. А чтоб кошка не убежала, чтоб не ловить ее после каждого броска, привязывали за ногу на тонкую длинную бечевку. Все бросали кошку по очереди, она падала на утоптанную землю и убежать не могла. И Санька бросал выше всех. Или же раз на рыбалке — кто съест живого пескаря? От выловленных на удочку пескарей пресно пахло речной тиной, они бились в руке, Дюшка не смог даже поднести ко рту — тошнило. И Санька издевался: «Неженка. Маменькин сынок...» Сам он с хрустом умял пескаря не моргнув глазом — победил.

Сейчас он придумал новую игру.

На болоте стоял старый, заброшенный сарай, оставшийся еще с того времени, когда улица Марата только строилась. На его дощатой стене был нарисован мелом круг, вся стена заляпана слизистыми пятнами. Ребята ловили скачущих по кочкам лягушек. Их здесь водилось великое множество — воздух кипел, плескался, скрежетал от лягушачьих голосов. Плескался и кипел в стороне, а напротив сарая — мертвое молчание, лягушки затаились от охотников, но это их не спасало.

Санька в своей лохматой шапке, деловито насупленный, принимал услужливо поднесенную лягушку, набрасывал веревочную петлю на лапку, строго спрашивал:

— Чья очередь? — И передавал из руки в руку веревочку со слабо барахтающейся лягушкой: — Бей!

Веревочку принял Петька Горюнов, тихий парнишка с красным, словно ошпаренным лицом. Он раскрутил привязанную лягушку над головой, выпустил из рук конец веревочки... Лягушка с тошнотно мокрым шлепком врезалась в стену. Но не в круг, далеко от него.

— Косорукий! — сплонул Санька. — Беги за веревочкой!

Петька послушно запрыгал по дышащим кочкам к стене сарая.

Только теперь Санька посмотрел на подошедшего Дюшку — глаза впрозелень, словно запачканные болотом, редко мигающие, стоячие. Взглянул и отвернулся: «Ага, пришел, ну, хорошо же...»

— Мазилы все. Глядите, как я вот сейчас... Лягуху давай! Эй ты там, косорукий, веревочку неси!

Колька Лысков, верткий, тощий, с маленьким, морщинистым, подвижным, как у обезьянки, лицом, для всех услужливый, а для Саньки особенно, подал пойманную лягушку. Запыхавшийся Петька принес веревочку.

— Глядите все!

Санька не торопился, уставился в сторону сарая вышуклыми немигающими глазами, лениво раскачивал привязанную лягушку. А та висела на веревочке вниз головой, растопыренная, как рогатка, обмершая в ожидании расправы. А в стороне бурлили, скрежетали, постанывали тысячи тысяч погруженных в болото лягушек, знать не знающих, что одна из них болтается головой вниз в руке Саньки Ерахи.

На секунду лягушка перестала болтаться, повисла неподвижно. Санька подобрался. А Дюшка вдруг в эту короткую секунду заметил ускользавшую до сих пор мелочь: распятая на веревочке лягушка натужно дышала изжелта-белым мягким брюхом. Дышала и глядела бессмысленно выкаченным золотистым глазом. Жила вниз головой и покорно ждала...

Санька распрямился, сначала медленно, потом азартно, с бешенством раскрутил над шапкой веревочку и... мокрый шлепок мягким о твердое, в круге, обведенном мелом, — клякса слизи.

— Вот! — сказал Санька победно.

У Саньки под лохматой — «из чистой медвежатины» — шапкой широкое, плоское, розовое лицо, на нем торчком твердый решительный нос, круглые, совиные, с прозеленью глаза. Дюшка не мог вынести его взгляда, склонил к земле голову.

Под ногами валялся забуревший от старости кирпич. Дюшка постепенно отвел глаза от кирпича, натолкнулся на переминающегося краснорожего виноватого Петьку — «косорукий, не попал!». И Колька Лысков ослабил, выставил неровные зубы: до чего, мол, здорово ты, Ераха!

Воздух клокотал от влажно картавящих лягушачьих голосов. Никак не выгнать из головы висящую лягушку, дышащую мягким животом, глядящую ржаво-золотистым глазом. Широкое розовое лицо под мохнатой шапкой, а нос-то у Саньки серый, деревянный, неживой. Неужели никому не противен Санька? Петька виновато мнетя, Колька Лысков услужливо скалит зубы. Кричат лягушки, крик слепых, не видящих, не слышащих, не знающих ничего, кроме себя. Молчат ребята. Все с Санькой. У Саньки серый нос и зеленые болотные глаза.

— Теперь чья очередь? Ну?..

«Сейчас меня заставит», — подумал Дюшка и вспомнил о старом кирпиче под ногами. Весь подобрался...

— Дай я кину, — подсунулся к Саньке Колька Лысков, на синюшной мордачке несходящая умильная улыбочка. Он даже противнее Саньки!

— Вон Минька не кидал. Его очередь, — ответил Санька и снова покосился на Дюшку.

Минька Богатов самый мелкий по росту, самый слабый из ребят — большая голова дыней на тонкой шее, красный нос стручком, синие глаза. Дюшкин ровесник, учатся в одном классе.

Если Минька бросит, то попробуй после этого отказаться. Не один Санька — все накинутся: «Неженка, маменькин сыночек!» Все с Санькой... Кирпич под ногами, но против всех кирпич не поможет.

— Я не хочу, Санька, пусть Колька за меня.— Голос у Миньки тонкий, девичий, и синие страдальческие глаза, узкое лицо бледно и перекошено. А ведь Минька-то красив!..

Санька наставил на Миньку деревянный нос:

— Не хоч-чу!.. Все хотят, а ты чистенький!

— Санька, не надо... Колька вон просит.— Слезы в голосе.

— Бери веревочку! Где лягуха?

Кричит лягушачье болото, молчат ребята. У Миньки перекошено лицо — от страха, от брезгливости. Куда Миньке деться от Саньки? Если Санька заставит Миньку...

И Дюшка сказал:

— Не тронь человека!

Сказал и впился взглядом в болотные глаза.

Кричит вперелив лягушачье болото. Крик слепых. У Саньки в вязкой зелени глаз стерегущий зрачок, нос помертвевший и на щеках, на плоском подбородке стали расцветать пятна. Петька Горюнов почтительно отступил подальше, у Кольки Лыскова на старушечьем-личике изумленная радость — обострилась каждая морщинка, каждая складочка: «Ну-у, что будет!»

— Не тронь его, сволочь!

— Ты... свихнулся? — У Саньки даже голос осел.

— Бросай сам!

— А в морду?..

— Скотина! Палач! Плевал я на тебя!

Для убедительности Дюшка и в самом деле плюнул в сторону Саньки.

Жестко округлив нечистые зеленые глаза, опустив плечи, отведя от тела руки, шапкой вперед, Санька двинулся на Дюшку, бережно переноса каждую ногу, словно пробуя прочность земли. Дюшка быстро нагнулся, выковырнул из-под ног кирпич. Кирпич был тяжел — так долго лежал в сырости, что насквозь пропитался водой. И Санька, очередной раз попробовав ногой прочность земли, озадаченно остановился.

— Ну?.. — сказал Дюшка.— Давай!

И подался телом в сторону Саньки. Санька заворуженно и уважительно смотрел на кирпич. Клокотал и скрежетал воздух от лягушачьих голосов. Не дыша стояли в стороне ребята, и Колька Лысков обмирал в счастливом восторге: «Ну-у, будет!» Кирпич был надежно тяжел.

Санька неловко, словно весь стал деревянным — вот-вот заскрипит,— повернулся спиной к Дюшке, все той же ощупывающей походочкой двинулся на Миньку. И Минька втянул свою большую голову в узкие плечи.

— Бери веревочку! Ну!

— Минька! Пусть он тронет тебя! — крикнул Дюшка и, навешивая кирпич, шагнул вперед.

Колька Лысков отскочил в сторону, но счастливое выражение на съезженной физиономии не исчезло, наоборот, стало еще сильнее: «Что будет!»

— Бери, гад, веревочку!

— Минька, сюда! Пусть только заденет!

Минька не двигался, вжимал голову в плечи, глядел в землю. Санька нависал над ним, шевелил руками, поеживался спиной, однако Миньку не трогал.

Картаво кричало лягушачье болото.

— Минька, пошли отсюда!

Минька вжимал в плечи голову, смотрел в землю.

— Минька, да что же ты? — Голос Дюшки расстроено зазвенел.

Минька не пошевелился.

— Ты трус, Минька!

Молчал Минька, молчали ребята, передергивал спиной Санька, кричало болото.

— Оставайся! Так тебе и надо!

Сжимая в руке тяжелый кирпич, Дюшка боком, оступаясь на кочках, двинулся прочь.

По улице, прогибая ее, шли тяжкие лесовозы, заляпанные едкой весенней грязью. Они, должно быть, целый день пробивались из соседних лесопунктов по размытым дорогам, тащили на себе свежие, налитые соком еловые и сосновые кряжи. Они привезли из леса вместе с бревнами запах хвои, запах смолы, запах чужих далей, запах свободы.

Над крышами в отцветающем вечернем небе дежурил большой кран, Дюшкин друг и брат. И за рычанием лесовозов улавливался растворенный в воздухе невнятно-нежный звон.

Дюшка бросил ненужный кирпич. Дюшке хотелось плакать. Санька теперь не даст проходу. И Минька предал. И Миньку Санька все равно заставит убить лягушку. Хотелось плакать, но не от страха перед Санькой и уж не от жалости к Миньке — так ему и надо! — от непонятного. Сегодня с ним что-то случилось.

Что?

Кого спросить? Нет, нет! Нельзя! Ни отцу, ни матери, если только большому крану...

И Дюшка почувствовал вокруг себя пустоту — не на кого опереться, не за что ухватиться, живи сам как можешь. Как можешь?.. Земля кажется шаткой.

И стоит перед глазами Римка — легкие летающие руки, курчавящиеся у висков волосы... И не прогнать из головы дышащую животом лягушку... И он ненавидит Саньку! Все перепуталось. Что с ним сейчас?..

Рычат лесовозные машины, тащат тяжелые бревна, в тихом небе дремлет большой кран. Стоял посреди улицы Дюшка Тягунов, мальчишка, оглушенный самим собой.

Откуда знать мальчишке, что вместе с любовью приходит и ненависть, вместе с неистовым желанием братства — горькое чувство одиночества. Об этом часто не догадываются и взрослые.

Лесовозы прошли, но остался запах бензина и хвойного леса, остался растворенный в воздухе звон. Это с болот доносился крик лягушек. Крик неистовой любви к жизни, крик иступленной страсти к продолжению рода, и капель с крыш, и движение вод в земле, и шум взбудораженной крови в ушах — все сливалось в одну звенящую ноту, распиравшую небесный свод.

4

Дома шел разговор. Как всегда шумно говорил отец, как всегда о своем большом кране:

— Кто знал, что в этом году будет такой паводок. Берег подмывает, гляди да локти кусай — кувырнется в воду наш красавец. А кто настаивал: надо выдвинуть в реку бетонный мол. Нет, мол — накладно. Из воды выуживать эту махину не накладно? Да дешевле новый кран купить! Всегда так — экономим на крохах, прогораем на ворохах!..

У матери остановившийся взгляд, направленный куда-то внутрь себя, в глубь себя. Она неожиданно перебила отца:

— Федя, ты не помнишь, что случилось пятнадцать лет назад?

— Пятнадцать лет?.. Гм!.. Пятнадцать... Нет, что-то не припомню... Кстати, как сегодня здоровье твоего Гринченко?

— Представь себе, лучше.

— А почему похоронное настроение, словно у тебя там несчастье?

— Да так... Вдруг вот вспомнилось... Пятнадцать лет назад бежали ручьи и капало с крыш, как сегодня.

Отец стоит посреди комнаты в клетчатой рубашке с расстегнутым воротом, взлохмаченная голова под потолок. Косит глазом на мать — озадачен.

— Что за загадки? Говори прямо.

— Пятнадцать лет назад, Федя, в этот день ты мне поднес... белые нарциссы, помнишь ли?

— Ах да!.. Да!.. Бежали ручьи... Помню.

— С этих цветов, собственно, и началось.

— Да, да.

— Ты тогда был неуклюжий, сутулился... Цветы, ручьи и твоя слоновья вежливость.

— Действительно... Я боялся тогда тебя.

— Я прижимала твои цветы и думала: господи, возможно ли так, чтобы просыпаться по утрам и видеть этого смущающегося слона день за днем, год за годом. Не верилось.

— Мы вместе, Вера. Пятнадцать лет...

— А вместе ли, Федор? Краны, тягачи, кубометры, инфаркты, нефриты — гора забот между нами. Чем дальше, тем выше она... Федя, ты мне уже никогда больше не дарил цветов. Те белые нарциссы — первые и последние.

Отец грузно зашагал по комнате, влезая пятерней в растрепанные волосы, мать глядела перед собой углубленными глазами.

— Белые нарциссы... — с досадой бормотал отец. — Я даже еловых шишек не могу здесь поднести, к нам приходят раздетые донага бревна... Вера, ты сегодня что-то не в настроении. Что-то у тебя случилось? Какая неприятность?

— Случилась очередная весна, Федя.

Мать и отец даже не заметили вернувшегося с улицы Дюшку, никто не спрашивал его, сделал ли он домашние задания. Он так и не решил задачи о двух пешеходах.

Бабушка Климовна штопала Дюшкин свитер, тоже прислушивалась к разговору о нарциссах, шумно вздохнула:

— Ох, батюшки! Мечутся, всё мучутся, не знай чего хотят.

Дюшку не волновали белые нарциссы, до них ли сейчас, он потихоньку взял «Сочинения» Пушкина, убрался в другую комнату, раскрасил книгу на портрете Натальи Гончаровой. Белое бальное платье с вырезом, нежная шея, точеный нос, завитки волос на висках — красавица.

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,  
Чистойшей прелести чистойший образец.

Утром он рано проснулся с кипучим чувством — скорей, скорей! Едва хватило сил позавтракать под воркотню Климовны, схватил свой портфель — и на улицу. Скорей! Скорей!

Но спрыгнув с крыльца, он понял, что поторопился.

Улица была тихо населена, но не людьми, а грачами. Большие па-

радно-мрачные птицы молчаливо вперевалку разгуливали по дороге, каждая в отрешенном уединении носила свой серый клюв, нет-нет да трогая им землю задумчиво, рассеянно, брезгливо. Большие птицы, черные как головешки, углубленные в свои серьезные заботы. Странное население, а потому и сама улица Жан-Поля Марата кажется странной, словно в фантастической книжке: люди вымерли, хозяевами остались мудрые птицы, один Дюшка случайно уцелел на всей земле. Представить и — бр-р-р! — жутковато.

Но жутковато так, между делом. Дюшку беспокоили сейчас не грачи, он только теперь сообразил, чего хотел, почему спешил: не пропустить Римку, чтобы идти следом за ней до самой школы (боже упаси, не рядышком!), издали глядеть, глядеть... Скывывающее пальто, кусочек тонкой белой шеи между воротником и вязаной шапочкой. Кусочек белой и теплой кожи...

Но пуста улица, по ней лишь гуляют прилетевшие из дальних стран грачи. Надо ждать, но это трудно, и скоро на улице появятся прохожие, станут подозрительно коситься: а почему мальчишка топчется у крыльца, а кого это он ждет?..

И опять влез в мысли непрошенный Санька Ераха. Он-то уж помнит вчерашнее, он-то уж непременно будет сторожить на дороге. Просто кулаками с Санькой не справишься. И снова в грудь отравой полилась бессильная ненависть: зачем только такая пакость живет на свете?

Дюшка стоял возле крыльца, глядел на грачей, на молодую, крепкую березку, окутанную по ветвям сквозным зеленым дымком, на старый пень посреди истоптанного двора. Днем этот пень как-то незаметен, сейчас нахально лезет в глаза. И неспроста!

Неожиданно Дюшка ощутил: что-то живет на пустой улице, что-то помимо грачей, березки, старого пня. Солнце переливалось через крышу, заставляло жмуриться, длинные тени пересекали помаятую машинами дорогу, грачи блуждали между тенями, в полосах солнечного света. Что-то есть, что-то, заполняющее все, — невидимое, неслышимое, крадущееся по поселку мимо Дюшки. И оно всегда, всегда было, и никто никогда не замечал его. Никто никогда, ни Дюшка, ни другие люди!

Дюшка стоял затаив дыхание, боясь спугнуть свое хрупкое неведенье. Вот-вот — и откроется. Вот-вот — великая тайна, не подвластная никому. Стоит лишь поднапрячься — вот-вот...

Береза... Она в сквозной дымке. Вчера этой дымки не было — ночью распустились почки. Что-то тут, рядом, а не дается.

Грачи неожиданно, как по приказу, дружно, молча, деловито, с натужной тяжестью взлетели. Хлопанье крыльев, шум рассекаемого воздуха, сизый отлив черных перьев на солнце. Где-то в конце улицы сердито заколотился звук работающего мотора. Грачи, унося с собой шорох взбалмученного воздуха, растаяли в небе. Заполняя до крыши улицу грубым машинным рыком и грохотом расхлябанных металлических суставов, давя ребристыми скатами и без того вмаятую щебенку, прокатил лесовоз-тягач с пустым мотающимся прицепом.

Он прокатил, скрылся за домами, но его грубое рычание еще долго билось о стены домов, о темные, маслянисто отсвечивающие окна. Но и этот отзвук должен исчезнуть. Непременно. И он исчез.

И береза в зеленой дымке, которой вчера не было... Вот-вот — тайна рядом, вот-вот — сейчас!..

Пуста улица, нет грачей. Улица та же, но и не та — изменилась. Вот-вот... Кажется, он нащупывает след того невидимого, неслышимого, что заполняет улицу, крадется мимо.

Хлопнула где-то дверь, кто-то из людей вышел из своего дома.

Скоро появится много прохожих. И улица снова изменится. Скоро, пройдет немного времени...

И Дюшка задохнулся — он понял! Он открыл! Сам того не желая, он назвал в мыслях то невидимое и неслышимое, крадущееся мимо: «Пройдет немного в р е м е н и...»

В р е м я! Оно крадется.

Дюшка его увидел! Пусть не само, пусть его следы.

Вчера на березе не было дымки, вчера еще не распустились почки — сегодня есть! Это след пробежавшего времени!

Были грачи — нет их! Опять время — его след, его шевеление! Оно унесло вдаль рычащую машину, оно скоро заполнит улицу людьми...

Беззвучно течет по улице время, меняет все вокруг.

И этот старый пенёк — тоже его след. Когда-то тут, давным-давно, упало семечко, проклюнулся росточек, стал тянуться, превратился в дерево...

Течет время, рождаются и умирают деревья, рождаются и умирают люди. Из глубокой древности, из безликих далей к этой вот минуте — течет, подхватывает Дюшку, несет его дальше, куда-то в щемящую бесконечность.

И жутко и радостно... Радостно, что открыл, жутко — открыл-то не что-нибудь, а великое, дух захватывает!

Течет время... Дюшка даже забыл о Римке.

— Дюшка...

Бочком, боязливо, склонив на плечо тяжелую голову в отцовской шапке, приблизился Минька Богатов — на узкие плечики навешен истрепанный ранец, руки зябко засунуты в карманы.

— Дюшка... — И виновато шмыгнул простуженным носом.

— Минька, а я время увидел! Сейчас вот,— объявил Дюшка.

Минька перестал мигать — глаза яркие, синие, а ресницы совсем белые, как у поросенка, нос, словно только что вымытая морковка, блестит. И в тонких бледных губах дрожание, должно быть, от страха перед Дюшкой. Дюшке же не до старых счетов.

— Видел! Время! Не веришь? — Он победно развернул плечи.

— Чего, Дюшка?

— Время, говорю! Его никто не видит. Это как ветер. Сам ветер увидеть нельзя, а если он ветки шевелит или листья, то видно...

— Время ветки шевелит?

— Дурак. Время сейчас улицу шевелило. Все! То нет, то вдруг есть... Или вот береза, например... И грачи были да улетели... И еще пенёк этот. Погляди, как его время...

Минька глядел на Дюшку, помахивал поросычьими ресницами, губы его начали кривиться

— Дюшка, ты чего? — спросил он шепотом.

— Чего, чего? Ты пойми — пенёк-то деревом раньше был, а еще раньше кустиком, а еще — росточком маленьким, семечком... Разве не время сделало пенёк этот?

— Дюшка, а вчера ты на Саньку вдруг... с кирпичом.— Минька расстроено зашмыгал носом.

— Ну так что?

— А сейчас вот — в пне время какое-то... Ой, Дюшка!..

— Что — ой? Что — ой? Чего ты на меня так тарашься?

Глаза у Миньки раскисли, словно у Маратки, ничейной собаки, которая живет по всей улице Жан-Поля Марата; есть в кармане сахар или нет, та все равно смотрит на тебя со слезой, не поймешь, себя ли жалеет или тебя.

— Ты не заболел, Дюша?



И Дюшка ничего не ответил. Сам вчера за собой заметил — что-то неладно! Вчера — сам, сегодня — Минька, завтра все будут знать.

Улица как улица, береза как береза и старый пенёк всего-навсего старый пенёк. Только что радовался, дух захватывало... Хорошо, что Минька ничего не знает о Римке.

И ради собственного спасения напал на Миньку сердитым голосом:

— Если я против Саньки, так уж и заболел. Может, вы все вместе с Санькой с ума посходили — на лягуш ни с того ни с сего!.. Что вам лягуши сделали?

— Санька-то тебе не простит. Ты его знаешь — покалечит, что ему.

— Плевал, не боюсь!

— Разве можно Саньки не бояться. Сам знаешь, он и ножом... Что ему.

Минька поеживался, помаргивал, переминался, явно страдал за Дюшку. И глаза у друга Миньки как у ничейного Маратки.

Дюшка задумался.

— Кирпич нужен. Чтобы чистый,— сказал он решительно.

— Кирпич? Чистый?..

— Ну да, не могу же я грязный кирпич в портфель положить. Теперь я всегда с портфелем буду ходить по улице. Санька наскочит, я портфель открою и... кирпич. Испугался он тогда кирпича, опять испугается.

Минька перестал виновато моргать, уважительно уставился на Дюшку: ресницы белые, нос — морковка-недоросток.

— Возле нашего дома целый штабель,— сказал он.— Хорошие кирпичи, чистые, толем укрыты.

— Пошли! — решительно заявил Дюшка.

Они выбрали из-под толя сухой кирпич. Дюшка очистил его рукавом пальто от красной пыли, придирчиво осмотрел со всех сторон — что надо,— опустил в портфель. Кирпич лег рядом с задачником по алгебре, с хрестоматией по литературе. Портфель раздулся и стал тяжелым, зато на душе сразу полегчало — пусть теперь сунется Санька. Оказывается, как просто: для того чтобы жить без страха, нужен всего-навсего хороший кирпич. Мир снова стал доброжелательным. Минька с уважением поглядывал на Дюшкин портфель.

Они отправились в школу. Поджидать Римку вместе с Минькой глупо. Да и какая нужда? И все-таки хотелось ее видеть. Хотелось, хотя умом понимал — нужды нет!

Санька не встретился им по дороге.

## 6

Он успел ее увидеть перед самым звонком в толчее и сутолоке школьного коридора. И сейчас, на уроке, он тихо переживал это свое маленькое счастье.

— Тягунов! Федор! Ты уснул?

Женька Клюев, сосед по парте, ткнул Дюшку в бок:

— Вызывают. К доске.

Учителя математики звали Василий Васильевич, и фамилия у него тоже Васильев, а потому и прозвище — Вася-в-кубе. Он был уже стар, каждый год грозитя уйти на пенсию, но не уходит. Высок, тощ, броваст, с прокаленной, как бок печного горшка, лысиной, с всячим крупным носом и басист. Его бас, грозные брови, высокий рост пугали новичков, которые приходили из начальных школ. Ребята чуть постарше хорошо знали — Вася-в-кубе страшен только с виду.

Он всегда о ком-нибудь хлопотал: то путевку в южный пионерлагерь больному ученику, то пенсию родителю. Почти всегда у него дома на хлебах жил парнишка из деревни, в котором Вася-в-кубе видел большой талант, занимался его развитием.

Он верил, что талантливы все люди, только сами того не знают, а потому таланты остаются нераскрытыми. И он, Вася-в-кубе, усердствовал, раскрывал.

Рассказывают, что когда Левка Гайзер, тогда еще ученик пятого класса, начал решать очень трудные задачи, Вася-в-кубе плакал от радости, по-настоящему, слезами, при всех, не стесняясь.

Он видел нераскрытый талант и в Дюшке, чем сильно отравлял Дюшкину жизнь. Математика Дюшке не давалась, а Вася-в-кубе не уставал этому огорчаться.

Сейчас Дюшка стоял у доски, а Василий Васильевич мерил длинными ногами класс в ширину, от двери к окну и обратно.

— Это что же, Тягунов, такое? — расстроенным громыхающим басом. — Что за распущенность, спрашиваю? Куда же ты катишься, Тягунов? Идет последняя четверть. Последняя! У тебя две двойки, сейчас поставлю третью! А в итоге?.. — Густые брови Васи-в-кубе вылезли почти на лысину. — В итоге ты второгодник, Тягунов!

Дюшка и сам понимал, что вчера эту проклятую задачу о путешественниках, пешком отправившихся навстречу друг другу, кровь из носу, а должен бы решить. Ну, на худой конец, списать у кого. Не получилось. Дюшка убито молчал.

— Что ж... — Сморщившись, словно сильно заболела поясница, Василий Васильевич склонился над журналом: двойка!

Дюшка двинулся к своей парте.

— Куда? — грозно спросил Вася-в-кубе и указал широкой мослаковой рукой на пластмассовую продолговатую коробочку на своем столе: — Почиститься!

— Я же не трогал мела.

— Почиститься!

Васю-в-кубе никак нельзя было назвать большим аккуратистом — носил брюки с пузырями на коленях, мятый пиджачок, жеваный галстук, — но почему-то он не выносил следов мела на одежде у себя и у других. Вместе с классным журналом он приносил на уроки платяную щетку в коробочке. Каждому, кто постоял у доски, вручалась эта коробочка и предлагалось удалиться на минуту из класса, счистить с себя следы мела. Тем, кто ответил хорошо, ласковым голосом: «Приведи себя в порядок, голубчик»; кто отвечал плохо — резко, коротко: «Почиститься!» И уж лучше не спорить, Вася-в-кубе тут выходил из себя.

Дюшка с коробочкой в руках вышел из класса. В пустом коридоре, заполненном потусторонними голосами, привалясь плечом к стене, стоял Санька Ераха, лицо хмуро, соломенные волосы падают на сонные глаза — за что-то, видать, выставили с урока.

Санька и Дюшка — один на один, лицом к лицу в пустом коридоре. Портфель с кирпичом в классе...

Но Санька не пошевелился, не оторвал плеча от стены, он только глядел на Дюшку из-под перепутанных волос сонно и холодно. И Дюшке стало стыдно, что он испугался. Во время уроков в коридоре Санька не полезет.

Дюшка не спеша раскрыл коробочку, вытащил щетку, принялся чистить свои брюки, старательно, не пропуская ни одной соринки, словно чистка старых штанов — наслаждение.

Он чистил и ждал — Санька заговорит. Тогда Дюшка ему ответит, не спустит. Он чистил, а Санька молчал, смотрел. Дюшка прошелся

по одной штанине, принялся за другую — Санька молчал и смотрел в упор. И тогда Дюшка понял, что Санька молчит неспроста — уж очень сильно его ненавидит, иначе бы не выдержал, ругнулся. Молчит и глядит совиными глазами, молчит и глядит...

Дюшка принялся чиститься по второму разу — вдруг да Санька не выдержит, ругнется хотя бы шепотом. Но молчание. И пришла в голову простая мысль: а почему все-таки Санька его ненавидит? Он хорошо знает, что Дюшка не станет его подстергать, ему, Саньке, нечего бояться Дюшки, жизнь не портит, настроение не отравляет, как это делает сам Санька, а все-таки ненавидит. Только за то, что он, Дюшка, не захотел бросить лягушку, не подчинился? Даже защитить Миньку ему не удалось. Мало ли чего кому не хочется. Вот он, Дюшка, например, не захотел решить задачу о путешественниках, Васе-в-кубе это неприятно, Вася-в-кубе огорчен, но представить — возненавидел за это... Нет, слишком!

И тут спохватился: а ведь и он Саньку ненавидит не только за то, что тот отравляет жизнь, заставляет носить с собой кирпич. Ненавидит, что Саньке нравится мучить кошек, убивать лягуш. Казалось бы, тебе-то какое дело — пусть, коли нравится. Нет, ненавидит Санькины привычки, Санькины выкаченные глаза, Санькин нос, Санькино плоское лицо, ненавидит просто за то, что он такой есть.

Санька глядел остановившимся взглядом, и Дюшка попробовал представить себе, каким видит сейчас его Санька. Но не успел, так как кончилась последняя штанина, начать чиститься по третьему разу просто смешно, черт-те что может подумать Санька.

Дюшка вложил щетку в коробочку, взглянул напоследок на Саньку, и взгляды их встретились... Стоячие, холодные, мутно-зеленые глаза. Да, не ошибся. Да, Санька неспроста молчит. Кирпич все-таки ненадежная защита.

Так в молчании и расстались. Дюшка вернулся в класс.

На перемене ему уже некогда было выглядывать Римку, он искал Левку Гайзера. Кирпич — ненадежно, один только Левка мог помочь.

Он отыскал Левку возле кабинета физики, отозвал в сторону. У Левки серые спокойные глаза и ресницы, как у девчонки, загибались вверх. У него уже начали пробиваться усы, пока чуть-чуть, легким дычком над полными красными губами. Красивый парень Левка.

— Научи меня джиу-джитсу, Левка, или каратэ. Очень нужно, не просил бы.

— А может, мне лучше научить тебя танцевать, как Майя Плисецкая?

— Левка, нужно! Очень! Ты знаешь приемы, все говорят.

— Послушай, таракан: незнаком я с этой чепухой. Вы там черт-те какие басни про меня распускаете.

Зазвенел звонок, Левка ударил Дюшку по плечу:

— Так-то, насекомое! Не могу помочь.

И ушел пружинящей спортивной походочкой.

Одна надежда на кирпич.

## 7

— Минька! Вон травка выползла, зелененькая, умытая. Почему она такая умытая, Минька? Она же из грязной земли выползла. Из земли, Минька! Из мокроты! На солнце! Ей тепло, ей вкусно... Она же солнечные лучи пьет. Растения солнцем питаются. Лучи им как молоко... Ты оглянись, Минька, ты только оглянись! Все на земле шевелится, даже мертвое... Вон этот камень, Минька, он старик. Он давно,

давно скалой был. Скала-то развалилась на камни, Минька... А потом льды тут были, вечные, они ползали и камни за собой таскали. Этот камень издаലെка к нам притащен. Он самый старый в поселке, всех людей старше, всех деревьев. У него, Минька, долгая жизнь была, но скучная. Ух какая скучная! Ему же все равно — что зима, что лето, мороз или тепло...

Свершилось! Впереди шла Римка Братенева — вязаная шапочка, кусочек обнаженной шеи под ней. И тесное, выгоревшее коричневое пальто, и длинные ноги — походочка с ленцой, разомлевшая. В самой Римкиной походке, обычно легкой, летящей, чувствуется слишком щедрое солнце, заставляющее сверкать и зеленеть землю, вызывающее ленивую истому в теле. Дюшке не до истомы. Шла впереди Римка в стайке, среди других девчонок, и счастье не умещалось в теле. Дюшка легко нес тяжелый портфель — спасительно тяжелый! — он не боялся встречи с Санькой, а потому ничто сейчас не омрачало его счастья. Дюшка говорил, говорил, слова сами лились из него, славя траву и влажную землю, лучи солнца и угрюмый валун при дороге. И как хорошо, что было кому слушать — Минька Богатов поспедал мелким козлиным скоком со своим истрепанным ранцем за спиной.

— Минь-ка-а! — Дюшку захлестывала нежность к товарищу. — Это хорошо, что мы родились! Взяли да вдруг родились... И растем и все видим! Хорошо жить, Минька!.. А я ненавижу, Минька... Я Саньку Ераху ненавижу! Живет себе лягушка, ему надо ее убить. Живем мы, ему надо, чтобы мы боялись его. А я не боюсь! Буду ходить куда хочу, глядеть что хочу. Я только портфель с собой стану носить, пока себе мускулы не накачаю и приемы не выучу. А тогда на что мне портфель с кирпичом, тогда я и без кирпича... И тебя я не дам, Минька, в обиду. Ты держись за меня, Минька!

Шла впереди Римка Братенева, девчонка в вязаной шапочке, от нее накалялся белый свет, от нее горел Дюшка. Он говорил, говорил словно пел и не мог с собой справиться. Песнь траве, песнь солнцу, песнь весне и жизни, песнь благородной ненависти к тем, кто мешает жить.

— Вон кран стоит, он мне вроде брата, Минька! Потому что поставлен отцом. Я отца, Минька, люблю, он, увидишь, еще такое завернет здесь, в поселке, — ахнут все! И мать у меня, Минька, хорошая. Очень, очень, очень хорошая! Она людям умирать не дает. Сама, Минька, устает, ночей не спит, чтоб другие жили. Это же хорошо, скажи, что нет? Хорошо уставать, чтоб другие жили. Правда, Минька?.. Минька, что с тобой.. Минь-ка!

Дюшка только сейчас заметил, что по щекам Миньки текут слезы. Идет, спотыкается и плачет, и лицо у него какое-то серое, с выступающими сквозь кожу голодными косточками.

— Минька, ты что?..

И Минька сорвался, сгибаясь под ранцем, дергающимся скоком побежал прочь от счастливого Дюшки.

— Ми-и-нь-ка!

Минька не обернулся. Дюшка остановился в растерянности.

Земля вокруг была ослепительно рыжей. Удалялась вместе с девчонками Римка Братенева — вязаная шапочка в компании цветных платочков, беретов, других вязаных шапочек.

И стало стыдно, что был так неумеренно счастлив. И недоумение: чем же он все-таки мог обидеть Миньку?

Солнце обливало рыжую, по-весеннему еще обнаженную землю. Дюшка стоял среди горячего, светлого, праздничного мира, не подозревая, что мир играет с ним в перевертыши.



С отравленным настроением он взялся за ручку двери и вдруг услышал за дверью перекатывающийся бас. Дома его ждал гость столь неприятный, что хоть поворачивай и беги обратно на улицу. Минуту-другую Дюшка мялся, портфель, из которого он внизу вынул кирпич, снова показался тяжелым. Может, и в самом деле погулять, пока незванный гость не уйдет?..

Гость-то уйдет, а беда останется, что уж труса праздновать. И Дюшка открыл дверь, обреченно шагнул через порог навстречу гревшему басу.

Среди комнаты лысиной под потолок стоял Вася-в-кубе, размахивал длинной рукой и ораторствовал. Отец и мать, пришедшие с работы на обед, озабоченная старая Климовна сидели вокруг застланного скатертью стола и почтительно слушали. Вася-в-кубе считался одним из самых умных людей в поселке.

Мать не оглянулась в сторону сына, отец лишь стрельнул сердитым глазом. Климовна вздохнула и опустила седую, гладко причесанную голову, а Вася-в-кубе покосился, но речи своей не прервал.

— Нет от природы дурных людей, есть дурные воспитатели! Да! — гремел Василий Васильевич, и оконные стекла отзывались на его голос. — Мы, учителя, не справляемся с воспитанием, даем брак... Согласен! Подписываюсь! Но!.. Но ведь в школе ученик проводит всего каких-нибудь шесть часов в сутки, остальные восемнадцать часов — дома! Законно спросить: чье влияние сильнее на ребенка? Нас, учителей, или вас, родителей?..

— Вы хотите сказать, Василий Васильевич... — начал было отец Дюшки.

— Хочу сказать, Федор Андреевич, — голос Василия Васильевича стал тверд, лицо величественно, — что когда вы в ущерб семье с раннего утра до позднего вечера пропадаете на работе, то не считайте — мол, это так уж полезно для общества. Обществу, уважаемый Федор Андреевич, нужно, чтоб вы побольше отдавали времени своему сыну, заражали его тем, чем сами богаты. Да! Вы трудолюбивы, вы работоспособны, а сын, увы, этого от вас не перенял. Не перенял он и вашу кипучую энергию и ваше чувство ответственности перед делом. Не обижайтесь за мою прямоту.

— Да что уж обижаться — вы правы, сына вижу только вечером, когда с ног валюсь, — отмахнулся огорченно отец. — И мать тоже по горло занята. На Капитолине Климовне он...

Климовна ответила вздохом, мать промолчала.

— Поймите меня, — снова зарокотал Василий Васильевич, — я вовсе не хочу, чтобы каждый... каждый родитель влиял на своего ребенка. Есть родители, от влияния которых я бы с удовольствием ограждал детей. Возьмите всем известного Богатова... Кто он, этот Никита Богатов? Хронический неудачник! И это передается на его мальчика — забит, робок, несчастен! Можно только сожалеть о влиянии Богатова на своего сына.

До сих пор все, что говорил Вася-в-кубе, было и ненужно и неприятно Дюшке, сейчас насторожился: Богатов Никита — отец Миньки, несчастный мальчик — сам Минька. А Дюшка только что видел Минькины слезы...

Но Вася-в-кубе не стал углубляться в судьбу Миньки, его интересовала судьба Дюшки. Он повернулся к нему:

— Я хочу от тебя одного: чтоб ты потесней сошелся слевой Гайзером. Он-то уж поможет... Потесней! Понимаешь?

Он, Дюшка, понимал Васю-в-кубе, да тот плохо понимал Дюшку. Какой интерес Левке водиться с Дюшкой, с тем, кто моложе почти на два года. Левка таких тараканами зовет. Будет звать тараканом и показывать, как решаются задачки про пешеходов... Уж лучше Дюшка сам как-нибудь. Но вслух этого он не сказал.

Зато Климовна съябедничала:

— У него Минька, сын Богатова,— первый товарищ. Охо-хо!

— Василий Васильевич, спасибо вам,— подала голос мать.— Что в наших силах, то сделаем. Как-никак он у нас один.

— Ну и прекрасно! Ну и превосходно!.. А я со своей стороны, уверяю вас, тоже... Под прицелом будешь у меня, голубчик, под прицелом!

Вася-в-кубе заметно подобрел. Он и вообще-то не умел долго сердиться, а уж после того, как поговорит, поораторствует, громко, всласть отчитает, всегда становится мирным и ласковым. Все ребята это знали и молчали, когда он ругался.

Он ушел успокоенный и великодушный, родители проводили его до дверей.

Климовна, поджав губы, с выражением «пропащий ты человек» стала собирать на стол.

Отец вернулся в комнату, пнул стул, подвернувшийся на пути, навис над Дюшкой:

— Достукался! Краснеть за тебя приходится. Не-ет, я приму меры — забудешь улицу, Минек, Санек!.. Я найду способ усадить за рабочий стол!..

Мать опустила на стул и позвала:

— Подойди ко мне, Дюшка.

Отец сразу умолк, а Дюшка несмело подошел. Он больше боялся тихого голоса матери, чем крика отца.

Мать положила ему на плечо руку и стала молча вглядываться, долго-долго, в углах губ проступали опасные морщинки.

— Дюшка...— И замолчала, снова стала вглядываться Дюшке в лицо. Наконец заговорила: — У меня сейчас в больнице умирает человек, Дюшка. Я сейчас уйду к нему и вернусь поздно... И завтра я должна быть там, в больнице, и послезавтра... Человек при смерти, Дюшка, должна я его спасти или нет?

— Должна,— выдавил Дюшка, в тон матери — тихое.

— Я спасу этого, появится другой больной. И мне снова придется спасать... А может, мне лучше не спасать больных, заняться тобой? Ты здоров, тебе смерть не грозит, но ты так глуп и ленив, что нужно следить, хватать тебя за руку, силой вести к столу, чтобы учил уроки.

— Черт! — В полном расстройстве отец пнул ногой стул, было ясно, что с таким же удовольствием он отвесил бы пинок Дюшке.

— Мам...— У Дюшки сжалось горло.— Мам... Я все... Я сам... Не надо обо мне... ду-мать.

Мать сняла с плеча руку, отвела глаза, сказала устало, словно пожаловалась:

— У меня сейчас сложная операция. Будем оперировать Гринченко. Я очень волнуюсь, Дюшка.

— Мам! Не думай обо мне. Я сам... Вот увидишь.

— А я все-таки приму меры! Не-ет, я на самотек не пущу! — Отец решительно направился к телефону, набрал номер: — Алло! Гайзер!.. Слушай, Алексей Яковлевич, просьба к тебе. И нет, не к тебе, а к твоему сыну. Пусть он займется моим балбесом, подтянет по математике... Как мужчина мужчину прошу, так и передай — как мужчина мужчину... Ну, спасибо... Что — платформ нет? Выкатку приостановить?! Да ты что, Гайзер? В такую воду держать лес в запа-

ни! А если ночью прорвет запань?.. Нет, дружок, нет, не крути! Вышибай платформы — кровь из носу!..

И отец забыл о Дюшке.

Климовна вздыхала над столом:

— Э-эх! Курица пестра сверху, человек изнутри.

После обеда Дюшка никуда не пошел, сел за стол, разложил перед собой учебники и задумался... Сначала о матери, которая, наверно, в эти самые минуты спасает от смерти какого-то незнакомого Гринченко. Потом всплыл в памяти Минька. Почему он вдруг?.. Минька расплакался, должно быть, потому, что Дюшка стал хвастаться отцом. Минькиного отца, Никиту Богатова, не любили в поселке. Минькина мать бегала по соседям и жаловалась на мужа: не зарабатывает, не заботится о семье... И это верно, Минька ходит в школу в рваных ботинках.

Дюшка только издали видел Минькиного отца. Тот не выглядел уж таким злодеем — обычный человек, носит помятую шляпу, старое пальто с длинными лапами, в которых он путается ногами на ходу, и нельзя никогда понять, пьян он или от рождения таков. И лицо у Минькиного отца мягкое, как его шляпа, бесцветное, только глаза синие, точь-в-точь как у Миньки. Еще у Минькиного отца странная привычка — всегда что-то бормочет на ходу. А однажды Дюшка его увидел в лесу — стоит один-одинешенек на поляне, помахивает рукой и громко декламирует:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,  
Я слезы лил, но ты...

Что-то непонятное. Стихи — деревьям! Станный. Он сам пишет стихи и раньше жил в городе, работал в газете, которая каждый день приходит в Куделино. Газету все читают, стихов Богатова никто не знает. И работает теперь Богатов простым делопроизводителем в конторе.

Жаль Миньку. Жаль, пожалуй, больше, чем себя.

Задача о путешественниках никак не решалась.

## 9

Левка Гайзер сам подошел к Дюшке:

— После уроков потолкуем, таракан.

И вот после уроков они вышагивают бок о бок. Поролоновая курточка, джинсы в обтяжку, румяные щеки, серые глаза под девчоночьими ресницами, папка в руках и еще какая-то умная книга, не уместившаяся в папку. Дюшка рядом со своим потасканным портфелем. Портфель оттягивает руку, в нем кирпич против Саньки Ерахи.

Левка с ленцой шагает, нехотя говорит, словно такие, как Дюшка, насекомые ему, занятому, надоедают каждый день:

— Вася-в-кубе считает, что к математике нужно тянуть за уши.

У меня на этот счет свое мнение...

У Дюшки своего мнения нет: отец заставляет и... дал слово матери.

— Я считаю, в математику нужно бросать человека, как в воду: выплывешь — значит, и дальше станешь плавать, не выплывешь — черт с тобой, тони, того стоишь.

Дюшка терпит свою насекомость, ждет, как и когда умный Левка бросит его в математику словно в воду.

— Вот... — Левка протянул Дюшке книгу. — Нырни в нее, постарайся с головой. Популярная, легко читается. Проплывешь до коз...

ца — буду с тобой разговаривать. Не проплывешь... Что ж, ходи по суше, как все ходят. Ничем тогда не смогу тебе помочь, таракан.

Дюшка взял книгу, попросил:

— Левка, не зови меня тараканом.

Левка впервые с интересом посмотрел на Дюшку, неожиданно согласился:

— Хорошо, не буду, если не нравится.

Нет, он все-таки человек невредный, другой бы, видя, что не нравится, стал настаивать: «Так ты и есть таракан, клопа перерос, до кошки не дорос!» От благодарности захотелось поделиться с Левкой.

— Левка, а может такое быть — я тут время увидел.

— Время? Увидел?!

— Понимаешь, утром вышел на улицу, и вдруг... Грачи улетели, машина прошла, почки на березе распустились. Все это видят, а никто не догадывается, что это время все меняет. Грачи были да нет, машина была да пропала, почек не было — появились. Хочешь стой, хочешь ходи, хочешь спи себе, а время идет, все меняет.

— Гм...

Левка не рассмеялся, наоборот, озадаченно закосил глазом на сторону.

— Любопытно. Только ты не время, нет, ты движение видел. Почки на березе — тоже движение.

— Ну да, движение. Ветер двигается — и видно, как он ветки раскачивает. Так и время...

— Гм... Движение-то во времени... А ты не такой простой, таракан... Ох, извини, забыл.

— Ничего. — Дюшка теперь готов был великодушно простить Левку и «таракана».

Грязную улицу Жан-Поля Марата пересекала кошка, брезгливо ставя лапы на мокрую землю. И Дюшка с Левкой загляделись на нее. Кошка достигла противоположного тротуара.

— Двадцать пять секунд! — объявил Левка.

— Чего — двадцать пять? — не понял Дюшка.

— Двадцать пять секунд прошло, пока кошка через улицу переходила. Она на двадцать пять секунд стала старше, мы с тобой — старше на столько же, земля вся старше, вселенная...

Дюшка задумался, еще раз представил себе в мыслях кошку, брезгливо ступающую чистыми, вылизанными лапами по грязной земле, и неожиданно возразил:

— Нет, Левка, у кошки прошло не двадцать пять секунд.

— Я считал.

— Ты наши секунды считал, человечьи, не кошкины.

— Какая разница — наши, кошкины?

— Кошки живут на свете меньше людей. Пока она шла через улицу, у нее времени больше прошло.

— На земле одно время у всех.

— Как так одно? Мне вот тринадцать лет, а я еще молодой. Кошка в тринадцать лет старуха. Если годы для людей и для кошек разные, то и секунды разными быть должны.

Левка помолчал, хмуря брови, уходя взглядом в сторону, и рассмеялся:

— Черт знает что у тебя в голове вертится! Кошкино время! Эйнштейн со смеху бы лопнул.

— Кто?

— Альберт Эйнштейн, самый великий ученый двадцатого века, а может, всех веков. Он относительность времени открыл.

— Чего времени?..



— Ну, ты этого не поймешь сейчас. Ты прочитай книгу, потом поговорим.

— Хорошо.— Дюшка открыл портфель, стал втискивать в него книгу.

— А что он у тебя такой пузатый? Чем ты его набил?

— Да ерунда — кирпич тут.

— Кирпич?! Зачем?

Дюшка помялся — сказать ли Левке правду? И постеснялся.

— Мускулы развиваю.

— Чудной же ты... Мускулы. Кирпич в портфеле.

— Вот если б ты мне приемы джиу-джитсу показал...

Левка только махнул рукой:

— Чудной!

Они расстались.

## 10

То, что на свете существует любовь, Дюшка хорошо знал. По кино, по книгам. Д'Артаньян по ошибке влюбился в миледи. Гринев любил капитанскую дочку, Том Сойер тоже там какую-то девчонку в панталончиках... А Дюшкин отец когда-то, до Дюшкиного рождения, дарил матери белые нарциссы. А сколько раз любил Пушкин, и не только свою жену Наталью Гончарову. «Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна...» У Римки волосы у висков вьются, как у Натальи Гончаровой.

Наверное, он и сам должен когда-то влюбиться. Когда-то?.. А вдруг да уже! Вдруг да он в Римку Братеневу?..

Но в кино, в книгах те, кто любит, всегда встречаются, а при встречах всегда признаются друг другу: «Я вас люблю». И потом целуются... Дюшке же хочется видеть Римку, только видеть, лучше издали, а встречаться — нет, вовсе не обязательно. Чтоб встретиться, нужно же подойти совсем близко. Раньше подойти к Римке близко было нетрудно, теперь — нет, и стыдно и боязно. А сказать ни с того ни с сего: «Я вас люблю» — легче провалиться сквозь землю. А уж поцеловать... Думать не хочется.

Но что-то случилось, что-то странное с самим Дюшкой. И Римка тут ни при чем, она знать ничего не знает, смешно на нее сваливать. Случилось! Даже Минька заметил: «Ты не болен, Дюшка?» Вдруг да и в самом деле, вдруг да опасно! Не влюбился, нет! Любовь не болезнь, людей не портит.

Господи! Как плохо быть не таким, как все. Как плохо и как страшно! Одна надежда, что проснешься в одно прекрасное утро и почувствуешь — все прошло; на Римку не хочется глядеть, улица снова кажется обычной улицей и к Саньке Ерахе нет выворачивающей душу ненависти, с Санькой можно даже пойти на мировую, выбросить ненужный кирпич.

Негаданное успокоение — встреча с Левкой Гайзером. Левка не рассмеялся, не спросил — болен ли ты? Левка самый умный из ребят...

Дюшка со страхом открыл Левкину книгу, не слишком толстую, но научную. Наверное, сплошная математика, утонет в ней Дюшка, не доплывет до конца, отвернется тогда Левка.

Но никакой заковыристой математики не было. В самом начале задавался простой вопрос: «Как велик мир?» И дальше говорилось о... толщине волоса. Оказывается, это самое малое, что может увидеть человеческий глаз. Толщина волоса в десять тысяч раз меньше вытя-

нутой человеческой руки. Вытянутая рука в десять тысяч раз короче расстояния до гор на горизонте. Расстояние до горизонта только в тысячу с небольшим меньше диаметра Земли. А диаметр Земли опять же в десять тысяч раз меньше расстояния до Солнца...

В черной пустоте висит плоская, как блин, сквозная туча искр. Каждая искорка — солнце, их не счесть. Среди них и наше — пылинка.

А в стороне другая такая же туча искр-пылинок — солнца, солнца, солнца! Уже чужие, дальние — Туманности Андромеды, нашей соседки!

А за Андромедой новые и новые туманности, нельзя их сосчитать. Звездные тучи, дым солнц-пылинок клочьями по всей великой пустоте. По всей, всюду, без конца!..

Хватит! Хватит!..

Страница за страницей мир безжалостно разбухал.

А Дюшка съезжился, становился все ничтожней — страница за страницей — до ничего, до пустоты! Вместе с поселком Куделино, вместе с родной Землей, со своим родным Солнцем... Хватит! Да хватит же! Вселенная не слушается, вселенная величаво растет...

Ночью он не мог уснуть.

Спал дом, спал поселок, слышно было, как шумит вышедшая из берегов река. Странно, люди могут спать спокойно, не ужасаются неуютности огромного мира.

Спят... Предоставили одному Дюшке терзаться за ничтожество всего человечества, живущего на затерянной Земле. И Дюшка не выдержал, тихонько поднялся с постели. Как уснуть, когда великая вселенная стоит за стеной. Он выскользнул из комнаты, у дверей ощупью нашел свое пальто, сунул босые ноги в сапоги...

Шумела река за домами, причмокивала под сапогами сырая земля, висели звезды над поселком. К ним-то и поднял лицо Дюшка, взглянул в бездонную пропасть, редко заполненную лучающимися мирами.

И где-то, где-то в глубине этой распахнувшейся над ним пропасти стоит кто-то, какой-нибудь другой Дюшка, и, задрав голову, тоже смотрит, наверняка мучается — неведомый брат, затерявшийся в бесконечном мире.

— Брат, тебе страшно, что мир так велик?

— Страшно.

— Лучше бы не знать этого?

— Лучше, покойней.

— Не знает ничего таракан. Хочешь быть тараканом?

— Нет.

— И я не хочу.

— Значит, хочешь все-таки знать?

— Все-таки хочу.

— А страх, а покой?

— Пусть.

— Ты дочитал свою книгу?

— Нет, не до конца.

— Я тоже.

Пропасть над головой, пропасть без дна, заполненная лучающимися мирами. Там где-то братья... Встретятся ли их взгляды? Услышат ли они друг друга? Объединятся ли они воедино против пугающей вселенной?

Шумела река, спал покрытый звездным небом поселок Куделино. Стояли друг против друга — мерзнувший от ночной прохлады маленький страдающий человек и равнодушное мироздание. Лицом к лицу — зреющий хрупкий разум и неисчерпаемая загадка бытия.

Утром, как всегда, он вышел из дому, чтоб по знакомой улице Жан-Поля Марата шагать в школу. Береза, старый пенёк, продавленная дорога, бабка Знобишина, тянущая на веревке упирающуюся козу. Ничего не изменилось в знакомом мире, а все-таки он стал иным, снова перевернулся.

Береза, пенёк, старуха с козой..

Все кажется мелким, не стоящим внимания. Даже не хочется видеть Римку. Что — Римка? Тоже человек. Осуждающими глазами смотрит Дюшка на примелькавшуюся улицу и... ощущает к себе небывалое уважение. Никто не знает, как велик мир, как мелки люди, он знает, он не такой, как все.

Кирпич Дюшка все-таки достал из-под лестницы, сунул в портфель — на всякий случай. Какое дело Саньке Ерахе, что за эту ночь он, Дюшка, поумнел, открыл вселенную, стал презирать людей, — возьмет да и поколотит. Нет, лучше уж прихватить кирпич... на всякий случай.

— Здравствуй, Дюшка.

Как всегда, стеснительно, бочком, руки в карманах пальто, старый ранец за плечами — Минька. Дюшка не пошевелился, не соизволил взглянуть, не ответил, храня на лице мировую скорбь, молчал с минуту, а может, больше, наконец изрек:

— Скажи: для чего люди живут на свете?

Минька виновато посопел носом, помялся, не обронил ни звука.

— Не знаешь?

— Не,— сознался Минька.

— А я знаю.

Минька ничуть не удивился, скучненько, без интереса, вежливости ради выдавил из себя:

— Для чего?

— Ни для чего! — торжественно объявил Дюшка. — Просто так живут.

И опять никакого впечатления, Минька безучастно поморгал бесцветными поросычьими ресницами.

— Родились сами по себе какие-то клопы — и я, и ты, и все на свете. Вот и живем. А подумаешь, так и жить не хочется.

Минька судорожно вздохнул, опустил лицо и тихо, глухо, как из подвала, вдруг признался:

— И мне, Дюшка, тоже.

— Чего — тоже? — насторожился Дюшка.

— Тоже жить не хочется.

Одно дело, когда так говорит он, Дюшка, вчера прочитавший умную книгу, получивший право глядеть свысока на весь род людской, другое — Минька, таких книг не читавший, ничего не знающий, знает, и не имеющий никаких прав страдать, как страдает сейчас Дюшка.

— Это почему же тебе-то?..

— Да отец с матерью все... Жизни нет, Дюшка.

Минька поднял глаза, влажные, но не собачьи, а загнанные, как у раненой птицы. Птичье, беспомощное и в бледном до голубизны лице, в торчащем носе. И Дюшка вспомнил, что он до сих пор и не знает толком, почему тогда расплакался Минька. Даже забыл об этом... «Для чего живут люди на свете?»

— Mamka каждый день плачет. Отец ей жизнь загубил, Дюшка.

— Как — загубил?

— Да женился на ней.

— Женился и не любит, что ли?

— Любит, очень любит. То и беда, Дюшка, так любит, что без матери умрет.

— Это же хорошо, Минька.

— Плохо, Дюшка. Отец от этой любви вроде заболел, делать ничего не хочет. У меня вон ботинки рваные, у матери платья нового нет, а он... любит, видишь ли.

— Недобрый он, что ли?

— Добрый, Дюшка. Только это все равно плохо. От его доброты все и получается не как у людей. Я ненавижу его, Дюшка!.. — Слезы в синих глазах и срывающийся, захлебывающийся голос. — Думаешь, за доброту ненавидеть нельзя? Можно!.. Он добрый, а плохой. Все из-за него над нами смеются, над матерью тоже. Мать каждый день плачет, Дюшка. Отец ей жизнь загубил. Она и сейчас еще красивая, а он?.. Погляди, как мы живем, мамка себе платья купить не может. Если б еще пил отец, как другие, так не обидно.

И тут стукнула дверь на выходе: топ, топ, топ — по ступенькам крыльца. И по улице словно дунул свежий ветерок — мимо пробежала Римка Братенева, крикнула на ходу:

— Чирикаете, чижики! В школу опоздаете!

Она сняла сегодня тесное зимнее пальтишко, в коротенькой курточке — освобожденная, летящая. Топ, топ, топ! — по дощатому тротуару прозрачные звуки. Топ-топ — по всей улице, словно музыка. Освобожденная и чуточку нескладная. Уносит сейчас летящим наметом свою хватающую за душу нескладность.

«Чижики!» — подумаешь, задавака.

От Минькиных слов съезжилась, погасла разгоревшаяся вчера вселенная. Плевать на то, что Солнце — пылинка, что Земля невразумительна, плевать, что ты сам ничто, плевать на вопрос — для чего живут люди на свете? Не плевать на Миньку, на его слезы. Хочется любить и жалеть все на свете — эту рыжую весеннюю улицу, большой кран над крышами, затоптанные доски тротуара, которых только что коснулись быстрые Римкины ноги.

Любовь и жалость выплеснулись на Миньку:

— Минька! Не смей реветь! Ты смотри — хорошо как кругом!.. У тебя же друг есть, Минька! Я! Я твой друг! Я тебе помогу чем хочешь! Честное слово, не вру! Ты лучше всех ребят... Брось реветь! Брось, говорю, не то стукну!..

Но Минька уже не ревел, слезы еще блестели на его глазах, но он уже застенчиво улыбался.

## 12

Так много навалилось, что на все стало не хватать Дюшки — жизнь узка и тесна, не развернешься.

Кончились уроки, все заспешили по домам. Домой отправилась и Римка. Дюшке хотелось кинуться за ней следом. Идти бок о бок с верным Минькой, смотреть в узкую спину, чувствовать незримую натянутую струну — от нее к нему, и изумляться взмахом лезущей во все щели траве, каменному упрямству валуна при дороге, нагретости крыш, синеве дня, собственному существованию на этом свете.

Но он не успел переговорить с Левкой. Разговор настолько серьезен, что его нельзя было втиснуть между уроками в какую-нибудь перемену.

Уроки кончились, звала за собой Римка. И звал... Нет, не Левка. Звало только что открытое мироздание. Что делать, когда один только Левка знаком с ним. Мироздание перевесило Римку.

— Левка, ты почему мне такую книгу дал? Она же не о математике, совсем о другом.

Они устроились в пустом спортзале на сложенных в углу матах. Левка только что сошел с турника — вертел «солнце», делал «склепку», «перекидку» и даже стойку на руках вниз головой: мастер, залюбуйся. Дюшка решил — надо тоже начать заниматься на турнике, накачивать себе мускулы. Левка накинул поверх майки на голые плечи куртку, опустил рядом.

— Ты что, уже прочитал? — спросил он недоверчиво.

— Пока не всю, все не успел... Страшно, Левка.

— Страшно? Почему?

— Да мир-то вон какой! А я? А ты? А все мы, люди?.. Я, Левка, твою книгу читал и нет-нет да себя щупал: есть ли я на свете или только кажется?

— Ну и что, нащупал?

— Есть, но уж очень, очень маленький. Все равно что и нет.

— А голову свою ты щупал?

— Ты, Левка, не смейся. Я серьезно.

— И я серьезно: пощупай голову, прошу.

Нет, Левка не улыбался, косил строго серым глазом на Дюшку.

— Голова как голова, Левка. Ты чего?

— А того, что она по сравнению со звездами и галактиками мала. Не так ли?

— Сравнил тоже.

— А в нее вся вселенная поместилась — миллиарды звезд, миллиарды галактик. В маленькую голову. Как же это?

Дюшка молчал.

— Выходит, что эта штука, которую ты на плечах носишь, таракан — уж извини! — самое великое, что есть во вселенной.

— Я... Я не подумал об этом, Левка.

— То-то и оно. Не размеры уважай.

Дюшке и в самом деле захотелось вдруг до зуда в руках пощупать свою великую голову, начиненную сейчас вселенной. Действительно! Но стеснялся Левки, подавленно стоял, не смея радоваться.

А Левка победно продолжал:

— Ты спросил: почему я такую книгу тебе подсунул — не о математике? Когда яму вырытую видят, никто о лопате не вспоминает. Без лопаты, голыми пальчиками большую яму не выкопаешь. Вот и ученые раскопали вселенную с помощью математики.

— А я-то думал, они, ученые, в телескопы все это увидели, — несмело произнес Дюшка.

— Разве можно увидеть все, даже в телескопы?

— В телескопы нельзя?..

— Ты видишь ночью звезды?

— Вижу, конечно, — ответил Дюшка.

— А расстояние от Земли до этих звезд ты видишь?

— Как — расстояние?

— А так, расстояние — сколько километров или световых лет?.. Увидеть это нельзя, надо вычислить. А можно ли увидеть в телескоп, что случится на небе через год, через десять лет, через сто?

— Ну уж?

— Нельзя увидеть, а вычислить можно.

— Ну-у...

— Солнечные или лунные затмения, например... Спроси — ответят на сто лет вперед; в такой-то день, такой-то час, в такую-то минуту начнется, тогда-то кончится, с такого-то места лучше всего бу-

дет видно. Колдуны и гадалки, сравнить с математиками, сопляки. Последний дурак тот, кто математику не уважает.

— Я ее уважаю, Левка, только...

— Только математика меня не уважает?

— Неспособен, я, Левка. Какую задачу ни возьму — трудно, сил нет.

— Потому что неинтересно.

— А разве задачи бывают интересными?

— Вот те раз! — Левка рассмеялся. — Да каждая, кроме уж очень простых.

— Очень простые... неинтересны?

— Само собой.

— А я думал: само собой, неинтересны трудные.

— А ты представь себе: задача — это тайна. Чем труднее тайна, тем сильней хочется ее разгадать.

— Путешественники друг дружке навстречу идут. Из пункта А да из пункта Б — какая тут тайна, да еще интересная?

— А если из пункта А комета летит, а из пункта Б движется наша Земля. Интересно или неинтересно знать, встретятся ли эти путешественники, Земля и комета, в какой точке, когда? Если встретятся, то это же катастрофа.

— А может такое быть, Левка?

— Было уже.

— Да ну! Катастрофа?..

— О Тунгусском метеорите слышал? Это комета, правда небольшая, по Земле шарахнула. Хорошо, что в дикие леса шлепнулась.

— Вдруг да большая прилетит?..

— Тогда встретим ее ракетой с бомбами, чтоб в куски! Вот тебе снова задача с двумя путешественниками — ракетой и кометой...

Дюшка помолчал и вздохнул:

— Счастливый ты, Левка. Все узнавать наперед станешь.

И Левке, по всему видать, понравилась зависть, прозвучавшая в Дюшкином голосе, он порозовел от удовольствия.

— Все не все, а кое-что, — ответил он скромно.

— Левка, а можно через математику узнать, сколько я лет проживу, когда умру?

— Зачем тебе это?

— Интересно. Очень даже. Тайна же!

Левка закосил глазом в сторону.

— Я тут поважней нащупал... тайну... — сказал он. И замолчал, и еще сильней закосил глазом.

— Важней ничего нет, Левка.

— Я не хочу знать, когда я умру. Я хочу знать, рожусь ли я снова после смерти.

Последние слова Левка произнес глухим, замогильным голосом. В большом, пустынном, сумрачном спортзале на минуту наступила особенная тишина, укрывающая что-то грозное, чего нельзя касаться людям.

Стараясь не спугнуть эту тишину, Дюшка выдавил из себя шепотом:

— Лев-ка-а, разве такое может?..

— Может — не может, надо узнать.

— После смерти чтоб?..

— После смерти.

— Вроде привидения? Да?

— Привидение — сказки!

— А как тогда?

- По-настоящему, как сейчас.
- Левка-а, ты не болен?
- Ничуть.
- Сердитый и вовсе не смущенный ответ восхитил Дюшку в душе.
- Вот это-о да-а!.. Умереть и — снова!.. Только ведь в могилу закопают, Левка.
- Пусть.
- А может, ты все-таки болен?
- Слушай, таракан... Хотя вряд ли ты поймешь.
- Я постараюсь, Левка. Я изо всех сил постараюсь!
- Надо для этого открыть одну проблему...
- Чего?
- Проблему. Научную. Великую. Над которой сейчас бьются все ученые мира. Я жизнь положу, а открою.
- Какая она, Левка?
- Да с виду простая: бесконечна наша вселенная или конечна?
- А-а,— протянул Дюшка разочарованно.— Зачем это?
- Это ключ к тайне, будем ли мы после смерти жить или нет.
- Бесконечна... Вселенная... Ключ?
- Скажи: из чего я состою?
- Из костей, из мяса, как все.
- Из атомов я состою. Из самых обычных атомов, сложенных особым порядком.
- Ну и что?
- Левка так интересно начал, но сейчас что-то путал: бесконечность, вселенная, атомы, черт знает что!
- Атомов во мне очень, очень много, но все-таки число их конечно. Понимаешь?
- Нет, Левка.
- Я конечный, а вселенная-то бесконечна. Учти, Дюшка, дважды бесконечна — во времени и в пространстве.
- Тебе-то от этого какая выгода?
- Большая, Дюшка. Раз наша вселенная нигде не кончается и никогда не кончается, то где-нибудь, когда-нибудь, рано ли, поздно, но наверняка... Понимаешь, на-вер-ня-ка! Случится невероятное — атомы случайно сложатся так, как они лежат во мне.
- Левка замолчал, торжествуя, изумленно, взволнованно взирая на Дюшку. А Дюшка подавленно задал все тот же, уже надоевший, вопрос:
- И что?..
- Как — что?! — воскликнул Левка с дрожью в голосе.— Ведь это я! Это буду снова я! Я появлюсь во вселенной где-то, когда-то, уже после смерти! Выходит, я бессмертен! Понял?
- Нет, Левка.
- И Левка сразу увял:
- Туп же ты, таракан.
- Ну, а я — после смерти?
- И ты тоже.— Ответ без энтузиазма.
- А другие?..
- И другие. Все. Я не исключение.
- Дюшка помолчал, соображая, наконец возразил:
- Нет, тут что-то не так. Ну, хорошо — ты один. Ну, я еще — согласен. А то все... Нет, что-то не то.
- Ладно, таракан, замнем этот разговор для ясности.— Левка поднялся, скинул куртку, стал натягивать через голову рубашку.
- Дюшка взялся за свой портфель с кирпичом. Пора было идти домой.

Дома после обеда он раскрыл задачник: «Два путешественника...» Гайна, даже две маленькие — сколько прошел первый и сколько второй путешественник. Тайны так себе, самые завалыщие, но для тренировки сгодятся. Дюшка навис над задачником и стал думать.

## 13

Путешественники не имели ни лиц, ни имен, ни характеров, они отличались друг от друга только тем, что один на полчаса раньше отправился в путь. Полчаса — тридцать минут... Минуты помогли открыть тайну пройденных километров. В другой задачке угол в градусах помог узнать высоту заводской трубы. В третьей — длина и ширина бака водонапорной башни подсказала, сколько пионеров отдыхало в пионерском лагере.

На улице Жан-Поля Марата зажигались окна. Большой кран купался в зеленом закате. Старуха Знобишина снова протащила на веревке козу, на этот раз в другую сторону — к дому. Дюшка вышел погулять.

Он решил подряд несколько задач, и голова с непривычки отяжелела, казалось, даже немного распухла, но на душе — покойно. Дюшка был так доволен собой, что даже походка у него стала медленной и задумчивой.

Странная вещь математика. Она связывает между собой, казалось бы, самые несвязуемые вещи — градусы с заводской трубой, бак водокачки с отдыхающими пионерами! Или бесконечность вселенной — кому, казалось бы, до нее какое дело! — нет, она обещает Левке Гайзеру новую жизнь... после смерти. Ничего себе!

За домами в тишине кричали лягушки, не столь шумно, как прежде, не столь звонко, но по-прежнему картаво, с усердием. Вспомнилась лягушка, распятая на Санькиной веревочке, с ржаво-золотым глазом, дышащая желтым брюхом. Она, незваная, влезла в чинные и умные Дюшкины мысли о математике. Эта лягушка заставила Дюшку носить в портфеле кирпич. Лягушка и кирпич — тоже странная связь. И математика здесь ни при чем. Оказывается, не только в задачнике, но и в самой жизни есть эти странные до нелепости связи.

Лягушка и кирпич, бесконечная вселенная и вторая жизнь как подарок... А старинная красавица, давным-давно умершая Наталья Гончарова вдруг неожиданно нарушила спокойствие Дюшкиной жизни. Больше того, если б эта Наталья Гончарова сто с лишним лет назад носила другую прическу — не с завитками у висков, — с Дюшкой ничего особенного не случилось бы: не обращал бы теперь на Римку Братеневу внимания, не связался бы с Санькой из-за лягушки, не схватил бы очередную двойку у Васи-в-кубе, не сошелся бы близко с Левкой Гайзером, не получил бы от него книгу о галактиках, не заметил бы странности задачника, не открыл бы для себя удивительных связей в мире. Подумать только, все оттого, что Наталья Гончарова, жена Пушкина, носила модную для тех лет прическу с локончиками.

А вдруг да... Дюшка задохнулся от догадки. Вдруг да Наталья Гончарова и Римка Братенева!.. И очень даже просто, Левка Гайзер все объяснил: атомы случайно сложились в Римке точно так, как прежде лежали в жене Пушкина. Родилась девчонка, никому и в голову не приходило, что она уже однажды рождалась. По ошибке ее назвали Римкой. И сама Римка ничего не знает, только Дюшка нечаянно открыл сейчас ее секрет...

Левка Гайзер неизвестно еще появится ли, а Наталья Гончарова появилась... И где? В поселке Куделино! С Дюшкой рядом!



Растекался над сумеречным поселком зеленый закат. Тихо и пустынно на улице Жан-Поля Марата. Недружный крик лягушек не нарушает тишину. И покой, и удивление, и почтительный страх, и восторг Дюшки перед миром. Знакомый мир опять перевернулся — неожиданной стороной, дух захватывает.

И в этом вывернутом, неожиданном мире неожиданно возникла перед Дюшкой вовсе не странная, а надоевшие знакомая фигура Кольки Лыскова. В мягкой кепчонке, широкая улыбочка морщит обезьянье личико, открывает неровные зубы, ноги не стоят на месте, выплясывают.

— Дюшка! Хи-хи! Здравствуй... Гуляешь, Дюшка?

— Чего тебе, макака?

— А ничего, Дюшка. Мне — ничего... Хи-хи! Кто это, думаю, идет? А это он, сам по себе... без портфельчика. Где портфельчик, Дюшка? Хи-хи! Ты же с ним не расставался...

Колька Лысков с ужимочкой оглянулся через плечо, и Дюшка увидел Саньку.

Тот стоял в стороне — угловато-широкий, ноги расставлены, руки в карманах, остановившиеся глаза, твердый нос — Санька Брахы, мешающий жить на свете.

Он не двигался, он не спешил. А на болотах за домами упрямо картавили самые неумные лягушачьи певцы, прокрадывались по улице застенчивые сумерки, обжитым теплом светились окна домов, и над Санькиной головой в непозрачневшем еще небе висели две-три бледные, невызревшие звезды. В самом центре вечно неожиданного мира, где бак водокачки связан с пионерами, бесконечность с новой жизнью, Наталья Гончарова с Братеневой Римкой, в самом центре, закрывая мир собой, — Санька. И за ту короткую минуту, пока Санька медлил, а Колька Лысков выплясывал, Дюшка еще раз пережил открытие.

В его ли мире живет Санька? Он же знать не знает, что бледные звезды над его головой — далекие солнца с планетами, для него нет бесконечной вселенной, не подозревает, что лягушка может заставить человека носить кирпич в школьном портфеле. Санька живет рядом с Дюшкой, но вокруг Саньки все не так, как вокруг Дюшки, — другой мир, несколько не похожий. Сейчас Санька шагнет... в Дюшкин мир.

Сучащий ногами Колька Лысков отбежал в сторону:

— Санька, он належке сегодня, он без портфельчика! Слышал, Санька, он спрашивает: чего тебе?.. Хи-хи! Скажи ему, Санька, чтоб понял. Хи-хи!

Санька, не вынимая рук из карманов, шагнул на Дюшку, произнес с сипотцой:

— Ну!

— Чего — ну!

— А ничего — встретились. Не рад?

Они встретились, Санька вплотную к Дюшке, незванный гость из другого мира: круглые застывшие глаза, мертвый нос, тяжелое дыхание в лицо.

Кирпич лежал дома под лестницей. Не мог же Дюшка выйти вечером на прогулку с портфелем. Пуста улица, в домах мирно горят окна.

— Рад или не рад, спрашиваю?

— Днем-то боялся наскочить на меня.

Колька Лысков, держась в стороне, ответил за Саньку:

— Хитер бобер! Днем-то ты кирпич в портфельчике носишь. Зна-а-ем!

— А ты, Санька, что в кармане носишь? Покажи.

— Увидишь, успеется.

Дюшка успел присесть, Санькин кулак сбил с головы фуражку. Закрывая рукавом лицо, Дюшка приготовился ударить Саньку ногой, но неожиданно донесся голос Кольки Лыскова:

— Шухер!

Послышалось Санькино пыхтение:

— П-пыс-сти, падло! Пыс-ти!

Он вырывался из рук какого-то человека, тот прикрывал Дюшку сутуловатой спиной, отталкивал Саньку:

— Охладись, парнишка, охладись!

— П-пыс-сти! Г-гад!

— И не скотинься, поганец, уши надеру!

Санька был сильнее всех ребят на улице, но перед ним стоял взрослый, хотя и мешковато топчущийся, неуклюжий, но все-таки человек иной, не мальчишечьей, породы.

— Уймись лучше, уймись, не распускай руки!

И Санька отступил, бессильно закричал:

— Ну, Дюшка, помни! Завтра встретимся! Прольется кровушка!

— Кровушка?.. Ах ты гаденыш! Жить только начал, а уже звереешь.

— Я и тебя, огарок! И тебя! Ужо вот камнем из-за угла!..

— Эх, бить людей не умею, а стоило бы! — Прохожий стал отеснять Дюшку в сторону: — Идем отсюда, паренек, идем от греха!

Вдалеке выплясывал Колька Лысков, кривлялся, кричал весело:

— Ой, Санька, умяли тебя! Ой, Санька, встречу испортили! А как было хорошо встретились!

— Еще встретимся! Поплачешься, Дюшка. И Минька слезьми умоется.

— Эх, не умею людей бить!.. Идем, паренек, идем! До дому провою...

Спасителем Дюшки был Минькин отец Никита Богатов в сбитой на затылок шляпе, суетящийся в своем слишком просторном пальто, с выражением досадливой зубной боли на узком лице. Он шел вместе с Дюшкой, разводил длинными рукавами, бормотал, не заботясь о том, слышит его Дюшка или нет:

— Как вылечить людей от злобы? Жена мужа не уважает, прохожий прохожего, сосед соседа... Найти б такое, чтобы все друг к дружке с пониманием: ты мое пойми, я — твое. А то на вот, с самого детства — прольется кровушка! Такие-то и портят жизнь. От таких-то, поди, и войны на земле идут...

Непонятный человек. Идут рядом, бок о бок, но он где-то. И бормотание его непонятно и вообще, сам себе читает стихи, сам себе и деревьям... Опять все не так, как вокруг Дюшки, — идут рядом, живут рядом, но в разных мирах. А Дюшкин отец тоже совсем, совсем рядом, но у Дюшки одно, у отца другое. И у матери другое, не похожее ни на Дюшкино, ни на отцовское, ни на Никиты Богатова... Неужели сколько людей, столько и разных миров? К Левке Гайзеру Дюшка чуть-чуть заглянул. Тоже ведь странный мир, там даже смерть считается какой-то ненастоящей... Хотелось бы заглянуть и к этому — Никита Богатов, Минькин отец, добрый человек, но сам Минька почему-то его не любит.

И Дюшка старательно прислушивается к бормотанию.

— Почему не понимаем друг друга? Да потому, что слова не найдем, которое бы до сердца дошло... Что слово? Звук, сотрясение воздуха? Нет — сила! Скажи хорошее слово человеку — и он счастлив. Хорошего родить не можем, ругань в нас легче рождается, ругань

всегда наготове в каждом лежит... Пущу кровушку! Тьфу! Вот ты, паренек, знаешь ли хорошие слова?

— Знаю, — неуверенно ответил Дюшка.

— А ну скажи — какие?

И Дюшка растерялся, какое именно из хороших слов сказать сейчас, все они как-то вдруг вылетели из головы. Никита Богатов вздохнул:

— Ладно уж, не тужься, постарше тебя этого не знают. Хорошее слово, как чистый алмаз, редко. Беги давай домой, ты вроде тут живешь. Беги, не жду от тебя. Ни от кого не жду. — И внезапно надтреснутым голосом прочувствованно продекламировал:

Уж не жду от жизни ничего я,  
И не жаль мне прошлого ничуть;  
Я ищу свободы и покоя!  
Я б хотел забыться и заснуть...

Да-а, слово...

Богатов повернулся и пошел, путаясь ногами в полах пальто, продолжая бормотать. Дюшка прибито стоял, смотрел в его сутулую спину, вдруг сорвался, рванулся следом:

— Дяденька Богатов! Дяденька!.. Спасибо вам!

— А, — сказал он вяло, едва оглянувшись. — Ладно.

Похоже, он не считал «спасибо» таким уж хорошим словом. А лучших слов Дюшка не знал.

— Минька, скажи, что плохого сделал тебе отец?

Молчание.

— Может, он бьет тебя, Минька?

— Нет, что ты!

— И не пьет?

— И не пьет.

— И не ругается?

— И не ругается.

— Что тогда? Что?!

— Он... Он не такой, как все, Дюшка.

— А разве ты — как все? А я — как все? А Левка Гайзер — как все? А есть ли такие, которые — как все?

— Дюшка, я его то очень люблю, то ненавижу.

— Так не бывает, Минька.

— Бывает, Дюшка, бывает. У меня — так.

У матери на коленях лежит недовязанный свитер и губы сплюснуты в ниточку. Когда у матери неприятности, Климовна подсовывает ей вязанье: «Успокаивает». Иногда мать начинала возиться со спицами и в самом деле успокаивалась, но чаще не помогало — мать сидела неподвижно над недовязанным свитером, глядела прямо перед собой, сжав губы.

Не помогал свитер и теперь. Мать боялась за жизнь Гринченко, а сегодня неожиданно умерла девочка, недавно доставленная в больницу из дальней деревни.

Отец ходит по комнате на цыпочках, ворошит пятерней волосы, пробует сердиться, но осторожно — как бы не осердилась в ответ мать.

— Ты же не могла знать, что у такой маленькой окажется больное сердце.

— Должна знать. Не проверила.

— Но у нее же воспаление легких!

— Тем более обязана снять кардиограмму.

Климовна вздохнула:

— Охо-хо! Одна у всех голова и та на ниточке!

Дюшка помаялся, помаялся и не выдержал, подлез к матери под руку, заглянул в запавшие глаза:

— Мам, а я виноват?

— Ты?.. В чем?

— Ты, наверное, много обо мне думала?

Мать отвела глаза.

— Нет, сынок, ты нисколько не виноват.

Дюшка, не зная, чем еще помочь, решился сказать:

— Мам, эта девочка, может, не совсем умерла.

Мать легонько отстранила Дюшку:

— Иди, сынок, зачем тебе думать о смерти.

Отец перестал ходить взад и вперед, насторожился. А Климовна вздохнула:

— Господи! Господи! Где уж не совсем. Ныне в царствие небесное даже мы, старые, не верим.

— Мам, девчонка ожить еще может когда-нибудь.

— Такого не бывает, сынок.

— Мам, для этого надо знать только, что вселенная бесконечна.

Если бесконечна, то обязательно... И ты, и я, и все, и девочка.

— Что за чушь? — громыхнул стулом отец. — Кто тебе напел это?

Если б отец спросил иначе, Дюшка, наверное, и открыл кто. Левка Гайзер не сказал, что это секрет. Но «чушь», но «напел», и стул пнул, и голос сердитый. Э-э нет, Дюшка не собирается подводить Левку.

— Никто. Я сам.

— Сам ты не мог.

Мать вступилась за Дюшку.

— А я бы сама с охотой поверила, что от смерти есть лазейка.

С охотой, если б могла.

— Как ты можешь так говорить: ты же врач, ты же соприкасаешься с наукой ежедневно!

— Потому и говорю, что едва ли не ежедневно сталкиваюсь с бессилием своей науки, и уж если не каждый день, то часто... Как вот сегодня — со смертью. Бессмысленной. Равнодушной. Если б поверить — есть лазейка в бессмертие!

— И что? Помогло бы твое «поверить» бороться со смертью?

— Нет. Но мне самой было бы тогда куда легче.

— Так в чем же дело? Возьми да поверь. К твоим услугам даже старые рецепты: райские кущи, нетленные души, ангелы-серафимы и прочая белиберда.

— Слишком старые рецепты, наивные — вот беда. Не могу поверить.

— Меня лично смерть не пугает! Сколько мне там отпущено природой — шестьдесят, семьдесят, больше лет? Они для меня только и важны. Уж их-то я постараюсь использовать. Я за свое время успею наследить на земле. А смерть придет — что ж... Потусторонним спастись себя не стану.

Отец стоял посреди комнаты, расправив широкие плечи, вскинув большую взъерошенную голову, с обветренным, крепким, словно вычеканенным из меди лицом — сам себе бог. И у матери впервые за этот вечер обмякли сплюснутые губы, дрогнули в улыбочке.

— Счастливый, — сказала она.

— Да! — с жаром ответил отец. — Да! Жизнью, мне выпавшей, счастлива.

— Но коза бабки Знобишиной счастливее и тебя. Она живет себе и знать не знает, что существует такая неприятность, как смерть.

Отец фыркнул, отпихнул ногой стул, слишком близко стоявший к нему, а мать со слабой улыбкой склонилась над вязаньем.

И тогда отец повернулся к Дюшке:

— Я знаю, откуда у тебя эта шелуха! Дружок твой тебе принес, этот Минька! Отец у него не от мира сего, накрутил сыну...

— Уж верно,— подтвердила Климовна.— Их-то атлас липнет до нас.

И как раз в эту минуту за дверью раздался робкий полустук-полуцарапанье.

— Кто там? Входите! — крикнул отец.

И вошел Минька. В новешенькой куртке с молнией, как у Левки Гайзера,— мечта всех ребят, мечта Дюшки. Встал на пороге со стеснительной светлой улыбочкой, но натолкнулся взглядом на Дюшкиного отца и заробел — улыбочка слиняла.

— У меня сегодня.. День рождения у меня... Так я думал — Дюшку... Мама торт к чаю испекла.

— Мам, я пойду! — вскочил Дюшка, готовый спорить и доказывать.

— Надень только чистую рубашку. И хорошо бы подарок...

— Минька! Я тебе свой конструктор подарю!

Минька снова стеснительно заулыбался, а отец молчал. Отец попросту был лишен права голоса.

Коробку «Конструктор» Дюшка положил в портфель, вытряхнув из него учебники, а спустившись вниз, отдал конструктор Миньке, вместо него загрузил вынутый из-под лестницы кирпич. Дураков нет — снова в лапы Саньке.

— Минька, одна девчонка... Но это секрет, Минька! Никому!

— Не. Могила.

— Одна девчонка второй раз живет.

— Как это, Дюшка?

— Очень просто. Жила, жила когда-то да умерла, а потом второй раз родилась.

— Дюшка, ты чего?

— Спроси Левку Гайзера — так бывает, наукой доказано.

— Левка... Он знает. Только я все равно не верю, Дюшка.

— Раньше эта девчонка, знаешь, кем была?

— Кем?

— Женой Пушкина.

— Д-дюш-ка!..

— Слышал, никому, секрет!

На столе стояло два торта — один уже разрезанный, для еды, другой большой, круглый, красивый, для свечей. Тринадцать тоненьких елочных свечей горели бескровно-бледными огоньками. Тринадцать лет Миньке, он на два месяца моложе Дюшки. Дюшке ко дню рождения такого торта со свечами не поставили — ни мать, ни Климовна не догадались.

И еще на столе бутылка, не ситро какое-нибудь, а настоящее вино, красное до черноты, торжественный мрак под поблескивающим стеклом, сразу видно — праздник не на шутку.

Минька не захотел снимать новую куртку, так в ней и уселся за стол, — потеет, поеживается от удовольствия, щурится на тринадцать

свечей и улыбается так широко, что видна щербинка в зубах, которую раньше Дюшка не замечал.

Минькина мать в кружевном воротнике, с большой брошью, толстые косы обвиты вокруг головы, лицо крупное, белое, с выдвинутой вперед нижней губой. Она и прежде всегда немного пугала Дюшку, сейчас он при ней чувствовал себя что-то неловко, в голове с самого дна всплывали забытые наставления вроде: не клади локти на стол, держи нож в правой руке, не смейся слишком громко. И Дюшка старался: не клал локти на стол, улыбался по-взрослому, не раскрывая рта, уголками губ, тонко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо.

Минькин отец вблизи, в домашней обстановке, не выглядел уж таким странным, каким казался на улице: умытый, светлый, щупленький, беспокойный, с мальчишеским хохолком на макушке, с сухим, судорожным, вовсе не мальчишеским блеском в потемневших глазах. Он постоянно порывался помочь жене, но видел, что мешает, конфузился, впадал на минутку в уныние, но быстро веселел, снова начинал дергаться и суетиться.

Наконец он ломкими, неловкими пальцами раскупорил парадную бутылку и, рискованно балансируя, налил марочное вино — полную рюмочку жене, полную рюмочку себе, капнул на донышко Дюшке, капнул Миньке, чинно вытянулся, значительно прокашлялся:

— Мой сын! Все мы желаем тебе счастья. А что это такое, сын?..

Минька кинул взгляд на мать, и щербинка в зубах исчезла, он поежился и стал медленно клониться к столу. А мать — ничего, сидела с высоко поднятой головой, глядела прямо перед собой, и белое лицо ее было спокойно.

— Ты радуешься новой куртке, сын. Радуйся, но помни — ни куртка, ни любая другая вещь не делает человека счастливым. Люди наделали много вещей, полезных, помогающих удобно жить, но счастливей от этого не стали...

— Никита...

Мать по-прежнему глядела перед собой со спокойным лицом.

— А что?.. Разве я что-нибудь?..

— Хоть сегодня-то не заумничай, Никита. Дети же перед тобой. Что они поймут?

И Минькин отец загляделся в свою рюмку, в красные отсветы тяжелого вина.

— Да... — сказал он. — Да... Так выпьем... Выпьем, сын, за то, чего не было никогда у твоего отца — за уважение.

Опрокинул в себя рюмку, сел, и хохолок бесцветных волос потереянно торчал на его макушке.

— А я, сынок, — подняла рюмку мать, — пью за то, чтобы стал нормальным человеком, жил нормальной, как у всех, жизнью. Это, наверное, и есть счастье.

— Что та-кое нор-маль-ность? — спросил Минькин отец.

— Не будем сегодня затевать спор, Никита.

— Да... Да... Хорошо, Люся. Не будем.

Выпили. Дюшка тоже — каплю сладкого, едкого вина со дна рюмки. За столом наступило молчание. Дюшка не клал локти на стол, улыбался уголками губ. Счастье, должно быть, очень приятная вещь, но Дюшка замечал, что разговоры о счастье у взрослых почти всегда бывают неприятными. И Дюшкин отец недавно говорил о счастье раздраженно: «Жизнью, выпавшей мне, счастлив». И Дюшкина мать не верила ему: «Коза бабки Знобишиной счастливее».

Заговорила Минькина мать, грустно, ласково, на этот раз глядя прямо на Миньку.

— Я хочу, сынок, чтоб у тебя в жизни было побольше маленьких радостей, хотя бы таких вот, как эта новая куртка. И чтоб ты и другим дарил такие маленькие...

— Нет! Нет! — снова пришел в волнение Минькин отец, — Желать маленького — курточек, чистых простынь, вкусных пирогов... Нет! Нет! Унизительно!

Минька в своей новой нарядной куртке пригнулся к столу, прятал лицо. Минькин отец беспокойно ерзал на стуле, глядел на Минькину мать просящими глазами, ждал возражений. Но Минькина мать молчала, только лицо ее стало неподвижным, каким-то тяжелым.

— Ты клеветешь на себя, Люся.

— Я простая баба, Никита, хочу уюта, чистоты, покоя, не заносюсь высоко.

— Нет, нет, ты не такая! Не клуша!

— Была... Девчонкой верила: с милым рай и в шалаше. Теперь не устраивает.

Минькин отец повернулся к Дюшке:

— Мальчик, не верь ей. Это великая женщина!

— Брось, Никита, не надо.

— Четырнадцать лет мы живем рядом, в одних стенах. Я вижу ее каждый день... Каждый день по многу, многу раз. И всякий раз, как я вижу ее, во мне что-то обрывается. У меня изорвана вся душа, мальчик. Все внутренности в лохмотьях. И я... я благодарен ей за это. За рваные незаживающие раны... В конце концов иступленная боль заставит меня найти такие слова, от которых все содрогнется!

Любить иных тяжелый крест,  
А ты прекрасна без извилин,  
И прелести твоей секрет  
Разгадке жизни равносильен.

Это еще не мои слова. Я пока не дорос до такого. Но дорасту, дорасту! Мир содрогнется, когда выплесну изболевшееся!

— Мир?.. От тебя?! Я уже разучилась смеяться, Никита.

— А вдруг да, вдруг да, Люся! Вдруг да явится Данте из поселка Куделино, воспевающий свою Беатриче. Сколько было на свете таких, которые казались смешными, над которыми издевались при жизни, а после смерти ставили им памятники.

— О господи! После смерти — памятник. Чем ты себя баюкаешь? Какая цена этому бреду? Цена — наша жизнь, моя, его! — Мать кивнула на Миньку. — Он сегодня в первый раз получил подарок. А я хотела бы хоть раз, хоть на одну недельку вырваться из этого сырого леса, из этого заваленного бревнами Куделина... Я ни разу в жизни не видела моря... «Любить иных тяжелый крест». Ложь! Быть любимой — тяжелый крест, когда тебя любят не просто, а с расчетом на... на памятник после смерти.

У Минькиной матери покраснел лоб, в глазах блестели слезы, блестели и не проливались, а отец Миньки съежился, втянул голову в плечи, на макушке, словно выстреленный, несолидный хохолок.

— Я раб. Я не могу взбунтоваться, — сказал он.

Мать Миньки ничего не ответила, сидела прямая, красивая, с высоким возмущенным лбом под тяжелыми косами, смотрела куда-то далеко сквозь непролитые слезы.

— Люся, поедem отсюда... в город. Я снова поступаю в газету. Она не шевельнулась.

— Люся, я забуду, что презирал газетчину. Я буду писать статьи...

— Нас никто не ждет в городе. Где нам там жить? И твои обозрения не прокормят... Если ехать, то без тебя, мне хватит одного груза — сына.

Минька сидел, уткнувшись лицом в стол, в новой куртке, такая во всем поселке только у одного Левки Гайзера. У Минькиной матери на глазах невылившиеся слезы, а у Миньки... не видно. Разговоры о счастье.

На круглом торте оплывали тонкие свечи — тринадцать свечей, тринадцать лет.

— Он стихи, Дюшка, пишет. Он все знаменитым стать хочет.

— Минька, он очень несчастный.

— А мамка не несчастная, Дюшка?

— Он ее любит, она его — нет. Кто несчастнее?

Вечерний воздух на улице Жан-Поля Марата был пронизан блуждающими запахами — земляной сыростью, горечью новорожденных листьев, сладковатой древесной истомой выкаченных из реки бревен. И от самой реки через весь поселок мощно тянуло пресной прохладой. Но всего сильнее пахнул одинокий молодой тополек, стоящий на углу Минькиного дома. Неприметный днем, неказистый, забытый, он сейчас буйствовал в сумерках, источал такую напористую свежесть, что хотелось пить, пить, пить воздух, наливаясь бодрой силой. Весь пахучий мир лишь слабо подтягивал этому маленькому запевале.

— Значит, мамка плохая, Дюшка?

— А разве я говорил, что она плохая?

— Не любит же, виновата.

— А можно любить, если не любит, Минька? Это все равно — пей воду, когда не пьется.

— Так мамка хорошая, Дюшка?

— Да.

— И папка хороший?

— Да.

— Как же так, Дюшка: мамка хорошая, папка хороший, а дома плохо, хоть беги?

Дюшка растерялся: случается ли, что хорошие люди творят плохое? Было бы куда проще найти виновника.

Высочивший провожать Минька убито топтался перед Дюшкой. Блуждали в воздухе беспокойные запахи. Неказистый, смиренный тополек — главный бунтарь среди беспокойных.

## 16

«Одному ученому нужно было узнать, сколько в пруду рыб. Для этого он забросил сеть и поймал тридцать штук. Каждую рыбу он окольцевал и выпустил обратно. На другой день он снова забросил сеть и вытащил сорок рыб, на двух из которых оказались кольца. И ученый вычислил, сколько приблизительно рыб в пруду. Как он это сделал?»

Вася-в-кубе время от времени проводил «урок одной задачки» вместо контрольной. В такие дни он был строг, немногословен, важен — он ждал победителя. И уж этого победителя Вася-в-кубе заносил в отдельную книгу, хвалил где только мог: «Проницательного ума. Незаурядных способностей. Надежда школы».

Дюшка же победителем стать не мечтал — выше тройки никогда не хватал по математике. Но в последнее время он научился решать задачки. Каждая задача — нераскрытая тайна. Тайна и здесь...

Гуляют в пруду рыбы: Да разве можно их пересчитать? Руками не перещупаешь — мол, раз, два, три, четыре... Ин-ге-рес-но!

Дюшка по привычке записал: «Сколько рыб в пруду = X». Икс тайны не раскрывал, и Дюшка сразу забыл его.



С первого же раза ученый вытащил тридцать рыбин. Ничего улов, значит, водится в пруду рыба.

Тридцать рыб гуляют в пруду с кольцами на хвостах. Две из них — только две! — вытащил ученый среди сорока. Есть в пруду рыба, есть. Маловато вытащено с кольцами. Во сколько же раз больше неокольцованных? Сорок, а среди них всего две. Да ясно же — в двадцать раз!.. Ха! И это называется трудная задача! Тридцать окольцованных помножить... Но икс? При чем тут он? Куда бы его приспособить?..

Все это как-то очень быстро пронеслось в Дюшкиной голове — за каких-нибудь пять минут. Вася-в-кубе не успел еще стряхнуть с себя мел, не успел опуститься на стул.

— Чего тебе, Тягунов? — кисленько спросил он, увидев Дюшку, тянувшего руку.

Конечно же, он подумал, что Тягунову приспичило выйти из класса — самое время, подальше от задачи.

— Я решил.

Грозные брови Васи-в-кубе поползли к лысине, а класс притих.

— Покажи! — Приказ недобрый голосом.

Показывать Дюшке было нечего, в тетради после условия задачи стояла только одна запись: «Сколько рыб в пруду =  $X$ ». И непонятно, к чему этот икс нужен?

— Я в уме решил, Василий Васильевич.

— Час от часу не легче, — проворчал Вася-в-кубе и снова кисленьким голосом: — Что ж, Федор Тягунов, выйди к доске, послушаем твое решение.

Дюшка сам оробел от своей дерзости, однако вышел, встал, как положено, лицом к классу и рассказал:

— Тридцать рыбин в кольцах. Две попались среди сорока. Значит, неокольцованных в двадцать раз больше. Тридцать на двадцать — всего шестьсот.

И все, умолк, страдая, что рассказ его занял так мало времени.

Класс недоверчиво молчал. Вася-в-кубе возносил к лысине брови и разглядывал Дюшку.

— Да!.. — наконец подал он голос. — Да!.. Все правильно. Просто и ясно. У тебя ясный ум, Тягунов! Ты лодырь, Тягунов! Ты два года водил меня за нос, прятал за ленью свои способности. Незаурядные способности! — Вася-в-кубе повернулся к молчащему классу. — Вот как надо мыслить, друзья. Молниеносно! Вламываться сразу в самую суть.

И громовым басом, почти угрожающе Вася-в-кубе принялся расхваливать Дюшку. Дюшка стоял у доски и от непривычки чувствовал себя очень плохо — хоть провались сквозь пол от этих похвал.

Наконец Вася-в-кубе торжественно умолк, торжественно вынул из нагрудного кармана самописку, торжественно отвинтил колпачок, торжественно склонился над журналом... Сомневаться не приходилось — пятерка.

— Голубчик, возьми щетку, приведи себя в порядок.

Слух о Дюшкином ученом подвиге быстро разнесся по всей школе: шутка ли, за пять минут — в уме! — задачу «на победителя».

На перемене к нему подошел Левка Гайзер:

— Старик, ты быстро научился плавать.

Как равный равному, уже не называя Дюшку тараканом.

И это слышали все, кто был в эту минуту в коридоре. И случайно тут стояла Римка Братенева. Стояла, слышала, смотрела на Дюшку. Уважительно.

Он станет великим математиком и прославит школу, поселок Куделино, отца, мать, Миньку, с которым дружит, бабушку Климовну, которая его вынянчила.

Он вместе с Левкой откроет, что вселенная бесконечна. И хотя он не знает, почему от бесконечности должны вновь рождаться уже умершие люди, все равно откроет. Левка снова появится на свет, он, Дюшка, тоже, и Минька, и отец с матерью — все, все узнают, что никто не умирает навсего.

Он еще знает то, о чем не подозревает даже Левка: Римка Братенева когда-то была женой Пушкина.

Он умеет видеть, чего никто не видит.

Он разглядел, что отец Миньки вовсе не такой уж плохой человек.

Он пойдет к Минькиной матери и скажет: полюби мужа — он станет счастливым.

И Минька тоже...

А все в поселке удивятся: какой хороший человек Дюшка Тягунов.

И какой умный!

И Римка первая подойдет к нему: давай, Дюшка, дружить.

А он ее тогда спросит: «Ты знаешь, кто ты?» — «Нет». — «Наталья Гончарова, жена Пушкина, первейшая красавица — «чистейшей прелести чистейший образец».

Дюшка был счастлив и не подозревал, что счастье капризно.

После уроков он одним из первых выскочил с портфелем из школы. В портфеле по-прежнему лежал кирпич. Существует на белом свете Санька Ераха, и с этим, хочешь не хочешь, приходится считаться.

Миньке он решительно сказал:

— Иди один, у меня дела.

Он хотел видеть Римку. Почему-то он надеялся: сегодня она пойдет домой одна, без девчонок. И он попадетсЯ ей на глаза. Конечно, нечаянно. И она заговорит, и они вместе пойдут домой. И кто знает, быть может, он уже сегодня, сейчас, через несколько минут, скажет: «Чистейшей прелести чистейший образец». Вчера о таком и мечтать не смел. Вчера он был обычным мальчишкой, каких много в школе.

Он долго кружил на углу улицы Жан-Поля Марата и Советской, пока не увидел ее.

Она шла без девчонок, но не одна. Шла тихо, нога за ногу, смотрела в землю, тонкая, скованная, знакомая, хоть задохнись. И рядом с ней — поролоновая курточка нараспашку — вышагивал Левка Гайзер. И тоже нога за ногу, не спеша, вдумчиво. Он что-то говорил ей, она слушала и клонила голову вниз, и было видно издали — не хочет быстрее идти, нравится. Знакомая и чужая.

Минуту назад он верил, что прославит школу, поселок, отца, мать, старую Климовну, даже Миньку. Сейчас он представил себя со стороны — так, как если б Римка вдруг подняла голову и увидела его. Посреди улицы мальчишка в штанах с пузырями на коленях, с толстым портфелем в руке. Он носит с собой кирпич, потому что боится Саньки Ерахи. Ему постоянно чудится черт знает что, черт-те о чем мечтает. Он случайно решил задачу и зазнался. Он не умеет крутить на турнике «солнце», у него нет накачанных мускулов, нет красивой куртки.

Римка с Левкой не спеша двигались на него. Надо было уходить, надо прятаться, но ноги не слушались...

Минуту назад он чувствовал себя чуть ли не самым счастливым человеком на свете. Ошибался — самый несчастный.

Мир играл с Дюшкой в перевертыши.

А на следующий день на уроке Васи-в-кубе в тихую минуту Дюшка, доставая тетрадь из портфеля, нечаянно выронил кирпич на пол. Гулкий удар, должно, слышен был на всех этажах.

Кирпич перешел в руки Васи-в-кубе.

— Тягунов, что такое? Для чего тебе эта штука?

Дюшка не пожелал сказать.

— Выясним.

После урока Вася-в-кубе торжественно отнес кирпич в учительскую.

Исчезли лужи, подсохли тропинки, выползала травка, распутившийся лист ронял на землю сквозную тень, и в скворечниках раздавался уже писк новорожденных скворцов. Все, что могла совершить весна, свершилось, — состоялось ежегодное сотворение всего живого. Живому теперь предстоит расти и мужать. В разгар весны проглядывало лето.

И ребята праздновали: все высыпали теперь во время перемены во двор без пальто, без шапок — крик, возня, взрывы смеха, каждый немножко пьян от солнца и воздуха. Даже верный друг Минька попоросьячи повизгивает где-то в стороне, забыв о Дюшке.

Девчонки тесно сбились у прогретой стены, галдят. С ними Римка...

Нет радости, что она близко, что глаза ее видят, уши ее слышат.

Нет радости от тепла, от солнца, от яркой узорной зелени.

И вообще, всякая радость — обман. Сейчас есть, через минуту — исчезла.

И впереди тягостное объяснение с Васей-в-кубе, быть может, с самой директрисой Анной Петровной: «Зачем кирпич? Почему кирпич?»

И Санька, конечно, уже знает, что он, Дюшка, обезоружен.

Санька стоит под столбом, на котором когда-то висели канаты для «гигантских шагов». Как всегда, вокруг Саньки холоуи вроде Кольки Лыскова. Дюшке видна Санькина соломенная шевелюра, слышен его силловатый голос. Вокруг Саньки сейчас смеются. Должно быть, Санька говорит о нем, Дюшке, должно, что-то обидное.

И Санькины речи, возможно, слышит Римка. Она сейчас стоит ближе к Саньке, чем Дюшка, ей слышней...

От Санькиной группы отделился Колька Лысков, с прискоком жеребенка подтрусил к Дюшке, жмурится всей сведенной в кулачок старушечьей рожицей.

— Дюшка... — Голос сладенький, сочувственный (сейчас скажет пакость). — Как же ты сегодня без кирпича домой?..

Дюшка смотрит мимо счастливо жмурящегося Кольки, молчит. А Колька хоть бы что — привык, когда встречают: «Видеть тебя не могу».

— Дю-юш-ка... Санька говорит, чтобы ты лучше не выходил из школы. Он тебя и с кирпичом хотел... У тебя кирпич, а у него ножик. Хи-хи!.. Теперь он тебя и без ножа... Хи-хи! Мамка не узнает.

Привирает Колька про нож. А может, и нет. Не зря же Санька тогда кричал: «Кровь пушу!»

Колька улыбочиво жмурится, Колька рад, что скоро увидит, как Санька расправится с Дюшкой. Сам Колька никогда ни с кем не дрался, но любит глядеть драки, хлебом не корми. Дюшка не выдержал, засмотрелся на улыбочивого Кольку. Стукнуть его, что ли? Утрется и убежит, а Саньку все равно не минуешь. Санька не знает жалости, а за Дюшкой теперь много числится — будет бить насмерть.

Радостно, в самое лицо улыбается Колька Лысков. И в Дюшке вдруг что-то поднялось из глубин, от желудка к горлу, стало трудно дышать. Не столько от ненависти к Саньке, сколько от стыда за себя: боится же, боится, и это сейчас видит Колька, наслаждается его страхом. Он таскался как дурак с кирпичом, и прятался за спину Никиты Богатова. Богатов никак не герой, но Саньки не испугался. А если у Саньки нож, что стоило ему ударить ножом взрослого. И ни разу он, Дюшка, не схлестнулся по-настоящему с Санькой. Санька готов был открыто помериться силой, Санька, выходит, честней...

Жмурится в лицо Колька Лысков. Девчоночьи голоса в стороне. Девчоночьи голоса и смех. И резануло по сердцу — прозвучал смех Римки, звонкий, чистый, серебряный, не спутаешь.

Дюшка шагнул вперед. Колька Лысков шархнул от него столь быстро, что морщинистая улыбочка не успела исчезнуть.

Опустив плечи, пригнув голову, Дюшка двинулся прямо на столб, под которым торчала соломенная нечесаная Санькина волосня. Окружавшие Саньку ребята зашевелились, запереглядывались между собой и... расступились, давая Дюшке дорогу.

Санька оторвал плечо от столба, встал прямо: болотная зелень в глазах, серый твердый нос, на плоских скулах, на подбородке стали медленно просачиваться красные пятна. Все-таки чуточку он побаивается, все-таки Дюшка чем-то страшен ему — пятна и глаза круглит. Дюшка зарылся взглядом в зелень Санькиных глаз.

— Палач! Скотина! Думаешь, боюсь?

— Да неуж?.. Может, тронешь пальчиком?

Над школьным двором стоял звонкий веселый гвалт. Никогда еще так плохо не чувствовал себя Дюшка: никому до него нет дела, никому, кроме Саньки. Санька ненавидит его, он — Саньку!

И со стороны снова донесся беззаботный Римкин смех, особый, прозрачный, колеблющийся, как нагретый воздух, что дрожащим мавровом поднимается над землей.

И смех толкнул... Всю выношенную ненависть, свои несчастья, свой стыд — в пятнистую физиономию, в нечистую зелень глаз, в кривую, узкую улыбочку! Кулак Дюшкин врезался с мокрым звуком, Санька качнулся, но устоял. Дюшка ударил второй раз, но попал в жесткое, как булыжник, Санькино плечо.

Прямо перед собой — два круглых провалных глаза. Дюшка не успел выбросить им навстречу кулак. Он не почувствовал боли, он только услышал хруст на своем лице, и яркий солнечный двор, и синее небо качнулись, потекли, стали жидко проваливаться местами, пятнами, а на голову словно нахлобучили чугунный тяжелый горшок. Кажется, он успел пнуть ногой Саньку, тот охнул и согнулся...

После этого он помнил только какие-то пестрые клочья: нацеленный серьезный Санькин нос; треснувшая на груди рубаха; судорожно сжатый кулак, свой кулак, запачканный свежей кровью, собственной или Санькиной — неизвестно; Санькин скривленный рот; стена мальчишеских лиц, серьезных от испуга... И тишина во дворе, солнце и тишина, и тяжелое сопение Саньки... Дюшка налетал, бил, промахивался. Санька отбрасывал его от себя, но Дюшка снова налетал, снова бил... Вытаращенные глаза Саньки, скривленные губы Саньки; кулак в судороге...

Кто-то робко попытался схватить Дюшку, он оттолкнул локтем, уголком глаза успел поймать перекошенное лицо Миньки...

И неожиданно вместо Санькиной ненавистной носатой, глазастой, косогубой физиономии появилось перед ним возбужденное, румяное, с туго сведенными бровями лицо Левки Гайзера. Он хватал Дюшку за грудь:

— Эй! Эй! Хватит!

Но за Левкой маячила Санькина шевелюра, Дюшка рванулся к ней, Левка уперся ему в грудь:

— Хва-тит!

Тогда Дюшка с размаху ударил Левку и... пришел в себя.

Яркий солнечный двор и тишина. Оцепеневшие глазастые лица ребят. Над их головами врезан в синеву большой кран. Левка с сухим недобрым блеском в глазах ощупывал рукой скулу.

— Дерьмо же ты, оказывается, — сказал он.

Дюшка не возразил и не почувствовал раскаянья. Ненависти уже не было, была усталость.

И тут как из-под земли вырос Вася-в-кубе, лысиной в поднебесье, выше большого крана, и с невысказанной высоты глядело на Дюшку темное лицо. Вася-в-кубе взял тяжелой рукой за плечо, повернул:

— Пошли.

Завороженная стена ребячьих физиономий колыхнулась и распалась на две части, давая проход. Серой гибкой кошкой метнулся через дорогу Колька Лысков.

А Дюшка только сейчас почувствовал, что у него исчезло лицо, вместо него что-то тяжелое, плоское, как набухшая от сырости дубовая доска. Неся перед всеми свою деревянность, он цеплялся нетвердыми ногами за качающуюся, ненадежную землю.

Впереди кучкой стояли девчонки, все еще оцепенело замороженные. Среди них Римка — взметнувшиеся брови, круглые, как пуговицы, глаза, курчавинки на висках. Римка — совсем обычная, совсем ненужная сейчас.

Но когда толкающая рука Василия Васильевича и нетвердые ноги приблизили Дюшку к девчонкам, среди них раздался визг, и все они с выражением страха и брезгливости дружно шарахнулись в сторону. И Римка — тоже, со страхом и брезгливостью в круглых глазах.

Это окончательно привело Дюшку в сознание. Он понял, как выглядит, — рубаха располосована, окровавлен, нет лица, есть что-то деревянное, плоское, чужое... Шарахаются от него. Римка — тоже.

И вспомнил, что ударил Левку Гайзера...

Окровавленную располосованную рубаху стащили и отправили отцу прямо на работу. Его же самого обмыли под краном, обмазали йодом, заставили поглядеться в зеркало.

Лицо осталось, не исчезло и было вовсе не плоским, наоборот — дико распухшее, в рыжих пятнах йода, посреди, где раньше находился нос, торчал трупно-синий бесформенный бугор. Он-то и ощущался деревянным.

Мать осмотрела Дюшкин нос, потрогала его холодными, сильными пальцами, больно — искры из глаз! — до хруста нажала, сказала почти равнодушно:

— Срастется. С неделю проходит красавцем.

И ушла в спальню, легла на кровать не раздеваясь.

Бабушка Климовна прибрала посуду на столе, повздыхала:

— Ох-хо-хонюшки! Тупой-то серп руку режет пуще острого.

Тоже ушла к себе.

Дюшка остался один на один с отцом. Отец ходил по комнате, попинывал — не сильно, не в сердцах — стулья, яростно ворошил пятерней волосы, не ругался, только время от времени ронял:

— Да... Да...

Короткое и тяжелое — в ответ своим мыслям.

А за окном торчал большой кран, под ним, должно быть как всегда, суетятся люди — сортируют лес, радуются весне, ходят друг к другу в гости, любят — не любят. Дюшке уже нет среди них места. Римка шарахнулась от него. И он ни за что ни про что ударил Левку Гайзера. И на лице деревянный, мешающий нос, с таким носом нельзя выйти на улицу...

А Левка хочет открыть бесконечность, и непонятно, почему-то эта бесконечность обещает Левке вторую жизнь. Зачем вторая, когда и одну-то прожить так трудно.

Отец оборвал хождение, взял стул, поставил напротив Дюшки, оседлал его. Лицо отца за этот день опало, стало угловатым, лоб вылез вперед, глаза спрятались, глядят, словно из норы, настороженно, выжидательно, с тревогой, но, кажется, без гнева.

— У нас, Дюшка, на сортировке попадают эдакие крученые кряжи, которые ни в строительный не занесешь, ни в крепежник, ни в тарник. Их выбрасывают на дрова, но и дрова из них тоже плохие — не колются, намаешься. Дерево как дерево, а ни на что не пригодно...

Дюшка догадывался, куда клонит отец, но молчал.

— Человек, Дюшка, тоже может расти кривь и вкось, — продолжал отец. — Часто болтается среди людей эдакая нелепость — где ни приткнется, всем мешает, все его отпихнуть стараются. А если упирается, рубят по живому.

У отца и взгляд прочувствованный, и голос сдержанный, по всему видать — собрался с силами, хочет от души объяснить непутевому сыну. От души, без раздражения. Но Дюшке меньше всего нужны такие объяснения. Он и без отца теперь знает, что ненормален, перекручен, трудно жить... Это лучше отца объяснила ему Римка Братенева — шарахнулась в сторону. «Тупой серп руку режет пуще острого».

Отец с досадой заскрипел стулом, подался вперед, заговорил горячее:

— У тебя перед глазами пример есть — Никита Богатов. Перекошенный человек, недоразумение. Сам несчастный, жену несчастной сделал, сына... Таким стать хочешь?

Дюшка наконец разжал губы, спросил:

— Пап, Богатов плохой, ну, а Санька Ераха хороший?

— Я ему о Фоме, он мне о Ереме. При чем тут Санька?

— Я с ним дрался.

— Так за это я должен поносить его? Ну, знаешь!

— Богатов плохой, Санька хороший?

— Да плевать я хотел на твоего Саньку! Мне на тебя не плевать.

— Санька убивать любит... лягуш.

— Лягуш?.. Черт знает что! Да мне-то какое дело до этого?

Действительно, какое кому дело, что Санька убивал лягуш? Почему к нему ненависть? Почему Дюшка так много думает о Саньке? Только о нем. Родился непохожий на других — мучает кошек, бьет лягуш. И не в кошках, не в лягушках дело, а в том, что он любит мучить и убивать. И это страшное «любит» почему-то никого не пугает. «Да мне-то какое дело до этого?» Никому нет дела до того, что любит Санька. До Богатова есть дело, Богатова осуждают... вместе с Минькой.

И Дюшка, давась словами, произнес:

— Он и людей бы убивал, если б можно было.

— Ну, знаешь!

— Он зверь, этот Санька, а Богатов не зверь. Что тебе Богатов плохого сделал? За что ты его не любишь? За что? За что-о?!

— Ты что кричишь?  
 — Боюсь! Боюсь! Вас всех боюсь!  
 — Эй, что с тобой?  
 — Никому нет дела до Саньки? Никому! Он вырастет и тебя убьет и меня!..

— Дюшка, опомнись!  
 — Опомнись ты! Убивать любит, а вам всем хоть бы что. Вам плевать! Живи с ним, люби его! Не хочу! Не хочу! Тебя видеть не хочу!

Дюшка, вскочив на ноги, тряс над головой кулаками, визжал, топал:

— Не хо-чу!..  
 Отец верхом на стуле замер, глядя снизу в разбитое, перекошенное, страшное лицо сына.

На крик появилась мать, бледная, прямая, решительная, казалось, ставшая выше ростом. Отец повернулся к ней:

— Вера, что с ним?  
 — Принеси стакан воды.  
 Дюшка упал ничком на диван и затрясся в рыданиях.  
 — Что с ним, Вера?  
 — Обычная истерика. Пройдет.

Мать никогда не теряла головы, и сейчас ее голос был спокоен. Дюшка рыдал: никто его не понимает, никто его не жалеет — даже мать.

Его заставили выпить валерьянки и лечь в кровать. Он лежал и ни о чем не думал. Все кругом стало каким-то далеким и ненужным — Никита Богатов, Санька, Римка, непонимающий отец, Левка Гайзер, которого он ударил... И самый, наверное, ненужный и далекий из всех — он сам, пропащий человек.

## 19

Дюшкин кирпич лег на стол директрисы школы Анны Петровны. Рыжий кирпич на зеленом сукне письменного стола...

Анна Петровна появилась в поселке Куделино вместе с новой школой. Казалось, ее где-то специально заготовили — для красивой, сияющей широкими окнами школы молодую, красивую директоршу с пышными волосами, громким, решительным голосом, университетским значком на груди.

С Анной Петровной не так уж трудно встретиться в школьных коридорах, даже на улицах поселка, но в кабинет к ней попадали только в особо важных случаях.

Рыжий кирпич на зеленом сукне — случай особый. Напротив стола разместились учителя и ученики: судьи, свидетели и преступники — Дюшка с Санькой. Даже Колька Лысков был приглашен, даже Минька затаился возле самых дверей на краешке стула.

Раз на столе в центре внимания — кирпич, то само собой вспоминают Дюшку: «Тягунов, Тягунов...» Саньку почти не трогают, он сидит нахохлившись, повесив нос, смотрит в пол, хмурый, обиженный: мол, что приходится терпеть человеку понапрасну.

— Гайзер, ты кому-то говорил, что видел этот кирпич и раньше у Тягунова? — ведет опрос Анна Петровна.

Подымается Левка. У него под левым глазом махровая желтизна — отцветший синяк, сотворенный Дюшкиным кулаком.

Левка отвечает без особого усердия и старается не глядеть в сторону Дюшки:

— Я, собственно, не видел этого кирпича...

— Как так — собственно?

— Я как-то заметил, что у него... Тягунова, толстый портфель, спросил: чем ты его набил? Он ответил — там кирпич.

— И больше ничего не спросил?

— Поинтересовался, конечно, — зачем кирпич? Ответил: мускулы развиваю.

— Давно это было?

— С неделю назад.

— И все это время Тягунов таскал... развивал мускулы?

— В портфель к нему я больше не заглядывал, кирпичом не интересовался.

— Он таскал! Таскал кирпич! Я знаю! Не расставался! — выкрикнул Колька Лысков. Он и здесь, в кабинете директора, вел себя деятельно и радостно, словно ждал интересной драки.

Угнетенно-хмурый Вася-в-кубе подал голос:

— Странно все-таки. Неудобная вещь, даже для драки.

— Как же неудобная? Очень даже удобная! Тяжелая... — охотно отозвался Колька. — Сзади по затылку — тяп, и ваших нет. Кирпичом и быка убить можно.

Анна Петровна грозно покосилась на Кольку, и тот опять же охотно, почти восторженно оправдался:

— Извиняюсь. Я чтоб понятней...

— Тягунов, — спросила Анна Петровна, — скажи, только откровенно: для чего?.. Для чего тебе этот кирпич?

Дюшка долго молчал, наконец выдавил:

— Если Санька вдруг полезет... Для этого.

— И ты бы ударил его... кирпичом?

Врать было бессмысленно, Дюшка признался:

— Полез бы — ударил.

— А ты не подумал, что действительно... таким — быка? Не подумал, что убить им можно человека?

Вася-в-кубе подождал-подождал Дюшкиного ответа и не дождался, с досадой крикнул, а одна из приглашенных на обсуждение учительниц, совсем молодая, преподававшая в школе всего лишь первый год, Зоя Ивановна, выдавила из себя:

— Какой ужас!

Вася-в-кубе решил прийти на помощь.

— Но ведь ты для самозащиты эту штуку таскал? — спросил он.

— Для защиты, — признался Дюшка почти с благодарностью. Он не хотел, чтоб его считали убийцей, даже Санькиным. — На всякий случай, когда Санька полезет...

— Полезет?.. — переспросила Анна Петровна. — Первый на тебя?

— Да.

— А вот все говорят, что первым в драку полез ты, Тягунов. Ты первый ударил Ерахова. Или на тебя наговаривают? Или это не так? — У Анны Петровны от негодования глаза стали опасно прозрачные, холодные.

Дюшка снова замолчал. Он молчал и понимал, что его молчание выглядит сейчас дурно. Так в кино молчат пойманные шпионы, когда им уже некуда деться.

— Как-кой ужас! — снова выдавила из себя молодая Зоя Ивановна.

А Вася-в-кубе крикнул еще раз.

Лежал перед всеми на зеленом столе рыжий кирпич — страшная,



оказывается, вещь, им можно убить человека. Дюшкин кирпич, кирпич, специально приготовленный для Саньки. И он, Дюшка, первым напал на Саньку...

И сидел обиженно нахохленный Санька, чудом спасшийся от страшного кирпича.

Дюшка и сам начинал верить, что он преступник.

Помощь пришла неожиданно с той стороны, с которой ни Дюшка, ни кто другой не ожидал.

Притаившийся возле дверей Минька, Минька, случайно попавший на разбирательство, Минька, которого и не собирались сейчас спрашивать, вдруг вскочил на ноги и закричал тонко, срываясь, словно петушок, впервые пробуящий свой голос:

— Дюшка! Ты чего?.. Дюшка! Скажи всем! Скажи про Саньку! Он же хвастался, что убьет тебя! Я сам слышал! Ножом страдал!

И Санька взвился, его лицо потекло красными пятнами:

— Врет! Врет! Не хвастался!.. У меня даже ножа нет! Обыщите! Нет ножа!

— О каком ноже речь? Ты что? — Глаза Анны Петровны утратили прозрачность, стали обычными — испуганными.

Но Минька, тихий Минька с яростью накинулся на Саньку:

— Ты все можешь, ты и ножом! Про твой нож Колька хвастался!

— Ничего я не хвастался! Ничего не знаю! — завертелся ужом Колька Лысков.

— Честное слово! Дюшка добрый. Дюшка даже лягушку... Дюшка слабей себя никогда не обидит! А Санька и ножом, ему что?

— Чего он на меня? Ну, чего?.. Никакого ножа... Вот глядите, вот... — Санька начал выворачивать перед всеми пустые карманы.

— Он трус! Он только на слабых. Потому Дюшка и кирпич... Знал — Санька тогда на него не полезет, испугается. И верно, верно — Дюшка давно этот кирпич таскал в портфеле. Давно, но не ударил же им Саньку. Убить мог? Это Дюшка-то? Саньку! Отпугивать только. Санька — трус: на сильного никогда!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

— Слышите?.. Он и сейчас... Он теперь меня... Мне тоже кирпич... Житья Санька не даст! Мне тоже кирпич нужен!..

— Ну-у, Минька, н-ну-у!

Санька стоял посреди кабинета всклокоченный, с пятнистым лицом, с выкаченными зелеными глазами, вывернутыми карманами.

Лежал рыжий кирпич на зеленом столе. Все молчали, пораженные яростью тихого, маленького, слабого Миньки. И только Зоя Ивановна, молодая учительница, изумленно выдохнула свое:

— Как-кой ужас!

Александр Матросов своей грудью закрыл амбразуру с пулеметом, чтобы спасти товарищей. Александр Матросов — герой, человек великой души, о нем написаны книги.

До сих пор великой души люди — те, кто своей грудью, своей жизнью ради товарищей! — жили для Дюшки только в книгах. В Куделине таких не наблюдалось. Великой души люди, казалось, непременно должны быть и велики ростом, широки в плечах, красивы лицом.

У Миньки узкие плечи, писклявый голос. И жил Минька все время рядом, на улице Жан-Поля Марата, ничего геройского в нем не было — самый слабый из ребят, самый трусливый.

И вот Минька против Саньки! Санька слабых не жалеет. Санька

не даст проходу. Минька добровольно испортил себе жизнь, чтоб спасти Дюшку. Закрыв грудь.

А ведь он, Дюшка, всегда немного презирал Миньку — слабей, беспомощней.

От Дюшки шарахнулась Римка, от Дюшки отвернулся Левка Гайзер, дома Дюшка устроил истерику. Сам себе противен. Стоит ли такому жить на свете? Кому нужен?

Оказывается, нужен! Грудью за него.

Минька, Минька...

Утром Дюшка повернул не к школе, а к Минькиному дому. Санька станет сторожить Миньку. Рядом с Минькой всегда будет он, Дюшка.

Портфель непривычно легкий, тощий — кирпич больше не нужен. Пусть сунется Санька, нет перед ним страха! Пусть сунется к Миньке!

Минька несколько не удивился, что Дюшка ожидает его у крыльца. В мешковатом, старательно застегнутом на все пуговицы пиджаке, со своим большим потертым ранцем, узкое лицо прозрачно и сурово. Эта суровость так была непривычна для Миньки, что Дюшка вместо «здравствуй» встревоженно спросил:

— Ты чего?

— Ничего, Дюшка.

— Нет, Минька, что-то есть, я вижу.

— Ты слышал, как он вчера, каким голосом: «Н-ну-у, Минька»? Убьет, ему что.

— Пусть прежде меня.

— Но ведь ты же не всегда со мной ходить будешь.

— Всегда, Минька.

— Да я и сам хочу... Сам за себя! Как ты, Дюшка.

Минька судорожно расстегнул пуговицы, распахнул полу — за брючным ремнем торчала деревянная ручка ножа.

— Ты что?!

— Кирпич хотел, но с кирпичом меня Санька сразу... Это тебя он с кирпичом боится, а меня — нет. Такого гада мне только... железом.

— С ума сошел, Минька!

— Сойдешь, когда всю ночь уснуть не мог.

— Унеси, Минька, нож обратно.

— Нет!

— Силой, Минька, отберу!

— Нет, Дюшка, не сделаешь этого.

— Тогда прошу тебя, Минька...

Минька помялся, поежился, помигал и уступил:

— Я его под крыльцо пока... С тобой вместе буду без ножа. А без тебя, Дюшка... Хочу сам за себя, как ты.

Нелепый кухонный нож с деревянной ручкой пугал Дюшку. Но Минька стал вдруг упрямым.

Под вечер, после работы, мать и отец принимали гостя. Вернее, гость пришел только к матери. Тот самый Гринченко, о котором Дюшка так часто слышал: еле жив, при смерти. Два дня назад Гринченко выписали из больницы, сейчас его угощали чаем.

Это был вовсе не хилый человек, а громоздкий, с глухим, нутряным, густым голосом, с темным губастым лицом сплавщик, одетый по-праздничному в темно-синий в полоску костюм, в галстук, завязанном таким толстым узлом, что он мешал двигаться массивному под-

бородку. И только запавшие глаза и тупые кости скул, проступающие сквозь темную пористую кожу, напоминали о болезни, не совсем еще покинувшей мощное тело.

Гринченко пришел в гости к матери, но разговор вел лишь с отцом.

— Скажу вам, Федор Андреевич, какой это человек Вера Николаевна, супруга ваша. Святая сказать — мало! Кто ей я? Не сват, не брат, даже за столом вместе не сживали, хлеб, соль, водку пополам не делили. И добро бы я, Степка Гринченко, уж очень полезен державе нашей был. Так нет этого. Работяга обычный. Любил рубль длинный сорвать, водку любил, баб и всякое прочее безыдейное. И вот из-за меня из-за безыдейного эта женщина ночами не спала, своим здоровьем тратилась, можно сказать, колотилась самым героическим образом.

Мать виновато посмеивалась, а отец серьезно соглашался:

— Что есть, то есть. не отынешь — самозабвенна.

— Тыщи лет люди богородицу хвалили. А за что, позвольте спросить? Только за то, что Христа родила да вынянчила. Любая баба на такое, скажу, способна. Вот пусть-ко богородица с эдаким, как я, понянчится. Не ради бога великого, чтоб потом аллилуйю многие века пели, а ради простого человека, без надежды всякой, что тебе там вечную славу отваять или награду золотую на грудь. Тут тебе богородицы мало, тут уж выше бери.

— Богородица — это суеверие, Степан, — наставительно отвечал отец. — А старые суеверия мы жизнью бьем не в первый раз. Так что из ряда вон выходящего ничего не произошло.

— Ой, не скажите, Федор Андреевич, не скажите. Вы думаете, Вера Николаевна мне только требуху мою вылечила — нет, душу вылечила. Открылось мне: раз я, Степан Гринченко, героического стою, то и держаться я в дальнейшем должен соответственно, не распыляясь на мелочах. Не-ет, теперича я так жить уже не стану, как жил. Буду оглядываться кругом, да позорчей. Сколько лет я еще проживу, Вера Николаевна?

— Я не гадалка, Степан Афанасьевич. Наверно, вас еще надолго хватит.

— Сколько ни проживу — все людям. Осветили вы мне нутро, Вера Николаевна, ясным светом.

— Очень рада такому побочному явлению.

— Эх, для вас бы что сделать! Вот было бы счастье. Не сумею, по-ди, — мал. Да-а!

Гринченко поднялся и стал чинно за руку прощаться, а Дюшка кинулся к окну, чтоб видеть, как спасенный матерью от смерти человек пойдет на своих ногах по улице среди здоровых людей.

Дюшка припал к окну и увидел не Гринченко, а... Римку. В легком платьице в клеточку, в темных волосах солнечной каплей цветок мать-мачехи, и курчавинки у висков, и нежный бледный лоб над бровями — до чего она не похожа на всех людей, рождаются же такие на свете. Солнечная капелька цветка в волосах...

Римка исчезла в подъезде, появился Гринченко, не обративший на Римку никакого внимания. Нескладно-громоздкий, нарядный в своем костюме в полосочку, он бережно выступал, сосредоточенно нес в себе свое спасенное здоровье, свою вылеченную Дюшкиной матерью душу — весь в себе.

После Римки Дюшка снова обрел способность видеть то, чего не замечают другие. Сейчас глядел на выступающего бережным шагом Гринченко и видел в нем то, чего сам Гринченко и не подозревал:

слишком большую занятость собой, своим неокрепшим здоровьем, своим исцеленным духом.

Гринченко, не заметив, промаршировал и мимо Минькиного отца, путающегося в полах своего длинного пальто. А Минькин отец спешил. Дюшка взгляделся в него, и по спине поползли мурашки — что-то случилось. Никита Богатов бежал изо всех сил — размахивает рукавами, лицо без кровинки, рот распахнут, задыхается. Он пересек двор их дома, двинулся к крыльцу. Что-то стряслось! Что-то страшное!

А отец с матерью продолжали говорить о Гринченко, о том, как удачно тот «выскачил из болезни».

Дверь распахнулась без стука, бледный, потный Никита Богатов обессиленно привалился скулой к косяку.

— Вера Николаевна!

— Что?..

— Ножом...

И Дюшка все понял, Дюшка закричал:

— Минь-ку-у!

— Да, Миньку... ножом. И нож-то наш... Не знаю и что?..

— Санька — Миньку! Санька — Миньку!!

— Дюшка, помолчи! Где он?

— В больницу повезли... Я к вам... Спасите, Вера Николаевна!

— Санька — Миньку! Мама, спаси Миньку! Спаси, мама!!

## 22

Они вдвоем сидели у телефона, ждали звонка из больницы. Дюшка объяснял отцу, как кухонный нож Богатовых оказался в руках Саньки:

— Я говорил Миньке: не смей, не бери! А он мне — Санька убьет, только железом спасусь. Ну, Санька и отнял у него нож этот и этим ножом... У Миньки любой бы отнял. Минька мухи не обидит.

— Черт! — Отец это слово произнес без своей обычной энергии, даже с тоской. Он сейчас как-то присмирел, не расхаживал по комнате, не пинал стулья, сидел напротив Дюшки, приглядывался к нему с непривычным вниманием. — Ты говорил: Санька лягуш убивал? — спросил он.

— Лягуш убивал, кошек мучил.

— Зачем?

— Так просто. Нравилось.

— Нравилось? Больной он, что ли?

— Что ты, пап. Здоровый. Здоровей Саньки только Левка Гайзер, он на турнике «солнце» крутит.

— Так почему, почему он ненормальный такой? Нравилось...

— Да нипочему. Таким родился.

— Родился?.. Гм... У Саньки вроде родители нормальные. Отец сплавщик как сплавщик, честно ворочает лес, выпивает, правда, частенько, но даже пьяный не звереет. Ни кошек, ни собак, ни людей не мучает.

— Пап, и Левка же Гайзер тоже на своего отца не похож. Левкин отец за жизнь, наверно, ни одной задачи не решил.

— Гм, верно. Обидней всего, Дюшка, что этого уroda еще и оправдать можно.

— Саньку? Оправдать?

— Видишь ли, получается, твой Минька против Саньки запасся ножом заранее, с умыслом. И наверно, он в драке выхватил этот нож. А Санька безоружный. Выходит, что Санька защищался, а напал-то Минька.

Дюшка обмер от такого поворота.

— Пап, Минька и мухи... Пап! Кто поверит, что Минька — Саньку?..

— Верят, сын, фактам...

Факты... Дюшка часто слышал это слово. Отец, мать, учителя проносили его всегда уважительно. Факты — ничего честней, ничего неподкупней быть не может. Это то, что есть, что было на самом деле, это — суцая правда, это — сама жизнь. И вот суцая правда несправедлива, сама жизнь — против жизни, защищает убийство. Так есть ли такое на свете, чему можно верить до конца, без оглядки? Все зыбко, все ненадежно.

Дюшке было лишь тринадцать лет от роду, он не дорос до того, когда невнятные мысли и смутные опасения облекаются в отчетливые слова. Он не мог бы рассказать, что именно сейчас его пугает — слишком сложно! — он лишь испытывал подавленность и горестную растерянность. И отец, его взрослый, сильный отец, который смог подняться над поселком огромный многотонный кран, помочь ему был бессилен. А хотел бы, страдает, тоска во взгляде. Что-то есть сильнее отца, что-то без имени, без лица — невидимка!

— Пап,— произнес Дюшка сколовшимся голосом,— неужели Саньке будет хорошо, когда он вырастет?

Отец поднял голову, озадаченно уставился на сына, и зрачки его дрогнули.

— Если Саньке хорошо, мне, пап, будет плохо.

И отец медленно встал со стула, распрямился во весь рост, шагнул вперед, взял в широкие теплые ладони запрокинутое вверх Дюшкино лицо, с минуту вглядывался, наконец сказал:

— Да... Да, ты прав. Этого не должно случиться.

— Пап, Минька не виноват, если даже и факты... Все, все пусть знают.

— Да... Да, ты прав.

Они оба вздрогнули — разлиристо зазвонил телефон. Отец рванулся от Дюшки, схватил трубку:

— Слушаю!.. Так... Так... Кровь?.. А родители?.. Не могут. Как же так, они родители, а кровь не подходит?.. А-а... Ну, хорошо, Вера, ну, хорошо. Я передам, я все ему передам.

И положил трубку обратно.

— Дело обстоит так, Дюшка: твоему Миньке надо переливать кровь. Ни мать, ни отец дать кровь не могут. Родители, а не могут, бывает такое. И тут Никита Богатов оказался неподходящ...

— Я дам кровь Миньке! Я!

— Дает кровь твоя мать. После этого ее сразу из больницы не выпустят. Так что нам надо ждать ее только к утру.

— Я знаю, знаю — мама спасет Миньку!

— Спасет, будь спокоен. Санькам — хорошо! Ну не-ет!.. За Минькой твоим будут следить во все глаза. Его мать оставили в больнице на ночь.

— А Минькин отец?

— Отправили домой. Нельзя же всей семьей торчать в больнице.

— Пап!.. Пап, ему плохо.

— Да уж можно себе представить.

— Пап, я сбегая, позову его сюда.

— Зачем?

— Ему плохо одному, пап. С нами будет легче. Я сбегая, можно? Отец снова с прежним серьезным вниманием с минуту разглядывал сына, наконец сказал:

— Зови. А я тут пока чай организую.

За столом встретились два отца, более несхожих людей в поселке Куделино, наверное, не было.

Отец Дюшки — его побаиваются, его уважают, в нем постоянно нуждаются, все время его ищут: «Был здесь, куда-то ушел». Он заседает, он командует, перебрасывает, ремонтирует, ругается, хвалит, отчаивается, обещает надбавки: Федор Тягунов-старший — человек, распахнутый для всех.

Отец Миньки никем не командует, ничем не распоряжается, больше беседует сам с собой, чем с другими, он и всегда-то пришиблен, а сейчас — лицо серое, глаза красные, в расстегнутом вороте рубашки видна выпирающая ключица, хрящевато-тонкая, жалкая, по ней видно, какой он весь ломкий, жидко склеенный, особенно рядом с ширококостным, плотно сбитым Дюшкиным отцом.

Никита Богатов не сразу согласился идти с Дюшкой. Дюшка его застал в пальто, сгорбившимся за столом. Он с трудом оторвал от пустого стола взгляд, уставился красными глазами на Дюшку, долго не понимал, чего от него хотят, наконец понял, спросил:

— Зачем?

Дюшке было трудно объяснить, зачем он зовет его к себе.

— Папа просит... попить чаю.

Никита Богатов глядел на Дюшку, помигивал красными веками, наконец тихо продекламировал:

В огне и холоде тревог —  
Так жизнь пройдет. Запомним оба...

И вдруг передернулся лицом, плечами, словно проснулся, заговорил захлебываясь:

— Не слушай меня, мальчик. Я клоун, я паяц! Я живу чужими мыслями, чужими словами. Живу невпопад. Меня не стоит жалеть.

— Мама спасет Миньку, мама обязательно спасет! Она кровь свою дала.

Минькин отец заволновался:

— Да, да, меня зовут. Меня не часто зовут, а я по привычке паясничая, строю из себя непонятого гения.

— Идемте.

— Да, да... Я благодарен. Не помню, когда меня звали к себе.

И вот отец Миньки сидит напротив Дюшкиного отца. Дюшка вместе с ними за столом.

Дюшкин отец косится на горящегося Никиту Богатова с опаской, начинает с неуклюжей осторожностью:

— Странная ты личность, Никита. Я не говорю плохая — странная.

— Не стоит со мной церемониться, Федор Андреевич.

— Церемониться не собираюсь, но и зря обижать не хочу. Кто ты? Для меня загадка. Образован, начитан, умен ведь, а поставить в жизни себя не сумел. Пружина в тебе какой нет, что ли?

— Пружина есть... То есть была пружина, но шальная, которая заводит не силы, не энергию, а самомнительность.

— Самомнительные-то обычно выбиваются выше, чем им следует, а ты, прости уж, сколько тебя знаю — камешком ко дну идешь. В областной газете работал — бросил. Почему?

— Из-за самомнительности.

— Гм...

— Быть газетным поденщиком, править статьи с силосе, о навозе — нет! Мне же «угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинут», мне свыше предназначено «глаголом жечь сердца людей». Газета — смерть для возвышенной души. Надо жить в гуще простого народа, черпать от него вдохновение. Я убедил жену, я забрал свои тетради, заполненные рифмованной пачкотней, и появился у вас в Куделине. А дальше?.. Дальше вы и сами видели. На сплаве выкатывать бревна слаб, сунулся в контору... Камешком ко дну. Хотя нет, барахтался и пачкал бумагу, рифмовал, заведенная пружина действовала: «Глаголом жги сердца людей!» Я любил чужие глаголы и рассчитывал — кто-то полюбит мои, боялся признаться: мои глаголы сыры, серы, стерты, любить не за что.

Богатов говорил мечущимся, срывающимся голосом, при каждом признании весь передергивался от отвращения к себе. Дюшкин отец слушал его с откровенным недоумением, почти с испугом.

— А может, все-таки... — произнес он неуверенно.

Никита Богатов перебил его кашляющим смехом:

— Вот-вот, а может, все-таки я талант. Я... я убаюкивал себя этими словами много лет. И себя и жену... Камешком ко дну. Но если б я только один камешком, но ведь и ее и сына... Они же связаны со мной. Я любил ее: складки ее платья, движение ее бровей, звук ее шагов, ее улыбку, ее усталость! Весь мир несносен, единственная радость — она. Радость и боль! И ее я топил!..

Дюшкин отец крикнул и почему-то виновато глянул на Дюшку, а Никита Богатов продолжал мечущимся голосом:

— И рассчитывал на чудо — меня вдруг признают, ко мне придет слава, почет, деньги. Все положу к ее ногам. Писал в последнее время только о ней, только ее славил — сонеты, элегии, письма в стихах. И надоел, надоел ей до тошноты. Она-то давно открыла, что я за глагольщик. И неприязнь ко мне, сперва скрытая, потом откровенная, наконец воинственная. И унылая контора, жалкая зарплата делопроизводителя, сын без зимнего пальто... А у нее появляется мания, идея фикс — побывать раз в жизни на юге, увидеть море...

— Дадим путевку! — вскинулся Дюшкин отец, наконец-то почувствовавший, что чем-то может помочь.

Богатов отмахнулся вялой, бескостной рукой, голос осел, перестал метаться — глухой, тусклый:

— Вчера... с Минькой... Меня словно молнией шарахнуло, очнулся: прячусь от правды — бездарь, ничтожество, эдакий литературный наркоман... Хватит! Хватит!

— Что — хватит? — подобрался Дюшкин отец.

— Хватит тянуть камнем.

— Это верно.

— Пора освободить их от себя.

— То есть как это — освободить?

— Не все ли равно — как.

Дюшкин отец навалился грудью на стол, звякнули чашки.

— Опять?! — с придыханием.

— Что — опять, Федор Андреевич?

— По-новому угорел. Тогда — к вершинам славы, а теперь в пропасть вниз головой. А может, в середине зацепишься, с головы на ноги встанешь, по ровной земле походишь?

— Ходить по земле, надоедать людям своей особой, уверять себя, что исправлюсь?.. Э-э, Федор Андреевич, зачем же тянуть песню про белого бычка?

— Испакостил бабе жизнь и бросаешь, а еще — складки платья, усталость даже... И не просто, а с форсом — мол, вот я какой самоот-

верженный, вниз головой, помните и страдайте. А так и будет — станут помнить, станут страдать! Сукин ты сын, Никита!

Никита Богатов беспокойно задвигался, казалось, стал что-то искать вокруг себя.

— Но что?.. Что?.. На что я способен? Только на это. Ни на что другое!

— Эт-то, друг, мы еще посмотрим. Виноваты — мимо глядели. Увидели, теперь возьмемся. Я возьмусь! Я из тебя человека сделаю!

И Дюшка насторожился. Он сидел, молчал, слушал, внимательно слушал. Последние слова отца — «человеком сделаю» — напомнили ему слова матери: «Наш отец любит ковать счастье несчастным на их головах. Не заметит, как человека в землю вобьет от усердия». Как бы нечаянно отец не вбил в землю Минькиного отца.

— К делу тебя приспособлю. Наше дело грубое, древесное, славы не отваливает, зато жить дает. Я тебя суну туда, где некогда будет в мечтаниях парить — шевелись давай! Я и с женой твоей по-крупному поговорю...

— Только не это, Федор Андреевич!

— Молчи уж! Право слова потерял!

— Не трогайте ее, Федор Андреевич!

— Не бойсь, плохого не сделаю!

— Пап! — подал голос Дюшка.

— Э-э, да ты тут! Ты еще не спишь?

— Пап! Тебя просят — не делай!

— А ну спать! Здесь разговоры взрослые, не твоего ума дело!

— Я лягу, пап, только слушай, когда просят. Ты и с мамкой так — она просит, ты не слышишь.

— Ты — что? Просит — не слышу. Не приснилось ли?

— А помнишь, мамка жаловалась, что ты ей всего-навсего один раз цветы подарил?.. Это ж она — что!.. А ты не понял.

Негодование — вот-вот взорвется! — затем досада, остывающее недовольство, наконец смущение — радугой по отцовскому лицу.

— Ладно, Дюшка, ложись. Мы тут без тебя решим, — сказал отец.

Дюшка поднялся, подошел к Богатову:

— Если Миньке еще кровь нужна будет, тогда я дам.

— Хороший у вас сын, Федор Андреевич.

— Минька лучше меня, — убежденно возразил Дюшка.

Раздеваясь в соседней комнате, Дюшка видел в раскрытую дверь, как его отец сел напротив Богатова, положил ему на колено руку, заговорил без напора, деловито:

— Мне крановщики нужны. Работа непростая, но платят прилично. Учиться тебя пошлю на курсы, три месяца — и лезь в будку. А то ходишь, шаридь, себя ищешь...

Отец все-таки хотел сделать несчастного Никиту Богатова счастливым — сразу, не сходя с места.

Дюшка еще не успел уснуть, когда отец, проводив гостя, подошел, склонился, зашептал:

— Слушай: мне сейчас нужно уехать. Не откладывая! Спи, значит, один. А я утречком постараюсь поспеть до прихода матери.

Но мать пришла раньше.

Дюшка проснулся оттого, что услышал в соседней комнате ее тихие шаги, ежеутренние, уютные шаги, опрокидывающие назад время, заставляющие Дюшку чувствовать себя совсем-совсем маленьким.

Он выскользнул из-под одеяла:

— Мама!



Мать еще не сняла кофты, ходила вокруг стола, не прибранного после вчерашнего чаепития двух отцов и Дюшки.

— Мама! Как?..

У матери бледное и томное лицо — обычное, какое всегда бывает после ночных дежурств. Не видно по нему, что она отдала свою кровь.

— Как, мама?

— Все хорошо, сынок. Опасности нет.

— А была опасность?

— Была.

— Очень большая?

— Бывает и больше... Где отец?

— Он уехал, мам. Еще вечером.

— Куда это?

— Не знаю.

Мать постояла, глядя в окно на большой кран, произнесла:

— Опять у него какую-то запань прорвало.

— Не говорил, мам. Не прорвало.

Мать загляделась на большой кран.

— Тебе нравится, когда тебя хвалят? — спросила она.

— Да, мам.

— Мне тоже, Дюшка... Почему-то мне хотелось, чтоб он сегодня похвалил меня... и погладил по голове.

— Ты же не маленькая, мам.

— Иногда хочется быть маленькой, Дюшка, хоть на минутку.

Пришла Климовна, гладко причесанная, конфетно пахнущая земляничным мылом, принялась охать и ахать насчет Саньки:

— Не хочет собачья нога на блюде лежать, так под лавкой навается.

О Миньке на этот раз она ничего плохого не сказала, ушла на кухню, деловито загремела посудой.

По улице зарычали первые лесовозы. День начинался, а отца все не было. Мать ходила из комнаты в комнату, не снимая с себя рабочей кофты. Дюшка думал о ее словах: хочется быть маленькой и чтоб отец погладил ее по голове. Думал и смотрел в окно, ждал отца, который так нужен сейчас матери. Климовна собирала на стол завтрак, и Дюшке пришлось оторваться от окна.

Отец вырос на пороге с каким-то газетным пакетом, который бережно держал перед собой обеими руками. Он улыбался так широко, радостно, что заулыбался и Дюшка.

— Вот! Держи! — Отец шагнул к матери и опустил на ее руки невесомый пакет.

Мать заглянула под бумагу и — порозовела.

— Откуда?

А отец светился, притоптывал на месте, глядел победно.

— Откуда?..

— Ладно уж, похвастаюсь: ночью в город сгонял на катере...

— Так ведь и в городе не достанешь ночью-то.

— А я... — Отец подмигнул Дюшке. — Я с клумбы... Милиции нет, я раз, раз — и дай бог ноги!

До города по реке было никак не меньше ста километров, не удивительно, что отец опоздал.

— Mam, что там?

Она осторожно освободила от мятой газеты букет — нервно вздрагивающие цветы, белые, с узорной сердцевинкой. И Дюшка сразу понял — нарциссы! Хотя ни разу в жизни их не видел. Нарциссы не росли в поселке Куделино, а когда отец дарил их матери, Дюшки не было еще на свете.

Самым знаменитым человеком в поселке вдруг стал... Колька Лысков. Его теперь останавливали на улице, вокруг него тесно собирались взрослые, слушали раскрыв рты. Колька Саньке не помогал, Колька вообще Саньке никакой не друг, не приятель, он даже на дух Саньку всегда не выносил, только боялся его: «Такому — что, такой и до смерти может!» И Колька видел все своими глазами, как Санька Миньку... Колька любил смотреть драки, сам в них никогда не влезал, это знали все ребята. И Колька взахлеб рассказывал, поносил Саньку, хвастался, что его, Кольку, вызывали на допрос в милицию, что он там честно, ничего не скрывая, слово в слово...

Колька стал знаменит, но силы у него от этого не прибавилось, а потому он начал соваться к Дюшке то на перемене, то по дороге из школы:

— Дюшка, а у меня леска есть заграничная, право слово... А хочешь, Дюшка, я для тебя у Петьки старинный пятак выменяю?.. Дюшка, а Санька-то тебя боялся, право слово, я зна-а-аю!

Саньку теперь, должно, уберут из поселка, Дюшка будет первым по силе среди ребят улицы Жан-Поля Марата. Не считая, конечно, Левки Гайзера.

Дюшка гнал от себя Кольку:

— Уходи, макака, по шее получишь!

Колька послушно исчезал, но зла не таил, все равно славил Дюшку: «Честный, храбрый нет никого... Один против Саньки!»

Дюшке разрешили навещать Миньку в больнице. На больничной койке укрытый до подбородка Минька казался почему-то большим, почти взрослым, вовсе не таким шкетом, каким он выглядел на улице. Быть может, потому, что из-под одеяла выглядывала лишь одна Минькина голова, а она крупна, еще и потому, что Минькино узкое, с протупающими косточками лицо сильно изменилось.

— Минька,— сказал ему Дюшка при первом же посещении,— мы с тобой теперь братья, в нас одна кровь течет.

Как-то на улице подошел Левка Гайзер, в легкой тенниске, мускулистые руки уже прихвачены загаром, под гнутыми ресницами смущение.

— Давай, старик, что называется, выясним отношения. Лично меня гложет совесть, что я у директорши рассказал о твоём кирпиче. Вроде бы донес, съябедничал.

— А мне, Левка, совесть и совсем покою не дает — ни за что ни про что тогда тебе заехал.

— Все ясно, старик... Я тут над твоими кошачьими секундами думал. Что-то в биологии со временем путаница. Медведь и лошадь примерно поровну живут на свете. Но медведь целые зимы спит. А когда спишь, время сжимается, исчезает даже. Выходит, что у лошади больше времени в жизни, чем у медведя. А если на людей перенестись... Я случайно узнал, что бабка Знобишина в один год с Эйнштейном родилась. Эйнштейн умер, бабка живет, наверно, еще не один год протянет. Сравни их время. Тут уж такая относительность — с ума сойдешь. Вот бы разобраться, найти общий закон.

— Левка, ты что? Ты же бесконечность хотел искать, чтоб люди по второму разу жили.

— Что-то я стал остывать к этой проблеме, Дюшка.

— Да как можно, Левка? Важней этого ничего нет!

— Что-то меня отталкивает, старик. Механистично уж ~~очень~~.

— Механистично!.. Да плевать! Зато важней ничего ~~нет~~ на свете! А я тут, Левка, такое открыл... — И Дюшка запнулся, но только на

секунду: была не была, сказал же Миньке, скажет и Левке.— Открыл, что одна девчонка на жену Пушкина похожа!

— Ну и что?

— Как это что, Левка? Может, она второй раз... Может, она в первую-то жизнь женой Пушкина...

— Ерунда,— серьезно возразил Левка.

— Ты и про кошкины секунды говорил — ерунда. А теперь из-за них важную для людей проблему бросаешь.

— Я же тебе тогда объяснял — бесконечность нужна. А жена Пушкина и всего-то сто лет назад жила — мгновение!

— Сто лет — мгновение? Ну уж!

— Рядом с бесконечностью и тысяча лет мгновение и миллион!

— Все равно вдруг да... атомы, долго ли им. Разве не может такого?

Левка замялся, кисленько замямлил:

— Теоретически, конечно, не исключено. Но уж слишком мала вероятность. Ничтожна.

— Ага! Все-таки может! — восторжествовал Дюшка.

— Теоретически можешь ты вдруг ни с того ни с сего в воздух подняться.

— Ну, это совсем не то.

— То. Вероятность примерно такая же... Кто эта девчонка, если не секрет?

Дюшка ждал этого вопроса и боялся его. И все-таки он застал его врасплох, кровь ударила в лицо, пришлось поспешно отвернуться. «Если не секрет?» Не назови — не знай что подумает. Левка не Минька, не отмахнешься. И Дюшка сказал в сторону, хотел как можно равнодушной, но не получилось — сорвался предательски голос:

— Римка... Братенева.

— А-а.— Голос у Левки не дрогнул.— Нет, Дюшка. Римка — женой Пушкина... Нет. Девчонка как девчонка.

Стало вдруг просто скучно. «Девчонка как девчонка» — обидел Римку. Лучше бы самого Дюшку. Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой — красивый парень Левка Гайзер. Красивый и очень умный.

А между тем весна шла. Полностью распустились листья на деревьях. Кончились в школе занятия. Миньке в больнице разрешили подниматься с койки, выходить во двор.

Белые нарциссы давным-давно завяли и засохли.

Дюшка вырвал из сочинений Пушкина портрет Натальи Гончаровой, повесил над койкой. Скорей всего Левка прав: Римка не жила сто лет назад, не умирала, и родилась, как все, и, наверное, как все, проживет всего одну жизнь. Как все, но какое это имеет значение?

Он по несколько раз в день встречал Римку, и всегда у него обрывалось сердце... По несколько раз каждый день .

Случилось невероятное. А может, это и должно было случиться рано или поздно.

Дюшка первый раз в году выкупался. Река еще не прогрелась, и Дюшка в прилипшей к телу рубашке, с мокрой головой бежал с берега бодрой рысцой, старался согреться. И наткнулся на нее. Она стояла на тропе, ковыряла носком туфли землю. Нельзя же было проскочить мимо, словно не заметил, да и ноги вдруг перестали слушаться.

Дюшка остановился, она подняла голову, и глаза их встретились. У нее от ресниц падала прозрачная тень, и румянец на щеках какой-то глубокий, пушистый, и колечками волосы у нежных висков.

Она спросила:

— Вода очень холодная?

— Не очень.

— А почему ты дрожишь?

— Не от холода.

— Отчего?

Сам для себя неожиданно он сказал:

— Оттого, что тебя вижу близко.

Она несколько не удивилась, она только опустила ресницы, спрятала под ними глаза. Мягкие тени падали от ресниц, рдел румянец, тронутый незримым пушком, замерли приоткрытые губы. Она ждала, что скажет он дальше, готова слушать затаив дыхание.

И он говорил трудным, горловым, спотыкающимся голосом:

— Римка... я... я... никуда от тебя не могу спрятаться... Я... я... тебя... люблю, Римка.

Тенистые ресницы, застывшее лицо, она слушала, но не собиралась помогать барахтающемуся Дюшке. И Дюшка бросал ей горловые, измятые слова:

— Я знаю, что ты... Что Левка... Я это знаю, Римка... Левка хороший парень. Очень!! Он лучше меня... знаю...

И по ее отстраненному, замороженному лицу прошла смутная волна.

— Если хочешь знать, я даже рад, Римка... потому что не кто-нибудь, а Левка... Умней его — никого... Рад, что он...

Он вдруг почувствовал, что его несвязная речь походит на заевшую пластинку, и замолк, уставившись на Римкины ресницы.

А над их головами, над рекой, играющей вдребезги расколотым солнцем, плавала чайка, манерно — и так тебе — и эдак! — выламывала крылья, одна в синем океане, капризная от обилия свободы.

Римка ковырнула носком туфли землю, выдохнула:

— Он меня — нет...

— Кто, Римка? Левка, Римка? Тебя, Римка? Нет?

Чуть-чуть кивнула, чуть громче с тоской выдавила:

— Он только книжки свои любит.

Под опущенными ресницами родилась колючая искорка, поиграла робким лучиком и освободилась от плена — прозрачная капелька, хотя ползущая по глубинному, опущенному румянцу.

Слеза не по нему. Слеза пролита по другому — счастливцу, не осознающему своего счастья. Хоть кричи! И он еще не успел сказать ей, что она похожа на красавицу Гончарову — «чистейшей прелести чистейший образец». И неизвестно, просто ли похожа, обычна ли? Не из глубины ли времен она? Не из тех ли, кому из века в век изумлялись поэты?

Над головой дыбилось оглушающе синее небо. В синеве белым лепестком поигрывала свободная чайка. В стороне, судорожась в веселой лихорадке, до рези в глазах сверкала река. Лезла из-под земли умытая зелень. Прекрасный мир окружал Дюшку, прекрасный и коварный, любящий играть в перевертыши.



---

---

ЭДУАРД БАБАЕВ

★

## ИЗ ТЯНЬ-ШАНЬСКОЙ ТЕТРАДИ

### ГЛИНЯНЫЙ ГОРОД

Прославим эти глиняные чаши,  
Извечное изделие гончара!

Они стоят на деревянной полке,  
Они лежат в походном сундуке.  
Их берегут оседлые хозяйки,  
Кочевники их тоже берегут.  
А на крутых боках больших кувшинов  
Две-три полоски — бесконечный круг.  
Как хочешь поворачивай на солнце  
Каленый, чистый глиняный сосуд.  
В его зернистой глубине прохладно,  
Прозрачна ледниковая вода.

А вечером в тени большой чинары  
Присядешь отдохнуть среди двора —  
Увидишь целый город на закате,  
Извечное изделие гончара.

### В ГОРАХ

В слюдяных горах затаенный,  
По уступам над домом дом,  
Город глиняный и зеленый,  
С белым аистом над прудом.  
Попивают чаек из блюдца,  
А на улице благодать!  
Двум машинам не разминуться,  
Только всаднику проскакать!

Ах, фаянсовые пиалы,  
Чаепитие у воды!  
Только глиняные дувалы,  
А за ними шумят сады.  
Чистым звуком наполнит глину  
И настроит на новый лад...  
Белой лапой крутит турбину  
Электрический водопад.

Наклоняется ветвь ореха.  
На столбах гудят провода.

Громче песен и легче смеха  
Через камни летит вода.  
И открыт с высоты балконной  
Весь Тянь-Шань с вековечным льдом.  
Город глиняный и зеленый,  
С белым аистом над прудом.

\* \*  
\* \*

Тележная поскрипывает спица.  
И лошади ступают тяжело.  
Смотри —  
В полете неподвижна птица,  
Не дрогнет распростертое крыло.  
А с гор до облака подать рукою.  
И небо начинается в лесах.  
Движение,  
Достигшее покоя,  
И есть полет —  
Вот птица в небесах.  
Дорогу в гору  
Не возьмешь с разгона!  
И валуны,  
И камушки-гольцы...  
И сам возница  
Хлебного фургона  
Ведет своих лошадок под уздцы.  
Тележная поскрипывает спица.  
И лошади ступают тяжело.  
А птица что?  
На то она и птица,  
Что у нее гулящее крыло...



*НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ*

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА

★

НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Этот пейзаж кажется нереальным, каким-то инопланетным, что ли. Нет нашего земного, такого милого, голубого неба — вместо него колышется густая желтоватая пыльная мгла. Сколь ни ищи, не отыщешь взглядом ни клочка зелени, ни осеннего багрянца — редкие деревья и кустарники покрыты тем же серо-желтым налетом. Не видать привычных глазу сентябрьских полей — светлых пажитей, черной зяби, соломенных скирд, стогов сена. Все вокруг перерыто, вздыблено, искорежено. То перед тобой гигантский котлован, то узкая, тянущаяся невесть куда траншея, то высокие горбатые гребни или курганы вынутого грунта. И повсюду — трубы, великое множество труб от толстенных, куда свободно, разве чуть пригнувшись, войдет человек, до самых маленьких; они лежат прямо на жухлой траве, виднеются в глубине зияющих траншей, убегают вдаль по высоким эстакадам. И повсюду длинные шеи кранов, будто неведомые чудища, выглянув из недр, медленно, удивленно озирают окрестности.

Первозданный хаос? Начало начал?

...Стоит взглянуться как следует — и начинаешь постигать в этой беспорядочности определенный порядок. Начинаешь среди только заложенного или просто намеченного вешками различать и почти готовое и уже завершенное: здесь ажурная арматура заводских корпусов, там корпуса, до пояса, а то и до самой крыши одетые в стекло и бетонные плиты, там стройная труба ТЭЦ.

А дальше, далеко за промышленной зоной, на холме, — что это там виднеется, едва различимое в тучах пыли? Эти легкие, как паруса, эти белые разновеликие прямоугольники?

— Да город же! Наш новый город! — с молодой восторженностью восклицает мой спутник, местный журналист. — И все это, — его широкий жест охватывает и неоглядную, в сто квадратных километров строительную площадку, и прекрасный город за нею, — все это меньше чем за три года! И все — буквально на пустом месте!

На пустом?!

От корпуса серого и ковкого чугуна до деревни Новые Гардали рукой подать. В недалеком будущем подсобные службы литейного комплекса займут место этой деревни. Уже сейчас, плавно изгибаясь, насыпь железной дороги подходит к деревенским огородам, опирается в жиденькие заборчики. Упирается, но не может перешагнуть через них. За заборчиками — дома. В домах — люди.

...В тихий предзакатный час, возвращаясь с работы, трое мужчин останавливаются у одного из крайних подворий, смотрят с опаской и тоской на глинистую насыпь, вопросительно, со слабой надеждой — друг на друга.

— Ну, как?!

Трое мужчин, трое друзей, родились и выросли на этой улице, в одно лето — трудное военное лето, — разом повзрослев, вышли на колхозные полевые работы, в одну осень призывались на действительную, одной зимой сыграли свадьбы. Жили надежно, солидно, основательно — уважаемые люди в своем колхозе, почитаемые отцы семейств.

И вот уже который год как исчезла из их жизни надежность и основательность, который год ждут они неминуемого переселения, не зная, когда переезжать и куда. Был слух: построят для гардалинцев новый поселок, — но где он? Был слух: не ожидая нового, всем, чьи дворы мешают строить дорогу, дадут городские квартиры...

Сегодня, как обычно, друзья сошлись после работы. Худой голубоглазый тракторист говорит, предвеляя вопросы:

— Меня предупредили: в октябре будут сносить. Теперь уже окончательно. Плотный, широколицый токарь обреченно кивает головой:

— Меня тоже.

Маленький белозубый завскладом улыбается с видимой беспечностью:

— А меня «обрадовали»: ты нам пока не мешаешь. Только забыли спросить, мешают ли они мне!

— Мне заявление велели подать, что в город хочу переселяться, — продолжает голубоглазый. — Думать, говорят, больше нечего, надо решать...

— Мне тоже, — кивает его неразговорчивый приятель.

— А что решать-то? — с горячностью не других — себя спрашивает голубоглазый. — Что решать?! Сколько лет жили, сколько зарабатывали — все в дом, в хозяйство вкладывали. А теперь — хоть сожги, хоть так бросай...

— Да уж, — вздыхает неразговорчивый.

Голубоглазый, не слушая, выливает свое, наболевшее:

— Отцы, деды, прадеды... Сами с малых лет все на земле, все для земли, все от земли... А тут вознесут тебя на какой-нибудь десятый этаж...

— И станешь ты небесный житель, — шутит маленький, белозубый.

— Вот именно что небесный. С нашими-то семьями в город — все равно что на улицу. Сам-восьмой, а ни молока своего, ни овоща... Курицу и ту с собой не возьмешь...

— Ты хоть петуха захвати на память. Скажешь соседям: вместо будильника...

— Тебе все смех, — обижается голубоглазый.

— Плачь не плачь, переселяться надо. Она не станет ждать...

Все трое устремляют взгляд на стройку: голубоглазый — укоризненно, неразговорчивый — с усталой покорностью, белозубый — с веселым интересом, пожалуй, даже с вызовом, им самим до конца не осозанным.

Подходит высокий, гибкий, как лозинка, учитель начальной школы. Его дом тоже сносится в октябре, а в доме ни много ни мало двенадцать душ. Старшие, правда, уже определились: брат кончит в Казани медицинский институт, получит назначение в Набережные Челны, его жена уже там, работает в заводской столовой; сестра учителя тоже устроилась официанткой, ее муж — геолог на КамАЗе, от своего предприятия и квартиру будет получать. А учитель с матерью и младшими ребятами пока в растерянности: в город податься или здесь где-нибудь переждать, а потом вместе со всей деревней переехать на новые места?

Голубоглазый успокаивает его:

— Тебе чего бояться? Ты молодой, образованный и в городе быстро приспособишься.

— Конечно, и в городе без работы не останусь, — говорит учитель. — Так ведь семья. Большая была семья, дружная, а теперь... — Он долго ищет нужное слово, наконец находит: — А теперь расплзается...

...Расплзаются семьи... Пока еще — в тесноте, да не в обиде — держатся в отчих домах, а снесут дома?!



Мария Матвеевна смотрит на сыновей: красавцы, богатыри, на сабантуях в национальной борьбе всегда выходили победителями. Ждала их после военной службы, одного из Владивостока, другого из Североморска, думала: переженно, поселю поблизости, чтобы внуки росли на глазах — и тебе радость и для детей подмога... А сыновья, прежде такие послушные, шага без нее не делавшие, узнав о великой стройке на Каме, списались друг с другом и явились с комсомольскими путевками: поздравь, мама, будущих автозаводцев!

Она аж охнула: как же? И совета не спросили? А парни обняли ее, заглядывают в глаза, говорят наперебой:

— Ты что, мам? Ударная стройка, люди со всех концов страны приезжают, а мы? Хуже других, что ли? Ну, брось, мам, ну, улыбнись, ты же у нас сознательная! Ты же у нас передовая! Ты же у нас самая-самая-самая!..

Хитрецы, знают, какую струнку задеть!

Да, она тоже не ждала, когда ее позовут, сама просилась на трудные участки. Как в четырнадцать лет начала работать в общественном хозяйстве... Это в общественном в четырнадцать. А в семье, куда ее взяли малюткой из детского дома, вслед за ней пошли свои дети один за другим, и, едва научившись ходить, превратилась Мария в неусыпную няньку. После этого никакой труд не казался ей тяжелым — и конюхом была, и овечьи отары пасла, и коров доила. А когда после войны свиноводческую ферму решили создавать, зашумели колхозные девчата и молодые вдовы: «Не хотим с чушками возиться! И так женихов мало, а этой воничей последних отпугнешь»... Мария, Маня, в ту пору тоже совсем молодая женщина, встала и сказала: «Что ж, ладно, я пойду».

И вот уже, считай, четверть века ухаживает Мария Матвеевна за свиноматками, принимает новорожденных поросят, пестует их, беспомощных, холит до двухмесячного возраста, до сдачи на откорм. По 400—500 поросят ежегодно проходит через ее руки.

У нее много наград, есть и медали и орден Ленина. Ей бы и дальше жить да жить по-нашему, заниматься своим любимым делом. Но стройка нарушила не только ее семейные расчеты. Под слом идет не только ее уютный дом с такими красивыми резными наличниками на окнах.

В том новом поселке, куда со временем должны перебраться Новые Гардали, не будет больше свиноводческой фермы. Вместо нее собираются строить большой молочный комплекс. Умные люди рассчитали: на свинину теперь спрос небольшой, ее можно, к тому же и выгоднее, в каком-то одном крупном хозяйстве производить, в крайнем случае из других районов завезти. А свежее молоко и овощи КамАЗу никто не даст, кроме окрестных колхозов и совхозов.

Вот такая, значит, получилась специализация. Очень правильная. Очень выгодная для горожан. И для всего государства в целом.

Мария Матвеевна все это прекрасно понимает. Как понимает решение сыновей: пусть строят свой КамАЗ, пусть работают и учатся, пусть выходят в инженеры, коль уж так повернулась жизнь.

Но ей-то в ее теперь далеко не молодые годы, с ее больными руками — опять коров доить? Или учиться огурцы и помидоры выращивать? Ей-то каково все заново начинать?

Свой дом, огород, садик... Своя семья... Своя работа...

Для Александра Ивановича Асанова эти понятия никогда не имели первостепенного, решающего значения. Все, что связано с понятием мое, неизменно, и притом без всякого надрыва, как само собой разумеющееся, отходило на задний план перед нами, общим, а хочешь никогда не вступало в противоречие с нами.

Работал там, куда посылала партия: бригадиром, председателем маленького колхоза, заместителем председателя в укрупненном колхозе, последние десять лет — заведующим свиноводческой фермой.

Работал и радовался: мелкая, убыточная ферма становится крупной, рентабельной. Худопородный скот вытесняется племенным. Деревянные, крытые соломой животноводческие постройки заменяются каменными, под железной крышей. Вот детские ясли открыли. Вот стройматериалы для клуба завезли. Люди строятся, покупают красивую мебель, радиоприемники, холодильники, телевизоры, записываются в очередь на автомашины...

А трудности... Те, что жили на селе, знают, сколько их выпало, особенно в войну и в послевоенное время. Кто-то не выдюжил, сбежал, наглухо заколотив до поры до времени родимые гнезда. Кто-то, оставив семьи подкармливаться на приусадебных участках, бросился на отхожие заработки.

Вот, к примеру, сосед Егор Афанасьевич... Как он нужен был колхозу в ту пору, как нужен! Колхозники тогда первые типовые фермы ставили взамен старых, за войну прогнивших. С октября по март в буран, стужу, распутицу лес на делянках рубили и быками в деревню возили. Мужиков не хватало — баб посылали, подростков. Бригадиров, кладовщиков, счетоводов, хилых и раненых — всех превращали в лесорубов и плотников. А Егор Афанасьевич, плотник первой руки, по шабашкам бегал. Летом шабашил, зимой на печи грелся.

Александр Иванович — он тогда председателем был — так уж просил годка своего и соседа не уезжать, помочь родному колхозу. И уговаривал. И стыдил. Дело прошлое, что скрывать, — и припугнуть пытался. А с того как с гуся вода: «У меня все по закону. Я не тунец какой-нибудь, я районы, пострадавшие от войны, помогаю отстраивать»...

Когда колхоз окреп и в гору пошел, Егор Афанасьевич назад попросился. И приняли его. И не попрекнули (как приняли многих других). Думали: понял человек, осознал, раскаялся.

А он ничего ровным счетом не осознал, ни в чем не раскаялся. Он только за своей личной выгодой гнался. И тогда, когда бросал колхоз. И тогда, когда в него возвращался. Да и теперь, в этот сложный для их деревни, в этот переходный период, он думает только о себе. То все стонал, на болячки сетовал, даже в сторожа отказывался идти, а тут вдруг откуда силы взялись — снова пустился шабашничать. Только теперь не в дальних краях, а в соседних колхозах и совхозах. И не за рублями гонится — ради сента промышляет.

О, он э-ко-но-мист, Егор Афанасьевич! Он соображает что к чему, зачем и почему! У него на дворе сейчас и корова, и бык, и теленок, овец и свиней полно, кур и гусей не перечесать. То, глядишь, бычка государству продаст, то здесь же, в деревне, мясом торгует, благо спрос неограниченный — сколько их, строителей-то, по крестьянским дворам расселилось!

И опять к нему не подкпоаешься — все у него чин чинном, все по закону. Он героев-камазовцев кормит, он помогает решать продовольственную проблему, куда пригородная сельскохозяйственная зона в силу не вошла... Так сказать, сам без пяти минут герой...

У Александра Ивановича, как у многих других односельчан, тоже люди живут. Четвертый заезд уже. Поживут, получат в городе квартиры — и новые на их место. Прямо какой-то шумный интернационал развелся в тихом татарском доме! Жили муж с женой, украинцы, Гриша и Зина, инженеры; потом башкиры Галимзян и Жамиля, он монтажник, она бетонщица; потом чуваш-плотник Николай с женой Раей; теперь русские поселились, Николай и Галя, токарь и официантка. Все ребята молодые, недавно переженались. Что же, Александр Иванович зарабатывать на них станет, обогащаться?! Как говорится, слава богу, в избытке живем, кусками не делим — бери сколько надо, пожалуйста, и картошки и молока. Одно время думал он: трудно им уже со старухой за коровой ухаживать, продать бы корову. Так Анна Яковлевна его даже руками всплеснула: «А гостей наших чем будем кормить?» Да они вроде и не гости уже. Как родные, помочь стараются: воду из колодца принесут, дрова напилят и нарубят, полы перемоют. И все — «дедушка-бабушка», «бабушка-дедушка»... Своих-то внуков не довелось иметь, так вот КамАЗ им внуков подарил...

— Раньше про детей и внуков говорили — богоданные. А эти, выходит,

стройкоданные? — улыбается Александр Иванович, ласково щурит серые, чуть навывкате глаза. — Выйду на пенсию, без работы не останусь: к внукам в гости буду ходить, правнуков дожидаться...

Собственно, на пенсию он мог бы хоть сегодня выйти: и года подходящие и здоровье никудышное. Это и без врачебных справок видно: говорит — задыхается, щеки, как у многих тяжелых сердечников, пунцовым румянцем горят. Но как уйдешь? Кому передашь дело? Кто бы по возрасту, знаниям да опыту мог принять на себя ферму — в город подались, в строители.

Вот и держится Александр Иванович, как солдат на бессменном посту. До переезда в новый поселок. До ликвидации свинофермы.

Все понимает колхозный ветеран: нужен стране Камский автомобильный завод. И люди стройке нужны. Но в глубине души обидно ему, обидно до слез: почему некоторые его соседи не задумываются над тем, что, может, на селе они сейчас во сто крат нужнее? Особенно в пригородных селах. В селах, которым предстоит кормить-поить эту все разрастающуюся громадину.

Даже представить трудно, изумляется Александр Иванович, невозможно даже вообразить, какие себя любуцы есть. Без малейшей сознательности! Трактор в разгар полевых работ остается без тракториста, комбайн без комбайнера — им все нипочем, бросают и комбайн и трактор. Даже не рассчитавшись, не взяв трудовой книжки (колхоз недавно преобразован в совхоз), уходят на стройку. И ведь не юнцы, не за романтикой гонятся!..

Мечтает Александр Иванович, человек куда как не злой и уж, конечно, совсем не мстительный: пройдет время, отстроится, расцветет новый поселок — чудо-поселок, рассказывали им архитекторы. Удобства в нем будут самые современные, городские, а воздух чистейший, деревенский. Лес прямо под окнами, тут же пруд; грибы, ягоды, рыбалка, охота... И потянутся в поселок люди со стройки, может, даже те, кто из других областей на КамАЗ приехал. Проснется, заговорит в них селянская душа...

И будет тогда совхоз принимать работников со строгим отбором — самых трезвых, самых трудолюбивых, мастеров на все руки. А этих вот шатунов, бродяжек, самовольно бросивших своих товарищей, их не возьмут. Не простят их, как в прошлый раз простили. Потому, считает Александр Иванович, если один раз человек свою личную выгоду предпочел, он и в другие разы с общими интересами не посчитается.

У кого-то идут на слом избы и уходят под железнодорожную насыпь дворы. У кого-то «расползаются» семьи. Кто-то на склоне лет должен менять любимую профессию.

У Зии Закировича Закирова своя ломка, свой, как он говорит, сложнейший переплет получился.

Сколько лет (да что там лет — больше двух десятилетий) был Закиров — как бы это правильной выразиться? — собирателем, укрупнителем. Вывел в передовые маленький колхозик в своей родной деревне Азьмушкино — к нему присоединили соседний, еще более захудалый. Этот поставил на ноги — «подкинули» еще один: вытаскивай из прорыва! Тяжеленько было, но ничего, справился, пошел на подъем. Стара пословица, да живуча: кто тянет, на того и валят. Навалили на Закирова четвертый по счету колхоз, в свое время уже укрупненный. Одиннадцать населенных пунктов стало у него, почти тысяча дворов. Вскоре и этот гигантище загремел на всю республику. Да не только на Татарию — в Москве на ВДНХ был представлен, медали и дипломы получал. А трудовые ордена председателю и другим гигантовцам!..

И вот нет больше того «Гиганта». Название, правда, сохранилось, а существо? Сколько земель под стройку отдали, сколько передали совхозу «Камский» (его-то пашни почти целиком оказались под строительной площадкой), да еще «отпочковали» от себя совхоз «Ильбухтинский».

Дело даже не в том, что разделились. И теперь «Гигант» не какая-нибудь

мелкая сошка: сельхозугодий у него более шести тысяч гектаров да живности сколько — и коров, и овец, и свиней, и птицы.

Дело совсем, совсем в другом.

У Закирова преобразается весь совхоз, меняется вся структура хозяйства. К концу пятилетки у него не останется ни свиней, ни овец, ни птицы. К концу пятилетки вместо 500 ему предстоит содержать 1600 дойных коров и, значит, соответственно увеличить производство молока. К концу пятилетки он обязан на 300 гектарах выращивать овощи, которых сейчас насчитывается самая малость.

И все это Закиров должен иметь, содержать, производить, выращивать на совершенно новой базе, на базе того самого поселка, куда предстоит перебраться жителям не только деревни Новые Гардали, но и Старых Гардалей, и Сарайли и Азьмушкина — всех населенных пунктов, составляющих совхоз «Гигант».

Все это он должен делать на базе того чудо-поселка, который добрейший наш и принципиальнейший Александр Иванович уже мысленно заселил одними праведниками.

Того поселка, который...

Впрочем, там мы еще бываем. А пока вернемся к Зие Закировичу. Тем более вернемся, что находится он в состоянии вполне оправданного беспокойства, тревоги о будущем.

Это беспокойство родилось не сегодня.

Еще в июле 1970 года, через три-четыре месяца после расформирования колхоза «Гигант», Закиров писал в вышестоящие организации:

«Наш совхоз должен будет производить овощи и молоко. С нас спрос будет большой. Между тем мы не можем планировать свою работу. Мы не знаем, где и как размещать людей и скот из деревень, подлежащих сносу... Жители этих деревень начали беспорядочно разбегаться... Если и дальше эти вопросы будут висеть в воздухе, мы не сможем дать продукцию и окажемся в плачевном положении... Уже сейчас непременно нужно начать работу, чтобы удержать имеющуюся силу»...

Паника? Перестраховка?

«Старый боевой конь, прошедший огни, воды и медные трубы» — так называют его в районе. «Живая колхозная энциклопедия» — и такое есть у него прозвище. «Последний из могикан, вынесших на своих плечах все наши увлечения, промахи и ошибки в сельском хозяйстве» — и так еще говорят о нем в районных организациях.

Он бил тревогу как мудрый человек, как опытный хозяин, как коммунист, душой радеющий за порученное ему дело.

К делу ведь можно относиться по-разному.

Закиров поведал мне притчу о двух чабанах.

Один заспался-зазевался, проморгал надвигающуюся грозу, попал со своей отарой в град и ливень, а потом, рискуя своей жизнью и жизнью подпасков, вылавливал овец из разлившейся бешеной реки. И был воспет-награжден за смелость и самоотверженность.

Другой, едва затемнела, набухла на горизонте грозовая туча, отогнал свою отару в безопасное место, пересидел с нею за высоким выступом скалы и даже ног не промочил, насморка не заработал. В связи с чем и не был замечен-отмечен современниками, не говоря о потомках.

Тогда, в 1970 году, кому-то действительно казались и паникой и перестраховкой письма Закирова в вышестоящие организации. Кое-кто пожимал плечами: «Что он шнорит коня? Все только начинается»...

Теперь, на третьем году стройки, стало ясно: Закиров не зря шумел, тормозил, торопил, наставлял. Всем это стало ясно.

А Закиров? Нет, он не устал, не сдался. Он еще ухитряется выполнять план по поголовью, по продаже государству мяса, по «валовому» молоку, хотя уже отстает от прежнего своего уровня по надоям и почти не продвинулся вперед с овощами. За снижение надоев его особенно не упрекают — они все же на уровне лучших хозяйств района, об овощах тоже молчат — лето в этом году для овощей

неблагоприятное. Вроде, как прежде, Закиров на хорошем счету. Но он-то, сам-то он доволен ли собой? Разве так он привык работать? Разве когда-нибудь топтался на одном месте? А рывок сделать не в состоянии — руки-ноги связаны, неопределенность на них гирей висит.

Прежде Закиров был убежден, что силы его неиссякаемы, никакая усталость его не брала. А сейчас чувствует: годы свое берут, энергия его где-то на исходе. Есть еще, есть! И приложения жаждет. Но тем более обидно, что прокручивается она как бы вхолостую, не давая должного эффекта.

Порою думает он: а что, если, пока силы окончательно не иссякли, попроситься в любой отстающий колхоз да сделать из него образцово-показательное хозяйство? Или передать кому-нибудь все эти «пустые хлопоты» да уйти на стройку каким-нибудь замом по хозяйственной части — есть уже такие предложения, довольно заманчивые.

Но не всякий человек, далеко не всякий согласен на синицу в руки. Есть ведь такие, которым подавай журавля в небе. Всю жизнь этой, «журавлиной», мечтой живут, ее добиваются.

Сейчас для Закирова такой «журавль» — новый поселок с его современной, предельно механизированной производственной базой, с самым крупным в Татарии молочным комплексом, с поливным, не зависящим от капризов природы овощеводством, с красивыми и комфортабельными домиками. Место для этого поселка он сам облюбовал, и сам же предложил архитекторам окружить Новый яблоневым садом и вдоль улиц и посреди жилых кварталов тоже посадить фруктовые деревья.

Закиров верит: поселок Новый будет! Пусть с досадной, дорогостоящей поддержкой, но будет. И тогда, старый друг-приятель, тогда, дорогой мой Александр Иванович, если мы еще будем живы, мы примем всех, кто к нам попросится. И даже тех, кто сегодня нас бросил в беде. Пусть знают: мы — великодушны. Пусть видят: мы и без них обошлись...

Он и в самом деле хорош, этот поселок, условно названный Новым! Я видела его на кальке, на «синьке» и в макете. Говорила о нем с архитекторами, проектировщиками. И у меня сложилось мнение: его создавали знающие, а главное, увлеченные люди.

В этом проекте, на мой дилетантский взгляд, разумно сочетаются традиции и современность. Без слщающего утрирования традиций и без назойливой «модернухи». Широкие улицы и уютные кварталы с площадками для общения взрослых и для детских игр. Четырехэтажные, двухэтажные многоквартирные дома, коттеджи на двух уровнях и одноэтажные домики с мансардами — все хотя и по типовым проектам, но не однообразно, не уныло и в то же время не эклектично, не собрано «с бору по сосенке». В оформлении зданий не только общественных, но и жилых — элементы национального стиля: парадные витражи и панно, или скромные детали из дерева, или излюбленные народом цветковые гаммы.

Поселок интересно и рационально «организован»: зона «высотных» домов, отдельно зона мансардных домиков, обрамленная, однако, несколькими четырехэтажными и двухэтажными зданиями; нарядный административно-культурный комплекс и торговый центр; в стороне — хозяйственно-бытовая зона с котельной, баней, хлебопекарней; зона отдыха — с лесопарком и прихотливо изгибающимся озером (это запруженная речушка заполнит глубокие овраги), красивая набережная, лодочная станция, стадион.

По линии мелких овражков, перечеркивающих поселок, — фонтаны, водоемы, цветники, прогулочные дорожки.

Поодаль от домов группками, не нарушающими общего облика, — гаражи с боксами для индивидуальных автомашин, аккуратные сарайчики для личного скота и штицы.

А за яблоневыми садами, за широкой полосой дубняка, берез и рябины — производственная зона: молочный комплекс, гараж, ремонтные мастерские и крупное складское хозяйство.

Справедливости ради (и для суда потомков тоже) стоит сказать, что высокое мнение о проекте поселка Новый разделяют не все. Один из крупных строителей — человек многоопытный, выдавший виды, острый на язык — заметил как-то, что Новому, подобно некоторым женщинам, недостает изюминки, шарма: все у них вроде на месте, все как надо, и не дурнушки и не глупышки — и все слишком пресно, обыденно...

Он даже вспомнил по сему поводу саркастические слова Ильфа и Петрова о неких «запоздалых ревнителях славянства», считавших, что нашей стране не нужен автомобиль. Ей, мол, нужно нечто более родимое, нужна автотелега. Крестьянину в такой штуке будет вольготнее...

— Вот это и есть Новый — уже не телега, еще не автомобиль. Будущее, надо думать, подарит нам более смелые творческие решения, — заключил крупный строитель и добавил не без апломба: — Впрочем, в нашей власти самый художочный проект выполнить красиво, сдать как игрушечку.

Этой идеей — сделать поселок красивым, сдать как игрушечку — увлечен и Сергей Иванович Сычев, на которого возложено сооружение Нового.

Сычев — типичнейший строитель из тех, о ком пишут в газетах: непоседа, первопроходец, искатель трудностей, прокладыватель новых путей... Сам он о себе говорит куда проще: помесил грязи. Это значит: всюду начинал с первого колышка, с первого кубометра грунта. Отслужив на Тихоокеанском флоте, вместе с товарищами-морячками прибыл на Братскую ГЭС — «к колышкам и палаткам». Оттуда — на Воткинскую ГЭС, где тоже «только заваривалась каша». С Воткинской — на Камскую, а с коллективом КамГЭСэнергостроя переключился на автозавод.

Годы приносили опыт, знания, более высокие должности: начинал рабочим — дошел до начальника строительного-монтажного управления. Годы, прожитые в глуши, приносили утраты, которых, возможно, могло и не быть в большом, благоустроенном центре: на одной из строек врачи не сумели спасти маленького сына, на другой стройке трагически погибла дочь — красавица, умница...

Может, об утратах и нехватах и не попад. Но ведь они, утраты, не сломили Сычева, не заставили бежать в родное Подмосковье, где ждет его спокойная должность и уютная квартира. Значит, он до мозга костей, до последнего дыхания — Строитель.

Здесь, в Набережных Челнах, он был начальником участка в первом строительном управлении Автозаводстроя. Именно их стройуправление вьюжным февральским днем 1970 года совершило первый на площадке КамАЗа взрыв котлована под фундамент первого административного здания. Именно Сычев строил первую камазовскую столовую и ставил первые вагончики в самом первом поселке строителей, который называли Энтузиаст. Он же сажал первые на строительной площадке деревья и цветы. Потом создавал базы стройиндустрии. Потом возводил один из корпусов литейного комплекса — корпус серого и ковкого чугуна, сам по себе равный большому заводу.

А сейчас Сычев строит Новый.

Собственно, так сказать было бы неправильно. Сычев строит не только Новый. В основном он занимается объектами промышленного назначения, а Новый составляет примерно одну пятую часть от общего объема его работ. Новый на него «навесили». «Ковыряться в земле» он начал в мае 1972 года. Через двадцать два месяца после того, как «запаниковал» беспокойный Закиров. Через два с половиной года после того, как стало известно: переселение деревень неизбежно.

Сычев рассказывал мне: когда он явился к Закирову и сообщил, что ему поручено строить Новый, Зия Закирович не выдержал — прослезился:

— Неужели я все-таки увижу этот поселок?

Будем надеяться, что увидит. И даже вдоволь поживет в нем. Но ждать ему, по всей вероятности, придется долго. Пусть я ошибусь в своих прогнозах — я с радостью и публично признаюсь в своей ошибке. Но такое уж у меня сложилось впечатление. Судите сами.

По плану этого года в Новом необходимо **выполнить** капитальных работ на миллион рублей (из общей сметной стоимости 12—14 миллионов). До сентября — в самые благоприятные летние месяцы! — было освоено 270 тысяч. Сычев клянется-божится, что годовой план он «сделает». Правда, из миллиона рублей 300 с чем-то тысяч «съест» дорога. Временная дорога, не предусмотренная проектом. Заказчики хмурятся: дорога не дом, в нее людей не поселишь. А Сычев стоит на своем: строители тоже не птицы, бульдозеры не самолеты. Без дороги на стройплощадку, особенно в осенне-зимне-весенний период, технику и материалы не забросишь. Пусть дорогá временка, зато позволит вести работы круглый год, в любую непогоду. «Проигрыш» обернется выигрышем.

Два человека, влюбленных в дело, всегда найдут общий язык. И Закиров и Сычев влюблены в свой Новый. И Сычев и Закиров стремятся, чтобы он получился как можно лучше.

Строитель видит: проектировщики «посадили» плотину не на месте, если ее немного передвинуть — зеркало воды в парковой зоне почти удвоится... Сейчас же — на машину, к директору совхоза: что скажешь, Зия Закирович? Попросим проектировщиков поискать другой вариант?..

Директор мечтает о фруктовых деревьях на улицах и во дворах... А подумай-ка, Зия Закирович: если яблони дать вразрядку с березами? Представляешь; низкая яблоня с темным стволом и высокая белоствольная береза? И тень, и плоды, и эстетика, понятно, да?

— Судьба объекта в руках строителей, — снова и снова повторяет Сычев. — Если в Новом сыграть качеством и благоустройством, другой такой поселок в Союзе поискать!

Сычев, как и Закиров, хотел бы увидеть Новый в натуре. Подумывал даже о том, чтобы целиком переключиться на этот объект. Но...

— И хочется и колется... Сельский объект — это одна пятая общего плана и пятьсот процентов общей мороки. Это фунт пирогов и пышек и пуд тумачков и шишек. Сельский строитель — это кривые усмешки коллег-«промышленников» и испорченная страница в трудовой книжке...

Стоп! Это уже выходит за рамки поселка Новый. Это уже касается всей Пригородной зоны. А в какой-то степени, возможно, и всего строительства на селе. Не будем комкать — специально поговорим об этом ниже.

Теперь же попробуем разобраться: что значит создать зону питания для 300 тысяч человек (а именно таким городом станут Набережные Челны к концу пятилетки), что для этого нужно сделать?

Рассчитав потребности горожан в продуктах сельского хозяйства, ученые установили: по сравнению с фактическим уровнем, достигнутым районом в 1969 году, необходимо было бы в 1975 году увеличить производство и заготовку мясосопродуктов в три раза, яиц — в 4,8 раза, молокопродуктов — в 28 раз, овощей — в 50 раз, картофеля — в 60 раз.

Колоссально! Уму непостижимо!

И эти показатели — в 28, в 50, в 60 раз! — я особо хочу подчеркнуть — тоже ведь рассчитываются не от нуля, не от пустого места.

Люди испокон веков жили здесь, работали, получали неплохие для того уровня надои молока, приличные по тем меркам урожаи зерновых и картофеля. Правда, мало сеяли и собирали до смешного низкие урожаи овощей, но кого это особенно тревожило? Сбыта-то для них все равно не было — одна морока...

Как в каждом советском крае, были здесь свои передовики, рекордсмены урожаев и надоев, но был и некий годами установившийся средний уровень, и этот средний уровень, успокоенность именно средним уровнем предстает решительно сломать, от среднего уровня шагнуть к высокому, наивысшему. А ведь это очень трудно — от среднего шагать к высшему, куда трудней, чем от низшего к среднему...

Наученные чужим и своим опытом, мы не уповаем на чудодейственные «скачки» и не замахиваемся, скажем, на три годовых плана по молоку и мясу.

Специалисты считают трезво: многократно возросшие потребности города колхозы и совхозы не смогут покрыть в одну, а в чем-то и в две пятилетки. Что-то до поры до времени будет давать колхозный рынок и индивидуальный сектор (как видите, наукой учитывается и возросшая активность Егора Афанасьевича, вечно-го шабашника!). На какое-то время планируется завоз извне, притом довольно внушительный.

И все же колхозам и совхозам уже в этой пятилетке предстоит значительно увеличить производство всех видов продукции полеводства и животноводства.

Отдельные виды продукции лягут на плечи нескольких очень крупных специализированных хозяйств и предприятий. Совхоз «Татарстан», например, будет выращивать более 50 тысяч свиней и «делать», таким образом, весь план района по свинине. На одной из городских окраин должна быть построена птицефабрика на 80 миллионов яиц в год (это даже больше, чем понадобится челнинцам по самым высшим нормам потребления). Предполагается ввести в действие тепличный комбинат площадью 300 200 квадратных метров закрытого грунта. Вновь созданный совхоз «Буляк» займется выращиванием плодов и ягод.

А остальные совхозы и колхозы? Они должны полностью обеспечить горожан цельным молоком и, к их чести, уже справляются с этой задачей (правда, при нынешнем населении в 140 тысяч). В 1975 году они должны давать половину потребных городу молокопродуктов, почти столько же мясопродуктов (в их числе говядину, птицу, кроликов). Колхозы и совхозы должны поставлять к столу горожан примерно 50 процентов необходимого им картофеля. Им предстоит немало поднять площади и повысить урожайность овощей, а главное, радикально изменить в сознании людей отношение к этим культурам.

Все это предстоит делать, конечно, не «срываясь с места», как Закирову, но при условии резкого оттока людей на стройку, при условии возросшей нагрузки на каждого трудоспособного.

— Побеждать, как Суворов, не числом, а умением, — определил начальник районного Управления сельского хозяйства Юлдуз Вагизович Курмашев.

Мне не раз приходилось выезжать с ним по колхозам — какой же это остроумный, занимательный собеседник! Литературные и исторические реминисценции он «выдает» по каждому, порой неожиданному, поводу и в самых подчас непредвиденных сочетаниях.

Особенно интересно слушать, как он разговаривает с сельскими специалистами, руководителями хозяйств. Говорит он с ними на родном языке, щедро просящая его воспринятыми из русского словечками, оборотами, целыми фразами. То в его речи знакомо прозвучит имя Нагульнова из «Поднятой целины», то вдруг послышится: «А это уже маниловщина», — а то и: «Ну, прямо как швед под Полтавой!»...

Любовь к истории, литературе, считает Курмашев, передалась ему с генами. Отец и мать были учителями, сестры тоже учительницы. И он, окончив семилетку, пошел в ледучилище, позже в педагогический институт. Знание педагогики, психологии очень пригодилось ему, когда он стал председателем колхоза.

— Руководство — это что? — спрашивает он и сам же отвечает: — На семьдесят процентов — воспитание людей. Остальные двадцать процентов — знания, опыт, организаторские способности.

О соотношении процентов не будем спорить. Что касается его организаторских способностей, его энергии, то их, должно быть, хватит на троих. Опыт, знания он приобретал в процессе самой работы и учась в заочном сельхозтехникуме. А начал познавать сельскую жизнь, крестьянский труд давно, еще в раннем детстве. Отец его был сельский учитель, работал в глубинке. Сколько помнит себя Курмашев, он всегда умел делать все деревенские дела — и в домашнем хозяйстве и в колхозе. С одиннадцати лет, как началась война, пахал, бороновал, саял, работал на косилке, на конных граблях, на лобогрейке. Как все мальчишки, любил гонять коней в ночное.



Между прочим, возвращаясь в сорок лет к своему детству, люди обычно не помнят плохого. Мерзли по осени в ночном? Чепуха! Зато как вкусна была печеная на костре картошка... Уставали на сенокосе, на жатве? — а ночи-то, ночи какие были звездные, теперь уж не увидишь такого звездпада...

Отчасти именно эти воспоминания сблизили Курмашева с Сулеймановым. Тот тоже из учительской семьи, и отец его, математик и физик, из уважения к великому ученому древности назвал своего сына Архимедом. Сулейманов тоже рос в деревне и так же рано начал работать в колхозе. И так же любил ночные костры, и тихое похрустывание, и тревожное ржание лошадей во тьме, и аромат луговых трав, и вкус печеной картошки...

Отчасти, повторяю, их сдружили одинаковые детство и юность. И даже такая деталь, что у обоих отцы были мечтатели и непоседы, много колесили по стране и оба мальчика родились в этих скитаниях, где-то на просторах Средней Азии, а один из них так прямо в дороге.

Окончательно сроднила их общность интересов: оба любят ходить на охоту, оба, как правило, не приносят домой дичи, ибо больше увлечены созерцанием природы, неторопливой беседой. Ох уж эти нескончаемые беседы! Даже когда соберутся дома в праздник или нечастый выходной и то — говорят, говорят, представив женам самим находить себе развлечения.

О чем говорят? Ну, конечно, прежде всего о работе. А о работе — значит, о Пригородной зоне. Потому что зоной оба занимаются не только по должности, но и по увлеченности этой грандиозной задачей. Прекрасно понимая, что создание зоны преобразит их родной край. Страстно мечтая об этом преобращении.

Вопрос о Пригородной зоне встал на повестку дня как раз тогда, когда Курмашева после десяти лет успешной председательской деятельности выдвинули начальником райсельхозуправления. А управляющий Сельхозтехникой инженер Сулейманов года за четыре до этого был избран секретарем горкома партии по сельскому хозяйству.

Проблемы, связанные с зоной, решало, разумеется, бюро. Много полезной инициативы проявил в этом деле неутомимый первый секретарь Раис Киямович Беляев. Но большинство решений горкома готовили сообща Сулейманов и Курмашев. И организовывали выполнение и осуществляли контроль прежде всего они — для того их, как говорится, и поставили.

Сулейманов и Курмашев предлагали, настойчиво «пробивали» все, что позволяло перевести производство на новые, промышленные рельсы, на новую, более интенсивную технологию

Настойчивость тут была необходима и в изыскании чисто материальных возможностей, и — в немалой степени — в преодолении морального, нравственного «барьера», барьера привычного среднего уровня.

В хозяйствах мне рассказывали, что Архимед Александрович сам бродил с изыскателями по выгонам и покосам, выбирая места для культурных пастбищ. Кое-кто считал это очередной скоропроходящей модой, пустой тратой сил и средств, гиблой затеей. Но, как заметил любящий пословицы Сулейманов, глаза боялись, а руки делали. И в этом году, когда выгорели все травы, а культурные пастбища дали по два-три полноценных укоса и еще в конце сентября были покрыты изумрудным ковром, — вот тогда и малoverы признали: полезное, жизненно необходимое дело!

Говорили мне в хозяйствах и о том, с каким упорством добивались Сулейманов и Курмашев строительства пленочных теплиц в колхозах и совхозах. «Пока еще тепличный комбинат проектируется, пока будет построен, мы, именно мы, а не прекрасная страна Болгария должны дать горожанам ранние овощи», — настаивал Архимед Александрович на бюро, на пленумах райкома, на сессиях исполкома, на совещаниях и оперативках руководителей хозяйств и представителей строительных организаций города.

Нелегко было, признавались мне товарищи, нелегко бурить промерзший грунт, ставить на ледяном ветру наркасы (так уж получилось, что за «тепличную» идею ухватились не с осени, а в феврале).

Кто-то и в этом случае призывал к благоразумной постепенности: «Кому нужен такой, с позволения сказать, героизм? Ну подождите б до тепла»... Курмашев, возмущенный, вскакивал: «Сознательности в вас нет! Как премудрый пескарь, рассуждаете! Как этот... горьковский уж!» А Сулейманов отвечал, не повышая голоса: «Извините, товарищи, наша вина, раньше мы просто не знали, как это делается. Однако КамАЗ строится. Хоть какая погода — дождь, буран, — а он строится. И люди все прибывают. И их надо кормить. Каждый день кормить, хорошо кормить... Я прошу вас, товарищи, подумайте сами: задержим теплицы — когда получим овощи?»

И как хорошо, как замечательно сделали, что настояли! Все, что было посеяно и посажено в этом году в открытом грунте, все огурцы и помидоры градом с лица земли стерло. А тут как подсчитали, что каждый квадратный метр теплицы дал по 10 килограммов огурцов, как прикинули, что некоторые хозяйства реализовали за сезон до 150—200 тонн этой весьма прибыльной продукции, как увидели, что город в основном обошелся собственными, не привозными огурцами — э-э, братцы, тут уж никого не надо убеждать и уговаривать, сами рвутся расширять свое пленочное хозяйство, кроме огурцов, рассчитывают выращивать и редиску и помидоры. Да еще смеются: мы, дескать, посоревнуемся с тепличным комбинатом, посмотрим кто кого...

А склады активной вентиляции сена? Обычно в Татарии с началом сенокоса начинаются и дожди. Даже шутку такую припомнил Сулейманов: мужик — косой звенеть, а Илья-пророк — громами греметь. Много сена просто не успевали убирать — так и прело в валках, а то, что собирали, теряло свои качества.

Прочитали друзья (они за всеми новинками следят и тут же друг другу сообщают: обратил внимание?), прочитали, что в Прибалтике, мокрой стороне, сушат свежескошенную траву в специальных установках, прогоняя теплый воздух. Сговорились с братьями-латышами, полетели туда, посмотрели, убедились: «Здорово!» — прихватили с собой фотографии и чертежи и... И, конечно, увлекли, взбудоражили людей. И добились строительства таких складов во всех колхозах и совхозах.

Правда, погода распорядилась по-своему: лето выпало как никогда знойным, сушить оказалось нечего, все само на корню посохло. Друзья — был момент — погоревали: эх, эти бы средства да силы в культурные пастбища вложить! Потом успокоились: всего не предусмотреть и складам не год, не два работать...

Да, в сельском хозяйстве всего никак не предусмотреть. А иногда и сознательно приходится идти на риск. Как в этом году с озимыми. Время шло, рассказывал Курмашев, мы с Архимедом прямо в Гамлетов каких-то превратились: быть или не быть? Сеять или не сеять? Старшие товарищи воздерживались от советов: решайте сами. Сулейманов говорит: предки наши считали — сей хоть в золу, но в пору. Уходит пора, если сеять, то только сейчас, не может быть такого, никогда в районе такого не было, чтобы в августе дожди не перепали... Посеяли! И вот уже половина сентября, а в небе — ни облачка, только пыль, сплошная желтая пыль...

С Пригородной зоной тоже отчасти так. Казалось, все реально спланировали, все учли, скрупулезно рассчитали: в 1970 году — такой прирост, в 1971-м — такой, в 1972-м — этакий. И вот — на тебе!.. Все расчеты полетели к чертовой бабушке, все надо заново считать-пересчитывать, искать дополнительные резервы, чтобы в оставшееся время выполнить то, что возложено на нас Историей (слово «история» Курмашев выговаривает, разумеется, с большой буквы!).

Впрочем, Архимеду Александровичу так и этак считать-пересчитывать. В дни, когда я познакомилась с ним, он только что получил новое назначение — директором Челнинского треста молочно-овощных совхозов. Кто уверял — предложили ему, кто утверждал — сам вызвался, чтобы непосредственно на земле и на ферме решать проблемы зоны.

В здании, выделенном под трест, шел ремонт: в коридорах сварщики **варили трубы** центрального отопления, в комнатах электрики **дннули проводку, связисты**

устанавливали телефоны, где-то белили, где-то мыли полы, пахло сваркой, краской, известью, мокрым деревом (и тут начало начал!).

Все отделы треста пока сосредоточены в одной комнате — стол к столу. В одном углу до самого потолка громоздятся стулья, стоят одна на другой канцелярские тумбы. В другом углу высокой горкой навалены плотные тюки с бланками оперативной отчетности. Кто-то шутит: столы есть, бумаги есть, совхозы есть — теперь начинать работать...

Совхозы есть — 23 совхоза. Расположены в трех районах — Челнинском, Нижнекамском, Елабужском, на протяжении свыше ста километров... «Раскачки» не было, к работе уже приступили. Большинство сотрудников разъехались по соседним районам, по еще незнакомым для них хозяйствам. Разъехались, чтобы тщательно разобраться: с чем дело имеем как там? Кое-кто уже вернулся, докладывают Сулейманову (его «кабинет» — один из столов): это хозяйство крепкое, но дороги к нему аховые; с этим дальним хозяйством нет надежной телефонной связи, срочно нужна рация и вообще крайне нужна диспетчерская служба; там молочное стадо хорошее, племенное, есть возможность к росту, а животноводческие постройки в аварийном состоянии: тут хозяйство не укомплектовано специалистами и сам директор — случайный человек; а в этом директор молодой, горячий, горы готов свернуть, но у него безлюдье, не совхоз — заведение для престарелых.

Я их разговору не мешаю, сижу поодаль, присматриваюсь к Сулейманову. Как это часто бывает среди друзей, он совсем не похож на Курмашева — ни внешне, ни манерой поведения. Тот большой, полный, но легкий на ходу (и, угадывается, в танце тоже), круглое румяное лицо, черные вразлет брови, широкая улыбка — этакий жизнерадостный, громкоголосый эпикуреец.

Архимед Александрович ~~Невысоц~~, светловолос, сдержан, изысканно вежлив. Он со вниманием и как-то доброжелательно, поощрительно выслушивает сотрудников, тихонько уточняет неясное, мягким, извиняющимся голосом отдает приказания, даже как бы и не приказания вовсе, а советы.

— Цифры, цифры нужны, товарищи, нужны как воздух, — со спокойной настойчивостью повторяет он. — Бумаги не ради бумаг. Нам экономический анализ делать. Нам разрабатывать мероприятия — как влить в Пригородную зону ресурсы этих совхозов и как, с другой стороны, поднять эти совхозы до уровня требований зоны...

Позже, когда он освободился и мы смогли не отвлекаясь побеседовать, Сулейманов сказал:

— Трест впервые создан на периферии, и в этом он экспериментален. Он создан здесь исключительно ради КамАЗа. От нас зависит, станет он просто бюрократической надстройкой, промежуточным звеном, сообщающим отчетность для центра и передающим низам директивы, или он будет организацией, активно вмешивающейся в производственную жизнь хозяйств, реально помогающей им в решении вопросов.

23 молочно-овощных спецхоза — резерв для зоны немалый. По уровню производства совхозы треста примерно равны «мощности» всех челнинских колхозов и совхозов, которые прежде были «под рукой» Сулейманова. И активное вмешательство в их жизнь уже началось. Тресту от роду всего две недели, но директор успел побывать всюду, прикинул, где что можно сделать. Сообщения сотрудников — для самопроверки, для корректировки: ум хорошо — два лучше. Выбрано уже главное направление на ближайшее время.

— Молоко?

— Да, разумеется, за большое молоко мы будем драться. Но здесь ничего заметного быстро не достигнешь, здесь результаты накапливаются годами. Овощи — другое дело. Здесь трест может заявить о себе быстро и весомо. Будем создавать овощные плантации с капитальным орошением. С осени начнем возводить на оврагах плотины, чтоб весной собрать талые воды. Если наши земли хорошо поливать и удобрить, овощи пойдут. Не беда, что опыта, традиций нет — не боги горшки обжигают... Уже в семьдесят третьем году хотим иметь пятнадцат-

цать—двадцать гектаров пленочных теплиц... До конца пятилетки можно увеличить производство овощей раз в десять.

— Не слишком ли размахнулись?

Сулейманов посмотрел на меня удивленно, чуть обиженно.

— Полагаете, прожектерство? — Он усмехнулся. — Обычно меня обвиняют в обратном — в излишней осторожности. Я всегда все делаю с запасом, знаете, как нам в детстве одежду шили навыrost. И планирую так же, с резервом. Наши челнинские теплицы мы в прошлом году затевали как огуречные, но на всякий случай закупили и капустную рассаду: вдруг огурцы не пойдут? Своего рода подстраховка. И к этим, сегодняшним проектам тоже прикидываю некий коэффициент. Знаете, как бывает: большинство справилось с задачей, но кто-то отнесся к делу без должной ответственности, кто-то рад бы всей душой, да силенок не хватило, третьему помешали объективные причины. Ну, а в целом, глядишь, и получится как раз то, что надо... В план мы, конечно, внесем цифру меньшую, но, уверяю вас, по овощам десятикратное увеличение за три года вполне реально.

— Смотрите, приеду...

— Милости просим... Ну, само собой разумеется, для такого роста нам необходима соответствующая поддержка, капитальное подкрепление. Мощная техника нужна — и землеройная, и *дочвообрабатывающая*, и поливальная, минеральные удобрения нужны — несравненно больше, чем сейчас получаем, и помощь строителей, куда более существенная, чем сегодня...

— Вы недовольны строителями?

— Отнюдь нет! Этот батыр — я имею в виду стройку — постоянно подставляет нам свое могучее плечо как опору. Мы теперь с транспортом забот не знаем. Надо срочно вывезти зерно или картофель, клич шефам — пожалуйста: сто—полтораста автомашин. Зябь мы никогда не успевали поднимать вовремя, случалось, и весной допахивали. А тут подкинули нам шефы «кировцев», посадили водителей на наши тракторы — и вся зябь за несколько дней... Я больше скажу, и вы это, пожалуйста, отметьте: ни одно из наших начинаний — ни склады активной вентиляции, ни пленочные теплицы, ни культурные пастбища — ничего, ровным счетом ничего не смогли бы мы осуществить без наших шефов. Да и вся Пригородная зона — вы это особо подчеркните — почти целиком отстраивается силами промышленных строительных подразделений. Объекты зоны — в их титульных списках, в их годовых планах наравне с корпусами и службами КамАЗа. Только в прошлом году для села построено более ста двадцати объектов. В их числе механизированные коровники, телятники, свинарники, зернотока, зерносклады, картофелехранилища, ну и, естественно, школы, детясли, клубы, столовые, жилые дома. В семьдесят втором году должны были ввести в эксплуатацию еще минимум сто объектов. Всего за пятилетку намечено возвести свыше семисот объектов, а фактически, поверьте мне, будет еще больше. Много больше. И это оправданно, закономерно. Если рядом с автогигантом, оснащенным по последнему слову техники, будут находиться экономически слабые колхозы и совхозы, неблагоустроенные села, этого несоответствия не поймут ни современники, ни потомки. Разве я не прав? Вся наша партийная организация, весь народ так это расценивает.

Ну, а строители?

Пришла пора подробно поговорить и о них.

А строители — они, как все люди, разные. И по-разному относятся к Пригородной зоне.

Прежде всего — бросается в глаза — они относятся к сельским объектам несколько свысока. Я бы уточнила так: ласково-свысока. Про склады активной вентиляции — довольно крупные, вполне добротные сооружения — говорят: «Коробочки поставили». Про резервуары над артезианскими скважинами: «Баночки воткнули». Про внушительные котлы для термохимической обработки соломы: «Кастрюльки сварили». Не станем обижаться — им с высоты их гигантов, *должно* быть, так все и видится: баночки, коробочки, кастрюльки...

Кое-кто относится к этим объектам с чувством долга, обильно приправленным иронией. Говорят: «Свинство — штука плохая, но хорошие свиноводы цивилизованному обществу нужны». Или: «Любишь молочко — строй коровники»...

Кое-кто с чувством долга, без всякой иронии, напротив, с каким-то нежным, сыновним оттенком: «Как деревне не помочь? Все мы, в конце концов, отсюда вышли...»

Кое-кто — ну, хотя бы наш добрый знакомый Сычев, да и не он один — с искренним увлечением, даже влюбленностью.

И все же строятся эти объекты медленно, со скрипом, с перебоями. То застой, то вдруг «рванут под процентовку». Месячные, квартальные, полугодовые планы, как правило, не выполняются. Я, заметьте, не называю планов годовых — они обычно в декабре — январе «верстаются» со стопроцентным выполнением и даже с некоторым превышением. Отчасти, видимо, за счет дорог и других подобных вещей, не предусмотренных, но тем не менее необходимых. Отчасти за счет начатых, но не завершенных объектов — коров в эти «незавершенки» не загнишь, но капложения «освоены». Отчасти за счет «котелков» и «кастрюлек», поставленных в порядке шефской помощи.

В общем, текущие планы не выполняются. Ну и достается за это строителям здорово. Ругают их все, кому только по штату положено. Газеты их критикуют — и центральные, и республиканские, и даже районная. В горком, в обком их вызывают и там «дают прикурить» (оборот довольно избитый!) и «подвергают вибрации» (это термин новый, я такого еще не слыхала; вот что значит строительная специфика!).

И сами они себя и друг друга ругают на чем свет стоит.

Привелось мне как-то присутствовать на «сельской оперативке» у Евгения Никаноровича Батенчука. Батенчук — первый заместитель генерального директора КамГЭСэнергостроя. КамГЭСэнергострой — генеральный подрядчик, выполняющий львиную долю работ по Пригородной зоне. Ввиду особой важности зоны Батенчук держит ее объекты на постоянном контроле и каждый понедельник после рабочего дня приглашает к себе всех, кто непосредственно причастен к этим объектам. Кроме руководителей строительных подразделений, приходят ответственные товарищи из горкома, райисполкома, треста совхозов, чтобы предъявить друг другу встречные претензии и оперативно устранить все препятствия.

Приглашенные собрались — Батенчука пока нет; звонил, извинялся: задержали в горкоме. Собравшиеся обмениваются новостями («Наши в Мюнхене нажимают!», «А в Белом море, передавали, температура была выше, чем в Черном»), предварительно «выясняют отношения» («Ты мне недодал перекрытия» — «А я на тебя жаловаться буду — панелевоз на три часа задержал»). Заместитель Батенчука по сельскому строительству Юрий Петрович Шаруев сосредоточенно листает свой талмуд — тетрадь, куда на оперативках заносятся важнейшие распоряжения, — отмечает крестиками, что выполнено, красным карандашом жирно подчеркивает невыполненное.

Но вот и Батенчук — не входит, стремительно вкатывается. Большой, громоздкий, озабоченный. От двери зорко подмечает беспорядок: «Почему такого-то нет? Вызвать!» На ходу властно бросает: «Начинайте. Докладывайте!» У него густой басок, чуть сипловатый то ли от простуды, то ли от быстрого подъема по лестнице. Нет, скорей всего от усталости — я сижу как раз напротив и вижу его красноватые от недосыпа глаза, набрякшие подглазья.

Шаруев четко, деловито докладывает: такие-то подразделения тогда-то столько-то должны были отгрузить, поставить, смонтировать, ввести в строй... Сделано... Не сделано...

— Почему? — Рыжеватые брови Батенчука ползут вверх.

«Именинник» оправдывается: меня держат плиты перекрытия.

Батенчук всем корпусом поворачивается к снабженцу: в чем дело?

Тот пожимает плечами: а с кем он разговаривал? У меня плитами склады завалены, не знаем куда девать.

— Но ваши работники...

Батенчук осуждающе качает головой:

— Вот уж не думал, что вы такой человек ненаходчивый. Поехали бы сами, разобрались...

Кто-то не укладывается в сроки: не подвезли бетон.

Батенчук смотрит на него уничижительно:

— Бетона всем не хватает... Если б сильно хотели получить, выбили бы...

Кто-то вынужден приостановить работы, ему не поставили двускатных балок «сельского варианта».

— Нет у нас, не получили, — дает справку снабженец. И предлагает попросить их чуть ли не на Урале.

Батенчук недовольно постукивает по столу кулаком.

— Во что они влетят? Ищите ближе. Колхозы разорять не дадим.

Кто-то оправдывается: не мог я выделить стеновозов, дело к осени, с городским жильем торопимся...

— Город городом, жилье жильем, а село селом. Выкраивайте! — твердо говорит Батенчук и кивает Шаруеву: запишите, проверьте, доложите.

Поднимается Сычев.

— Чтобы выполнить объем работ по Новому, мне необходимы триста человек, а у меня только сто двадцать.

Батенчук (недовольно): Набирайте, кто вам мешает? Идите в отдел кадров и берите.

Сычев: Прямо с порога? Токаря-пекаря-маникюршу?

Батенчук: А к нам такие преимущественно и прибывают. Учителе!

Сычев: А жить им где? В городе, сами знаете, какая на квартиры очередь.

Батенчук: Устраивайте в селе! Всё! Следующий!

Но Сычев не садится. Набывчив круглую, коротко стриженную голову, продолжает:

— Мне нужен кирпич.

Снабженец (смеется): Вот уж чего мы не лимитируем...

Сычев (упрямо): Мне нужен хороший кирпич...

Снабженец (разводит руками): Даем что можем...

Сычев: Мне нужен очень хороший кирпич. Я не сарай строю, не животишки...

Батенчук нетерпеливо ерзает. То ли настойчивость Сычева ему не нравится, то ли еще что.

— Ядно, разберемся в рабочем порядке...

Но тут встает наш знакомец, крупный строитель — тот самый, что критиковал проект поселка, помните? — говорит, сверкая улыбкой, утешая его, как солнышком, холодноватый смысл слов:

— Не-ет, так не пойдет, Евгений Никанорович! Пока мы в земле ковырялись, были в младенческом возрасте, от Нового можно было отмахнуться. А сейчас там такой масштаб работ, к которому надо относиться с уважением... Сергей Иванович прав: Новому нужен качественный кирпич, нужен бетон бесперебойно, нужны башенные краны, нужны домики — поселить новых рабочих...

В этом бывалом строителе, но молодом сравнительно человеку есть такое «чуть-чуть», которое словами не определишь, но которое выделяет его из числа других. Может, чуть-чуть непринужденней поза? Может, взгляд чуть-чуть независимей? Может, чуть-чуть вольнее речь? Или чуть-чуть подчеркнутей столичный лоск?

Придаться как будто не к чему, но Батенчук после его слов почему-то взрывается:

— Вы с чем сюда пришли? Торговаться пришли? На базар? Все ресурсы распределены, у меня в записке ничего нет, ни кранов, ни домиков, ни бетона — ничего не припрятал, вот, пожалуйста! — Для наглядности он даже выворачивает наизнанку карманы пиджака. — Работать надо, а не выступать так вот... легко-весно. Здесь не КВН...

Строитель улыбается еще более ослепительной улыбкой, говорит смиренно: — Ну как же! Работаем, стараемся. Процент выполнения по Новому у нас выше, чем по основным объектам. (Позже он мне откровенно признается, что это был не совсем честный ход: процент по селу, конечно, не выше, попробовал бы он на основных объектах так выполнять план — ого как бы «загрел!»! Но все, что ниже сказано, это на полном серьезе и с полной ответственностью, заверил он.) А можно давать еще больший процент, не по сто, а по двести, двести пятьдесят тысяч в месяц можно осваивать спокойно, без всякого героизма...

Лицо Батенчука багрово темнеет от гнева.

— Пусть делает КамАЗ!

Сидящие в кабинете понимающе переглядываются — им-то ясна подоплека этого диалога, — а я пока не улавливаю, в чем смысл и соль происходящего.

Представительный мужчина из райисполкома, желая разрядить обстановку, говорит, ни к кому не обращаясь, с терпеливой назидательностью, как раскапризничавшимся детям:

— Зачем считаться: твое — мое? Если мы не построим этот поселок, мы не перенесем деревни. Не перенесем деревни — вам же закроем фронт работ... Не капитализм, понимаешь, людей в никуда не погоним... Да и совхоз тоже надо понять, совхоз третий год в тяжелом положении.

— Это не мой объект, — жестко отрубает Батенчук. — Он в их строчке записан...

Ах, вот оно в чем дело! Работы, выполняемые по поселку Новый, какие-то проценты освоения плана капиталовложений Батенчуку «накапают», но, как говорится, славы не прибавят: объект «проходит» по другому ведомству — он в титульном списке КамАЗа.

...И у больших людей бывают маленькие слабости!..

Через несколько дней Евгений Никанорович, по горло занятый делами, смог уделить мне часок. Встреча наша состоялась рано утром, он еще не был утомлен и взвинчен и оказался милейшим собеседником, обаятельным человеком.

Конспективно разговор наш выглядел так.

Да, он энергостроитель, старый уже энергостроитель, не одну ГЭС на своем веку построил. Гидроэлектростанции — вы, конечно, представляете — не обычные объекты, они всегда связаны с затоплением некоторого количества земель, ну, а на земле, как известно, живут люди и этих людей приходится переселять.

Да, не на белом листе рисуем, не на пустом месте разворачиваемся, все это связано с большой социальной перестройкой, ну и, разумеется, затрагивает многие судьбы, вы правы, иногда затрагивает довольно драматически.

Да, приходится этим заниматься не впервой. Еще когда строил Иркутскую ГЭС, переносили на новые места целые поселки, строили машинно-тракторные станции, коровники, силосные сооружения. В Якутии тоже не только Вилюйскую ГЭС ставили, о-о, мы там много чего наворотили! Несколько городов для алмазной промышленности, так сказать, попутно построили. Ну, и для оленеводческих совхозов животноводческие помещения, мехмастерские, школы, клубы, магазины, жилье — много чего строили...

Но все, что делали для села раньше, несравнимо меньше того, что делается сейчас, масштабы абсолютно несопоставимы. Деревни переносили как? Разбирали дома по бревнышкам и на новом месте заново собирали. А здесь какой поселок строим — настоящий агрогородок! Ах, вы прошлый раз присутствовали!..

Батенчук мгновенно и густо краснеет — так обычно краснеют все рыжеватые блондины.

— Я, знаете, тот раз погорячился... Строчка в титуле и в самом деле не наша, но сделаем, куда денешься — сделаем! Титул титулом, а партийная дисциплина партийной дисциплиной. Не только Новый, еще несколько поселков отгрохаем — читали? — уже составлены генеральные планы застройки одиннадцати центральных усадеб. Однако Новый — незначительная часть того, что вообще делается по селу. Я бы сказал, мизер. Пригородная зона, без преувеличения, —

новый этап в нашем промышленном строительстве и в градостроительстве вообще. И одновременно качественно иной этап в истории шефства города над деревней.

Насчет шефства — это Евгений Никанорович точно подметил. В давние годы мне приходилось писать о шефской работе и даже самой участвовать в шефских мероприятиях. Что тогда делалось? Ну, починят какой-нибудь инвентарь, выделят кой-какие запчасти, пошлют людей на уборку, выступят с концертом, привезут стопку книг для сельской библиотеки... Но чтобы так — возводить целые поселки, животноводческие городки, строить теплицы, культурные пастбища, да об этом и мечтать никто не смел! Такие возможности никому не снились — ни «промышленникам», ни «селянам».

Строят, разумеется, не бесплатно, нет, но отвлекая людей от основных объектов подчас в самый напряженный, предпусковой период. Проявляя инициативу в изыскании дефицитных материалов и конструкций. Продумывая, как построить «подшефные» объекты не только добротнo и надежно, но и красиво, внося в них элементы производственной эстетики.

На одном из объектов, возведенных горожанами, — изящном, иначе не скажешь, комплексе строений, покрашенных в бирюзовый цвет, — видела я щит с надписью: «Построено для такого-то колхоза коллективом такого-то промышленного подразделения». К сожалению, только на одном! А как было бы замечательно иметь подобные щиты на всех крупных объектах, у въезда во все новые поселки. Это и вдохновляло бы строителей, и обязывало их...

— Памятные щиты? А-а! — Батенчук махнул рукой. — Доброго слова и то не услышишь...

— Ну, судя по тому, что происходило на оперативке...

— Не заслуживаем? Много внутренних неполадок и неурядиц? А у кого их нет? Зато сколько всего не от нас зависит? Картофелехранилище вон готово, но заказчик не изыскал, не подвез вентиляторы — и не сдашь объект, а кричат: «Картошку некуда сыпать — строители подвели!..» Коровник построен, но линия электропередачи проектом даже не предусмотрена — опять незавершенка, опять нас бьют...

— Ну, это частности...

— Все, если разобраться, частности. То, что мы одновременно для села двести сорок объектов возводим на сотне разных площадок — тоже частности. Но как она тормозит нашу работу! Приходится разбрасываться, мельчить. И приходится идти на незаконные затраты, месяцами платить людям командировочные...

— ?

— А как иначе заставишь их на сельских объектах работать, в тридцати — сорока километрах от дома? Если бы они числились в штатах ПМК, получали бы тридцатипроцентную надбавку за полевой характер работы. Но нам разрешили создать только три ПМК. А надо бы еще пять. Надо бы специальный строительный трест для села...

О сельском тресте я слышала много самых противоречивых суждений. Одни боятся: «Разрешат КамГЭСэнергострою создать такой трест, а он возьмет и отпочкует его от себя, ссылаясь на специфику». «Ну и пусть, — радуются другие, — у нас останется крупная строительная организация». «Так-то так, но кто в ней будет работать?» — сомневаются третьи.

Резонный вопрос.

Дело ведь не только в том, чтобы насытить сельский трест техникой, транспортом, материалами. Дело еще и в людях. Паренек, приехавший строить автогигант, едва ли с охотой переключится на свинарники и коровники. Девчонки из глухого села, вырвавшиеся в большой многолюдный город, едва ли согласятся вновь очутиться в таком же селе. Чем-то их надо будет привлечь, чем-то компенсировать, не только тридцатипроцентной доплатой. Вероятно, и реальной возможностью через год-другой вернуться в Набережные Челны и получить здесь квартиру наряду с «городскими» очередниками?



А инженерно-технический персонал? Для кого-то, несомненно, сыграет роль перспектива должностного роста: в городе был мастером — на село берут прорабом, в городе был прорабом — там предлагают начальника стройучастка, а начальника стройучастка меняют должностью начальника строительного управления. И все же, и все же...

Сергей Иванович Сычев на что уж влюблен в поселок Новый, но, как говорили в старину, из-за предмета своей любви голову не теряет. Когда ему в предварительных переговорах намекнули на высокий пост в предполагаемом сельском тресте, он отказался.

— Нет, обидно в сорок лет биографию портить, — объяснял он мне, вздыхая. — Ну подумайте сами: двадцать лет гиганты энергетики возводил — и вдруг в трудовой книжке появится запись: «Трест сельского строительства». Любопытный кадровик потом посмотрит на тебя косо: «Что-то, брат, не того... что-то ты, голубчик, натворил»... По своей по доброй воле никто из промышленного строительства на село не уходит. Не тот вес у сельского строителя, не то реноме, понятно, да?..

Почему и как это произошло, что сельский строитель оказался у нас строителем второго сорта, — вопрос чересчур большой и сложный, чтобы говорить о нем походя. Мы затронули его постольку, поскольку он имеет касательство к Пригородной зоне. Да нам пора уже и «закругляться»... Проблем у зоны слишком много, чтобы вместить их в один очерк. Отложим на будущее.

...В полночь над Набережными Челнами раздольно, весело зарокотал гром, и тугие струи хлестнули по окнам.

Экспансивный Курмашев не удержался, позвонил своему другу: слышишь, дождь!

— И ветер, — досадливо добавил Сулейманов. — Скоро разгонит...

Да, к сожалению, дождя выпало слишком мало, чтобы спасти легшие в сухую почву озимые.

Но, к счастью, дождя выпало ничтожно мало, чтобы размесить поля, развезти дороги, помешать уборке свеклы и картофеля, поздних овощей и кормов.

Дождь для крестьянина всегда был и благом и злом, в зависимости от того, когда выпадал и в каком количестве. И не только для крестьянина. И не только дождь. Так ведь во всем: плохое перепутано с хорошим, радость с горем; там, где в одном теряешь, в другом получаешь какой-то выигрыш...

Дождь рассек, прибил, смешал в грязь тучи пыли, много недель стоявшие над городом. В прозрачном осеннем воздухе мир приобрел масштаб и объемность, заиграл живыми красками. И тогда над нами вновь распростерлось родное, милое, наше земное голубое небо. И стали видны окрест и деревни, и светлые пажити, и чернота зяби, и зелень лесов, едва тронутых желтизной и багрянцем.

Пригородная сельскохозяйственная зона...

Признаюсь, при первом знакомстве она произвела на меня зпечатление, схожее с первым впечатлением от самой строительной площадки КамАЗа, — первоначальный хаос, начало начал...

Но постепенно, побывав в колхозах и совхозах, приглядевшись к тому, что сделано, делается, закладывается в нулевку, пробивается в титул, я убедилась: она создается, Пригородная зона КамАЗа! Порой с материальными и нравственными издержками, которых лучше бы избежать. Не так быстро и организованно, как хотелось бы. Не всегда качественно, как можно было бы ожидать.

Все это так. Но надо же быть объективными. Надо реально, здраво смотреть на вещи. Хотя все создается не впервой, не на пустом месте, подобной работы, работы такого масштаба и такими стремительными темпами еще не совершалось в нашей стране.

В печати приводилось много цифр, характеризующих объем и накал стройки. Мне кажется, уместно, даже крайне необходимо напомнить их еще раз. Не все! Не все! Хотя бы несколько. Отдельные «штрихи к портрету».

Стройка достигла невиданного доселе размаха: ежедневно (ежедневно!) осваиваются капиталовложения в сумме миллион двести тысяч рублей.

Это завод. А подле завода — город. И здесь тоже не темпы — темпища. Смотрите-ка: в 1969 году было сдано 26 тысяч квадратных метров жилья, в 1970-м — 100 тысяч, в 1971-м — 240 тысяч, в 1972-м — около 300 тысяч квадратных метров. Только жилья!

И наконец, вокруг города — сельскохозяйственная зона. Капитальные вложения в эту зону за пятилетку превысят сто миллионов рублей. Это много больше, чем вложено в сельское хозяйство района за все пятилетки, вместе взятые...

Справка не для «отпущения грехов». Справка — для правильного понимания того, что происходит сейчас на камских берегах. Как там все грандиозно. Какой там «сложнейший переплет получился».

Набережные Челны — Казань,  
август — сентябрь 1972 г.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕМЫ

МЭЛОР СТУРУА

★

## НЕИСТОВЫЙ ДЭН И ДРУГИЕ

**Д**обрейший Вильям Стрингфеллоу уже с самого раннего утра чуял недоброе. Хотя он и был поэтом, да к тому же и епископальным теологом, а следовательно, человеком весьма рассеянным, добрейший Вильям Стрингфеллоу не мог тем не менее не обратить внимания на подозрительных субъектов, топтавшихся вокруг его дома. Дом этот находился в стороне от оживленных перекрестков Род-Айленда, милях в двенадцати от побережья, на островке Блок-Айленд, так что появление посторонних не могло пройти незамеченным.

Подозрительные субъекты в толстых шерстяных свитерах — погода на море была штормовая, дул капризный северо-восточный ветер — прятались в густых зарослях кустарника, окружавших дом. Они были вооружены биноклями, и, судя по грозно оттопыривавшимся карманам брюк, не только биноклями.

— Что вы тут делаете? — В вопросе поэта и теолога прозвучала явная тревога.

— Что мы тут делаем? — переспросил его один из незнакомцев в ярко-оранжевом свитере и, подмигнув своим компаньонам, ответил, ухмыляясь: — Наблюдаем за птицами.

Вильям Стрингфеллоу, будучи человеком сугубо тактичным, решил, что не стоит мешать незнакомцам, и зашагал по направлению к дому. Не успел он дотронуться до дверной ручки, как вдруг из-за кустов выскочили две автомашины и с визгом затормозили перед коттеджем. Из автомашин вывалились люди. Вместе с подоспевшими «незнакомцами» они бесцеремонно оттолкнули Стрингфеллоу и вломились в его дом. Было их числом не менее дюжины. Хозяин дома попытался было протестовать, но непрошеные гости сунули ему под нос жетоны, удостоверявшие их принадлежность к секте детективов ФБР.

В гостиной навстречу детективам поднялся мужчина средних лет, с коротко стриженными волосами, чуть тронутыми сединой. Он был в спортивной рубашке и купальных трусах. Отложив в сторону книгу, которая лежала у него на коленях — «Суд и смерть Сократа» по Платону, — мужчина спокойно спросил непрошенных гостей:

— Вы, наверное, догадываетесь, кто я? — И сам же ответил: — Я Дэниель Берригэн.

— Вас-то нам и надо. Собирайтесь! — скомандовал один из детективов.

— Ad Majorem Dei Gloriam <sup>1</sup>, — сострил другой.

Расстроенный Вильям Стрингфеллоу принес мужчине брюки, теннисные туфли и куртку-дождевик. Детективы дополнили этот наряд наручниками.

— Благослови вас бог, — сказал мужчина добрейшему Стрингфеллоу и попытался было обнять опечаленного теолога скованными руками, но его грубо схватили за локти, вывели во двор, усадили в одну из автомашин и повезли к пристани, где уже стоял наготове катер морской полиции.

Катер немедленно доставил охотников и их жертву на материк, прямо в полицейское отделение местечка с поэтическим названием Пойнт-Джудит. Оттуда арестованного отправили в не менее поэтический городок Провиденс (провидение). Дав ему переночевать в местной исправительной тюрьме для совершеннолетних, агенты ФБР повезли

---

<sup>1</sup> Ради большей славы божьей (девиз ордена иезуитов).

арестованного на следующее утро дальше — на место его постоянного жительства, в федеральную тюрьму Льюисберга (штат Пенсильвания). Детективы нервничали. На всем пути их следования толпы людей приветствовали арестованного. Перед федеральной тюрьмой Дэнбэри (штат Коннектикут), где был сделан привал, люди мужественно стояли до утра, несмотря на проливной дождь и отголоски океанского шторма.

Окончательно и с облегчением детективы вздохнули лишь после того, как сдали арестованного из рук в руки и под расписку льюисбергским надзирателям.

Кто такой Дэниель (Дэн) Берригэн и почему схватили его гуверовские ищейки? 17 мая 1968 года в «Холл рыцарей Колумба», а на языке презренной прозы — в здание призывного пункта № 33 местечка Кейтонсвилль в предместьях Балтимора (штат Мэриленд), вошли девять человек. Мужчины были в черных костюмах католических пасторов, а женщины в монашеских одеяниях. Пасторы и монахини разбрелись по кабинетам призывного пункта — дело происходило в неслужебное время — и стали высыпать содержимое картотек, так называемые «анкеты I-A», в сплетенные из проволоки вместительные мусорные корзины. Опустошив железные ящики призывного пункта, пасторы и монахини вынесли корзины, набитые до отказа бухгалтерией пушечного мяса, на цементную площадку близлежащей автомобильной стоянки, облили их самодельным напалмом и подожгли. (Напалм был изготовлен ими по рецепту, указанному в «Справочнике войск специального назначения», выпущенном Пентагоном. Для поджигателей в этом заключалась своя символика и, если угодно, издевка.)

Вокруг пылающих корзин стал собираться народ, но поджигатели не помышляли о бегстве. Они пели и молились над огнем, напоминая не столько добрых католиков, сколько буйных язычников. Вскоре подросла полиция, и поджигателей арестовали. Они не сопротивлялись. Арест, суд и тюрьма входили в их расчеты. Пасторы и монахини действовали согласно священным традициям гражданского неповиновения, предписывающим безропотно принятие наказания за поступки, совершаемые по велению совести и морали.

Среди арестованных были два католических священника братья Берригэны — Дэниель и Филипп.

Судьба старшего из братьев, Дэна, напоминает своими резкими поворотами и голокружательными извилами течение «Человеческой комедии» Бальзака. Восемнадцатилетним юношей Дэн вступил в общество иезуитов. В течение тринадцати лет Берригэн постигал все таинства ордена в его наиболее фанатичных и ортодоксальных семинариях. Но когда в 1952 году настало время рукоположения в духовный сан, Дэн удивил иезуитов своей неблагодарностью. Он впал в ересь, написав трактат, в котором сравнивал католичество с «овчарней для овец». Князя церкви приклеили ему ярлык «авангардиста от литургий». Народ стал величать его «Робин Гудом в сортуке пастора». Распроцавшись с теологической схоластикой, Дэн окунул в борьбу против социальной несправедливости. «Фальшивые боги, реальные люди» — так назывался сборник его стихов, которому была присуждена премия Национальной ассоциации книготорговцев.

Пока Дэн скитался по иезуитским семинариям, Филипп записался добровольцем и отправился в Европу воевать против фашизма. Франсина дю Плесси Грей в своей книге «Божественное неповиновение» приводит слова одного из друзей Филиппа, характеризующего его как «исключительно одаренного воина», храбро сражавшегося во Франции и Германии. После разгрома гитлеризма Филипп возвращается в Штаты с лейтенантскими нашивками, демобилизуется и поступает в католический колледж «Святой крест». Окончив колледж, он становится джозефитом, то есть членом ордена святого Юсифа.

Но, как и у Дэна, мысли Фила были обращены не столько к небу, сколько к земле. Под влиянием старшего брата он включился в борьбу за гражданские права негров. Дэн читал лекции в Уэстонской семинарии, находившейся по соседству от колледжа «Святой крест», где учился Филипп. Он призывал своих слушателей к бедности — советовал им продавать дома и недвижимость и переселяться в негритянские гетто на юге Америки. Филипп также посещал лекции Дэна, а затем отправился в Новый Орлеан, где стал преподавать в негритянской школе. Здесь младший Берригэн с головой окунулся в движение за отмену расовой сегрегации. Он участвовал в знаменитых автобус-

ных «сит-инах» в штате Миссисипи и арестовывался за это. Возвратясь на север, в Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), Фил организовал из среды своих учеников-семинаристов летучие отряды, которые занялись разоблачением фактов расовой дискриминации в области жилищного строительства. Затем он перенес свою деятельность в негритянские гетто Балтимора.

Борьба за права униженных и оскорбленных привела Берригэнов в антивоенный лагерь. Вместе с пастором Ричардом Нейгаузом Дэн основал «Союз священников, озабоченных Вьетнамом». В 1965 году он выступил с волнующей речью в память о Роджере Лапорте, молодом католике, сжегшем себя *живо* в знак протеста против вьетнамской войны (это произошло в Манхэттене, в самом центре Нью-Йорка). Тем временем Филипп пикетировал дома Дина Раска и Роберта Макнамары в Вашингтоне, устраивал антивоенные молебны в Форт-Майфи (штат Вирджиния) и в балтиморских гетто. «Можем ли мы быть порочны, жестоки, аморальны, насильственны дома и справедливы, рассудительны, благодетельны и идеалистичны за рубежом?» — говорили они, доказывая, что расизм и агрессия — две стороны одной и той же медали.

В самый разгар эскалации войны Дэниел произнес свою знаменитую проповедь в Нью-Йорке, в которой, между прочим, говорилось, что «человек, ведущий подобную войну, стоит вне благословения господ... В сущности, он находится под его проклятием». Проповедь дошла до слуха кардинала Свеллмана и вызвала его святейший гнев. Ведь кардинал был не только официальным главой католической церкви в Соединенных Штатах, но и неофициальным верховным капелланом американских полчищ во Вьетнаме. Он всегда выступал за войну до победного конца — и за ту, которую вел когда-то сенатор Джо Маккарти, и за ту, что вел президент Джонсон. Свеллман отправил строптивого поэта-священника в Латинскую Америку. То было длительное изгнание, замаскированное под «командировку», чтобы не потревожить улей общественного мнения. Путешествие по латиноамериканским странам, исполосованным «большой дубинкой» Вашингтона, лишь укрепило решимость Дэна бороться против социальной несправедливости и войны. Изгнание длилось три месяца. За это время неистовый Дэн умудрился обратить в свою веру пастора, который был прикреплен к нему для слежки. Вскоре под давлением прогрессивных кругов католическая верхушка вынуждена была вернуть Берригэна в Штаты.

Путь, избранный Берригэнами, уже не соответствовал ни божественным предначертаниям, ни тем более предписаниям кардинала Свеллмана. В конце 1967 года Дэн вместе с профессором Бостонского университета Говардом Цинном посетил столицу героического Вьетнама — Ханой, чтобы привезти обратно в Штаты первую партию американских военнопленных, освобожденных правительством ДРВ. Встречи в Ханое произвели неизгладимое впечатление на Берригэна. Он увидел народ, борющийся за свободу, увидел израненную страну. Его охватывал стыд за Америку и мучительное ощущение того, что антивоенное движение в Соединенных Штатах сделало далеко еще не все для прекращения кровопролития в джунглях Меконга, для пробуждения совести своей страны, отравляемой едким угаром урапатриотизма. Он понял, что предстоит долгая и упорная борьба, требующая решимости, и лишений, и самопожертвования. Вспоминая о своей поездке в Ханой, об уроках многовековой борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость, Берригэн писал: «Во мне зародилось новое чувство времени. Я поверил в долгие пути истории, в революционное терпение. Конечно, это не по моей воле умирают каждый день люди во Вьетнаме... Но тем не менее мы уже сейчас обязаны показать качественное отличие нашей жизни, в корне изменив ее совесть и сознание. Таков моральный груз, который возложила на меня поздка в Северный Вьетнам».

Однажды, живя в Ханое, Дэн чуть было не стал жертвой налета американских бомбардировщиков. Воздушная тревога застала его на улице. Он бросился в ближайшее убежище, держа на руках вьетнамского ребенка, подобранного на мостовой. Позже в одном из стихотворений он вспоминал:

В моих руках, отец, в момент молитвы  
Пророк всех слез моих восстал из ада,  
Восстал ребенком Хиросимы...

Антивоенная деятельность Дэниеля и Филиппа, их страстные проповеди против агрессии во Вьетнаме, против всей структуры гарнизонного государства — от жрецов военно-промышленного комплекса до нерассуждающих палачей в зеленых беретах — вызвали растущее раздражение высшего духовенства. Метал гром и молнии его высокопресвященство Теренц Кук, наследник кардинала Спеллмана. Выражал свое святейшее неудовольствие сам папа римский Павел VI. Братьев несколько раз посылали в Вечный город в надежде на то, что ватиканская прохлада остудит их чрезмерный радикализм. Но Берригэны возвращались в Штаты еще более распаленными. Тем не менее никто не решался отлучить от церкви «этих упрямых ирландцев». Их репутация была безупречной, их популярность среди прихожан безграничной. К тому же старший Берригэн — Дэниель — был выдающимся поэтом, увенчанным всевозможными национальными и международными премиями. Ни папа римский, ни кардинал нью-йоркский не желали делать из него неканонического мученика, чтобы не восстанавливать против святого престола творческую интеллигенцию, которая и без того не в ладах с Ватиканом.

Но, кроме церкви, в Соединенных Штатах существует еще и ФБР, а кроме терновых венцов — наручники. Мистер Гувер в отличие от кардинала Кука плюет на общественное мнение и считает, что место передовой творческой интеллигенции как раз за решеткой.

Первой жертвой гуверовских ищек стал младший брат Дэна Филипп, человек гигантского телосложения и детской души. Как раз в то время, когда Дэн собирался ехать в Ханой, Филипп вместе с поэтом Дэвидом Эберхардтом, художником Томом Льюисом и протестантским священником Джеймсом Менгелем устроили налет на призывной пункт в Балтиморе, обрызгали собственной кровью карточки военного учета, а затем сожгли их. «Балтиморская четверка» предстала перед судом.

Разбирательство дела все еще продолжалось, когда Филипп, выпущенный на волю под залог, сколотил вместе с возвратившимся из Ханоя Дэном «кейтонсвилевскую девятку», которая вновь совершила набег на призывной пункт, на этот раз в предместьях Балтимора. Теперь в лапах ФБР очутились оба брата, а судебный процесс над «балтиморской четверкой» перерос в дело о «кейтонсвилевской девятке».

Филиппа приговорили к шести годам тюремного заключения, Дэниеля — к трем.

Огласив приговор, судья Томсен внезапно почувствовал приступ дидактического зуда и прочел Берригэнам высокопарную нотацию:

— Дistinguished отцы, разрешите мне сказать вам со всей искренностью следующее. Вы прирожденные лидеры, и я глубоко верю в вашу способность овладевать человеческими душами в любой обстановке. Я надеюсь, что вы понимаете, какую огромную пользу может принести этот ваш талант узникам, пребывающим в тюрьмах. Я надеюсь также, что вы, находясь в заключении, употребите часть вашего времени и таланта для привлечения идеалистически настроенной молодежи этой страны к занятиям пенологией<sup>2</sup>. Если нам удастся использовать хотя бы небольшую долю идеализма молодежи для работы в тюрьмах, то это будет неизмеримым благом для государства и народа. Я еще раз выражаю надежду, что вы не покуситесь приложить частичку вашего выдающегося таланта в этом направлении. Сие относится в равной степени и к вам, отец Дэниель...

Лицемерие! Цинизм! Конечно. Но напутствие судьи Томсена, читающееся как отрывок из Вольтера или Салтыкова-Щедрина, нечто неизмеримо большее. Оно документ эпохи, передающий ее тлетворный казарменный дух.

Много месяцев спустя Дэн Берригэн, уже замурованный в застенках тюрьмы Дэнбэри, ответил судье Томсену на его нотацию следующим письмом:

«Мой дорогой судья Росцел Томсен!

Итак, наконец я в тюрьме... Здесь мне часто вспоминаются слова, с которыми Вы обратились к нам после оглашения приговора. Вы призывали нас употребить наш талант для работы в тюрьме, для исправления узников, в особенности молодых. Искренность Ваших слов поразила меня тогда. Чувство это я сохраняю и по сей день... После суда наши пути, скрестившиеся по воле удивительного предназначения, вновь разошлись.

<sup>2</sup> Пенология — наука о наказаниях и тюрьмах.

Я и мой брат оказались в заключении, а Вы продолжаете ежедневно отправлять правосудие (в Америке семидесятых годов это неблагодарное и тоскливое занятие).

Так вот, в течение последних месяцев я пытался следовать Вашим советам и накопил некоторый опыт, которым мне хотелось бы поделиться с Вами. Исправление преступников, как мне представляется, тесно переплетается с проблемой морального обновления общества. В этом смысле узники, у которых просыпается совесть (таково мое определение термина «исправление»), попадают в весьма сложное положение. Собственно говоря, в нем оказывается любой человек с пробудившейся совестью, будь то противник войны, негр, бедняк или священнослужитель. Никто из них не хочет жить в мире с сегодняшней Америкой, не хочет мириться с ее политикой войны, расизмом, эгоистической экономикой, снотворной церковью. Вот почему в наши дни исправиться значит возродиться, превратившись из преступника в борца сопротивления.

Представьте себе, Ваша честь, что обитатели тюрем начнут думать подобным образом. Разве они не будут вынуждены поставить под сомнение само качество американского образа жизни — его политику, образование, религию, семью, общество, окружающую среду?

Мой дорогой судья Томсен! Если Ваши слова, обращенные к нам, были сказаны всерьез, если Вы серьезно верите, что, посылая людей за решетку, Вы руководствуетесь стремлением исправлять человеческие жизни, а не губить их, отдавая на расправу тюремной скуке, отчаянию, духовному самоубийству, то позвольте мне в таком случае сказать Вам следующее: мы должны употребить все наше время, талант и деньги на сокрушение империи тюрем. Мы должны сокрушить ставшую правдой жизни ложь о том, что в Америке быть бедным значит быть преступником...

Мой дорогой судья Томсен! Смеею надеяться, что когда-нибудь мы еще встретимся с Вами (возможно, в Дэнбэри?) и вновь побеседуем на эту тему.

Искренне благодарный  
Дэниель Берригэн.

Процесс «кейтонсвилльской девятки» будил сознание и совесть американцев, звал их на борьбу с «империей тюрем». Недаром, читая письмо Дэниеля Берригэна судье Томсену, невольно вспоминаешь историю о том, как поэт Ральф Уолдо Эмерсон посетил своего друга и коллегу Генри Торо, посаженного в тюрьму за отказ платить налоги, которые шли на содержание оккупационных войск, направлявшихся в Мексику. «Генри, почему ты здесь?» — удивленно спросил узника Эмерсон. «А почему тебя здесь нет, Уолдо?» — ответил, улыбнувшись, Торо. Неистовый Дэн всегда восхищался этим «великим поэтом и преступником мира»...

На процессе Берригэны не столько защищались, сколько нападали. Они обрушили весь свой жар поэтов и проповедников на виновников вьетнамской трагедии. И пусть в здании суда высокие аргументы морали разбивались о глухую стену закона, пусть они отводились обвинением как «не относящиеся к делу». За стенами судилища они звучали призывным набатом, ибо касались самой сути дела, его сердцевины.

В одном из номеров журнала «Холи кросс куотерли», полностью посвященном Берригэнам, протестант-теолог Роберт Макэффи Браун, определяя символическое значение процесса «кейтонсвилльской девятки», писал: «Ее поступок стал живым напоминанием того, что случилось с коллективным сознанием нашей нации. Мы приходим в ярость, когда сжигаются бумаги, но мы не приходим в ярость, когда сжигают детей».

После того как Верховный суд США отказался пересмотреть дело «кейтонсвилльской девятки», среди ее членов произошел раскол. Четверо решили страдать до конца, пятеро — до конца сражаться. В числе последних были братья Берригэны — Дэниель и Филипп. Вместо того чтобы явиться в федеральную тюрьму Льюисберга, они ушли в подполье.

Решение порвать с традициями гражданского неповиновения и резко перечеркнуть религиозно-философские взгляды, которые Дэн Берригэн искренне исповедовал всю свою жизнь, далось ему нелегко. Ведь он сжигал за собой не просто мосты, а то, чему поклонялся. Нет, его не страшили тяготы подполья, означавшего конец всяким надеждам на помилование или даже на сокращение срока заключения. Дэна тяготило нечто другое — ответственность и обязанность перед друзьями по несчастью, та незримая ноша морального капитала, который они инвестировали в него.

Поначалу Берригэн не собирався окончательна уходить в подполье. Он намеревался оставаться на воле лишь до тех пор, пока не примет участия в политическом диспуте-фестивале «Трудно найти Америку», который подготавливался студентами Корнельского университета и на котором ему надлежало быть основным оратором. О своем решении Берригэн сообщил «кейтонсвилльской девятке» и руководителям фестиваля. И те и другие одобрили его. Неистовый Дэн ушел в подполье.

Вспоминая о первых днях подполья, во время которых зрешее в нем «чувство нового времени» окончательно возобладало над прошлым, Берригэн рассказывал:

— Наши методы протеста против вьетнамской бойни оказались недостаточными. Правительство по-прежнему расширяет косолицу смерти в Юго-Восточной Азии. Правосудие оказалось глухим к нашим призывам к миру и справедливости. Публичное обсуждение проблем, которые мы пытались драматизировать своими поступками, официально запрещается под страхом строгого наказания. Нам затыкают рот и в судах и на политической сцене. А тем временем необъявленная война, противоречащая всем человеческим и конституционным законам, продолжается подобно нескончаемому кошмару. В этих условиях суды превратились в орудия поджигателей войны. Поэтому люди не должны подчиняться их воле. И как раз поэтому для меня с Филиппом было бы равнозначно измене, если бы мы вели себя подобно элементарным преступникам, если бы мы добровольно покорились тюремной темноте и изоляции, если бы мы прекратили сопротивление угрожающе разросшейся войне. Надо смотреть в глаза политической реальности. Сейчас нет смысла вести диалог с правительством на судебной арене, где оно выступает в качестве великого инквизитора. Этот диалог следует перенести в массы. В рамках закона мало что можно предпринять... До Кейтонсвила я считал, что необходимо нарушать закон во имя мира и порядочности и нести за это наказание. Сейчас я отвергаю идею мученичества. В условиях нашего общества нет прямой зависимости между преступлением и наказанием. Правому человеку для доказательства правоты своего дела незачем отдаваться в руки тюремщиков. Это равносильно политической безответственности, ибо твое заточение способствует укреплению сил зла, с которыми необходимо сражаться. Свободой следует дорожить не для себя, а для борьбы...

Многотысячная студенческая аудитория встретила Дэна громом аплодисментов. Корнельцы знали и любили Берригэна, который долгое время возглавлял кафедру теологии при университете. Он приехал под охраной молодежной дружины, надев на себя для маскировки мотоциклетный шлем с большими дымчатыми очками. В Бартон-холле — спортивном зале, где проходил диспут, — яблоку негде было упасть.

— Когда человек живет в преступном обществе, то нет выше чести, чем быть преступником в его глазах. Собственно, сие даже не честь, а долг, минимальный долг каждого порядочного человека. Поэтому я решил стать преступником, чтобы не принимать участия в преступлении моей страны...

Бартон-холл наводнили агенты ФБР. Играя наручниками, они с нетерпением ожидали окончания выступления Дэна. Но когда пастор кончил говорить, неожиданно грянул джаз-оркестр и в зале погас свет. Погас свет и на всей территории университетского городка. Началась давка, суматоха, паника. Студенты, подстроившие это неожиданное затемнение, помогли Берригэну скрыться. Они спрятали его в полулицу фигуру одного из апостолов, сделанную из папье-маше для какого-то театрального представления, затем погрузили ее в автофургон и вывезли за пределы университетского городка. Детективов Гувера оттерли и изолировали. Все смешалось в погруженном во мрак Бартон-холле. А на следующий день газеты не без ехидства писали, что на диспуте «Трудно найти Америку» по крайней мере одно было доказано неопровержимо: агентам ФБР трудно найти в Америке Берригэна...

Однако через несколько дней полицейским ищейкам удалось арестовать Филиппа. Кто-то донес им, что братья Берригэны собираются выступить с проповедью в церкви святого Георгия в Нью-Йорке. Церковь эта находится на 90-й стрит Верхнего Вестсайда Манхэттена. Служба должна была состояться вечером. Но детективы прибыли загодя и спрятались в исповедальнях, расположенных цепочкой в глубине собора. Когда ничего не подозревавший Филипп вошел в личный кабинет настоятеля, вслед за ним туда ворвались детективы. Они надели на младшего Берригэна наручники и увезли



его в нью-йоркскую штаб-квартиру ФБР на 69-й стрит. Другие детективы, числом около двадцати, остались в исповедальнях на случай прихода Дэниеля.

К этому времени церковь стала заполняться людьми. Пришло более тысячи человек. В основном посвященные. Они знали, кто будет служить молебен, но еще не знали об аресте Филиппа. Как только настоятель преподобный Генри Браун сообщил об этом, в церкви поднялся возмущенный ропот. Ропот перерос в бурю, когда пастор Браун, указывая рукой на исповедальню, произнес:

— А сейчас они сидят там в ожидании отца Дэниеля.

Люди бросились к исповедальням и окружили детективов. Одни проклинали их, другие издевались над ними.

Перед алтарем расположился молодежный ансамбль. Длинноволосые парни стали отлаживать аппаратуру для электрогитар и расставлять ударные инструменты. Вскоре под церковными сводами зазвучали антивоенные песни. Их подхватили.

Служба в церкви святого Георгия затянулась далеко за полночь. Осоловелые от шума и бессонницы детективы по-прежнему сидели в исповедальнях, с тщетным упорством ожидая Дэна. Но, видимо, бог жандармов разгневался на них. Старший Берригэн так и не появился...

С арестом брата Дэн начал работать словно за двоих. Он носился по всей Америке от океана до океана, выступал в церквях и университетах, давал интервью телевизионным компаниям, записывался на радио и снова исчезал в подполье. Его литературная деятельность поражала своей интенсивностью. Статьи за подписью Дэниеля регулярно появлялись в журналах «Сатердей ревью», «Виллидж войз», «Коммонвил», «НьюЙоркер», «Крисчен сенчури», «Нью-Йорк ревью оф букс», «Нью-Йорк таймс мэгэзин» и некоторых других. Ищейки Гувера буквально с ног сбились. Охота за Берригэном приняла характер всеамериканского розыска. Агенты ФБР рыскали по католическим соборам, шпионили за священнослужителями, дружившими с Дэном. Генерал ордена иезуитов в Риме и американский наместник отец Джеймс Соувервилл в Нью-Йорке писали Дэниелю под их диктовку подсадные письма-ловушки. Когда его мать, восьмидесятипятилетняя вдова, сломала себе ребро и была помещена в госпиталь в городе Сиракузы, вокруг больничных корпусов были устроены засады. Когда в Балтиморе состоялась женитьба двух друзей Берригэна, среди гостей, присутствовавших на церемонии бракосочетания, шныряли шпики.

В течение месяца шла гонка с преследованием по городам штатов Нью-Йорк и Делавэр, жители которых совершали нападения на призывные пункты, а молодежь отказывалась идти служить в армию. И везде неизменно слышался голос Берригэна, призывавшего своих сограждан стать «преступниками мира».

И наконец самое удивительное из всех приключений находившегося в подполье Берригэна—постановка в лос-анджелесском театре «Марк Тейпер форум» документальной пьесы «Суд над кейтонсвилльской девяткой», написанной неистовым Дэном. ФБР знало, что за спектакль готовит экспериментальная труппа во главе с режиссером Гордоном Дэвиссоном. Знало ФБР и о том, что режиссер и актеры, в особенности Том Трууп, которому была поручена роль Дэна, часто встречаются с Берригэном, консультируются с ним.

Здание театра, составляющего сердцевину культурного комплекса Лос-Анджелеса «Мюзик сентер», находилось под неусыпным наблюдением детективов. Служебные и домашние телефоны режиссера и актеров были подключены к подслушивающей аппаратуре Федерального бюро расследований. В день премьеры зал «Марк Тейпер форума» был набит агентами ФБР, которых набралось больше, чем театральных критиков. Но дичь упорно не шла в расставленные для нее силки. На сцене ходил актер, загримированный под Берригэна, звучал по радио его голос, записанный на пленку, в програмках спектакля, которые раздавались зрителям, было помещено его письмо-обращение, но сам Дэн оставался неуловимым. Он, словно броуновское движение, был везде и нигде.

Пьеса и спектакль отражали трансформацию философских и политических взглядов Берригэна — от непротивления к сопротивлению. Не отклоняясь от документальной основы — протоколов судебного процесса,— Дэн строил пьесу на конфликте между законом и разумом, между юридической нормой и нормой морали.

«Мы ждем от вас не жалости. Мы ждем от вас понимания», — говорилось в записанном на пленку обращении Берригэна к зрителям. Оно проигрывалось перед началом каждого представления. Спектакль шел с громадным успехом. Но через неделю его сняли. Рокфеллеровскому фонду, финансирующему театр «Марк Тейпер форум», пьеса Берригэна пришлось явно не по вкусу.

Тем временем Берригэн продолжал скитаться по Америке. Как правило, он нигде не задерживался дольше нескольких дней. Делалось это отнюдь не по соображениям конспирации. Дэн меньше всего заботился о своей безопасности. Целью его непрерывных перемещений было нечто иное — втягивать в борьбу как можно большее количество людей! Либеральная интеллигенция — университетская профессура, люди творческого труда, юристы, врачи, духовенство — слишком пассивна в своем сопротивлении преступной политике Вашингтона, говорил Берригэн.

Берригэн хотел использовать свой статус беглеца, объявленного вне закона, именно для того, чтобы растормозить либеральную интеллигенцию. Укрывательство преступника — уголовное деяние. Предоставляя убежище беглому пастору, люди делили с ним не только хлеб и кров, но и опасность. Происходил жестокий экзамен — отсев колеблющихся. Одни в ужасе отступали, другие мужественно переходили Рубикон.

— Во имя мира! Согласны ли вы скрывать у себя этого человека? Готовы ли вы подвергнуть себя угрозе тюрьмы? — раздавались телефонные звонки в квартирах известных либералов.

Около трехсот человек предоставили убежище неистовому Дэну за недолгие месяцы его подпольной одиссеи. Большинство из них жило в так называемом «коридоре Бостон — Вашингтон», цитадели либерального истеблишмента американского Востока. Берригэн называл их «обращенными». Он говорил:

— Мы помогаем друг другу. Они укрывают меня от погони. Я открываю им глаза. Они ограждают меня от преследований. Я навлекаю на них преследования. Смысл этой кампании не в том, чтобы спасти мою шкуру, а в том, чтобы разбередить их шкуру... Нельзя больше допускать, чтобы от нашего имени совершались убийства и закабаление целых народов.

Как всегда налетке — с зубной щеткой в кармане и с неизменной набитой рукописями папкой под мышкой, — Берригэн приходил на очередную явку, и немедленно вокруг него начинал бурлить водоворот событий. Он встречался с представителями «Черных пантер», с «Везерменами»<sup>3</sup>, с руководителями организации «Студенты — за демократическое общество», с такими же, как и он, беглецами, разрабатывал с ними планы совместных антивоенных выступлений, обсуждал идею организации «подпольных групп сопротивления обществу насилия и сытости», читал свои новые стихи и памфлеты. «Он всегда был на пару шагов впереди нас, а главное, умел создавать атмосферу, в которой вещи и события обретали свои подлинные пропорции, — вспоминает профессор Массачусетского технологического института Ноам Комски. — Люди, вращающиеся вокруг Дэна, забыли под его влиянием о своих раздорах. Он умел объединить их как никто другой, умел заставить их поступиться собственным его во имя общей цели».

Философские взгляды Берригэна сложились под сильным влиянием Генри Дэвида Торо, Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга. В нем жили традиции организаторов «Бостонского чаепития». Незадолго до своего ареста Д. Берригэн записал на пленку послание «Везерменам», перешедшим к тактике индивидуального террора. В нем говорилось, что «нельзя оправдывать принципами приношение в жертву человеческих жизней... Когда безумие становится приемлемым для общества состоянием образа мыслей, то угроза нависает над всеми нами, ибо бактерии насилия начинают витать в воздухе. Они способны заразить и наше движение, заразить нас самих негуманным отношением к людям, отношением, отмеченным печатью бестий. Нам негоже включаться в хоровод смерти, который водит милитаризм. Поклоняясь американскому культу насилия, «Везермены» невольно прививают себе инфекцию Вьетнама, Кента, палачей «Черных пантер»». Послание Берригэна было опубликовано в газете «Виллидж войз» вместе с ответом «Везерменов». Они свидетельствовали свое глубокое уважение «брату Дэну»,

<sup>3</sup> Радикальная студенческая организация.

однако решительно отмежевались от его модернизированной библейской заповеди «не убий!».

Сообщество «обращенных» множилось не по дням, а по часам. Предоставление убежища Дэну уже переросло чувство долга и становилось делом чести. Его добивались, а добившись, принимали как награду. Обаяние Берригэна было беспредельным. Удивительно простой в общении и непритворный в потребностях, он становился членом семьи, как только появлялся на пороге ее дома. Он завоевывал сердца хозяек, обучая их секретам приготовления блюд — французских, итальянских, испанских. Скрываясь от погони, Дэн неожиданно открыл в себе еще один талант — няньки. По соображениям конспирации его помещали в семьи, где не было детей старше двух-трех лет. Когда родители уходили из дому, малыши оставались на попечение Дэна, и он блестяще справлялся со своими новыми сложными обязанностями.

А по вечерам добрый сказочник вновь превращался в грозного иконоборца. Мне вспоминается рассказ очевидца о том, как Берригэн впервые прочел свою поэму о Дитрихе Бонхоффере, немецком теологе, участнике заговора против Гитлера, брошенном в концлагерь и замученном гестаповцами в 1945 году (позднее поэма была напечатана в «Сатердей ревью»). Дэн сидел перед камином, и в память очевидца с особой силой врезались две детали — глаза, полные гнева и скорби, и ноги в разноцветных носках.

— Если бы не эти глаза, то разноцветные носки можно было бы принять за классическое свидетельство традиционной профессорской рассеянности, — говорил очевидец. — Но, глядя на Дэна, меряя его несколько раз с ног до головы, я чувствовал, что эти трогательные разноцветные носки лишь еще больше подчеркивают предельную собранность его воли, его решимости и целеустремленности, которые ничем невозможно отвлечь от главного.

Решение Берригэна провести несколько дней на Блок-Айленде всполошило его друзей. Островок напоминал ловушку. В случае тревоги бежать с него некуда. Но Берригэн заупрямился. Бесконечные скитания по большим городам, видимо, утомили его.

Друзья уступили настойчивым просьбам Дэна. Они обратились к поэту-теологу Стрингфеллоу и поэту Тауни, владевшими и домом и усадьбой на Блок-Айленде, с просьбой приютить Берригэна. Теолог и поэт охотно согласились.

— Отец Дэниель был желанным гостем в нашем доме. Скрываясь у нас, он оказывал нам высокую честь. То был духовник, обладавший удивительной совестью, гражданин высокой морали и человек беспримерной храбрости, — заявил Стрингфеллоу на допросе в ФБР уже после ареста Берригэна.

Никто не знает, каким образом напали детективы ФБР на след Берригэна и что привело их на Блок-Айленд — предательство или беспечность. Беглого пастора водворили в федеральную тюрьму Льюисберга, где уже находились другие члены «кейтонсвилльской девятки», в том числе его младший брат Филипп.

Но неистовый Дэн продолжал бороться даже в тюрьме. Среди узников Льюисберга было около ста человек, лишенных свободы за отказ воевать во Вьетнаме. Берригэн стал устанавливать с ними связи, ободрял павших духом, отстаивал их права перед тюремным начальством, сообщал на волю историю их мытарств, привлекая к ним внимание широкой общественности.

Дэн и Филипп рассматривали себя в качестве политических заключенных. В своих письмах из Льюисберга они настойчиво подчеркивали, что их судили и упрятали за решетку именно за политические убеждения, что и остальные узники Льюисберга и других «исправительных заведений», объявленные дезертирами, нарушителями общественного спокойствия и так далее, по сути дела, политические заключенные, репрессированные за несогласие с вьетнамской политикой Белого дома.

Власти воспользились не на шутку. Разоблачения Берригэнов били их по самым уязвимым местам. Приравнивая инкомыслящих к уголовникам, вашигтонская Фемида пыталась убить одним выстрелом сразу двух зайцев: во-первых, соблюсти декорум законности (в Америке, мол, судят не за политические убеждения, а за уголовные преступления, в американских тюрьмах, мол, политзаключенных и днем с огнем не сыскать), а во-вторых, развенчать борцов за мир, «переквалифицировав» их в заурядных бандитов и хулиганов.

Дэна и Филиппа срочно изолировали от других заключенных, поместив в отделение с особо строгим режимом. Здоровье Филиппа пошатнулось. Дэн немедленно сообщил об этом на волю письмом, опубликованным в «Коммонвил». Группа известных врачей во главе с профессором Гарвардского университета Робертом Коулсом потребовала у Бюро тюрем США, чтобы оно дало распоряжение о переводе Филиппа в тюремный госпиталь и разрешило им осмотреть больного. Несколько либеральных сенаторов обратились с аналогичным запросом к министру юстиции Митчеллу. В ответ последовало циничное заявление начальника льюисбергской тюрьмы Роберта Хендрикса о том, что пребывание в отделении с особо строгим режимом не только не вредно, но даже полезно для здоровья Филиппа. А вскоре обоих братьев перевели из Льюисберга в Дэнбэри — тюрьму с еще более строгим режимом и, главное, без политзаключенных. Им уготовили судьбу заживо погребенных.

Но дело братьев Берригэнов на этом не закончилось. Оно только начиналось...

В конце ноября 1970 года, в один из сонных дней «уик-энда благодарения», директор ФБР Гувер, выступая в сенатской подкомиссии по ассигнованиям, ошеломил законодателей рассказом о заговоре, только что раскрытом его агентами. По словам Гувера, некая организация, носящая название «Тайное общество Восточного побережья во имя спасения жизней», планировала похищение «одного высокопоставленного лица — сотрудника штата Белого дома». Вместо выкупа заговорщики якобы намеревались потребовать у президента Никсона немедленного прекращения войны во Вьетнаме. Одновременно «Тайное общество» подготавливало взрыв отопительной и осветительной систем правительственных учреждений в Вашингтоне. Похищение и взрыв должны были произойти 15 февраля 1971 года — в момент празднования дня рождения Джорджа Вашингтона<sup>4</sup>.

Сенаторы слушали показания Гувера развесив уши. Поскольку заседание сенатской подкомиссии было открытым, директор ФБР наотрез отказался назвать и имена «заговорщиков» и имя «высокопоставленного лица», которое они собирались похитить.

Направляясь в зал заседаний, Гувер вручил сенатскому клерку 75 копий своего заявления (он торжественно нес их под мышкой).

— Раздайте их представителям печати, как только я начну давать показания, — сказал он оторопевшему клерку.

На следующее утро показания Гувера были опубликованы во всех газетах. Разумеется, на первых полосах и под большими сенсационными шапками. Расторопные репортеры уже успели установить к тому времени, что под «высокопоставленным лицом» подразумевался Генри Киссинджер, главный помощник президента по вопросам национальной безопасности, и что «Тайное общество Восточного побережья во имя спасения жизней» состояло из нескольких священников и монахинь во главе с братьями Берригэнами, заточенными в застенках тюрьмы Дэнбэри!

Обвинения, выдвинутые директором ФБР, были настолько абсурдными, что поначалу никто не принял их всерьез. Одни считали, что Гувер просто захотел запугать сенаторов и заставить их раскошелиться — ему нужны были новые ассигнования, четырнадцать с половиной миллионов долларов, — поскольку ФБР значительно увеличило свой штат, рекрутировав дополнительно одну тысячу детективов и 700 клерков. Другие были склонны усматривать в драматическом жесте Гувера личную вендетту против братьев Берригэнов, которые долгое время водили за нос ФБР и сделали его директора всеобщим посмешищем.

Короче, первая реакция на гуверовские откровения носила несколько легкомысленный характер. Комментарии печати были выдержаны в фельетонном духе. Вашингтонская обозревательница Мэри Макгрори писала, например, что если начнут арестовывать всех, кто пытается «завладеть» Киссинджером, то вскоре американские тюрьмы окажутся переполненными, ибо Киссинджер — самый популярный холостяк и самый завидный жених на Потомаке. Госпожа Макгрори высказывала также сомнение по поводу того, может ли взрыв отопительной системы правительственных зданий в столице привести к охлаждению воинственного пыла Пентагона.

Фельетонист «Нью-Йорк таймс» Рассел Бейкер писал о том, что Киссинджер стал

<sup>4</sup> Джордж Вашингтон — первый президент США, родился 22 февраля 1732 года. Однако в этом году День Вашингтона отмечался 15 февраля.

объектом зависти всех «вашингтонских бюрократов», что последние заняты сейчас лихорадочными поисками монахов и монахинь, которые согласились бы похитить их, ибо это самый верный и скорый способ приобретения политического веса в столице. Комментатор телевизионной компании Си-Би-Эс Эрик Севэрайд сочинил целый рассказ-вариацию на тему «Вождя краснокожих» О. Генри. Подобно своему литературному прототипу, герой этого рассказа — Киссинджер до того осточертел своим похитителям (он заговорил их), что они решили вернуть его Никсону даром и даже приплатить за него.

Но, как говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Отрезвление наступило буквально через два дня. Стало ясно, что Гувер не собирался шутить. Его главной целью было запугивание антивоенного движения, выступающего против агрессии американского империализма в Юго-Восточной Азии. Взрыв всеобщего негодования, последовавший за вторжением в Камбоджу, основательно встревожил правящие круги США. Поэтому, готовясь к лаосской операции, они приложили максимум усилий, чтобы обезопасить свои тылы. «Разоблачение заговора» так называемого «Тайного общества Восточного побережья во имя спасения жизней» как раз и было важнейшей частью далекоидущего плана нейтрализации и запугивания антивоенных сил.

О новых обвинениях против них Дэниель и Филипп впервые услышали от писателя Томаса Бака, их давнишнего друга, навестившего братьев в тюрьме Дэнбэри.

— Дэн сказал, что это абсолютная ложь. Филипп, который привык выражаться более земным языком, назвал гуверовские обвинения дерьмовым бредом, — рассказывал Бак.

А через несколько дней Берригэны выступили с официальным опровержением, которое было зачитано перед тюремными воротами их адвокатом Вильямом Канстлером, защищавшим в свое время «кейтонсвилльскую девятку», а еще раньше «чикагскую семерку». Канстлер сообщил слетевшимся в Дэнбэри репортерам, что начальник тюрьмы Джон Нортон отказал Берригэнам в просьбе провести пресс-конференцию для ответа на гуверовский поклеп, поэтому они уполномочили его огласить заявление.

Гуверовская охранка стала подыскивать «соучастников» братьев Берригэнов из среды их друзей-единомышленников, находившихся на свободе. Одновременно в тюрьму Дэнбэри Дэну и Филиппу посадили провокатора.

На роли «соучастников» пригласили (разумеется, без их ведома) пять человек — трех священников, одного профессора и одну монахиню. Отец Джозеф Вендерот и отец Нейл Маклоглин вели в свое время вместе с Филиппом просветительную работу среди негритянского населения Балтимора. Энтони Скоблик, сын члена конгресса США, принадлежал к католическому ордену джозефитов, пока не нарушил обет безбрачия. Профессор Экбаль Ахмад, пакистанец по происхождению, получил степень доктора философии в Принстонском университете, а в последнее время вел курс политических наук в институте имени Эдлая Стивенсона в Чикаго. (Впоследствии выяснилось, что охранка онлошала, остановившись на его кандидатуре. Ахмад — правоправный гандист, исповедующий ненасилие. К гандизму он приобщился еще в ранней юности под влиянием смерти отца, служившего чиновником в британской администрации. Отца убили на глазах малолетнего сына. «Это сделало меня противником всякого насилия», — говорил Ахмад.) Наконец, пятый «преступник» — монахиня Элизабет Макалистер, профессор истории искусств Мэримаунтского колледжа (город Тэрритаун, штат Нью-Йорк).

Провокатор не имел ни духовного сана, ни тем более научных степеней. Это не столь уж удивительно, если учесть, что Бойд Дуглас последние восемь лет своей жизни скитался не по церквям и университетам, а по исправительным заведениям. В январе 1963 года он пытался выкрасть ценную почту в форте Сэм-Хьюстон (город Сан-Антонио), переодевшись в форму капитана американской армии. Маскарад оказался неудачным. Дуглас засыпался и получил шесть лет тюрьмы. Сначала его поместили в федеральную тюрьму Эль-Рено (штат Оклахома), а затем перевели в Льюисберг.

В апреле 1964 года, находясь в льюисбергском центре, Дуглас изъявил желание принять участие в качестве подопытного в медицинских экспериментах, которые проводились на заключенных. О существовании этих экспериментов ничего не известно. Известно только то, что по их окончании Дуглас предъявил иск властям «за болезненную реакцию от уколов и глубокие шрамы, оставшиеся на спине, руках и ногах». Сумма

иска была весьма внушительная — два миллиона долларов. Однако Дуглас удовольствовалося десятью тысячами и досрочным освобождением за «хорошее поведение».

Выйдя на волю в 1966 году, Дуглас немедленно принялся за прежнее. Особенно усердствовал он по части изготовления поддельных чеков, которые затем погашались в различных отделениях «Бэнк оф Америка». В октябре того же года Дуглас вновь засыпался. Его схватили на месте преступления в одной из контор «Бэнк оф Америка» города Милвоки — «пивной столицы» Соединенных Штатов. Пытаясь вырваться из рук агентов ФБР, Дуглас стал угрожать им автоматическим пистолетом «баретта», но его обезоружили и связали. Федеральный судья в Висконсине припаял ему пять лет за махинации с фальшивыми чеками и за нападение на «представителей порядка». Дугласа водворили в уже обжитый им льюисбергский централ.

В 1969 году Дуглас подал очередное прошение о помиловании опять-таки на основе «хорошего поведения». Но на этот раз прошение отклонили и его вновь судили закрытым порядком за преступления, характер которых держится в тайне. (После того как Дуглас изъявил согласие сотрудничать с охранкой по делу Берригэнов, министр юстиции Митчелл приказал Федеральному бюро тюрем засекретить все документы, касающиеся личности провокатора.)

Но кое-что о Бойде Дугласе все же успело просочиться в печать. И это «кое-что» носит довольно-таки любопытный характер. Мы имеем, в виду не только да и не столько уголовные похождения Дугласа.

К концу 1969 года в стенах льюисбергской тюрьмы скопилось значительное количество политических заключенных — активистов антивоенного движения. Для них установили особо строгий режим. Камеры «мирников» систематически обыскивались; их передвижение внутри тюремных стен и общение с другими заключенными свели к жесточайшему минимуму. Исключение делалось лишь для Бойда Дугласа. Ему разрешалось беспрепятственно встречаться с «мирниками», навещать их в камерах, болтать с ними сколько угодно в тюремной часовне, на прогулках, в мастерских.

Дуглас пользовался еще более удивительными правами и привилегиями вне тюремных стен. Ему, например, было дозволено посещать лекции в находившемся поблизости Бакнельском университете. А в январе 1970 года Дугласа зачислили в университет уже в качестве студента-очника по «специальной программе» (как выяснилось несколько позже, программа эта и впрямь была «специальной»). Он ходил в колледж ежедневно, а по субботам вообще не возвращался в тюрьму. Летом Дуглас снял в городе квартиру, сдал экзамен на водительские права и купил синий полуспортивный «джэвелин» с белыми продольными полосами. Он завел себе роскошный гардероб, пил виски исключительно высших марок, курил дорогие импортные сигареты и вообще, что называется, сорил деньгами. Их происхождение Дуглас объяснял следующим образом: в течение нескольких сезонов он был футбольной суперзвездой в штате Огайо и сколотил весьма приличный капиталец из щедрых гонораров, которые ему платили владельцы клуба.

Светскую жизнь Дуглас успешно совмещал с радикальной деятельностью. Он быстро вошел в круг студентов и преподавателей, принимавших активное участие в антивоенном движении и оказывавших посильную помощь своим единомышленникам, томившимся в льюисбергской тюрьме.

Квартиру в городе Бойд Дуглас делил с Томом Лоувом, студентом и пацифистом, который отказался от службы в армии и публично сжег военную повестку. Войдя в доверие к Лоуву, Дуглас с его помощью проник в круги местных пацифистов, а также установил контакты со студентами-бакнельцами, занимавшимися антивоенной пропагандой в кампусах.

В том же доме, где обосновался Дуглас, этажом выше над его квартирой жили две девушки — Джейн Гувер и Мэри Элизабет Сэндел. Они также учились в Бакнельском колледже. Дуглас ухаживал за обеими подругами. «Под большим секретом» он поведал Джейн, что болен раком и что дни его сочтены. Он «умолял» ее выйти за него замуж и дать ему «полгода или год счастья напоследок». Он говорил, что ее длинные волосы цвета спелого меда напоминают ему образ милой подруги далекого детства. Приблизительно то же самое рассказывал Дуглас и Мэри Элизабет, или попросту Бетси.

Единственная разница состояла лишь в том, что в последнем случае цвет волос «милой подружки далекого детства» становился огненно-рыжим.

Впрочем, Дуглас не забывал за приятным полезное, за делами Амура — дела Азефа. Он превратил Джейн и Бетси в своих невольных сообщниц. Бетси подрабатывала в качестве официантки в местном кафетерии. Дуглас поручил ей следить за посетителями, прислушиваться к их беседам, вмешиваться в них якобы «для радикализации» населения. По словам Бетси, Дуглас все время провоцировал ее и других на опрометчивые поступки, допытывался, не намерены ли они «совершить какую-либо акцию», и обещал познакомить их с «нужными людьми» в случае, если они надумают перейти от слов к делу.

— Он буквально занимался рекрутским набором. Это была вербовка, вот что, — рассказывает Бетси.

Дуглас настаивал, чтобы обе его подружки выбрали в качестве темы своих курсовых работ антивоенную деятельность левых католических кругов «на местном материале». Бедные девушки думали, что проводят научное исследование, а на самом деле занимались шпионским расследованием для дурачившего их провокатора-казановы.

К тому времени, когда агенты ФБР схватили Филиппа Берригэна и водворили его в льюисбергскую тюрьму, Дуглас уже успел обрести прочными связями в антивоенных университетских кругах и заработать репутацию ультрарадикала. Его гневные статьи, в которых он бичевал тюремные порядки льюисбергского централа, охотно печатались подпольными студенческими газетами. Молва о Дугласе, уголовном преступнике, обращении в борца за мир «под влиянием жестокой действительности», стала распространяться дальше, за пределы провинциального Бакнела.

Само собой разумеется, что Дуглас быстро подобрал ключи и к Филиппу, подобрал ключи и в прямом и в переносном смысле. Младшего Берригэна содержали в строжайшей изоляции якобы в наказание за то, что его брат продолжал скрываться в подполье (в действительности тюремные власти опасались разлагающего влияния Фила на арестантскую колонию). Но Дуглас общался с ним когда хотел и сколько хотел. Ведь волшебный «сезам», отворивший перед ним камеру Филиппа, имел печать самого Гувера. Берригэн уже слышал о Дугласе как о пацифисте и борце за мир, поэтому он проникся симпатией к молодому человеку, боготворившему его. К тому же для Филиппа, заживо погребенного в стенах льюисбергской тюрьмы, Дуглас был единственной нитью, связывавшей его с волей, с друзьями. И вот провокатор стал доверенным письменосцем Берригэна. Свои послания на волю Филипп писал в обернутую коричневой клеенкой студенческую тетрадь Дугласа. Ответные послания поступали в тюрьму тем же путем. Но прежде чем попасть в руки адресатов, коричневая тетрадь неизменно проходила чистилище ФБР, где с писем Филиппа и его друзей снимались фотокопии.

Благодаря «особым отношениям» с младшим Берригэном влияние Дугласа в кругах либеральной профессуры, радикального студенчества и антивоенно настроенных католических священников еще больше возросло. Он познакомился с пасторами Вендеротом и Маклоглином, неоднократно приглашал их к себе на городскую квартиру, устраивал им встречи со студентами и преподавателями Бакнельского колледжа. (Некоторые участники этих встреч впоследствии вызвало и допросило Большое жюри.) Наконец, именно Дуглас заманил в Льюисберг Элизабет Макалистер, упротив ее провести «коллоквиум» для студентов Бакнельского колледжа. (Посещение сестрой Лиз Льюисберга вошло в обвинительный акт Большого жюри в качестве финала подготовки к похищению Киссинджера и взрыву отопительной системы правительственного Вашингтона.)

Но одного факта переписки, телефонных разговоров и вечеринок явно не хватало для возбуждения дела о «заговоре». Работодатели настойчиво требовали от Дугласа вещественных улик потяжелее его знаменитой коричневой клеенчатой тетради. Не располагая таковыми, провокатор стал срочно изобретать их. Для этого он — в который уже раз — сочинил очередную автобиографию. Под большим секретом Дуглас поведал друзьям Берригэна, что он совсем не уголовник. Согласно новой версии, он офицер, участник войны во Вьетнаме. Зверства агрессоров, невольным свидетелем которых ему довелось стать на фронте, произвели переворот в его душе. Последующие события привели его в лагерь борцов за мир. Служил он якобы в саперных частях экспертом по

организации диверсионных взрывов. Демобилизовавшись, Дуглас вернулся в Соединенные Штаты и стал готовить террористический акт — уничтожение колонны грузовиков с напалмом на западном побережье. Замысел не удался. Подруга одного из заговорщиков выдала его, и он очутился в тюрьме. Историю с подделкой чеков он придумал, ибо еще не вполне доверял своим новым друзьям. Теперь он им полностью доверяет и готов даже предложить свой опыт сапера-подрывника.

«Исповедь» Дугласа еще больше подняла его авторитет среди бакнельских радикалов. Однако от «услуг» сапера-подрывника последователи Берригэнов решительно отказывались, ссылаясь на свои морально-религиозные убеждения. Они цитировали ему послание Дэниела «Везерменам» и приводили пример кейтонсвилевского рейда. (Для того чтобы проникнуть в помещение призывного пункта, участники рейда вынуждены были оттолкнуть служительницу, случайно задержавшуюся в офисе. Она упала и ушиблась. Уже находясь в тюрьме, члены «кейтонсвилеской девятки» послали ей букет цветов и записку с извинениями.)

Помимо организации диверсионных актов, Дуглас предлагал еще и устройство «киднаппингов», то есть похищений, проповедуя методы латиноамериканских «Тупамарос» и квебекских сепаратистов. Профессор Вильям Дэвидсон, проходивший по делу Берригэнов в качестве «сообщника», вспоминает, что предлагавшиеся Дугласом планы политических похищений также были отвергнуты, ибо «киднаппинги», как правило, чреватые убийством, а следовательно, противоречат философии ненасилия.

Итак, провокатор мало в чем преуспел, и охране пришлось довольствоваться этим малым. Поскольку все разговоры Дугласа с ничего не подозревавшими последователями Берригэнов подслушивались и записывались ФБР, эти записи при определенной «редактуре» можно было выдать в качестве доказательства того, что «заговорщики» обсуждали и даже планировали целый ряд диверсионных актов и похищений. Гуверовская служба так и поступила. Шпаргалка, составленная ею для обвинительного акта Большого жюри, получилась весьма жидковатой. В ней говорилось, что «заговорщики» планировали достать динамит, пластиковую взрывчатку, бикфордовы шнуры и детонирующие устройства». Кроме того, в обвинительном акте содержался подробный перечень двадцати двух различных «конспиративных встреч», в большинстве которых самое активное участие принимал Бойд Дуглас.

После сенсационного выступления Гувера в сенатской подкомиссии по ассигнованиям Дуглас стал нервничать. Он замкнулся, перестал встречаться с «заговорщиками», старался не попадаться на глаза их друзьям. 16 декабря, за два дня до первого заседания Большого жюри, в льюисбергскую тюрьму пришел приказ о досрочном освобождении Дугласа «за хорошее поведение». Он немедленно собрал свои пожитки и отправился в Вашингтон якобы для того, чтобы заявить протест против «гуверовских инсинуаций». А уже 7 января провокатор Бойд Дуглас — главный свидетель обвинения — давал показания перед Большим жюри в Гаррисберге...

Теперь, ознакомившись с главными действующими лицами мелодрамы, сочиненной в недрах охраны, коснемся вкратце ее сюжета. Подземные коммуникации Вашингтона размещены в туннеле протяженностью в шестнадцать миль, разветвленном на манер лабиринта. Они напоминают миниатюрное издание знаменитых парижских катакомб (недаром некоторые остряки сравнивают гуверовскую фальшивку с «Тайнами Парижа» Эжена Сю). Горячая вода поступает в трубопровод отопительной системы из трех основных котлов, расположенных в Джорджтауне (район Вашингтона), на Капитолии и неподалеку от Пентагона. Точная схема туннеля держится в тайне, а его карта принадлежит к числу строго секретных документов. Доступ в туннель ограничен лишь немногочисленным персоналом специалистов, прошедших придирчивый «рентген» органов безопасности.

Согласно версии ФБР, 1 апреля 1970 года (дата придумана словно в насмешку) Филипп Берригэн, в то время еще находившийся на свободе, и отец Вендерот якобы проникли в подземелье, чтобы подыскать места для закладки динамита. В мае Филиппа схватили гуверовские ищейки и заключили в льюисбергскую тюрьму. Однако, гласит сценарий охраны, он продолжал поддерживать связь с Вендеротом, давая письменные указания по поводу практического осуществления заговора. Наконец в октябре в Балтиморе произошла встреча между пасторами Вендеротом и Маклоглином и монахиней



Макалистер, встреча, на которой якобы утвердили окончательный план саботажа в катакомбах и похищение Киссинджера.

ФБР утверждает, что знало об этих приготовлениях, ибо переписка заговорщиков осуществлялась через Дугласа, который предоставлял ее охранке для перлюстрации.

Но каким это образом священники могли беспрепятственно проникать в запретные подземелья? Здесь режиссеры из Федерального бюро расследований выпускают на сцену два эпизодических персонажа — брата и сестру Джойнт. Первый работает техником-лифтером в «Форрестол биддинг», вторая — домохозяйка из Сильвер-Спрингс (штат Мэриленд). Патриция Джойнт (ее фамилия по мужу Чэнел) якобы находилась «под обаянием Берригэнов», а ее брат Джозеф, кажется, имел ключи, которые открывали один из входов в подземный туннель. Так вот, Джозеф встречался с отцом Вендеротом, а отец Вендерот — с отцом Филиппом... Брата и сестру подвергли допросу с пристрастием, а затем пообещали иммунитет, если они, конечно, согласятся выступить на процессе в качестве свидетелей обвинения. Но тут произошел неожиданный конфуз. Большое жюри получило телеграмму, в которой говорилось, что госпожа Патриция Джойнт-Чэнел «некомпетентна как свидетель и не может выступать в суде по причине своей невменяемости». Телеграмму подписали лечащие ее врачи-психиатры...

Излагая сюжет «заговора», сфабрикованного ФБР, журнал «Ньюсуик» сравнивает его с романами Грэма Грина, в которых причудливо переплетаются философия католицизма и занимательность шпионских боевиков. Журнал «Тайм» придерживается более низкого мнения о творчестве гуверовской охранки и считает, что она черпала вдохновение в детективных книжках Яна Флеминга. Но даже эта относительно скромная оценка специфики стиля ФБР представляется мне несправедливо завышенной. Наиболее точная характеристика генезиса «творчества» Федерального бюро расследований содержится в заявлении братьев Берригэнов. Литературными мэтрами Гувера были Гитлер и Геринг, а не Грин и Флеминг. (Кстати, дом Геринга соединялся с рейхстагом подземным туннелем, а умственное состояние Ван дер Люббе во время процесса живо напоминает «некомпетентность» госпожи Патриции Джойнт-Чэнел перед процессом.)

Имеется еще одна особенность, которая роднит топорную работу (в прямом и переносном смысле) Гувера и Геринга. Директор ФБР, подобно своему берлинскому предтече, находился в глубоком цейтноте. Он отчаянно спешил (на носу — вторжение в Лаос) и поэтому допускал грубые ляпсусы, забывая даже о формальностях уголовного законодательства. Рейхстаг еще пылал, когда фашистский главарь заявил на весь мир, что «это перст божий, который поможет мне уничтожить коммунистов». Он торопился. Он не мог позволить себе роскоши подождать обвинительного заключения, а тем более судебного приговора. Гувер не дождался даже динамитного фейерверка в вашингтонских катакомбах. Он так спешил, что впопыхах опередил само Большое жюри, в компетенцию которого, согласно американским процессуальным нормам, как раз и входит предъявление обвинений, анонсированных им на Капитолии.

Оплошность Гувера поставила Вашингтон в щекотливое положение. Разумеется, причиной тому не юридическое чистоплюйство. Просто Большое жюри считало, что оно еще не готово к поднятию занавеса. Внушал сомнение миманс свидетелей, декорации пахли липой, вещественные доказательства выглядели слишком уж бутафорскими. Короче, Большому жюри требовалось несколько дополнительных репетиций. Министр юстиции Митчелл был вне себя от гнева. Он строго-настрого приказал органам ФБР воздерживаться от каких-либо комментариев по поводу заявления Гувера и наложил абсолютное эмбарго на освещение деятельности Большого жюри. Затем Митчелл созвал специальную пресс-конференцию с целью побелки основательно закоптившегося монумента американизма. Он сказал, что «высказывания Гувера следует рассматривать в контексте», что директор ФБР еще «не дошел до той точки — и я надеюсь, что он никогда не дойдет до нее, — которая несовместима с принципами моего ведомства». Демонстрируя широту своих взглядов и демократизм, министр добавил:

— Гувер имеет право пользоваться свободой слова, как и все остальные граждане Соединенных Штатов, и я не собираюсь ограничивать свободу слова мистера Гувера.

Однако, несмотря на столь квалифицированную побелку монумента, по Вашингтону поползли слухи о возможной отставке директора Федерального бюро расследований, который за последнее время стал слишком уж несдержан на язык. (Мистеру

Митчеллу то и дело приходится «интерпретировать» эскапады шефа своей охраны. Их приписывают старческому склерозу и прогрессирующей мании преследования, которыми страдал Гувер.)

Но слово не воробей. Не успел Гувер сделать преждевременную рекламу спектакля Большого жюри, как из небольшого городка Натли (штат Нью-Джерси) раздался женский голос: «А что я вам говорила?!» Голос принадлежал некой госпоже Дороти Аллисон, знаменитой прорицательнице, которая прославилась на всю Америку, предсказав за несколько месяцев до смерти Роберта Кеннеди, что он будет убит «или арабом, или индийцем на кухне или в ресторане между январем и маем».

Так вот, госпожа Дороти Аллисон выступила в печати с заявлением, неопровержимо утверждавшим ее приоритет в разработке сценария «заговора» братьев Берригэнов. Оказывается, еще за год до гуверовских откровений в сенатской подкомиссии по ассигнованиям прорицательницу из Нью-Джерси посетило «видение свыше». Ей приснился вещий сон о том, как таинственные заговорщики похищают советника президента и взрывают отопительную систему правительственных учреждений в Вашингтоне. Поскольку госпожа Дороти Аллисон не только стопроцентная прорицательница, но и стопроцентная американка, она немедленно поставила в известность о своем сне видении тех, кого следует, кому надлежит все знать, — секретную службу и ФБР.

19 февраля 1970 года в Натли прибыли представители органов безопасности во главе с агентом секретной службы Барри Штернбергом. В интервью газете «Нейшнл инкуайер», крупнейшему американскому бульварному двухнедельнику с трехмиллионным тиражом, Штернберг заявил:

— Да, я отлично помню, как мы допрашивали ее. Затем было проведено необходимое расследование, о подробностях которого я, естественно, не имею права распространяться. Скажу только, что госпожа Аллисон — удивительная женщина.

Еще бы!

Начнем с того, что когда Штернберг впервые связался по телефону с госпожой Аллисон, то «удивительная женщина» тут же распознала его. Не успел агент секретной службы прокричать в трубку стереотипное «хелло, миссис Аллисон!», как услышал ответ: «Вы, по-видимому, из органов безопасности и рождены под знаком Зодиака». И то и другое вполне соответствовало истине. Дальше — больше. Когда Штернберг в сопровождении другого агента секретной службы, Т. Стронга, и представителя ФБР Дика Брауна явился на квартиру «удивительной женщины», то последняя развернула перед ними калейдоскоп оживших картинок-иллюстраций к своему вещему сну. Ей мерещился длинный и хорошо освещенный туннель. Шесть человек (запомните эту цифру) рыли ямы под отопительными трубами и закапывали в них бомбы. Туннель выходил на поверхность в ста метрах от Белого дома.

— Если вы не будете бдительными, заговорщикам удастся проникнуть в туннель и подложить взрывчатку, — напутствовала на прощание детективов миссис Аллисон.

Детективы пообещали ей, что будут бдеть.

Как-то прорицательницу из Натли вновь навестили пинкертонеры из Вашингтона. Возглавлявший их сотрудник секретной службы Питер Беккер интересовался на этот раз хронологией заговора. Госпожа Аллисон назвала ему октябрь (запомните эту дату). Беккер поблагодарил ее за «ценные сведения» и сказал, что передаст их своему начальству.

Но тем не менее «удивительная женщина» на этом не успокоилась. Она решила связаться с конгрессменом-демократом Генри Хелстоски, представляющим на Капитолии ее родной штат Нью-Джерси. Свидание прорицательницы и законодателя было организовано при содействии секретарши последнего некой Натали де Фалко, истово верящей в ясновидение. Госпожа Аллисон рассказала конгрессмену о своем вещем сне, а затем попросила его устроить ей экскурсию по Белому дому и капитолийской Ротонде для «телепатической инспирации». Генри Хелстоски согласился.

Экскурсия состоялась 24 ноября, то есть всего лишь за три дня до памятного выступления Гувера в сенатской подкомиссии по ассигнованиям (27 ноября 1970 года)! «Удивительную женщину» сопровождали ее ничем не примечательный супруг и сам конгрессмен. Генри Хелстоски вспоминает:

— Это было в канун Дня благодарения. Роль гида при миссис Аллисон выполнял

я сам. Пока мы осматривали Белый дом, она все время твердила, что президент или еще кто-то, близко стоящий к нему, находится в опасности. Когда же мы спустились в подземное помещение Капитолия, миссис Аллисон неожиданно повернулась ко мне и воскликнула: «Вот это место! Я снова вижу освещенный туннель и динамит, подложенный под отопительную систему!»

История прорицательницы из Нью-Джерси еще больше увеличивает сходство между поджогом рейхстага и «заговором», сфабрикованным Гувером. Накануне поджога некто Гануссен, модный ясновидец, демонстрировавший телепатические сеансы сначала на арене цирка и со сцены мюзик-холлов, а затем в салонах берлинской знати, рассказывал о посетившем его видении — здании парламента, охваченном огнем. Ясновидение, вернее, неумение держать язык за зубами дорого обошлось Гануссену. Его прикончили штурмовики, в среде которых он и черпал свои «озарения». Миссис Аллисон, видимо, не грозит столь трагическая участь, но для внесения ясности в ее ясновидение необходимо заметить, что она на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с ФБР и органами полиции.

Неожиданно у Гувера объявился враг много опаснее пророчицы из Нью-Джерси. От Вильяма Андерсона нельзя было просто отшутиться, как от Дороти Аллисон. Его нельзя было даже объявить антиамериканцем, поскольку официальная историография уже успела канонизировать Вильяма Андерсона в качестве идеала американизма, великого патриота и национального героя.

Андерсон — демократ, член палаты представителей от штата Теннесси. Он избирается в конгресс вот уже четвертый срок подряд. Выпускник знаменитой военной академии Аннаполиса, Андерсон проявил исключительную храбрость в годы второй мировой войны, прославился на всю Америку и стал ее национальным героем. А после корейской войны его грудь сплошь покрылась орденами и медалями. Именно Андерсону было поручено командование «Наутилусом» — первой американской подводной лодкой с атомным двигателем. Это он впервые провел ее 3 августа 1958 года под ледовым покровом, совершив легендарный рейс, который проложил ему путь не только на Капитолий, но и в пантеон американизма. Президент Эйзенхауэр лично вручил Андерсону в Белом доме орден «За заслуги», а Нью-Йорк устроил ему торжественную встречу, равной которой не удавалось еще никто со времен Линдберга.

Взгляды Андерсона всегда отличались примерной благонамеренностью. Ведь недавно же он представляет в конгрессе штат Теннесси — цитадель баптизма, именуемую «библейским поясом». «Шестой округ» конгрессмена Андерсона — это плантации, фермы, провинциальные городки, раскинувшиеся от Кентукки до Алабамы и захватывающие предместья Нашвилла. О «шестом округе» говорят, что он посыпан табаком и усеян плакатами «Готовься к встрече с богом». На президентских выборах в 1960 году этот округ прокатил католика Кеннеди, а в 1968 году голосовал за расиста Уоллеса.

Андерсон был морским волком по профессии и ястребом по политической принадлежности. Он неизменно поддерживал агрессию во Вьетнаме и исправно голосовал за любые ассигнования, которые испрашивал Пентагон. Он состоял членом таких реакционных организаций, как «Американский легион» и «Ветераны зарубежных войн», выступал против любого законодательства, направленного на запрещение или хотя бы ограничение ношения оружия гражданскими лицами, был сторонником создания системы ПРО (противоракетная оборона) и усиления «независимой» термоядерной мощи военно-морского флота.

Когда после вторжения в Камбоджу строптивые сенаторы бросили вызов президенту Никсону и отправили свою делегацию в Индокитай «для выяснения фактов», Андерсон выступил в качестве одного из инициаторов коптршага — посылки миссии палаты представителей по следам сенаторов-голубей в целях поддержки курса республиканской администрации и дискредитации ее критиков. Само собой разумеется, что в состав этой миссии включили и Вильяма Андерсона. Белый дом и Пентагон безгранично доверяли ему.

В июне 1970 года миссия правоверных конгрессменов-ястребов отбыла в Южный Вьетнам и Камбоджу. Поначалу все шло гладко, согласно графику, разработанному штабом генерала Абрамса для высоких гостей с Капитолия. Конгрессменам показывали и рассказывали только то, что им надлежало, да и хотелось видеть и слы-

шать. Но в один прекрасный день случилось непредвиденное. Отбившись от основной группы, Андерсон поехал на остров Кон Сон, где находилась тюрьма, о которой распространялись самые дикие слухи. Бывший капитан «Наутилуса» отправился в Кон Сон с вполне благими намерениями — разоблачить в качестве непосредственного свидетеля-очевидца «вымыслы коммунистической пропаганды о зверствах сайгонского режима». Но то, что предстало перед его взором в консонских застенках, изменило на все сто посемьдесят градусов жизненный курс Андерсона.

Консонская тюрьма для политических заключенных — сущий ад. Микроскопические камеры, получившие скандальную известность под названием «тигровые клетки», были до отказа набиты узниками — мужчинами и женщинами, прикованными цепями к стальным прутьям. Их подвергали изо дня в день наиболее ужасной из всех пыток — пытке голодом. Когда доведенные до отчаяния арестанты начинали просить хлеба и воды, надзиратели поливали их раствором извести. Консонская тюрьма содержалась на американские доллары и обслуживалась американскими специалистами.

Вернувшись в Штаты, потрясенный Андерсон стал публично рассказывать правду о «тигровых клетках». Затем он официально потребовал от президента, чтобы тот «заклеймил это возмутительное явление». Ответ Белого дома на интерпеляцию чудом прозревшего конгрессмена гласил: «Наше вмешательство было бы неуместным».

Консонский шок послужил первым шагом к сближению Андерсона с антивоенным движением. Так скрестились пути капитана «Наутилуса» и братьев Берригэнов. Статьи и книги Дэна, его философия «драматического ненасилия» произвели огромное впечатление на Андерсона.

— Я был покорен этими людьми, их преданностью идее, глубиной их чувств, силой их интеллекта, их готовностью страдать за свои убеждения, их служением родине даже в застенках,— говорил он.

Не довольствуясь заочным знакомством, Андерсон жаждал личной встречи с братьями. Но они к тому времени уже находились в тюрьме Дэнбэри. Тем не менее конгрессмен, используя парламентские привилегии, добился свидания с ними. Долгие беседы в тюрьме — свиданий было несколько — сделали друзьями бывшего ястреба и бывших монахов.

— Это прекрасные люди, одновременно нежные и твердые, эмоциональные и разумные. Вот с кого нам надо брать пример,— рассказывал Андерсон уже после первой встречи с Дэном и Филиппом.

Поразительный цинизм, политическая порочность и моральная нечистоплотность правящей верхушки США приводят порой к тому, что прозревают, постепенно превращаясь в борцов, даже люди, казалось бы, далекие от политического радикализма, люди, которые еще вчера не подозревали, что способны посягнуть на сами «устои» американской государственности. Не этим ли объясняется, в частности, и сближение столь разных по своим убеждениям и взглядам людей, как братья Берригэны и Вильям Андерсон? Против властей США, верно служащих американскому империализму, поднимается все больше людей с самым различным мировоззрением, принадлежащих к различным политическим течениям.

Когда директор ФБР выступил в сенатской подкомиссии по ассигнованиям с инсинуациями в адрес Берригэнов, Андерсон немедленно встал грудью на защиту своих новообретенных друзей. Он разразился громовой речью в палате представителей, обвинив Гувера в «возрождении тактики маккартизма и драматического запугивания общественности огромными газетными заголовками».

Андерсон потребовал от директора ФБР или представить «серьезные доказательства в поддержку своих обвинений, или отказаться от них и публично извиниться перед братьями Берригэнами». Особенно выводило из себя Андерсона то обстоятельство, что Гувера нельзя было привлечь к ответственности по обвинению в клевете,— люди, дающие показания перед конгрессом и его комиссиями, пользуются иммунитетом. Капитан «Наутилуса» возмущался трусостью и неблагородством директора ФБР, который «бесстрашно» наносил клеветнические удары, забравшись в панцирь неприкосновенности. Поэтому бывший капитан «Наутилуса» стал агитировать своих коллег-кон-

грессменов на проведение дебатов об антиконституционной деятельности директора ФБР.

— Неписанный закон, согласно которому Гувера нельзя критиковать, должен быть отменен, — говорил Андерсон.

Это было уж слишком даже для человека, имевшего прижизненную прописку в пантеоне американизма. Гувер лицемерно сокрушался по поводу «падения ангела» и с еще большим ожесточением требовал крови Берригэнов.

— Каково же растлевающее влияние этих расстриг, если им удалось совратить даже такого стопроцентного американца и патриота, как Андерсон! — вопрошал директор ФБР.

Дуэль с главными мушкетерами современного маккартизма — дело нешуточное. Она грозит летальным исходом любому политическому деятелю. К тому же противники Андерсона зашли ему в тыл, натравив на «падшего ангела» его избирателей из «библейского пояса» штата Теннесси. Умышленно распалая религиозные распри и предрассудки, они стали нашептывать южанам-баптистам, что их конгрессмен перекинулся на сторону северян-католиков. И вот в домах славных теннессийцев начали исчезать фотографии Андерсона, запечатленного в голубом капитанском кителе, при золотом кортике, на фоне знаменитого «Наутилуса». А ведь совсем еще недавно славные теннессийцы молились на эти фотографии как на иконы. А какой-то госпиталь в Веверли, носивший название «Наутилус», соскреб его с фронтона своего приемного покоя...

Лишь спустя полтора месяца после памятного выступления директора ФБР в сенате Федеральное большое жюри осмелилось наконец предъявить официальное обвинение «заговорщикам». И хотя все то время жрецы американской Фемиды прилагали отчаянные усилия к тому, чтобы не предстать перед миром в качестве «круглых идиотов», обвинительный акт, утвержденный Большим жюри в Гаррисберге (штат Пенсильвания), получился жидким и неубедительным. Он почти слово в слово повторял гуверовский спич, впрочем без его эмоциональных обертонов. Сухость изложения диктовалась спецификой жанра. В качестве «обвиняемых» к уголовной ответственности привлекались шесть человек — Филипп Берригэн, Джозеф Вендерот, Нейл Маклоглин, Энтони Скоблик, Экбаль Ахмад и Элизабет Макалистер. (Отсюда пошло новое название процесса — дело «гаррисбергской шестерки». Помните цифру, названную ясновидящей миссис Аллисон из Натли?) Еще семь человек были названы в качестве «сообщников» — Дниель Берригэн, монахини Беверли Белл и Марджори Эшюмэн, профессор физики Хэверфордского колледжа Вильям Дэвидон, активист антивоенного движения Томас Дэвидсон, священник Поль Мэйер и монахиня Джог Игэн, бывшая настоятельница нью-йоркского отделения ордена «Священное сердце девы Марии». Составители обвинительного акта даже не удосужились объяснить разницу между «обвиняемыми» и «сообщниками» и принцип, на основе которого произошел этот, с позволения сказать, отсев. Зато подчеркивалось, что и тем и другим в случае вердикта виновности грозит любой срок тюремного заключения вплоть до пожизненного. Наконец, видимо для придания особого веса обвинительному акту, он был оглашен самим министром юстиции Митчеллом из его вашингтонской резиденции.

Вашингтон торопил Гаррисберг с началом суда; Гаррисберг умолял Вашингтон повременить. Столица настаивала на премьерере; провинция — на дополнительных репетициях. Тогда министерство юстиции решило изъять дело «гаррисбергской шестерки» из компетенции уголовного департамента и передать его департаменту внутренней безопасности. Калифорнийский ультра Роберт Мэрдизн, глава этого департамента и заместитель министра юстиции, поспешно отбыл в Гаррисберг, прихватив с собой своих наиболее расторопных прокуроров и следователей, в том числе знаменитого обвинителя Гая Гудвина, обладателя неофициального титула чемпиона Америки по охоте на радикалов.

Команда Мэрдизна — Гудвина засучив рукава немедленно принялась за повторный прогон спектакля. Однако столичные знаменитости оказались еще менее удачливыми, чем их провинциальные коллеги. Так, например, с треском провалилась их попытка «вылечить» от невменяемости госпожу Патрицию Джойнт-Чзел, одного из

главных свидетелей обвинения. Врачи вновь предъявили Большому жюри подробную историю душевной болезни Джойнт-Чзел, а Массачусетский психиатрический госпиталь в Таунтоне, где ее содержали по просьбе родственников, подтвердил их диагноз, гласивший — шизофреническая паранойя. Тем не менее Большое жюри сочло возможным вызвать на допрос Патрицию Джойнт-Чзел. Ее адвокат, видя, что медицинские заключения не произвели должного впечатления на мистера Гудвина, рекомендовал своей клиентке отказаться от дачи показаний, сославшись на пятую поправку к Конституции США. Она так и поступила.

— Я назвала им свою фамилию и адрес, но отвечать на другие недостойные вопросы не стала. И еще я посоветовала им вызвать на допрос Эдгара Гувера, поскольку он знает об этом деле буквально все,— заявила миссис Джойнт-Чзел, выходя из здания суда.

Наконец, произошло событие, которое вновь спутало карты режиссеров гаррисбергского судилища. Генри Киссинджер, главная «жертва» заговора, якобы задуманного «Гайным обществом Восточного побережья во имя спасения жизни», встретился со своими «похитителями»! Встреча состоялась в подземелье, но не в том, которое предстало перед взором ясновидящей миссис Аллисон, а в «Situation Room», то есть в «Комнате ситуаций», куда не проникают даже телепатические вибрации самых знаменитых медиумов Америки. «Комната ситуаций» — подвальное помещение в Белом доме, где разрабатываются основные военно-стратегические планы Вашингтона и откуда прослеживается их осуществление «по курсу дня».

Идея диалога между «заговорщиками» и «жертвой» возникла у Брайана Макдонелла из Филадельфии, известного ученого и борца за мир, устроившего тридцатидневную голодную забастовку в Лафайет-парке перед Белым домом в знак протеста против американской агрессии в Индокитае. Макдонелл — близкий друг Берригэнов, а в прошлом коллега Киссинджера. Однажды, когда Киссинджер по старой памяти навестил его в Лафайет-парке, чтобы отговорить от продолжения голодовки, Макдонелл в качестве контрпредложения выдвинул требование о встрече. Киссинджер согласился, но при условии, что темой диалога будут исключительно философские проблемы, а не юридические аспекты дела Берригэнов. На том и порешили.

Помощник президента принял своих «похитителей», сидя под огромной политической картой мира, занимающей целую стену в «Комнате ситуаций». Перед ним в удобных креслах расположились профессор физики Хэверфордского колледжа Вильям Дэвидон, известный нью-йоркский «мирник» и сын епископа Томас Дэвидсон и настоятельница монастыря «Нотр Дам де Нэмур» Беверли Белл.

«Философский диалог», напоминавший скорей диалог глухих, длился около полутора часов.

Помощник президента защищал политику «вьетнамизации» войны. «Похитители» объясняли ему, что массовое убийство с воздуха столь же аморально, как и убийство наземными средствами, и еще более ужасно — авиационная бомба страшнее штыка пехотинца. Помощник президента пугал своих собеседников «коммунистической угрозой» и «красной опасностью».

Беседа подходила к концу. Неожиданно профессор Дэвидон заметил Киссинджеру, что в его кабинете пустует несколько кресел.

— На что вы намекаете?— спросил его, насторожившись, помощник президента.

— На более представительную встречу с участием «обвиняемых» Берригэнов, запертых в тюрьме Дэнбэри, и «сообщника» монаха-бенедиктинца Поля Мэйера, родители которого бежали из гитлеровской Германии одновременно с вашими родителями. Вы с ним, кажется, однолетки. И судьба у вас почти что одинакова, за исключением последних лет, разумеется. Поль выступает против той внешней политики, которой вы руководите из «Комнаты ситуаций».

Наступила неловкая пауза. Помощник президента был явно смущен. А это с ним не часто случается. Наконец, овладев собой, он сказал, что подумает о предложении Дэвидона.

«Похитители» поднялись и стали прощаться. Том Дэвидсон, на груди которого был приколот овальный бело-голубой жетон с надписью «Умыкнем Киссинджера», извлек из

карманов брюк пригоршню точно таких же жетонов и, обращаясь к помощнику помощника президента, сказал:

— Возьмите их и реализуйте среди сотрудников Белого дома. Цена одного жетона — пять долларов, за пару скидка в доллар. Деньги идут на оплату судебных издержек.

Оторопевший помощник помощника президента вопросительно взглянул на своего босса.

— Берите, берите, не мешкайте. Вы еще неплохо зарабатываете на этих значках, перепродавая их с наценкой своим коллегам,— поощрительно процедил Киссинджер, как бы давая понять присутствующим, что хозяина «Комнаты ситуаций» никакая непредвиденная ситуация не может заставить врасплох...

Но вот Митчелл и Гувер были застигнуты врасплох и неприятно удивлены легкомыслием Киссинджера. Ведь встреча между «похитителями» и «жертвой», да еще под сводами Белого дома, окончательно превращала в фарс и без того шитое белыми нитками дело Берригэнов.

Сенсации следовали за сенсациями. Столица все еще переживала и пережевывала встречу помощника президента со своими «похитителями», когда из Нью-Йорка пришла новая сногшибательная весть: бывший генеральный прокурор и министр юстиции США Рамсей Кларк решил возглавить группу адвокатов, защищающих Берригэнов и их друзей в гаррисбергском храме Фемиды!

Уже сам по себе этот факт из ряда вон выходящий. Ведь речь шла о человеке, который буквально еще вчера судил «бостонскую пятерку», в том числе прославленного доктора Спока, по обвинению в заговоре с целью подрыва военно-призывной системы Соединенных Штатов. Драматизм ситуации усугублялся тем, что одновременно с Кларком защищать Берригэнов взялся профессор Леонард Бодин, преподающий на юридическом факультете Гарвардского университета, отец Кэти Бодин, руководительницы «Везерменов», террористки, отличавшейся исключительной храбростью<sup>5</sup>. Партнеры по защите «гаррисбергской шестерки» Кларк и Бодин выступали противниками на процессе «бостонской пятерки» в 1968 году. Первый был обвинителем доктора Бенджамина Спока, второй — его адвокатом. Пути господни и впрямь неисповедимы!

Согласие Кларка возглавить защиту Берригэнов драматически усилило политическую окраску предстоящего суда. Дело в том, что с некоторых пор Рамсей Кларк стал «темной лошадкой» левого антивоенного крыла демократической партии на дальних подступах к президентским выборам 1972 года. В Нью-Йорке, Бостоне и Рейли (штат Северная Каролина) даже возникли комитеты «Кларка — в президенты!». Плакаты и жетоны с аналогичным призывом уже заняли свое место в пестрой избирательной карусели. Сторонники Кларка многозначительно напоминали, что именно он был главной мишенью кампании, которую вел Никсон против демократов в 1968 году. Политический характер решения Кларка стал еще более явственным, когда к нему в качестве адвоката Берригэнов присоединился известный либерал Поль О'Двайер, правая рука Юджина Маккарти, бывший кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк, представлявший антиджонсоновскую фракцию в демократической партии.

Параллельно с политическими интригами разворачивались и юридические баталии. В Вашингтоне не на шутку встревожились тем обстоятельством, что опекать «гаррисбергскую шестерку» взялись тринадцать выдающихся адвокатов и профессоров права во главе с бывшим генеральным прокурором и министром юстиции США. Было принято решение противопоставить «тринадцати апостолам» самых способных обвинителей, имевшихся в распоряжении ведомства Митчелла. После долгих размышлений организаторы процесса остановили свой выбор на кандидатуре Вильяма Линча, занимавшего в министерстве юстиции пост главы департамента по борьбе с организованной преступностью. Его немедленно перевели в департамент внутренней безопасности и сделали заместителем заместителя министра юстиции. Помимо фамилии, благозвучной для одних и устрашающей для других, Линч обладал и другими достоинствами, необходимыми для роли гаррисбергского Понтия Пилата. За его спиной были Фордхэмский

<sup>5</sup> После взрыва в начале 1970 года подпольной фабрики в Гринвич-Виллидже, на которой «Везермены» изготавливали бомбы, Кэти Бодин ушла в подполье. Она до сих пор скрывается от гуверовских ищущих.

университет и юридический факультет Гарварда. Он имел богатую судебную практику в качестве заместителя генерального прокурора Нью-Йорка и юрисконсульства адмиралтейства. В течение нескольких лет Линч был приближенным Кларка и поэтому хорошо изучил сильные и слабые стороны своего будущего противника. И наконец, он исповедовал католическую веру. Последнее обстоятельство было отнюдь немаловажным. Памятуя о голосах избирателей-католиков, республиканская администрация пыталась создать вокруг предстоящего суда атмосферу «объективности» и избежать обвинений в религиозных пристрастиях и гонениях.

«Тринадцать апостолов» встретили Линча ураганным огнем. Они подали в федеральный суд протест с требованием прекратить дело Берригэнов и других «заговорщиков». Адвокаты ссылались на то, что обвинительный акт был составлен в форме «абстракции» и даже не содержал спецификации вины каждого из подсудимых. В протесте указывалось на недопустимое «предсудебное паблисити» — выступление Гувера, на противозаконные методы сбора улик: подслушивание телефонных разговоров, перлюстрация писем, подсадка провокаторов, — на грубые нарушения, допущенные при подборе состава Большого жюри, и на антиконституционность самого федерального «Закона о заговорах», который был применен к Берригэнам...

В Гаррисберге шел проливной дождь. Слушание дела, назначенное на одиннадцать часов утра, было перенесено на два часа дня. Впрочем, не из-за погоды. Просто «обвиняемых» и «сообщников», рассеянных по разным тюрьмам Америки, не удалось доставить в Гаррисберг синхронно. Автостреды были забиты транспортом, на авиалиниях не соблюдался график, поезда шли с опозданием — бастовали кондуктора.

Десятиэтажное здание федерального участкового суда, одетое в бетон и сталь, напоминало осажденную крепость. Все входы и выходы охранялись шерифами. Агенты ФБР рассыпались цепью по коридорам и лестницам. Они нервно переговаривались между собой по «воки-токи» — миниатюрным походным рациям. У лифтов были установлены электронные детекторы, реагирующие на металлические предметы. Женщины-полицейские, словно высеченные из гранитных глыб, придирчиво потрошили дамские сумочки. Лифтеры, припаянные губами к своим «воки-токи», комментировали движение стальных клеток вверх и вниз с ежесекундной обстоятельностью космонавтов.

Не обошлось без трагикомического инцидента. Одно из «обвиняемых» — профессора Эмбаля Ахмада, прибывшего из Чикаго не на казенном транспорте (он был выпущен под залог), охрана отказалась пропустить в зал суда.

— Джентльмен утверждает, что он обвиняемый, но у него нет пропуска. Как быть? — прокричал в «воки-токи» агент ФБР с красно-бело-голубым жетоном в петлице пиджака.

— Без пропуска нельзя, — ответили ему.

— Приятно слышать. Я ведь и с пропуском не очень-то рвался бы к вам.

— Нам очень жаль, но ничего не поделаешь — таков порядок. — Детектив старался быть вежливым.

— Как хотите... Дело ваше... Не забудьте только, что я неоднократно предупреждал — я обвиняемый...

Власти прибегли к чрезвычайным мерам предосторожности не потому, что у стража глаза велики. То была заранее продуманная и отретипированная психологическая уловка. Организаторы процесса хотели создать впечатление, что «обвиняемые» и «сообщники» — опасные государственные преступники, и не просто политически инакомыслящие, а способные на все экстремисты.

Появление Филиппа Берригэна было встречено бурей аплодисментов. (Дэниэль остался в тюрьме Дэнбэри.)

— Хелло, Фил! Держись, старина Фил! — неслось со всех сторон.

Законный в наручники, почти совсем поседевший гигант кивал в ответ. На его лице, подернутом тюремной бледностью, блуждала улыбка смущения.

— Фил, веди себя умницей, не лезь в беду, — напутствовала его госпожа Скоблик, мать одного из обвиняемых.

Все кругом рассмеялись...

Его честь Диксон Герман — лысый и в очках — вызывал подсудимых поодиночке и задавал им один и тот же вопрос:



— Признаете ли вы себя виновным или нет?

Отец Филипп, слегка ссутулившись, стоял перед судьей, глубоко засунув руки в карманы мешковатого пальто, видимо с чужого плеча (шерифы сняли с него кандалы).

— У вас было время ознакомиться с обвинительным актом?

— О, более чем достаточно, ваша честь,— с сухой иронией отвечал Берригэн.

— И?

— Не виновен!

— Не виновен! — повторили один за другим все подсудимые.

Его честь Диксон Герман растерянно потер лысину, снял очки и объявил перерыв на неопределенный срок. Процесс начали, но тут же законсервировали.

«Обвиняемые», «сообщники» и их адвокаты собрались в судебном предбаннике, отделанном деревянной панелью горчичного цвета. Они наскоро составили коммюнике для печати и поручили Элизабет Макалистер зачитать его.

Сестра Лиз (она предпочитает такое обращение официальному и мирскому «профессор Макалистер») сильно волновалась. Ее овальное лицо, обычно раскованное и приветливое, напряглось и заострилось. Нервно теребя красно-синий шарф, закрывавший вырез простого голубого платья, она читала:

«Мы, тринадцать мужчин и женщин, с чистой совестью заявляем — мы не заговорщики, не бомбисты и не похитители. И в принципе и на деле мы отвергаем все те акты, в которых нас обвиняют. Наша группа состоит из людей, придерживающихся различных взглядов, но объединенных общей целью — оппозицией гигантскому насилию и войне, которую ведет правительство в Юго-Восточной Азии. Именно за эту деятельность нас и заклеили заговорщиками. Глубокое сострадание к жертвам войны заставило нас встать на путь ненасильственного сопротивления. Некоторые из нас приняли участие в уничтожении карточек военного учета. Но в отличие от обвинителя — правительства Соединенных Штатов Америки — мы никогда не проповедовали насилие против человеческих существ и тем более никогда не занимались подобным насилием. В отличие от правительства мы никогда не лгали нашим согражданам о своих поступках. В отличие от правительства нам нечего скрывать. Сограждане, мы просим вас лишь об одном — сравните нашу жизнь и нашу деятельность с действиями президента, его советников, его начальников штабов и спросите себя: так кто же совершает преступное насилие?»

Люди слушали Элизабет затаив дыхание. Не сводила с нее влюбленных глаз мать. На лицах братьев и сестер Макалистер — а их девять человек — застыло выражение гордости и тревоги. Все они, как и Лиз, активные участники антивоенного движения. В Мэримаунтском колледже, где Элизабет Макалистер преподавала историю искусств, у нее имелась еще и «общественная нагрузка» — издание бюллетеня текущих событий. Текущие события пахли порохом и кровью, слезоточивыми газами и елеем лицемерия.

— Я шагала по заголовкам как по трупам, и в конце концов они привели меня в ряды противников войны,— вспоминает Элизабет.

Выпущенная под залог во время судебного разбирательства, Элизабет Макалистер продолжала разоблачать поджигателей войны, ежеминутно рискуя вновь очутиться за тюремной решеткой.

— Мы все в ответе друг за друга,— говорила она, касаясь процесса «гаррисбергской шестерки». — Нас связывает спартаковский принцип. Когда римляне требовали под страхом смерти у пленных рабов, чтобы те выдали своего предводителя, рабы, закованные в цепи, встали один за другим и гордо произнесли: «Я — Спартак!»

В день перевода старшего Берригэна из одной тюрьмы в другую перед зданием суда в Манхэттене собрались его последователи. Они не произносили никаких речей, не скандировали никаких лозунгов — короче, не митинговали. Они молча стирали в корытах и ведрах американские флаги.

— Что вы тут делаете? — спрашивали их прохожие.

— Отмываем со звездно-полосатого кровь жертв вьетнамской войны и чернила, которыми был подписан приговор Берригэну,— отвечали «прачки».

— Не знаю, может ли функционировать ФБР без Гувера, но наше движение продолжает развиваться и в отсутствие Берригэнов,— сказал мне один из «обращенных».

Когда власти решили привлечь к уголовной ответственности Стрингфеллоу и Тауни, в доме которых на Блок-Айленде скрывался Дэн, «обращенные» созвали митинг протеста в Уильмингтоне (штат Делавэр). По окончании митинга его участники направили в адрес министерства юстиции письмо несколько неожиданного содержания. Его авторы «признавались», что принимали участие в налетах на призывные пункты, в сожжении военных билетов и учетных карточек, а также в укрывательстве Дэниеля и Филиппа. Более 300 человек поставили свои подписи под письмом. Среди них был и профессор Ноам Комски.

— Мы сделали это, чтобы вызвать прямое столкновение с поджигателями войны,— сказал он.

Так началось дело «делавэрских трех сотен», ставшее классической иллюстрацией спартаковского принципа, о котором говорила сестра Лиз. Получив письмо участников митинга в Уильмингтоне, министерство юстиции попало в затруднительное положение. Ведомству Митчелла было хорошо известно, что большинство авторов не совершало деяний, перечисленных в письме, что оно умышленно оговаривало себя. Однако поскольку имеется признание, следственные органы обязаны проверить его. Но как? Завести дела сразу на 300 человек? Министерство юстиции прекрасно понимало всю опасность подобного шага. Во-первых, среди подписавшихся были многие выдающиеся деятели науки и культуры, а также около ста духовных лиц. Процесс против них неминуемо грозил громким скандалом и, безусловно, вызвал бы нежелательный международный резонанс. При всей их ненависти к «преступникам мира», ни Митчелл, ни Гувер, ни тем более республиканская администрация не могли позволить себе подобную роскошь. Во-вторых, кто мог поручиться, что примеру «делавэрских трех сотен» не последуют другие? А признаки надвигающейся эпидемии «признаний» уже имелись. Так, например, студенческий сенат Мэримаунтского колледжа выразил Элизабет Макалистер «вотум доверия» от имени 1200 учащихся и провозгласил свою «сопричастность» к ее делу.

В Вашингтоне опасались не только морального ущерба и нежелательного публичности. Жрецы вашингтонской Фемиды подозревали, что за обвалом «признаний» кроется заговор, преследующий цель парализации карательного аппарата. Вспомнили в связи с этим разработанный Берригэном план создания хаоса на бирже путем ее засорения бесчисленными транзакциями на мелкие денежные суммы. Вот почему дело «делавэрских трех сотен» до сих пор находится в подвешенном состоянии. Его и не открывают и не закрывают. Зато дело, во имя которого боролся Берригэн, собирает под свои знамена все новых и новых «обращенных».

В канун нового, 1971 года жители Блок-Айленда решили провести «день Дэниеля Берригэна». В единственном кинотеатре острова показывали антивоенный фильм «Несите войну в дом». Владелец кинотеатра Кинг О'Делл объявил вход свободным. После окончания картины зрители отправились на квартиру учителя музыки Фредерика Брейдерта, лично знавшего Дэна. Здесь Брейдерт и художница Юрбейн выступили с чтением отрывков из книг Берригэна. А в это время на пристани и на пароме молодежь распространяла антивоенные листовки. Поздно вечером группа жителей острова сфотографировалась под плакатом, на котором значилось: «День Дэниеля Берригэна». Фотографию послали по двум адресам: один экземпляр в федеральное исправительное заведение Дэнбэри (штат Коннектикут) Берригэну, другой — в министерство юстиции США, Вашингтон (федеральный округ Колумбия), Митчеллу. На обороте первого экземпляра были написаны слова приветия, на обороте второго — признания в совершенном преступлении: укрывательстве беглого пастора. И под приветом и под признанием стояло 75 подписей...

Третий закон «динамики истеблишмента» Алинского<sup>6</sup> гласит, что в борьбе против истеблишмента вы всегда можете рассчитывать по крайней мере на одну колоссальную

---

<sup>6</sup> Популярный американский философ и социолог. Его законы «динамики истеблишмента» — полшутливые афоризмы, напоминающие известные «законы Паркинсона».

оплошность с его стороны, которая даст мощный толчок вашему делу. Не довольствуясь тем, что Берригэны уже находились в заточении, и затеяв против них гаррисбергский процесс, вашингтонские пришибеёвы как раз и привели в действие третий закон Алинского. Кампания в защиту Берригэнов получила новый импульс. Разумеется, она не была изолированным явлением в политической жизни Америки, а развертывалась на общем фоне антивоенного движения, которое приобрело еще более драматический характер после позорного провала лаосской интервенции.

Третий закон Алинского способствовал и второму сценическому рождению документальной пьесы Дэниеля Берригэна «Суд над кейтонсвилльской девяткой». Запрещенная в Лос-Анджелесе и снятая с подмостков театра «Марк Тейпер форум», она вспорхнула сказочным фениксом над нью-йоркским Бродвеем. По случайному совпадению, ставшему символическим, постановку пьесы возобновила театральная труппа под названием «Феникс».

Уже в ходе репетиций выяснилось, что ни один владелец театральных помещений, расположенных на самом Бродвее (on Broadway), не желает предоставлять кров мятусе «Фениксу». Эти джентльмены, бравинуя широтой своих взглядов, сначала соглашались, а затем заламывали такую ренту, что у «Феникса» бессильно опускались крылья.

На помощь постановщикам спектакля, которые уже были близки к отчаянию, пришла знаменитая пресвитерианская церковь «Гуд шеперд фейт». Знаменитость этой церкви зиждется не на каких-то особых, выдающихся достоинствах ее архитектуры и не на массовости ее прихода. «Гуд шеперд фейт» — небольшая неказистая церквушка, стоящая с 1883 года на углу 10-й авеню и 66-й стрит. Количество ее постоянных прихожан не превышает 200 человек. До самого последнего времени мало кто знал или даже слышал о «Гуд шеперд фейт» за пределами пятачка на Вест-Энд, примыкающего к Линкольн-центру. Но с недавних пор о ней заговорили. Прихожане церкви — белые и черные — активно включились в борьбу за мир и расовое равноправие. Они стали поддерживать такие организации, как «Черные пантеры», «Женская стачка за мир» и ряд радикальных студенческих групп. Как-то незаметно, словно само собой «Гуд шеперд фейт» превратилась в штаб «мирников» и «равноправников». Каждое первое воскресенье месяца за ее так называемым «божьем столом» собираются студенческие и негритянские лидеры, обсуждают текущие дела, разрабатывают стратегию предстоящих митингов, демонстраций, забастовок, пишут воззвания и петиции. подсчитывают сборы на судебную защиту своих единомышленников, советуются с их адвокатами, выслушивают отчеты представителей летучих отрядов по борьбе с нищетой, наркотиками, расовой дискриминацией в области жилищного строительства, с полицейскими репрессиями.

Когда на Фоли-сквер начался процесс над руководителями нью-йоркской секции «Черных пантер» («Дело тринадцати»), прихожане «Гуд шеперд фейт» единогласно постановили заложить все движимое и недвижимое имущество церкви и передать вырученные суммы в «Фонд защиты черных братьев».

Вот почему «Феникс» обратился за помощью именно к «Гуд шеперд фейт» и вот почему «Гуд шеперд фейт» помогла «Фениксу». Обсудив просьбу продюсера Хэйварда и режиссера Дэвидсона, того самого, что ставил пьесу Дэна в Лос-Анджелесе, прихожане решили:

— Поскольку нам дорога каждая человеческая жизнь, мы категорически выступаем против войны в Индокитае. Мы рассматриваем эту войну как глубоко аморальную и несправедливую. Пьеса Дэниеля Берригэна «Суд над кейтонсвилльской девяткой» посвящена гражданскому неповиновению поджигателям войны. Поэтому мы идем навстречу театру «Феникс» и рассматриваем этот шаг в качестве нашего вклада в борьбу за мир.

И закипела работа. Усилиями актеров и прихожан церковные покои превратили в театральный зал. На месте алтаря возникли подмостки, сколоченные из дубовых досок. На крюках, где раньше скупали лики всевозможных святых, повесили осветительную аппаратуру. В одной из исповедален оборудовали кассу. Декорации воздвигли минимальные: судейская кафедра, два столика — для прокурора и адвоката, и две скамьи — для подсудимых и присяжных. Занавес вешать не стали — зритель должен был чувствовать себя не в театре, а в суде. Отказались и от звонка, возвещающего о начале представления. Его заменил судебный молоток. Билетеров в проходах нарядили

полицейскими, а состав присяжных стали избирать из публики. Актеры и прихожане, перевернувшие вверх дном «Гуд шеперд фейт», напоминали в своем неистовстве наших комсомольцев 20-х годов, воинствующих безбожников, крушивших курильни «опиума для народа» и создававших на их месте клубы и читальни.

Изменился и внешний облик церкви. Щиты, на которых раньше висели расписания служб и проповедей, заклеили афишами. Библейские изречения уступили место отрывкам из трудов Томаса Джефферсона и конституции штата Нью-Гэмпшир. «Боже нас упаси от такой жизни, когда в течение двадцати лет не происходит ни единого восстания,—кложотали слова «отца-основателя» Соединенных Штатов.—Какая страна способна сохранить свои свободы, если ее правителям не будут напоминать время от времени, что их народ не утратил дух сопротивления?» Статья десятая конституции штата Нью-Гэмпшир, наложенная на заповедь «не убий!», гласила: «Если цели правительства порочны, если свобода общества подвергается явной угрозе и если все меры по предотвращению подобного развития оказываются безрезультатными, то народ может и должен — это его законное право — реформировать старое правительство или создать новое. Доктрина неспротивления деспотической власти и гнету является абсурдной и рабской. Она ведет к разрушению добра и счастья человечества».

Несмотря на тюремные препоны, Дэн все время поддерживал связь с «Фениксом». Он заново переработал пьесу для нью-йоркской постановки, обогатив и углубив ее опытом подполья и заключения. Пьеса стала более сжатой, острой и динамичной. Гордон Дэвидсон несколько раз навещал Дэна в Дэнбэри и даже ухитрился передать ему во время одного из свиданий режиссерскую разработку спектакля.

— Советы Дэна имели для нас огромную ценность. Он живо интересовался ходом репетиций. Но тем не менее у меня сложилось впечатление, что судьба пьесы заботила его куда меньше, чем реальные трагические события, например в Камбодже или недавние политические процессы в Америке,—вспоминал впоследствии Гордон Дэвидсон.

Неистовый Дэн обратился к актерам с замечательным посланием, в котором он излагал свои взгляды на искусство, на его место в жизни общества и назначение.

Премьера спектакля прошла с огромным успехом, став событием и в культурной и в политической жизни Америки. Ведущий театральный критик «Нью-Йорк таймс» Уолтер Керр писал: «Люди, ходившие по сцене, не были актерами в обычном смысле слова. Актеры имитируют персонажей. А эти люди заменяли их, ибо последние не могли присутствовать в «Гуд шеперд фейт». Они находились в тюрьме Дэнбэри... Режиссер Гордон Дэвидсон и продюсер Лейлэнд Хэйвард проявили высокое чувство ответственности, не изуродовав пьесу театральными «находками». Они создали не просто спектакль, а кошмар сегодняшнего дня, поставили не просто пьесу, а вопрос о выборе будущего... Они сделали размышление человеческой обязанностью». По словам театрального критика «Нью-Йорк пост» Ричарда Уоттса, «Суд над кейтонсвилльской девяткой» стал судом над современной Америкой, над почти что всеми аспектами ее национальной политики — внешней и внутренней. Он заклеил ее как «наследницу нацизма, проповедующую отвратительные, отталкивающие доктрины...».

Согласно первоначальным наметкам постановщиков, теснимых финансовыми трудностями, век спектакля был ограничен лишь двумя-тремя неделями. Однако он продержался под сводами «Гуд шеперд фейт» всю весну. Длинные — от стены до стены — коричневые церковные скамьи, разнумерованные под театральные кресла, никогда не пустовали. Даже те двенадцать мест, которые освобождались в ходе спектакля после выбора «присяжных» из числа зрителей, немедленно заполнялись счастливыми из очереди «авосьников» перед кассой-исповедальной.

«Феникс» стал своеобразной штаб-квартирой движения за освобождение Берригэнов и их сподвижников. Сбылась мечта неистового Дэна о связи театра с сопротивлением. Актерам было что сказать зрителям, и из их взаимоотношений постепенно выковывалась цепь единомыслия. После окончания каждого спектакля артисты уходили на несколько минут за кулисы, снимали грим, переодевались, а затем вновь возвращались на сцену для «часа вопросов и ответов», ставшего неотъемлемой частью представления. Задавая вопросы — о деле Берригэнов, об их жизни, о ходе гаррисбергского процесса, о Вьетнаме, об антиколониализме, о демократии, о Гувере, о том, что есть истина, где искать ее и как,—зрители незаметно превращались в действующих лиц, вовлеченных

в кризис, созданный действительностью и обнаженный искусством. У выхода их встречали молодые люди — парни и девушки — с бумажными мешками для сбора пожертвований на защиту «гаррисбергской шестерки» и других «преступников мира». Я несколько вечеров внимательно изучал лица людей, опускавших в мешки доллары и центы. Они не откупались. Они приобщались.

Совместными усилиями актеров и зрителей был создан так называемый «Семейный кредит». Обычно неиспользованные денежные суммы, собранные для освобождения под залог подсудимых, для оплаты адвокатов, покрытия процессуальных издержек и так далее, после окончания суда, а тем более прекращения дела возвращались жертвователям. Энтузиасты «Семейного кредита» предложили не брать назад эти суммы, а приобретать на них государственные ценные бумаги и держать их наготове на случай новой надобности.

— «Семейный кредит» должен действовать по принципу ротации,— пояснили они.

Помимо сугубо практических выгод, этот план таил в себе и чисто берригэновскую иронию. Он превращал государство в невольного сообщника «преступников мира»: ведь ценные бумаги обрастают процентами!

Фундамент «Семейного кредита» был заложен на одном из первых представлений «Суда», вся выручка от которого пошла на покупку звездно-полосатых облигаций. В тот день зрителям вместе с билетами вручалась листовка, отпечатанная на желтой бумаге. В листовке говорилось: «Дорогой друг! Мы хотим, чтобы ты, следя за ходом спектакля, задумался о проблемах, которые он ставит, и об их месте в этом реальном мире. Незадолго до своего ареста Дэн Берригэн сказал: «Я предпочитаю, чтобы военные преступники судили меня как преступника мира». Сегодня в нашей стране многие «преступники мира» находятся в тюрьмах и концентрационных лагерях. Дорогой друг, ты можешь и должен помочь их освобождению. Ведь это люди, которые, подобно отцу Дэну, предпочли путь борьбы против смерти во имя жизни человека».

В строках листовки звучал спартаковский принцип...

Чем сильнее давал о себе знать третий закон Алинского, тем мощнее становился спартаковский принцип. Действие рождало противодействие. В середине апреля 1971 года потерявшее голову ФБР решило привлечь к делу «гаррисбергской шестерки» еще десять человек. Среди них профессор Ричард Дриннон, студент Бакнельского колледжа Вильям Гарднер, член религиозной общины «Еммаус хауз» Томас Филиппс, монахини Сара Фэй и Энн Уэлш, профессор Темплского университета в Филадельфии Патриция Макнейл, активисты антивоенного движения Джон Финнегэн, Поль Коминг и Клодет Пайпер.

В ответ на новую волну репрессий друзья и сторонники Берригэнов, число которых неизмеримо возросло за это время, создали так называемый «Комитет защиты». Его цель — «антивоенное просвещение» населения в связи с процессом «гаррисбергской шестерки». «Комитет» сосредоточил особое внимание на штате Пенсильвания, в черте которого находится Гаррисберг.

— Наша задача состоит в том, чтобы в результате кампании антивоенного просвещения суд не смог подобрать среди жителей Пенсильвании присяжных, находящихся в неведении о существовании дела Берригэнов,— говорили руководители «Комитета защиты».

Гаррисбергское судилище не только не отпугнуло, но еще больше подстегнуло левое антивоенное крыло американского католичества. «Сейчас единственная тема разговоров среди «добрых католиков» — это «l'affaire Berrigan»<sup>7</sup>,— писал со злобным сарказмом правоклерикальный деятель Эндрю Грили. Он пытался иронизировать над Берригэнами, которые, мол, разыгрывают из себя новоявленного пророка Иеремию, вещающего с порога своей пещеры о гибели света и испытывающего мазохистское наслаждение от этих апокалипсических предсказаний.

Но ирония мистера Грили била мимо цели, подобно репрессиям мистера Гувера...

Дело Берригэнов — я имею в виду и дело их жизни и судилище в Гаррисберге — драматически обнажило головокружительную глубину морального кризиса, в котором очутилась американская церковь, а вместе с ней вся государственная и общественная

<sup>7</sup> «Дело Берригэнов» (франц.).

система США. Вот что писал в «Нью-Йорк таймс» по этому поводу епископ Поль Мур-младший сразу же после новой волны арестов сторонников Берригэнов в апреле 1971 года: «Правительство продолжает резню и намеревается поступать таким же образом и впредь, заменив лишь белые тела желтыми. Это так называемая политика вьетнамизации — возможно, самая аморальная и циничная политика. Церковь в смятении перед ее лицом. Люди теряют веру. Единственной альтернативой для них все больше становится радикальное гражданское неповиновение...» Признавая, что Вашингтон ведет «противозаконную войну вопреки воле народного большинства», Поль Мур вопрошал: «А не перестало ли наше государство быть демократическим инструментом мира и справедливости? Не ударило ли оно в паранойю репрессий, представляющую самый опасный вид психоза?.. Суть дела Берригэнов затрагивает не только церковные институты. Она много глубже. Под ее давлением человек задается вопросом: а не наступил ли кризис доверия ко всей нашей системе правления? Каково будущее, которое повлечет за собой этот кризис? Вы, конечно, можете, если хотите, критиковать Берригэнов за фанатизм; вы, конечно, можете, если хотите, насмеяться над теми, кто наблюдал за перелетом птиц с Блок-Айленда; но, критикуя и насмехаясь, не забывайте: все это — симптомы болезни, запущенность которой ужасает... Кризис поразил самую душу Америки».

Движение в защиту Берригэнов драматически обнажило изоляцию католического истеблишмента. Князя церкви с готовностью выдали братьев-бунтарей ищейкам Гувера, а затем отказались заступиться за них. Что ж, в этом была своя логика. Человек, умывший руки, не шевелит пальцем. Федерико Алессандрини, представитель папы римского, заявил, что, «поскольку дело проходит через юридические инстанции, нам нечего сказать». Иезуитская курия почти слово в слово повторила аргументы Ватикана: «В связи с тем, что дело отца Дэниеля Берригэна рассматривается в судебном порядке, мы считаем несвоевременным делать какое-либо заявление, будь то за или против».

Когда я попытался было добиться аудиенции у кардинала Теренца Кука, чтобы взять у него интервью по поводу дела Берригэнов, мне весьма невежливо указали на дверь, украшенную резным распятием.

— Его преосвященство предпочитает соблюдать молчание по данному вопросу, ибо он еще не вполне осведомлен что к чему и как, — цинично процедил личный секретарь кардинала монсеньер Юджин Кларк.

\* \* \*

Утро 24 февраля 1972 года выдалось на редкость морозным. Люди, стоявшие перед воротами тюрьмы Дэнбэри, утопали по колено в снегу. Их было человек двести — триста. Они притоптывали ногами и прихлопывали руками, тщетно пытаясь согреться.

В половине девятого из тюремных ворот вышел худощавый человек в пасторском сюртуке. Он был без головного убора, и пронизывающий февральский ветер тербил его длинные, сильно поседевшие волосы.

— Свобода! Как это прекрасно! — воскликнул человек, поднимая руки, сложенные знаком победы, навстречу приветствовавшей его толпе...

Под нажимом общественности властям пришлось все-таки освободить Дэниеля Берригэна. Но они и тут остались верны себе. Приказ о помиловании был подписан буквально накануне истечения срока тюремного заключения, к которому был приговорен неистовый Дэн. В приказе говорилось, что «отец Берригэн должен находиться под физической юрисдикцией участкового суда южного Нью-Йорка и посещать каждый понедельник федерального чиновника по помилованиям в Манхэттене». Приказ строжайшим образом запрещал Берригэну заниматься в какой-либо форме политической деятельностью под страхом возвращения за решетку.

— Как вы относитесь к ограничениям, наложенным на вас? — спросил Дэна репортер одной вашингтонской газеты.

— Я буду делать то, что делал в прошлом, — бороться против войны. Пределы этой борьбы будут ограничиваться лишь в зависимости от пределов моей изобретательности и смелости.

— Ну, а как закон? — продолжал допытываться репортер.

— Борьба против несправедливой войны всегда законна. Незаконно присвоенное

правительством право распоряжаться по своему умыслу жизнями людей — американцев и вьетнамцев.

— Можете ли вы оставаться революционером, соблюдая законы этой страны?

— Не вижу, каким образом.

— Год назад вы писали в «Нью рипаблик», что Америка — уродливое общество, таящее огромную угрозу миру и непоправимо прогнившее. Согласны ли вы сейчас с подобным определением?

— Черт подери, весьма хорошо сказано! Конечно, согласен. Вьетнамский народ мне ближе, чем «Дженерал моторс».

— Чему вас научили годы тюрьмы?

— Они подарили мне седину и просветили голову. Тюрьмы в Америке все больше становятся университетами жизни. Вспомните Аттику. Нас бросают в тюрьмы, чтобы мы учились страху и повиновению, а мы учимся в них смелости и сопротивлению. Нас бросают в тюрьмы, чтобы разъединять, а мы учимся в них единству. Тюрьмы в современной Америке вопреки воле тюремщиков превращаются в арсеналы политической борьбы.

— Считаете ли вы себя мучеником?

— Нет.

— А кем же?

— Борцом...

Из Дэнбэри Берригэн и друзья отправились в близлежащий колледж святого Григория. Более пятисот человек расположились в небольшом гимнастическом зале колледжа.

Люди — в основном студенты — пели антивоенные песни. По рядам передавались буханки хлеба и фляги с вином. Люди отламывали хлеб и отхлебывали вино. Затем поднялся неистовый Дэн.

— Прекращение войны по-прежнему наша первейшая и главнейшая задача, — сказал он. — Мы не имеем права успокаиваться, не добившись полной победы разума над безумием и мира над войной. А сейчас мы начинаем новый поход — поход на Гаррисберг...

В Гаррисберге тем временем продолжалось позорное судилище над Филиппом Берригэном и его сподвижниками. Несмотря на то, что власти готовили процесс в течение двух лет, несмотря на то, что ими было затрачено полтора миллиона долларов, вызвано шестьдесят четыре свидетеля, включая платных осведомителей ФБР, несмотря на то, что защита вынуждена была отказаться от допроса своих свидетелей из опасения подвергнуть их преследованиям со стороны охраны, несмотря, наконец, на то, что судья Герман открыто пытался повлиять на присяжных и вырвать у них вердикт виновности, фарс в Гаррисберге окончился скандальным провалом.

4 апреля 1972 года присяжные после семидневного бдения — рекорд для федеральных уголовных судебных дел — заявили, что они не в состоянии выработать единогласный вердикт. В дальнейшем выяснилось, что десятью голосами против двух было отвергнуто правительственное обвинение в заговоре. Судье Герману не оставалось ничего иного, как прекратить дело и освободить обвиняемых из-под стражи (лишь Филипп остается по-прежнему в льюисбергской тюрьме, отбывая заключение за свои прошлые антивоенные «грехи»).

Когда обвиняемые появились на пороге гаррисбергского федерального суда, на встречу им двинулась колонна демонстрантов — участников антивоенных пасхальных походов. Обращаясь к ним, Элизабет Макалистер сказала:

— Мы должны как можно быстрее выйти на улицы городов, чтобы продолжить нашу борьбу против войны.

Прямо из суда демонстранты и вчерашние узники двинулись на городок Йорк пикетировать военный завод, производящий авиационные бомбы, те самые бомбы, которые в те самые дни летающие крепости «Б-52» обрушивали на Ханой и Хайфон...

Провал гаррисбергской инсценировки больно ударил по престижу официального Вашингтона. Государственное обвинение находится в раздумье — потребовать созыва нового суда присяжных или молча проглотить пилюлю? Правда, в его руках есть запасное оружие — вердикт виновности, вынесенный жюри Филиппу Берригэну и Эли-

забет Макалистер — «католическим Бонни и Клайду» — по обвинению в контрабанде писем из тюрьмы Льюисберга («В ближайшие годы эти письма станут литературным кладом», — сказал о них Дэн). Согласно допотопному законодательству, подобная «контрабанда» может повлечь за собой наказание в виде тюремного заключения до сорока лет.

Считают, что Вашингтон не осмелится пустить в ход это «запасное оружие», опасаясь, как бы оно не обернулось бумерангом. Единственным человеком, который упорно цеплялся за него, был шеф ФБР Гувер. Гаррисбергское деловорение его рук стало его Каннами. Начали поговаривать о возможной отставке «несменяемого». Но вот утром 2 мая 1972 года, когда экономка Гувера вошла в спальню своего хозяина, она нашла его лежащим на полу возле кровати. Гувер был мертв. Его «недреманное око» навеки сомкнулось...

\* \* \*

В речи, записанной на пленку специально для участников митинга в Уилмингтоне, неистовый Дэн говорил: «Я восхищаюсь вами, членами сообщества мира и благородства, жизни и надежды, а в сложившихся условиях — и сопротивления. Так давайте же и впредь делать то, что в принципе трусливо запрещается в сегодняшней Америке — будем людьми!»

Будем людьми... Как это просто и как трудно одновременно.

Будем людьми... Но нельзя быть человеком, оставаясь рабом — чужих господ и своих предрассудков. Нельзя быть человеком, если ты нем как рыба при виде несправедливости и глух как тетерев к чужому горю. «Люди, я вас любил!» — воскликнул Юлиус Фучик перед казнью. Именно этой любовью был продиктован его призыв к бдительности, ибо без любви к людям бдительность бессмысленна и даже опасна. Она рождается в манию преследования.

Будем людьми... Всю свою жизнь без остатка неистовый Дэн посвятил этой величайшей науке, этому высочайшему искусству. Его экзаменаторами были папа римский и Эдгар Гувер, орден иезуитов и Джон Митчелл. То были суровые экзаменаторы, поверьте. Его университетами стали монастырские кельи и тюремные камеры, а между ними — подполье, его профессорской мантией — пасгорская сутана и арестантский халат. Но под ними неизменно билось большое человеческое сердце. Многие покушались на него, соблазнили звонкой монетой, осеняли крестом, угрожали кинжалом. Но Дэн отдал свое сердце людям.

Нью-Йорк—Вашингтон—Балтимор—Гаррисберг.





---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСАНДР ЛЕЙТЕС

★

## ХЛЕБНИКОВ—КАКИМ ОН БЫЛ...

Подозреваю, что значителен Хлебников.

*А. Блок.*

И с ужасом  
Я понял, что я никем не видим:  
Что нужно сеять очи,  
Что должен сеятель очей идти!

*В. Хлебников.*

1

**Т**рудно назвать в русской литературе поэта, о котором в одно и то же время высказывались бы суждения столь контрастные и столь противоречивые.

Лет семь тому назад Николай Чуковский, вспоминая о Н. Заболоцком, рассказал на страницах «Невы», как решительно расходился он с поэтом в оценке хлебниковских стихов. Если до конца своих дней Николай Заболоцкий называл Хлебникова «величайшим поэтом XX века», то Николай Чуковский с не меньшей категоричностью подчеркивал, что Хлебников для него был и остается «унылым бормотальщиком, юридым на грани идиотизма, зеленой скукой, претенциозным гением без гениальности, усладой глухих к стиху формалистов и снобов».

Н. А. Заболоцкий и Н. К. Чуковский — писатели тонкого художественного вкуса и широкого литературного кругозора. Тем не менее резко противоположными были их оценки Хлебникова.

Самым удивительным во всем этом мне кажется тот максимализм, та страстная запальчивость и безоговорочность, с какой одни превозносят поэта, а другие его отвергают.

Кем же все-таки был Хлебников? — вправе спросить читатель, озадаченный только что приведенными высказываниями. Почему он неизменно вызывал то преувеличенно резкие, то непомерно восторженные отзывы? В прошлом году исполнилось полвека с тех пор, как он умер. Казалось бы, давно настало время утихнуть спорам, сгладиться контрастам, сблизиться оценкам, чтобы с достаточной отчетливостью выявились и подлинный облик поэта, и место, занятое им в истории русской и советской литературы.

Потребность объективно разобраться в нем я испытываю очень давно. Я был знаком с Хлебниковым в дни моей ранней юности. Не с тем, вокруг которого группировались шумливые футуристы последнего предоктябрьского пятилетия. Того я не знал. Я знал другого, значительно повзрослевшего Хлебникова, жившего одинокой и внутренне сосредоточенной жизнью в тогдашней столице Советской Украины — Харькове.

2

Я встречался с ним в весенние и летние месяцы 1920 года. Как секретарь клуба «Коммунист» Харьковского губкома КП(б)У я получил задание организовать центральную литературную студию и привлечь к ней видных писателей, оставшихся в освобожденном от денкинцев городе. Это и привело меня к тому, кто называл себя «председателем земного шара».

«Председатель земного шара» жил в просторной, но поразительно захлавленной комнате. Было это во флигеле, расположенном в глубине двора по Чернышевской улице, № 16.

Я впервые увидел его апрельским утром, когда стремительно ворвавшись в его настежь открытую комнату, пригласил поэта на первое собрание преподавателей студии. Он сидел на незастеленном широком матрасе и, скользя по мне непроницаемым взглядом, долго молчал, словно обдумывал услышанное. Наконец молчание прервалось странным, но отчетливым полупшепотом. Он медленно, чуть торжественно произнес:

Весеннего Корана  
Веселый богослов,  
Мой тополь спозаранок  
Ждал утренних послгов.

Меня нисколько не удивила такая «реакция» на наше клубное приглашение. Я знал, что иду к «футуристу», и был готов ко всяким чудачествам. К тому же эти чуть напевно проскандированные слова не показались мне ни ироническими, ни неожиданными — ими начиналось его стихотворение, только что опубликованное в харьковском журнале «Пути творчества». Мне оставалось повторить приглашение и попрощаться.

Неделю спустя он пришел без опоздания в назначенный срок на Московскую улицу № 20, и около трех часов присутствовал на нашем собрании. Я говорю — присутствовал, потому что трудно было понять, слушает он или не слушает выступления писателей С. Гусева-Оренбургского, Мих. Козырева, Эмиля Кроткого, а также литературоведов А. И. Белецкого, И. Гливенко, Н. Жинкина, Евг. Кагарова, Бор. Лезина. Все они оживленно делились планами намеченных лекций и вечеров. Только Хлебников сидел отрешенно, никаких реплик не подавал и желания выступать не выражал. Наконец после настойчивых просьб поэт привстал, сухо сообщив, что им обдуман и разработан план двух лекционных курсов для студийцев. Один будет посвящен принципам японского стихосложения. Другой — методам строительства железной дороги через Гималаи...

Кратчайшее — не длившееся более минуты — выступление поэта сменилось недоуменной тишиной. Вопросов ему не задавали. Слишком ошарашила всех та будничность и деловитость интонаций, с какой он «сопрягал» Гималаи, железнодорожное строительство и нашу еще не родившуюся литературную студию.

После собрания на ум приходили знакомые строки Маяковского: «Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный: «Будьте добры, причешите мне уши». В тот вечер мне все еще казалось, что Хлебников то ли повторяет, то ли обновляет приемы эпатажа, характерные для нашего предреволюционного футуризма. Вскоре, однако, я основательно убедился, насколько неправильно и ошибочно такое представление о нем.

У Гегеля где-то подчеркнута, что нет большего оскорбления для истины, чем доказывать ее анекдотами. Много всяких анекдотов — преимущественно трогательных — рассказывалось о так называемых чудачествах и странностях Хлебникова. В анекдотах этих большей частью не было неправды. Но не было в них и настоящей, большой правды, до которой так хочется доискаться, когда думаешь о нем.

В дальнейшем, встречаясь с Хлебниковым, я ясно чувствовал, что он меньше всего собирается кого-либо удивлять, поражать или поддразнивать. То, что он делал и предлагал, выражало его естественное и всегдашнее душевное состояние. Именно постоянным состоянием это было, а не позой и даже не литературной позицией. Он и не мог быть иным. В любых условиях он испытывал неизменную и органическую потребность мыслить большими протяженностями, жить интересами, далекими от того, что обычно называют литературной «спецификой».

В годы военного коммунизма нас не удивляли никакие литературные гиперболы. Мы к ним привыкли. В тогдашней поэзии, с преизбытком насыщенной фантастическими уподоблениями и космическими образами, гипербола была распространеннейшим приемом. Когда мы читали в «Поэзии рабочего удара» Алексея Гастева о кране, который поднимет Гималаи, поднимет всю землю и поставит ее на новую орбиту, для нас и этот кран и эти Гималаи были символом почти столь же абстрактным, как и понятие «новой орбиты». Но для Хлебникова Гималаи были не абстракцией, не патетической

метафорой, а географической реальностью, и собирался он разговаривать со студийцами не о литературе, а излагать им свои соображения о прокладке путей из России в Индию...

Как бы то ни было, Хлебникова не утвердили преподавателем студии: программа его курсов явно не подходила, но по договоренности с правлением клуба мы приглашали его на наши поэтические вечера, так что моя связь с ним не прерывалась. К тому же мне повезло. Я жил на той же Чернышевской улице и, возвращаясь с работы мимо его дома, все чаще заходил к нему.

## 3

В ту пору жизнь его протекала очень одиноко, и я чувствовал, что одиночеством этим он тяготится. Иногда он просил меня остаться и рассказать подробнее о наших клубных делах. Между тем меня раздрало любопытство. О многом я пытался расспросить Хлебникова — о его футуристических соратниках, о Маяковском, о Каменском, о его прежних, довоенных встречах с Ахматовой, с Кузминым, с Вячеславом Ивановым, об его отношении к новейшей украинской поэзии (стихи Эллана и Тычины я уже знал) и, наконец, о его собственных последних стихах. Но расспросы эти ни к чему не привели. К моему большому удивлению, ко всем разговорам на литературные темы он проявлял полнейшее безучастие и хмуро отделялся от моих вопросов или молчанием, или ничего не значащими — иной раз раздраженными — репликами.

Только однажды — дело было в один из первых майских вечеров — я увидел его по-настоящему взволнованным. Как-то упомянув об особом отношении Льва Толстого к числу 28, я признался, что интересуюсь проблемой совершенных чисел. Поэт сразу же необычайно преобразился, заговорив со мной с такой страстностью и запальчивостью, какой я в нем не мог себе представить. Мысли его шли «наплывами» — беспорядочно и сумбурно, одна сбивала и перебивала другую, но все же их было так много и показались они мне столь оригинальными, что, вернувшись домой, некоторые из них я поспешил записать.

Начал Хлебников с того, что хотя он тоже (подобно Толстому) родился 28 числа, вопрос о совершенных числах он считает третьестепенным. Мнимые числа — вот что его по-настоящему интересует. В них он видит ключ ко многим сторонам человеческой психологии. И он процитировал Виктора Гюго: «Дух человеческий открывается тремя ключами. Это — цифра, буква, нота. Знания, мысли, мечты — все здесь». Поэт признался, что цифры (а следовательно, и изображаемые ими числа) временами возбуждают у него больше эмоций, нежели буквы или ноты. В частности, благодаря такой категории чисел, как мнимые, он с особой силой чувствует, что помимо людей положительного и отрицательного существования есть немало тех, кого следовало бы называть людьми мнимого существования. Это лю д и - а м ф и б и и, двоякоживущие люди, кто, присутствуя среди нас, живет и поступает так, словно отсутствует.

Тогда же я впервые услышал от него поразивший меня своей художественной точностью неологизм — нехотяи<sup>1</sup>. Если не годя я ми называют тех, кто делает дурное, то почему бы не обозвать нехотя я ми тех, кто не хочет делать хорошее там, где им это легко и просто сделать? Разве мало по земле ходит таких нехотяев? — спрашивал своим удивительным полушепотом Хлебников, словно позабыв, что наш разговор был посвящен не моральным вопросам, а совсем другой, казалось бы абстрактной, проблеме теории чисел...

Некоторые считают, что занятия числами и словотворчество представляли собой разные, не связанные меж собой сферы хлебниковской деятельности. Это абсолютно неверно. Между тем вот уже много лет, как в литературной среде бытует легенда о том, что Хлебников был чуть ли не специалистом по математике и, во всяком случае, автором математических трудов.

<sup>1</sup> В своей книге «Охота за мыслью» (2-е изд., 1971) В. Леви употребляет, ссылаясь на Хлебникова, слово «нехотяй» в смысле «безвольный человек» (стр. 207—208). Но Хлебников называл нехотьями не тех, кто не умеет хотеть, а тех, кто не хочет хотеть, то есть вкладывал в этот неологизм нравственную оценку — именно поэтому слово «нехотяй» оказалось у него в такой непосредственной фонетической близости со словом «негодяй»...

Все это, мягко выражаясь, крайне неточно. Очень нетрудно убедиться, что никаких математических работ В. Хлебников на самом деле не публиковал, да и не писал их. В бытность свою студентом Казанского университета он немало времени уделял орнитологии и напечатал две небольшие заметки о кукушках. Позже занимался всякого рода цифровыми выкладками и сопоставлением исторических дат для своих «Досок судьбы». И если он все же горячо интересовался математикой (чему я стал свидетелем в тот вечер), то интерес его, как я постепенно все больше убеждался, был той же природы и имел тот же характер, что и его увлечение «заумью» и словотворчеством.

Числа он не противопоставлял словам. Вряд ли он мог бы сказать строками поэта: «А для низкой жизни были числа, как домашний, подъяремный скот». Напротив: слова он называл «слышимыми числами нашего бытия».

Но прежде всего был он художником-фантастом. По складу своей души. По строчечной сути всего им написанного. И его словотворчество (эти неустанные поиски слов, еще не заселенных смыслом) было словотворчеством фантаста. И в упражнениях над числами и в лингвистических экспериментах Хлебникова привлекало одно и то же фантазмагорическое начало.

«Мы взяли  $\sqrt{-1}$  и сели в нем за стол. Наш Ходнырлет был глыбой стекла, мысли и железа...» — так начинался один из задуманных им рассказов.

В нем жила неизменная и страстная потребность сочетать несочетаемое, вкладывать смысл в то, что кажется бессмысленным. Не случайно время от времени он употреблял такое выражение, как «прямой двуугольник», явно нелепое с точки зрения Евклидовой геометрии. Отсюда и его особое внимание к мнимым числам. Отсюда та настойчивость, с какой он их вставлял там, где их вставлять не полагается, — в лирические стихи, в художественную прозу, в рассуждения на моральные темы.

Мнимые числа были для него эстетическим и интеллектуальным возбудителем. Он гордился тем, что такая безукоризненно точная и строгая наука, как математика, поставила себе на службу столь фантазмагорическое понятие, как квадратный корень из отрицательного числа. Он видел в этом триумф трезвой реалистической мысли человека и восторженно писал в «Кургане Святогора»: «Полюбив выражения вида  $\sqrt{-1}$ , которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от вещей».

Много лет спустя, изучая философское наследие Лейбница, я наткнулся на примечательное восклицание немецкого философа, датированное 1702 годом: «Мнимые числа — это поразительный полет духа божиего, это почти амфибии, пребывающие где-то между бытием и небытием», — и мне сразу вспомнился тот странный, голодный и прохладный вечер 1920 года, когда высокий, чуть сутулящийся Хлебников, одетый в два пеньковых мешка, стремительно шагал по своей комнате и с таким необычным волнением рассуждал о мнимых числах и людях-амфибиях.

## 4

Существуют, как известно, разные типы воспоминаний. Среди них и такие, которые современный нейрохирург Пенфильд образно назвал «вспышками прошлого». Этот знаменитый канадский ученый и выдающийся врач в процессе лечения больных осуществлял интереснейшие опыты. Он подводил слабый электрический ток к височной доле мозга, и у его пациента тотчас — с максимальной рельефностью — оживали отдельные обрывки прошлого.

У этих «вспышек прошлого» были, однако, две важные особенности. Во-первых, они сопровождались только теми мыслями и чувствами, которые пациенты испытывали тогда. Во-вторых, каждая «вспышка прошлого» не связывалась у них с другими воспоминаниями. Она могла существовать только изолированно. Это была своего рода разъятая на части память-репродукция — очень красочная в деталях, но никак не способная дорасти до памяти-обобщения.

Вероятно, почти каждый из нас знал и знает подобные «вспышки прошлого». Причем возникают они в нашем сознании естественно, так что в отличие от пациентов Пенфильда у нас есть полная возможность свободно ими распоряжаться, сочетая их с более поздними нашими воспоминаниями и более зрелыми, как нам кажется, мыс-

лями. Было бы нелепо этой возможностью пренебречь, особенно когда речь идет о таком сложном и противоречивом человеке, каким был Хлебников. Я не претендую на воспоминания обобщающего характера. Но ориентироваться голько на «вспышки прошлого», ограничиваться памятью репродуцирующей я тоже считал бы неправильным.

Я был очень молод в период моих встреч с поэтом. Многого я не понимал в его тогдашних рассуждениях. Некоторые его высказывания вызывали мой внутренний протест и запальчивые возражения. Но уже тогда я инстинктивно чувствовал, что, при всей его склонности к фантазмагорическому (а может быть, благодаря ей), Хлебников мыслил материалистически. Он, как это ни странно, был непреклонным рационалистом, глубоко убежденным, что здравая человеческая мысль в конечном счете овладеет любой иррациональностью, а овладев, подчинит ее себе.

Хлебников, к сожалению, не читал «Анти-Дюринг» Фридриха Энгельса (в 1920 году он сам мне говорил об этом), но я думаю, что он несомненно обрадовался бы, прочитав у Энгельса следующие строки:

«...квадратный корень из минуса единицы есть не просто противоречие, а даже абсурдное противоречие, действительная бессмыслица. И все же  $\sqrt{-1}$  является во многих случаях необходимым результатом правильных математических операций; более того, что было бы с математикой, как низшей, так и высшей, если бы ей запрещено было оперировать с  $\sqrt{-1}$ ?»

Смелая и последовательная математическая мысль не отступала перед тем, что поначалу казалось бессмысленным. Хорошо известно, какое глубокое потрясение испытали в древнее время пифагорейцы, столкнувшись с фактом несоизмеримости. Во всем бесконечном ряду натуральных чисел не оказалось такого числа, ни целого, ни дробного, которым можно было бы выразить соотношение между стороной квадрата и его диагональю! Сторона квадрата и его диагональ — это нагляднейшая реальность. Между тем они несоизмеримы и несоизмеримость эта, как правильно отмечал Бертран Рассел, сразу же опровергала мистическую философию Пифагора, обожествлявшего абсолютное число. Таким образом, самый факт несоизмеримости привел математику к понятию иррационального числа.

Все мы теперь понимаем, что прогресс математики требовал непрерывного расширения понятия о числе. Развиваясь от натуральных к абсолютным, от абсолютных к относительным, от относительных к вещественным, понятие о числе продолжало расширяться, и вот уже математики нового времени оперируют теми самыми мнимыми числами, которые Лейбниц с такой взволнованной удивленностью назвал амфибиями.

Я не уверен, что Хлебников знал об этом восклицании немецкого философа. Скорее всего не знал. Но если это совпадение, то достаточно симптоматичное: он испытывал аналогичную потребность прореагировать на абстрактное понятие не-вещественного числа живыми образами и вполне вещественными сравнениями.

С не меньшей взволнованностью, как я позже убедился, размышлял Хлебников о сущности слова. Прямо он об этом не говорил. Но из всего хода его тогдашних рассуждений вытекало, что он стремится расширить понятие о слове если не столь последовательно, как это делалось в математике в отношении понятия о числе, то, во всяком случае, в том же направлении, то есть не отступая перед тем, что казалось бессмысленным.

Он открыл для себя, что между словом-понятием и словом-звуком лежит целая гамма эмоциональных значений, не поддающихся логическому определению. Он утверждал, что наряду со словами, имеющими вполне отчетливый смысл, могут существовать слова иррациональные — такие, как «смеярышня», «хохочество» (смысл которых только смутно брезжит), а также слова явно бессмысленные (например, «бобэоби» или «манчъ, манчъ»), смысл которых, по его мнению, заключался в том, что они все же способны оказывать на сознание определенное эмоциональное воздействие.

К тому времени, когда я познакомился с Хлебниковым, он уже написал статью «Наша основа», в которой изложил свои взгляды на словотворчество и заумный язык. Теоретическое обоснование «зауми», с которым выступал Хлебников, мне казалось

путаным и неверным в дни моей юности. Путаным и неверным оно кажется мне и сейчас. Тем не менее всякий раз, когда я задумываюсь над психологической стороной хлебниковского пристрастия к так называемой «зауми», я неизменно вспоминаю пушкинские слова:

«Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения».

Не знаю, как обстояло дело с другими его соратниками по «будетлянству», но тот Хлебников, какого я помню по Харькову, недостатка чувств и мыслей не испытывал, причем переполнявшие его мысли и чувства были по преимуществу обращены к завтрашнему дню человечества.

## 5

О, погреб памяти! Я в нем  
Давно уж не был...—

так когда-то, в 1914 году, начинал Хлебников свою поэму «Жуть лесная». Это одна из самых неудачных его поэм. Сам автор, видимо, чувствовал это и после ряда переделок оставил ее неоконченной. В «Жути лесной» он почти протоколно зарисовал отдельные сценки из быта петербургского литературно-художественного кабачка «Бродячая собака», того самого, что вдохновил Анну Ахматову на ее знаменитые строки: «Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам!»

Таковыми же неудачными, невеселыми и недописанными оказались и другие его полуавтобиографические поэмы — «Передо мной варился вар...», «Карамора № 2», — где Хлебников пытался описать один из литературных вечеров на «башне» Вячеслава Иванова и одно из заседаний «Академии стиха» при журнале «Аполлон».

Он не любил и не умел спускаться в «погреб памяти». Зато его одушевляло то, что поэт Батюшков назвал памятью о будущем. Эту другого рода память хочется сравнить не с погребом, а с вышкой. Сюда надо было не спускаться, а подыматься.

У Льюиса Кэрролла Алиса говорит в Зазеркалье: «Я уверена, что моя память работает только в одном направлении. Я не могу вспомнить то, что еще не произошло». На это ей королева возражает: «О, это плохая память, если она работает только назад!»

Часто у меня возникало ощущение, что у Хлебникова память преимущественно работает не назад, а вперед. О том, что еще не произошло, он любил говорить детализированно, словно человек, предающийся приятным для него воспоминаниям.

Однажды — это было в конце июля 1920 года — он сказал мне: «Мы у прошлого только в гостях. Будущее — наш дом». Эта фраза прозвучала неожиданно и вместе с тем столь афористично, что я поспешил записать ее в свой дневник.

Сохранилось письмо Хлебникова из Саратова своим родным в Астрахань, датированное 25 декабря 1916 года. Было это за два месяца до Февральской революции. В конце письма поэт обращается к родным со словами: «...ведите себя смирно и спокойно до конца войны. Это только 1½ года, пока внешняя война не перейдет в мертвую зыбь внутренней войны».

Хлебников словно предсказал дату начала гражданской войны в нашей стране. Действительно, она фактически началась через полтора года после того, как он отправил свое письмо из Саратова. Никакой мистики, разумеется, здесь нет — у Хлебникова, по-видимому, было обостренное ощущение надвигающихся событий.

Как-то он передал мне номер газеты «Красный воин», вышедшей в Астрахани. Здесь — еще в 1918 году — публиковалась его краткая заметка, в которой он писал: «...может быть, правы те, кто хочет увенчать великую войну завоеванием месяца». В тот же вечер я услышал от него слово «небоход». Оно показалось мне настолько необычным, что даже не задело моего сознания.

Сейчас все мы привыкли к таким словам, как «лунник» и «луноход». Но тогда? Представьте себе Харьков середины 1920 года, недавно переживший нашествие денкинцев. Полнейшая разруха. Остановившиеся трамваи. Вместо электрического освещения, вместо керосиновых ламп — тускло мерцающие коптилки. А человек в пеньковом мешке, только что получивший по пайку Поюгзапа немного сахара да ломоть хлеба со жмыхом, косноязычно, но убежденно разясняет вам разницу между облакоходами,

предназначенными для управления погодой, и небоходами, реюциями над обновленным земным шаром...

За полвека до наступления эры космонавтики он усердно заготавливал для нее слова.

Заготовками необычных слов и необычных словосочетаний он вообще очень охотно занимался.

Собственно говоря, с этого и началась его литературная деятельность. Когда-то, в 1908 году, фанатически убежденный, что можно заселить смыслом любые, казалось бы, бессмысленные словосочетания, он, еще будучи студентом, напечатал в журнале Н. Шебуева «Весна» свой рассказ «Искушение грешника» и с тех пор с возрастающей настойчивостью принялся за свои лингвистические эксперименты.

С особой остротой он чувствовал то, что сегодня кибернетики назвали бы «избыточностью языка». Ему не терпелось продемонстрировать неисчерпаемые возможности словообразования до того, как они будут реализованы в конкретной речевой практике.

В те дни, когда я встречался с Хлебниковым в его большой и полуземной комнате на Чернышевской улице, этой его экспериментаторской работе над словом уже исполнилось двенадцать лет. Наступил другой, значительно более ответственный период его творческой деятельности. Он уже написал такую поэму, как «Ладомир». Но и теперь он продолжал экспериментировать в области фонетики и этимологии.

Иногда в моем присутствии он упражнялся в выворачивании слов наизнанку, произносил их с конца, проверяя, что из этого может получиться. Однажды он устроил мне экзамен, на котором я, к моему стыду, провалился. После нескольких легких испытаний он предложил мне произнести в обратном порядке слово «вольнопределяющийся». Сколько я ни мучился, ничего не выходило. Впервые я видел, как Хлебников смеется, слегка прикрыв рот рукой. Посмеявшись, он сразу с изумившей меня виртуозностью правильно произнес это длинное, странно и непривычно прозвучавшее с конца слово.

Особенно любил он произносить вслух имена собственные, и в первую очередь географические названия, как экзотические, так и не экзотические. Он даже объяснялся в любви с их помощью:

Вы были строгой, Вы были вдохновенной,  
Я был Дунаем, Вы были Веней...

Для Хлебникова звуковая плоть слова была почти осязаемой — так остро он ее чувствовал. Звуки, можно сказать, заворачивали поэта. Движение его метафор, сравнений, образов зачастую подчинялось законам звуковых притяжений. Случалось, что в «звуковом поле» его стихотворных строк возникали рифмы одна глубже и звонче другой, придавая стиху необычную мелодичность. «У колодца расколется так хотела бы вода, чтоб в болотце с позолотцей отразились повада». И все-таки настоящей силы поэтическая мысль Хлебникова достигала не в этих случаях, а когда, преодолевая версификационные соблазны, она шла «прямо на предмет».

Глядя вверх, он мог сказать: неженки-беженки в небе плывут. Меня восхищало мягкое, неназойливое звучание этой коротенькой фразы. Однако значительно ближе мне другой облик Хлебникова — того, кто, не думая ни о какой «звукописи», вложил себя в одно четверостишие: «Мне мало надо! Краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака!»

Он мог писать: «Плаха плоха только тем, что на ней рубят голову...» Для версификационного дарования Хлебникова характерна эта игра звуков («плаха — плоха»). И все же не эта строка его западает в душу, а другие — те, где, освободившись от самодовлеющих звуковых притяжений и фонетических ассоциаций, он с такой неподдельной грустью размышляет:

Ведь каждая плаха была когда-то  
Хорошим сосновым деревом,  
Кудрявой сосной.

В этом широком смысле он поистине был «круглосуточным поэтом». Таким он и остался в моей памяти, человек, думавший большими протяженностями, импровизировавший все дни напролет.

О чем бы он ни рассуждал — о мнимых числах или корнях славянских слов, о Лобачевском или древнеиндийском правителе Ашоке (Хлебников произносил — Асока), об архитектурных ансамблях будущих городов или горных грядях Южной Америки, — экспериментировал ли он над звуками, вчитывался ли в дневник Марии Башкирцевой, стремясь уловить определенную закономерность в ее сновидениях, занимался ли хронологическими изысканиями, исчислял ли свои «предсказания», он неизменно исполнен был поэтического вдохновения, словно осуществлял известный завет китайских поэтов сунской эпохи: если хочешь заниматься поэзией, усилия твои должны быть вне ее...

## 6

1920 год оказался плодотворным и для его непосредственных литературных занятий, и, как я убежден, периодом поворотным в его художественном развитии. В те весенние и летние месяцы он работал над двумя произведениями, которым придавал особое значение. Это поэма «Ладомир» и цикл стихов, впоследствии дополненных, объединенных и названных им «Азы и узы». Далеко не все осталось в памяти из того, что он читал на клубных вечерах. Никаких внешних данных поэта-оратора (а тем более эстрадного говоруна) у него не было. Скандировал он тихим, чаще всего вялым голосом. Случалось, что переходил на скороговорку, на шепот, а то и просто обрывал чтение, произнося при этом свое обычное «и тому подобное» или «и так далее». Все это не привлекало да и не могло привлечь к нему внимание посетителей клуба.

Мне надолго запомнилось только одно собрание, на которое поэт пришел взволнованный и читал в непривычной для себя манере — отрывисто, чеканно. С подъемом он начал: «Я видел, что черные Веда, Коран и Евангелие и в шелковых досках книги монголов... сложили костер... чтобы ускорить приход книги единой...» Нараспев называя Нил и Обь, Миссисипи и Дунай, Замбези и Волгу, Темзу и Ганг, он постепенно воодушевлялся и резко повысил голос (обращаясь не то к себе, не то к кому-то из аудитории): «Да, ты небрежно читаешь. Больше внимания! Слишком рассеян и смотришь лентям, точно уроки закона божия. Эти горные цепи и большие моря, эту единую книгу скоро ты, скоро прочтешь!»<sup>2</sup>.

На этот раз его слушали сосредоточенно. Аудитория была пестрой. Студийцы, райкомовцы, сотрудники губисполкома, несколько инструкторов Поюгзапа, рабочая молодежь с паровозостроительного... Даже шумливые подростки, недавние гимназисты младших классов, ставшие учениками «единой трудовой», прибегавшие в клуб ради величайшего лакомства тех вечеров — бутербродов с повидлом, даже они притихли.

Закончив выступление, Хлебников неожиданно сник, погрузился в себя. Видимо, ему было очень трудно выступать перед аудиторией, делиться тем, что он долго вынашивал. Когда ему стали задавать вопросы, он почти не отвечал, ограничиваясь бормотанием про себя.

В этот вечер я вдруг смутно почувствовал кое-что из того, что осознал много лет спустя. Жюль Ренар утверждал, что его книги — это «письма к самому себе», которые он «позволяет читать другим». С еще большим основанием мы могли бы в то время сказать о Хлебникове, что его творчество — это очень серьезный, почти непрерывный диалог с собой, на который редко приглашались читатели...

За все предыдущие годы Хлебников не знал радости общения с так называемыми «рядовыми» читателями. У него были отдельные горячие поклонники в среде литераторов, филологов, художников. Он слышал о себе восхищенные отзывы поэтов Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Сергея Городецкого, Осипа Мандельштама. Что же касается

<sup>2</sup> Желая перепроверить сохранившиеся во мне впечатления от того вечера, я обратился к последнему советскому изданию Хлебникова и удивился. Слова те же, но... расстановка знаков препинания не соответствует ни тем интонациям, которые мне больше всего запомнились, ни смыслу и пафосу стихотворения. Вот как здесь («Библиотека поэта», малая серия. Л. 1960, стр. 140) напечатано: «Да, ты небрежно читаешь, больше внимания, слишком рассеян и смотришь лентям. Точно уроки закона божия, эти горные цепи и большие моря». Хлебников был настроен антирелигиозно, и вряд ли он назвал бы горные цепи и большие моря «уроками закона божия».



его соратников по «будетлянству», то они говорили и писали о нем в исключительно дифирамбических тонах — везде и повсюду называя его гением.

До революции произведения Хлебникова, равно как и панегирики, ему посвященные, публиковались тиражами весьма незначительными. Все это не выходило за пределы узколитературного круга. К тому же те, кто в ту пору бесцеремонно оперировал ответственным словом «гений», весьма бесцеремонно обращались с произведениями того, кого называли гениальным. Характерно, что уже в начале 1914 года в связи с выходом первого тома его «Творений» Хлебников возмущенно протестовал против недопустимых манипуляций с его незаконченными рукописями и черновиками. Манипуляции эти как раз производили его восторженнейшие хвалители.

Вот что писал Хлебников 1 февраля 1914 года в «Открытом письме»:

«...Давид и Николай Бурлюки продолжают печатать подписанные моим именем вещи, никуда не годные, и вдобавок тщательно перевирая их. Завладев путем хитрости старым бумажным хламом, предназначавшимся отнюдь не для печати,— Бурлюки выдают его за творчество, моего разрешения не спрашивая».

В заключение поэт налагал запрещение на выход первого тома «Творений».

Может быть, это было проявлением случайной и не характерной для Хлебникова вспышки раздражения? Вряд ли. Бенедикт Лившиц впоследствии в книге «Полутораглазый стрелец» вспомнит, как с не меньшим негодованием и по тем же причинам Хлебников встретил сборник «Требник троих», составленный и отредактированный Бурлюками. Наконец, о таких же настроениях Хлебникова расскажет и сестра поэта Вера Владимировна в письме, написанном вскоре после смерти брата.

Не будем упрощенно представлять себе взаимоотношения Хлебникова с его тогдашними групповыми соратниками. Похвалы он выслушивал охотно. Против панегирических оценок своего творчества он никогда не возражал. Ведь он сам был высокого мнения о своем месте в искусстве. Тем не менее, как настоящий художник, он не хотел доверять тем, кто готов безоговорочно канонизировать любые его черновики.

К сожалению, случилось так, что и в дальнейшем — в течение многих лет — он был заслонен от читателей собственными своими черновиками.

## 7

У него нет «поэтического хозяйства», у него «поэтическая обсерватория» — однажды удивительно точно сказал о нем Юрий Тынянов.

Он «ощущал каждую свою словесную конструкцию не как вещь, а как процесс» — правильно определили одну из особенностей хлебниковского творчества его внимательные исследователи Т. Гриц и Н. Харджиев.

Между тем, вместо того чтобы вводить читателей в поэтическую обсерваторию Хлебникова, те, кто его издавал, чаще всего сталкивали нас с его хаотическим литературным хозяйством, с собранием его черновиков...

Эта хаотичность, как известно, в первое время всячески поощрялась некоторыми из его групповых соратников. Вот слова Давида Бурлюка: «Хлебников — хаотичен, ибо он гений». Хаотичность объявлялась чуть ли не главной приметой гениальности, ее привилегией!

О хаотичности и предельной неупорядоченности хлебниковского «литературного хозяйства» впоследствии, уже с сожалительными интонациями, говорилось не раз. «...работа его за период с 1914 по 1922 год является нагромождением черновиков, недоконченных отрывков...» — писал Н. Н. Асеев. Да и Маяковский называл Хлебникова «неорганизованнейшим человеком». С этим можно согласиться только в том смысле, что Хлебников был крайне непрактичен и не приспособлен к житейским делам. Но разговоры о творческой неорганизованности Хлебникова мне кажутся и неточными и явно преувеличенными. Что же касается «хаотичности» и явной незавершенности ряда его произведений, то было бы наивным объяснять все это свойствами его характера и неустойчивостью его быта.

Тот Хлебников, какого я имел возможность наблюдать, был прежде всего человеком неожиданностей. Он мог быть — и бывал — чрезвычайно разным. Он мог быть поэтом, пишущим крайне темно. Он же умел становиться поэтом (и прозаиком), пи-

шущим очень ясно. Он мог выступать перед читателями с бесформенными, не имеющими ни начала, ни конца произведениями. И он же — временами — бывал внутренне собранным, дисциплинированным, целеустремленным. Все зависело от того, в какой мере пробуждалось в нем то, что можно условно назвать установкой на адресата...

Один и тот же человек писал такие строки:

Я смеярышня смехочеств  
Смехистеллино беру,  
Нераскайных хохочеств  
Кинь злооку — губирю.

И такие:

Свобода приходит нагая,  
Бросая на сердце цветы,  
И мы, с нею в ногу шагая,  
Беседуем с небом на ты.

Он мог опубликовать в альманахе «Дохлая луна» прозаический отрывок, выстроив здесь подряд четыреста (400!) придуманных им производных от корня слова «любовь»:

«Залюбясь влюбляюсь любима люблея в любисвах в любви любенеющих, любки, любкий, любрами олюбрясь нелюбями залюбить...» и так далее и так далее...

Он же, охваченный порывом влюбленности, писал, не думая ни о каких лингвистических экспериментах:

И крикнет и цокнет весенняя кровь:  
Ляля на лебеде — Ляля любовь!

Причем шаблонность рифмы «кровь — любовь» в данном случае его не беспокоила.

Говоря об установке на адресата, я не имею в виду склонность некоторых литераторов приспособлять свои мысли и чувства к мыслям и чувствам своих реальных и воображаемых читателей. Подлинное искусство абсолютно несовместимо с такого рода приспособленчеством! Но настоящего искусства не может быть и там, где нет сопричастности переживаниям других людей, где нет чувства, прекрасно сформулированного Уитменом («...у раненых я не пытаю о ране — я сам становлюсь тогда раненым») и Тычиной («...за всех скажу, за всех переболею»).

Именно такое чувство сопричастности рождает органическую потребность художника доводить свой душевный опыт до сознания многих читателей, заставляет его находить такие слова и обороты, благодаря которым его чувства и образы в конце концов становятся и х, читателей, чувствами и образами.

Лев Толстой 3 марта 1910 года записал в своем дневнике:

«Одни люди думают для себя и потом, когда им кажется, что мысли их новы и нужны, сообщают их людям, другие думают для того, чтобы сообщить свои мысли людям».

Хлебников не принадлежал к «другим». Он прежде всего думал для себя — решал волнующие его самого вопросы. Это вполне естественно. Но оперируя словами и образами, почти лишенными коммуникативной функции, автор «Заключения между собою» на первом этапе своего развития не только думал для себя, но и «писал для себя», что становилось все более неестественным.

В ту пору Хлебникова еще мало тревожило то, что его произведения, перенасыщенные «заумными», им самим придуманными словами, становятся недоступными многим и многим. Сам он эти слова в момент их написания хорошо понимал. Более того. Они волновали его. Он признавался, что когда сочинял такие восклицания, как «манч, манч!», они у него «вызывали почти боль», словно он «видел молнию между собою и ими». Вопрос же о том, как подобные слова будут восприняты другими, тогда его мало интересовал. Особой потребности придать вещам композиционную завершенность у него не было — в результате одни незаконченные черновые варианты громоздились над другими, тоже незаконченными и тоже черновыми.

Это не значит, что в 1908—1914 годах проблема адресата для Хлебникова вовсе не существовала. Но в то время она была почти целиком заслонена футуристической проповедью «самовитого слова вне быта и жизненных польз». Тем не менее даже

в период наибольшего своего увлечения внеконтекстным словотворчеством Хлебников не мог не понимать, что любая работа над словом без ориентации на его коммуникативную функцию оказывается бесплодной.

Не случайно еще в 1913 году он писал А. Е. Крученых: «Одна из тайн творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа...»

Позже он осознает это еще отчетливей. «Вещь, написанная только новым словом, не задевает сознания...» — отметит он в записной книжке и задумается над собственным афоризмом: песенка — лесенка в сердце другое.

Как бы он ни любил звуковую плоть слова, как бы обостренно ее ни воспринимал, холодно и одиноко он стал чувствовать себя среди слов, возникающих «вне быта и жизненных польз», среди словосочетаний, не способных задеть чье-либо живое сознание. Однажды — было это 19 ноября 1912 года, — охваченный одним из таких приступов одиночества, он отправил по почте открытку, адресованную... собственной тени. Как тут не вспомнить стихотворные строки молодого Симонова: «Бывает одиночество такое, что хочется хоть собственную тень потрогать молча на стене рукою!»

## 8

Существуют самые разнообразные пути выхода из одиночества. Что же касается Хлебникова, то через несколько лет он выбирает для себя путь достаточно экстравагантный. Вскоре после свержения самодержавия он придумывает «общество 317 председателей Земного Шара» и в это мифическое общество зачисляет самого себя. Не манией величия, а, думаю, чувством сопричастности тому, что происходило в это время на земле, была продиктована его затея. Слишком много крови проливалось тогда — первая мировая война была в самом разгаре, — и не гордостью, а горечью и стыдом за нашу планету дышали строки Хлебникова:

Прилично ли Господину Земному Шару  
(Да творится воля его)  
Поощрять соборное людоедство  
В пределах себя?  
И не высоким ли холопством  
Со стороны людей, как едомых,  
Защищать своего верховного Едока?—

спрашивал он в апреле 1917 года на страницах «Временника» № 2.

В этих проникнутых страстным антимилитаристским пафосом стихах уже не было ни одного «заумного» слова. «Диалог с собой» заканчивался...

Но в какой мере начинался его диалог с читателем? Мы знаем, что Маяковский, называя его «Колумбом новых поэтических материков» и одним из своих учителей, в то же время подчеркивал: «Хлебников — не поэт для потребителей. Его нельзя читать. Хлебников — поэт для производителя».

Сколько бы хвалебных и почтительных слов ни было сказано о писателе, все же эта фраза: «Его нельзя читать» — звучит достаточно горестно.

Между тем тот Хлебников, какого я помню, хотел быть читаемым, причем читаемым не только «производителями», но и широкими кругами «потребителей» (если воспользоваться терминологией Маяковского).

Стоит рассказать в связи с этим об одном эпизоде, почему-то ускользнувшем от внимания исследователей Хлебникова. Дело было в середине мая 1920 года, когда А. В. Луначарский, предприняв поездку по Украине, заехал в Харьков и здесь, в клубе «Коммунист», выступил с интереснейшим докладом о первых днях Октябрьской революции.

Узнав о предстоящем докладе, Хлебников загорелся. Он попросил меня помочь ему встретиться хоть на несколько минут с народным комиссаром. У него есть мечта, пояснял он, выделить из поэмы «Ладомир» несколько строф, с тем чтобы они могли стать пролетарским гимном, параллельным «Интернационалу» Потье. Об этом он и хочет посоветоваться с Анатолием Васильевичем.

На следующий день после окончания доклада в клубной библиотеке состоялась встреча наркома с поэтом. Подробностей разговора не знаю. Знаю только, что поэт был вдохновлен этой короткой беседой, и сейчас, перечитывая «Ладомир», я прежде всего вспоминаю воодушевленное лицо Хлебникова и вся поэма кажется мне убедительным свидетельством его стремления «прорваться» к широким читательским кругам молодой Советской страны.

К сожалению, «Ладомир» был издан в 1920 году литографским способом, тиражом всего-навсего в пятьдесят экземпляров. Поэма не дошла до большинства интересовавшихся поэзией харьковчан, о жителях других городов и говорить не приходится. Тем не менее Хлебников по-детски радовался, когда художник Василий Ермилов принес ему литографированные экземпляры «Ладомира». Повторяю: он очень хотел быть читаемым.

И все же не читали его так, как ему хотелось. А хихикающих над ним обывателей было предостаточно. Это сказывалось на его тогдашних настроениях. Он рвался из Харькова. Его мучил, как он выражался, голод по пространству, и в самом начале сентября поэт незаметно уехал на юг.

Потеряв его из виду, я ничего не знал ни о его жизни в Ростове, Баку, Персии, Пятигорске, ни о том, что он начал выступать с агитационными стихами по заказу местных отделений РОСТА. Поэтому такой приятной неожиданностью стал для меня номер «Известий» от 5 марта 1922 года, на второй странице которого наряду с «Проза-седавшимися» Маяковского я прочитал полные боевого задора строки Хлебникова:

Эй, молодчики-купчины,  
Ветерок в голове!  
В пугачевском тулупчике  
Я иду по Москве!

...Не затем у врага  
Кровь лилась по дешевне,  
Чтоб несли жемчуга  
Руки каждой торговки.

Хотелось верить, что, публикуя на страницах центральной газеты темпераментные, преисполненные гражданского пафоса стихи, поэт перестанет быть «невидимкой» для широкого круга читателей. Я не сомневался, что стихи эти открывают новый, плодотворнейший этап творчества Хлебникова, что самое главное в нем и для него только начинается. Надеждам этим, увы, не суждено было осуществиться. Через три с половиной месяца, 28 июня 1922 года, в деревне Санталово Новгородской губернии преждевременно оборвалась жизнь одного из самых фантастичных и своеобразных русских поэтов...

## 9

Он умер, когда Советской стране не исполнилось и пяти лет, а в дни, когда я с ним встречался, она была еще на два года моложе. Таким образом, как советский поэт он находился в начальном периоде своего становления и развития. По-разному он воспринимался разными людьми, и все же для меня он не был ни тем, кем его изображали хихикавшие над ним обыватели, ни таким, каким он представлялся своим безоговорочным ценителям.

Я, к примеру, никак не могу согласиться с восторженным утверждением Н. Н. Асеева, будто Хлебников знал мир «вдоль и поперек». Эрудиция его мне казалась большой, но односторонней. Он при мне цитировал наизусть отдельные выдержки из книг Петра Кропоткина «Речи бунтовщика», «Хлеб и воля», из трактата Павла Флоренского «Стоп и утверждение истины», но, к немалому моему удивлению, он не был знаком с основными произведениями Маркса, Энгельса, Ленина.

Помню, как в один из июльских дней тогдашний редактор «Харьковского пролетария» А. Верхотурский дал ему почитать самую значительную книжную новинку 1920 года — «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме» и каким откровением были для поэта замечательные ленинские слова о том, что политика больше похожа на алгебру,

чем на арифметику, и еще больше на высшую математику, чем на низшую. В ту пору, на мой взгляд, Хлебников еще очень слабо разбирался в этой высшей математике.

Самое главное в нем только начинало раскрываться — такое чувство возникает у меня всякий раз, когда я вспоминаю о харьковском периоде его жизни и творчества.

«...Читая Хлебникова, хотим понять и то, что поэтом написано не было... Усвоение Хлебникова — это мучительный процесс разгадывания по немногим намекам того, что могло быть написано поэтом, что он должен был написать», — справедливо утверждал через два года после его смерти выдающийся советский языковед Г. О. Винокур.

Не следует забывать, что наряду с реальным контекстом уже написанного у некоторых поэтов явственно чувствуется потенциальный контекст недописанного и недосказанного ими.

Этот потенциальный контекст хлебниковских строк, широкий и заманчивый, с особой остротой ощущали все те, кто неизменно восхищался и вдохновлялся его творчеством.

Не случайно Владимир Маяковский в некрологе, посвященном поэту, настаивал на том, что «у Хлебникова нет законченных произведений», что его «надо брать в отрывках, наиболее разрешающих поэтическую задачу».

Характерно, что и такой столь не похожий на Маяковского поэт, как Осип Мандельштам, восторженно воспринимал хлебниковскую поэзию именно потому, что в первую очередь умел чувствовать ее потенциальный контекст.

В своей малоизвестной статье «Буря и натиск» Мандельштам разъяснял: «Каждая его строчка — начало новой поэмы. Через каждые десять стихов — афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень» («Русское искусство», Москва, 1923, № 1).

Так постепенно складывалось диаметрально противоположное отношение к Хлебникову. Одно у тех, кто «его брал в отрывках», наиболее отвечающих их собственным поэтическим запросам. И совсем другое у тех, кто, имея дело только с реальным контекстом неупорядоченного хлебниковского литературного наследия, отступал перед обилием его лингвистических экспериментов и проб.

Даже такой опытный знаток литературы, как Г. О. Винокур (кстати говоря, весьма сочувствовавший Лефу и лефовцам), читая Хлебникова, вынужден был признаться: «Мы недоумеваем — какая же, в самом деле, притягательная сила поддерживает нас в этом героическом переходе через бездонные пропасти и мрачные провалы хлебниковского косноязычия, которым даже сам поэт, по живому его признанию, был отчасти утомлен».

Я думаю, что эта притягательная сила заключалась и в живом человеческом облике Хлебникова, неоднократно вызывавшем интерес у литераторов самых различных поколений.

Я не берусь не то что разбирать, но даже перечислить все те разнообразнейшие, овеянные романтическими легендами стихи, какие на протяжении полувека посвящались в советской поэзии Хлебникову.

Этими стихами поэты словно стремились продолжить его рано оборвавшуюся жизнь, досказать то, что он не успел досказать, додумать то, что он не успел додумать, дорисовать его нравственные черты.

Так человек, отпав от века,  
Зарытый в новгородский ил,  
Прекрасный образ человека  
В душе природы заронил,—

размышлял о нем Николай Заболоцкий.

Мне снилось: Хлебников пришел в Союз поэтов,  
пророк, на торжище явившийся во храм...  
Нагую истину самим собой поведав,  
он был торжественно беспомощен и прям,—

писал семидесятидвулетний Н. Н. Асеев. А двадцатилетний Михаил Кульчицкий накануне Великой Отечественной войны создает трогательную легенду о поэте, бросающем в костер свои рукописи, лишь бы согреть замерзающую девочку...

\* \* \*

Я попытался хотя бы частично рассказать о Хлебникове таком, каким он был, не совсем похожем на те легенды, какие с самыми благородными намерениями о нем сочинялись. Маяковский не случайно сказал, что биография Хлебникова — укор поэтическим дельцам. Было в его творческом поведении, в его аскетической жизни, в его бескорыстии, в его отношении к поэтическому слову, в его напоминавших фантазии Шарля Фурье мечтаниях о завтрашнем дне человечества — было во всем этом нечто такое, что вызывало уважение к нему и давало повод для разнообразных романтических легенд. И все же тот реальный Хлебников, какого я наблюдал в 1920 году, поэт, настойчиво искавший пути к советскому читателю, представляется мне более интересным, чем все эти легенды.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЯКИМЕНКО

★

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА И СОВРЕМЕННАЯ ПОВЕСТЬ

*Суждения. Оценки*

О тношения общества и литературы осуществляются в сложных и многообразных формах. Один из «каналов», по которым осуществляется связь между обществом и литературой, принадлежит критике. Критика не вне литературного процесса, она внутри, она неотъемлемая часть литературного дела.

Иногда говорят: «Какая литература — такая и критика». Это один из тех иронических парадоксов, которые на первый взгляд как будто и верны, но при тщательном рассмотрении оказываются несостоятельными. В данном случае хотя бы потому, что в отношении между литературой и критикой действуют куда более сложные причинные связи.

Уровень критики определяется не только характером и качественным состоянием искусства, но и уровнем философии, социологии, точнее, зависит и от степени теоретического познания общественного бытия.

Литературная критика не только «часть» литературы, но и «часть» науки. Марксистски образованная критика способна влиять на литературный процесс именно в силу своей научности, в силу вооруженности теоретическим мышлением.

На самой заре советской литературы проблема героя была поставлена марксистской литературной критикой как насущная задача искусства в осмыслении и познании грандиозных катаклизмов революции и гражданской войны. Критика нацеливала литературу на одну из кардинальных проблем, новаторскую по своему жизненному содержанию и эстетической сущности.

В своих требованиях к литературе критика опирается не только на теоретические представления, но и на понимание реальных жизненных процессов; осмысливая процессы действительности, критика черпает свои знания из многих источников, в том числе из художественных произведений.

К. Федин видел историческую заслугу «Чапаева» Д. Фурманова в «художественном изображении нового героя современности»... Он писал, что «Фурманов дал критике первую твердую опору в ее требованиях к писателям показать героя нового времени — опору искомого и должного в советской литературе»<sup>1</sup>.

В этом высказывании К. Фебина точно уловлена диалектика отношений между критикой и литературой.

Критика не «выше» и не «ниже» литературы. Разговор о литературной критике может иметь значение и представлять практический интерес только в том случае, если проблемы литературной критики будут соотнесены с проблемами литературы, когда литературная критика будет рассматриваться как составная часть литературного процесса.

До сих пор нет-нет да и возникают споры по поводу задач и целей критики. Приходится слышать, что самая ближайшая и непосредственная цель критики — в обращении к читателю. Читатель ждет от критики помощи в истолковании художественного произведения, что дурно, что хорошо

---

<sup>1</sup> Конст. Федин. Писатель. Искусство. Время. М. «Советский писатель», 1957, стр. 160.

именно в этой книге, какова ее эстетическая ценность и т. д. Литературный процесс мало занимает широкого читателя, утверждают сторонники такого понимания задач критики. Пусть литературоведы занимаются закономерностями развития литературы, у них другая читательская аудитория, со своими особыми потребностями.

Но возможно ли глубокое истолкование художественного произведения при «имманентном» рассмотрении его сущности?

Да, конечно же, рецензент в газете или журнале имеет обычно дело с одной книгой, он может и не привлекать для сопоставлений, сравнений другие книги, творчество других авторов. Но он не может, не имеет права не учитывать сложного воздействия различных факторов в литературе, связанных с разработкой определенного жизненного материала, сущностью и традициями жанровой формы, стилевым ее наполнением и т. д. Сколь бы ни было оригинально по мысли, изобретательно по форме художественное произведение, оно может быть прочитано только в историческом «контексте времени», характер которого определяет содержание литературного процесса. Чем сложнее произведение, тем настоятельнее требуется понимание его не как некоего замкнутого целого, а как определенного явления духовной культуры общества, связанного со всем движением искусства.

«Сотников» Василя Быкова для меня одно из значительных произведений последних лет. Это героическая баллада о верности долгу, о человеке, преданность которого делу выше его слабостей, болезней. Это социально-психологическое исследование таких исконных человеческих понятий, как жажда жизни, мужество. На снежных полях, едва освещенных тусклым светом луны, которая то исчезает, то появляется среди туч, на дорогах, среди лесов, в избе под соломенной крышей вершится история, которая мыслью, талантом автора поднята до уровня высокой трагедии.

Совсем недавно я прочитал в статье молодого критика Юрия Никишова: «Смерть Сотникова предуготовлена и жертвенна; Сотникову нельзя было идти на задание, а он, больной, все же пошел; именно болезнью героя предопределен трагический финал»<sup>2</sup>. Статья Ю. Никишова, в общем, не о «Сотникове», он рассматривает другое

произведение В. Быкова — «Обелиск», а «Сотников» привлекается лишь для сопоставления. Но «Сотников» как раз одно из таких произведений, которые не терпят простейшего «сюжетного» истолкования, а требуют более широкого подхода.

Укажу хотя бы на внутреннюю переключку, которая возникает по прошествии нескольких десятилетий между «Мятежом» Д. Фурманова и «Сотниковым». Напомню размышления в «Мятеже» героя-рассказчика, который оказался в плену повстанцев перед непосредственной угрозой смерти: «Если быть концу — значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза»; через некоторое время вновь звучат эти же ноты предельной душевной собранности: «Умереть как следует, если уж к тому идет дело».

Последние главы «Сотникова» исполнены напряженнейших размышлений о жизни и смерти, о мужестве и долге. Это раздумья Рыбака, который всю жизнь «ухитрялся найти какой-нибудь выход» и теперь не видит выхода, ищет его, внутренне готовясь к предательству. Это и старик Петр, Демчиха, девочка Бася... И это Сотников с его ненавистью к фашистам, любовью к людям. Он предстает перед нами в очищающем величии своих последних мыслей и чувств. «Что ж, надо было собрать в себе последние силы, чтобы с достоинством принять смерть... Как и каждая смерть в борьбе, она должна что-то утверждать, что-то отрицать и по возможности завершить то, что не успела осуществить жизнь. Иначе зачем тогда жизнь? Слишком нелегко дается она человеку, чтобы беззаботно относиться к ее концу».

Не правда ли, какая удивительная переключка двух писателей, герои которых так далеко отстоят друг от друга! Конечно же, здесь нет никакого «вливания». Но здесь есть воздействие сходных ситуаций, которые проявляют то, что в Сотникове осмысливается уже как исторически сложившаяся черта характера советского человека, как традиция героической нравственности, продолженная временем.

Предуготовленность и жертвенность, о которых говорит Ю. Никишов, не могут характеризовать то, что можно назвать судьбой Сотникова. Слишком мелкий масштаб измерений выбирает критик.

<sup>2</sup> «Литературная Россия», 26 мая 1972 года.



Это лишь частный пример того, как необходима критику-рецензенту историчность мышления, способность воспринимать художественное произведение в литературном процессе.

В постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» подчеркивается, что долг критики — «глубоко анализировать явления, тенденции и закономерности современного художественного процесса, всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности, бороться за высокий идейно-эстетический уровень советского искусства, последовательно выступать против буржуазной идеологии».

Научный анализ «тенденций и закономерностей современного художественного процесса» предполагает изучение множества слагаемых.

Во-первых, мы все хорошо представляем, что развитие современной советской литературы осуществляется во взаимодействии не только с литературами социалистических стран, оно испытывает определенное воздействие со стороны мирового искусства. Среди работ последнего времени хотел бы обратить внимание на статьи Д. Маркова «О формах художественного обобщения в социалистическом реализме» («Вопросы литературы», 1972, № 1) и Т. Мотылевой «Всматриваясь в новое» («Вопросы литературы», 1972, № 5), которыми начато обсуждение проблем социалистического реализма как важнейшего явления современного художественного процесса.

Во-вторых, в рамках советской литературы осуществляется сложнейший процесс взаимовлияния и взаимодействия национальных литератур. Если раньше, говоря о «взаимодействии и взаимовлиянии», имели в виду по преимуществу влияние русской классической и советской литературы, то за последние десятилетия мы совершенно определенно говорим о взаимообогащении, о необычно усложнившихся литературных связях.

К примеру, не раз за последние годы предметом обсуждения становились произведения Чингиза Айтматова, его влияние не только на смежные литературы Средней Азии, но и на русскую советскую литературу; широко рассматривался и опыт современного литовского романа, и поразительный взлет романного жанра в младописьменных литературах, завоевания

поэзии так называемых малых народов. В книгах и статьях Г. Ломидзе, Л. Новиченко, Ю. Суровцева, М. Пархоменко, В. Оскоцкого, Л. Каюмова, Л. Арутюнова, А. Бучиса и ряда других исследователей были выявлены существенные черты исторического процесса сближения и взаимообогащения национальных культур.

В-третьих, и это, может, самое существенное, советская литература развивается как литература жизненной правды. Проблема жизнь и литература приобретает все более глубокое понимание и истолкование в современной критике.

Своеобразие исторической эпохи, которую мы переживаем, определяется многими фактами и обстоятельствами. Некоторые из них связаны с научно-технической революцией, и чем дальше мы движемся вперед, тем более отчетливо видим, что научно-техническая революция оказывает существенное влияние на многие стороны нашей жизни. Формы этого влияния сложны и многообразны. Они затрагивают не только экономическую сферу, но и определенным образом влияют на духовный мир современного человека.

В одном из своих выступлений Чингиз Айтматов говорил: «Задача социалистической культуры — это задача обновления человеческого бытия, создания новой личности, имя которой — советский человек. Такого бурного кипения жизни, таких грандиозных масштабов созидания еще не знал мир. Научно-техническая революция и человек — творец этого прогресса — вот главная тема нашей действительности. Интеллект, ум, руки наших современников, психология этих людей еще ждут своих исследователей».

В связи с этим сегодня по-особому сложным представляется вопрос о соотносительности форм художественного сознания с уровнем теоретического мышления.

В интересной работе «В. Воровский — литературный критик» И. Черноуцан обратил внимание на важность рассуждений критика-марксиста об отношениях искусства и науки.

В «Литературных набросках», посвященных творчеству Горького, В. Воровский говорит о различиях между наукой и искусством: «Творческая психика отличается своеобразными чертами... Многие явления жизни, которые уже воспринимает и ус-

ваивает наша научная мысль, еще не могут быть нами усвоены как явления художественного порядка, еще не дают пищи нашему творческому воображению». И. Черноуцан так истолковывает взгляды Воровского: «Обратим прежде всего внимание на то, что критик говорит везде об отставании художественной идеологии по сравнению с политикой и наукой, а не вообще об отставании литературы от жизни. Ему совершенно чужды рассуждения о «пафосе дистанции», с которыми приходится встречаться и поныне. Как раз напротив, он требует от писателя, чтобы тот замечал и воспроизводил все новые явления, какие художнику свойственно изображать».

И. Черноуцан далее весьма справедливо говорит о специфике искусства, о той существенной разнице, которая заключена в способности предвидеть будущее и изображать его. Все это верно.

И все же мне кажется, что В. Воровский, может быть, несколько упрощенно истолковывал отношения творческого воображения, творческой психики и форм научного познания. Не был ли он слишком категоричным, утверждая, что «в ходе общественного развития рост творческой психики отстает от умственного прогресса... Если присмотреться к ходу политической, научной и художественной эволюции человечества, придется признать, что на всех стадиях развития общества, то есть при движении любого класса от небытия к господству, раньше всего складывалась политическая (практическая) идеология, затем уже следовало научное формулирование нужд класса, а уже позади, с большим опозданием, шло художественное отражение жизни и борьбы этого класса»<sup>3</sup>.

Если бы действительно художественное познание находилось в таких ступенчатых связях с наукой, то тогда было бы непонятно, почему Ленин с такой уверенностью и обоснованностью считал творчество Л. Толстого «зеркалом русской революции», Искусство познает мир; его опыт способствует и развитию научной мысли.

Предметом искусства всегда была «макромир»: человек и окружающая его действительность как проявление вечно творящего потока жизни. Искусство с необычайной чуткостью фиксирует изменения, которые

происходят прежде всего в том, что может быть названо социальной психологией, в самом характере человеческого мышления. И в этом своем качестве, в дерзком стремлении к всеобщности знания оно способно содействовать и научному прогрессу. Недаром Эйнштейн несколько раз говорил о том влиянии, которое оказало на него творчество Достоевского.

В. Шкловский очень точно и поэтично определил одну из существеннейших новаторских сторон искусства, устремленного в будущее, когда сказал, что в поэзии Маяковского летят космические корабли. Здесь нет прямой причинной связи, связь между искусством и наукой куда сложнее и опосредствованнее. Но характером мировосприятия, грандиозностью поэтического мира, сущностью поэтических средств поэзия Маяковского действительно предвосхитила тот дерзкий вызов, который бросила наука, послав в космос корабль с человеком.

Литература XX века необычайно углубила понимание тех связей, которые существуют между человеком и природой, между материальным и духовным.

В работах о творчестве М. А. Шолохова, об особенностях его поэтики я пытался показать, как расширяет писатель изобразительные возможности реализма за счет смелого соединения, казалось бы, трудно совместимых стихий материального и духовного. Аксинья и цветущий ландшафт, Григорий и выжженная палами степь — в каждом из этих развернутых сопоставлений прослеживаются тончайшие связи между сокровенными движениями человеческого чувства и «внешним» миром. Переживание «материализуется» по принципу внутренних связей, объединяющих в единое и многообразное все то, что мы называем жизнью. Для Шолохова нет непреодолимой грани между так называемой «мертвой» и «живой» природой, когда он видит на берегу «нацелованную волной гальку», ветер может ходить, хозяйничать, падать на куст шиповника, целовать оголенные плечи Аксиньи... Самая мысль, процесс мышления нередко воплощается в предметно-видимом: «...мысль его, ища выхода, заметалась отчаянно, как мечется сула в какой-нибудь ямке, отрезанная сбившей полый водой от реки». В поразительных по неожиданности ассоциациях, связях, увиденных Шолоховым в жизни, как

<sup>3</sup> В. Воровский. Литературная критика. М. «Художественная литература», 1971. Стр. 287.

бы предваряются многие открытия современности<sup>4</sup>.

Искусство активно участвует в формировании человеческого мышления, открывает науке новые пути. В искусстве — юность человеческого познания, неудовлетворенность сущим, стремление к законченности знания.

Хорошо об этом говорил один из крупнейших физиков нашего времени академик Л. А. Арцимович: «Трудность, которую переживаем мы, ученые... скрыта в нас самих, в несовершенстве нашего мозга. И, однако, никакая электронная машина не может его заменить. Золотое яблоко успеха появляется часто на самой незаметной веточке могучего дерева науки. Но где и как искать эту ветку? Ассоциации, которые нужны для таких поисков, бесконечны, но информация, опыт, заложенные в нашем мозгу, поневоле не безграничны. Но то, что не под силу одному человеку, может сделать коллектив или, тем более, высокоорганизованное общество. Так вот, чтобы сделать эти ассоциации более широкими, ученым нужно искусство, как, впрочем, и всем людям: недаром первобытный человек украшал резьбой свое оружие и рисовал картины на стенах своих пещер. В искусстве — музыка, живопись и литература, — повторяю, находишь новые ассоциации и видишь новые аспекты в своей работе».

«Отставание» искусства от науки лишь кажущееся. Не случайно мы наблюдали, как в последнее время голоса науки и искусства звучат в унисон.

Наша литература не только показала нам благотворные следствия научно-технической революции, заметное воздействие ее процессов на социальную структуру общества, нравственный мир современного человека. При этом нет-нет да и зазвучит колокольчик, призывающий заглянуть в будущее.

Человек и природа — одна из самых болезненных и злободневных проблем бытия человечества.

Происходящие изменения в их глобальном историческом значении с предельной точностью и краткостью выразил известный французский ученый Жак-Ив Кусто: «Прежде природа угрожала человеку, а сейчас человек угрожает природе». Он же

образно сравнил жителей земли «с пассажирами корабля, которым раз и навсегда дан какой-то определенный запас воды. Да и то судно, оказавшееся в бедственном положении, может надеяться, что какое-то другое судно окажет ему помощь, тогда как мы во Вселенной одиноки, окончательно одиноки с нашим небольшим запасом воды, необходимым для жизни, как это известно каждому».

В докладе В. А. Кириллина на сессии Верховного Совета СССР, специально обсуждавшей проблемы охраны природы, было сказано: «Бережное отношение к богатствам земли и ее недр, к окружающей среде, охрана и рациональное, комплексное использование этих богатств в интересах всего народа является непреложным законом социалистического общества». Стоило бы обратить внимание на категоричность и безусловность этой формулы — «непреложным законом социалистического общества». В лучших произведениях советской литературы последнего времени охрана природы осмысливается не только как закон социальный, экономический, но и нравственный.

О том, как происходило исторически осознание «непреложности» этого закона, свидетельствуют хотя бы такие произведения советской литературы, как романы Леонида Леонова «Соть» (1929), «Русский лес» (1953), Георгия Маркова «Соль земли» и «Сибирь», памятные выступления М. Шолохова, В. Овечкина, С. Залыгина, Г. Троепольского, Г. Федосеева и многих других наших писателей. Такие умные и боевые очеркисты, как Г. Радов, Л. Иванов, Ю. Черниченко, В. Чивилихин, своими произведениями, основанными на огромном фактическом и научном материале, также учат и доказывают, как надобно беречь землю — наше общее достояние.

Для меня неким знамением времени стал тот факт, что журнал «Наука и жизнь» перепечатал из «Нашего современника» повесть Г. Троепольского «Белый Бим черное ухо», где с тревогой и озабоченностью говорится об отношениях человека и природы. Повесть драматична и современна. Пронзительная нота добра, жалости ко всему сущему продолжает в повести Г. Троепольского одну из самых гуманных тем русской литературы. История собаки становится «путеводителем по человечности». Браконьер — тип временщика, равнодушного ко всему живому. Быт переходит в

<sup>4</sup> См. Л. Якименко. Творчество М. А. Шолохова. М. «Советский писатель», 1970, стр. 445—453.

сферу социальной нравственности. Отношение к природе становится в повести одним из критериев оценки человека, его социальной сущности.

Современная наука все глубже познает неразрывность и обусловленность всего сущего на земле. В этом смысле, может, никогда так близко искусство не подходило к науке, как в наше время.

В «Белом пароходе» Ч. Айтматова миф о Матери-оленихе позволяет писателю привлечь внимание к историческим судьбам человечества. К тому, как складывались отношения человека и природы. Современность и миф в его повести представляют единую художественную картину. Орозкул, «хозяин» лесного кордона, не только браконьер, он мечтает о власти, о страхе, который будет внушать людям. Он всех стремится сделать соучастниками своих преступлений, он подчиняет безвольного деда Момуна, он грозит мальчику. Человеческое достоинство для Чингиза Айтматова невозможно без осознания единства всех проявлений жизни.

Литература способствует утверждению великого тезиса о неразрывности жизни. Человек в лучших произведениях литературы предстает во все усложняющихся связях с окружающим миром. Человек и современная действительность, человек и природа, человек и земля становятся предметом глубокого изучения.

Естественно, литература к общему зачатку подходит через частное, повседневное. Естественно и то, что произведения, затрагивающие острые вопросы времени, не раз становились за последние годы предметом обсуждений и довольно ожесточенных дискуссий. Особенно это касалось книг, посвященных жизни деревни, человеку — хозяину земли, книг, ставивших глубокие нравственные проблемы.

Нет нужды напоминать здесь о том, как оценивался, например, некоторыми критиками роман Ф. Абрамова «Две зимы и три лета», какие споры возникали и вокруг произведений В. Астафьева, В. Белова и других.

Сейчас приходится слышать суждения о том, что время деревенской прозы прошло, что новые книги о деревне не вызывают прежнего интереса, суждения об односторонности и ограниченности этой прозы.

Е. Старикова в статье «Социологический

аспект современной «деревенской прозы» («Вопросы литературы», 1972, № 7) высказала немало верных мыслей и наблюдений. Но трудно согласиться с категоричностью конечного вывода: «Без благодарной памяти о прошлом жить и неинтересно, и безнравственно, и опасно, — эта истина, то как открытие, то как напоминание, громко прозвучала в «деревенской прозе» 60-х годов, и, думается, в этом ее смысл и положительная историческая роль. Но одной памятью не проживешь, и обращенность «деревенской прозы» назад, в прошлое, все явственнее начинает ощущаться как односторонность и ограниченность».

Во-первых, далеко не вся проза о деревне обращена «назад, в прошлое». Во-вторых, самое это обращение у разных писателей носит различный характер. У лучших из них не только память о прошлом, но и забота о настоящем и будущем побуждает, обращаясь к жизни деревни, ставить важные проблемы современности. «Односторонность и ограниченность» некоторых из произведений о деревне — следствие не темы, а односторонности мысли, неумения мыслить исторически, в перспективе времени.

Романы Г. Маркова «Сибирь», М. Алексеева «Ивушка неплакучая», А. Иванова «Вечный зов», Й. Авижюса «Потерянный кров», М. Слущикса «Чужие страсти» (я называю лишь некоторые произведения последних лет), хотя и обращены в прошлое, затрагивают существенные социально-нравственные проблемы, жизненно важные для нашего современного бытия. Присуждение Ленинской премии белорусскому прозаику И. Мележу за его романы «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» — не только факт общественного внимания. Романы И. Мележа, исторические по содержанию, современны по характеру нравственных идей, над которыми побуждает нас размышлять писатель сегодня. Говорить об «оскудении» прозы, посвященной жизни деревни, на мой взгляд, неправомерно. Другое дело, что заметны и очевидны изменения, происходящие в деревенской прозе. Повесть круто повернула к социальной психологии. Очерк же заметно «сдал». Из той области, которую мы называем исследованием общественных отношений, он ушел, занявшись по преимуществу деловыми проблемами, проблемами текущего дня.

Нравоописательный элемент стал преобладать в повести. «Пелагея» и «Алька»

Ф. Абрамова, «Последний поклон» В. Астафьева, «Последний срок» В. Распутина, «Старая скворечня» и «За косогором» С. Крутилина — так или иначе главное в этих произведениях связано с размышлениями о том нравственном «нерве», который определяет бытие современного деревенского человека. Как правило, сюжетное построение этих повестей таково, что «сводятся» в единой коллизии разные поколения: мать и дочь у Ф. Абрамова, мать и дети у В. Распутина, отец и сыновья в «Старой скворечне» С. Крутилина.

Прошлое и настоящее встречается не по принципу «хуже» или «лучше». Здесь нет тягбы «старого» и «нового» в привычном истолковании. Происходит прямое или скрытое обращение к историческому и нравственному опыту народа, предельно обнажается, сталкивается материальное и духовное, повседневное и вечное, эгоистическое и бескорыстное.

Обращаясь к нравственной сфере, лучшие книги последнего времени не только стараются ответить на вопрос, каков сегодня советский человек, каковы условия его жизни, — они воюют за коммунистическое в человеке.

Пусть время в такого рода произведениях не всегда «историческое». Если очерки В. Овечкина или Е. Дороша, появившиеся на протяжении 50—60-х годов, можно было датировать год за годом — так внимательны они были к каждому шагу, к изменению обстоятельств, — если легко датировать, например, романы Е. Мальцева, В. Фоменко и некоторых других, то повесть последних лет легко идет на переносы во времени, пунктирно прочерчивая то существенное, что оказывало влияние на широкие понятия о жизни.

Для названных выше повестей В. Астафьева, В. Распутина, С. Крутилина история обстоятельств сконцентрирована в нравственных понятиях. Это повесть, которая ставит вопросы. Почему не приехала «желанная», самая, казалось, верная из детей, провести мать в последний срок («Последний срок»? Почему сыновья Егора — труженника, колхозного тракториста, солдата Отечественной войны — браконьеры по отношению к природе, к жизни, им чужда любовь к земле («Старая скворечня»? «Мужика своего нарушила и себя не щадил... — думает Пелагея. — Чего добилась? Одна... Насквозь больная... Без дочери... В пустом доме...» («Пелагея»).

Пелагея беспощадно судит себя, бабка Анна или Егор — своих детей. И самое высокое в этом суде, что «власть вещей» отвергается людьми-труженниками во имя высокого социального идеала!

Отчетливо звучит в повести стремление осознать историческую преемственность в народе высоких нравственных норм.

Ф. Абрамов в «Альке» побуждает свою героиню, приехавшую в родную деревню, многократно возвращаться в мыслях к своим родителям, отцу и матери. Это не только «детские» воспоминания — когда и как приласкала мать, как повел себя отец в том или ином случае и т. д. Как жили родители, для чего, что осталось после них на земле — вот над чем с нарастающим пронзительным чувством начинает размышлять Алька. Писатель тактичен, он «выдерживает» характер взбалмошной, непоседливой в чувствах, настроениях Альки. И все же горькая память, дочернее чувство побуждают ее, пусть ощупью, не всегда осознанно, доходить до корневых вопросов бытия.

Всю жизнь по одной тропке бежала мать из дому в пекарню. Что осталось, запечателось в людской памяти? «Паладына межа», межа родной матери... Страсть как любила Пелагея собирать ягоды. Тетка ведет Альку по материнским местам. И то тут, то там проходят по мосткам, которые специально для матери мастерил отец, на деревьях находят берестяные коробочки, чтобы было из чего напиться в жаркую пору. Она почти угадала, хотя и не поняла до конца смысла того, что открывалось ей. Для чего дается человеку жизнь и как надобно ее прожить? Этот вопрос возникнет для Альки и тогда, когда она наблюдает семью подруги, когда сидит одна в родительском доме, когда решает, оставаться ли в родной деревне, когда трудится на сенокосе — до жаркого пота, до сладкой слезы...

Город вновь поманил Альку суетой, кажущимся блеском и шумом жизни. Но тут не скажешь, что город побеждает.

Правда, нравственная идея повести несколько приглушается финалом. Пестрые открытки, которые Алька присылает тетке в деревню со всех концов света (она летает стюардессой на международных авиалиниях), и заколоченный, разрушающийся родной дом... Что в этом? Молчаливое осуждение ухода, разрыва с деревней? И только... Конечно же, повесть Ф. Абрамова своим содержанием глубже, шире финала.

Стоило бы, наверное, задуматься, почему те или иные явления жизни вызывают пристальный, на первый взгляд необъяснимый интерес литературы? Это ведь ремесленнику все равно, о чем писать. У него свое понимание необходимого. Литератора волнуют важнейшие проблемы времени. В современной деревне как бы встретились различные эпохи — прошлое и будущее. Что мы возьмем с собой в дальние дороги? Что безвозвратно теряем, а что можем оставить по неразумению своему, по торопливости сборов — ведь и об этом размышляют современные книги.

В Кабардино-Балкарии, в селении Карагач председатель колхоза так ответил на мой вопрос о традициях: «Все лучшее берем, плохое оставляем».

В этом селе много новых каменных домов с паровым отоплением, газовые плиты, холодильники. Заканчивается строительство нового клуба. Очень хорошая школа-десятилетка. Рабочих рук хватает, молодежь остается в селе. Но когда мы вместе с кабардинским писателем Адамом Шогенцуковым начали выяснять, что же из добрых традиций осталось, то выяснилось, что немало уже и утрачено.

Один из героев романа М. Стельмаха «Дума про тебя» не без горечи говорит: «Косит время не только плохое, но и хорошее». Другой отвечает: «Иногда время, а иногда равнодушие или безрассудство». Действие романа М. Стельмаха развертывается в 30-е годы и в годы войны. Но заботы его героев нередко определяются и проблемами нашего времени.

Глубокое познание смысла времени, места человека в историческом движении невозможно без отчетливой идеи, без того, что определяется как общественная позиция писателя. Только художник, для которого отчетлива цель движения, обладает в наше время способностью к действенному прочтению «книги жизни».

Современная критика много сделала для выяснения диалектики конкретно-исторических отношений между характером и обстоятельствами, для обоснования тезиса о социальной обусловленности литературного процесса. Выявление диалектики обстоятельств и характеров требует высокого искусства, постоянного внимания к тому, что появляется нового в жизни и литературе.

В современной литературе социальное нередко проявляется в скрытой сфере человеческих эмоций. Исследователь литературного процесса не может не учитывать тех «сложных» случаев, с которыми пришлось столкнуться за последние годы.

Вспомним судьбу трех повестей Юрия Трифонова («Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание»). По поводу этих произведений высказаны различные точки зрения.

Одни считают, что герои Трифонова находятся на задворках жизни, что писатель сам оказался в плену своих ограниченных героев, что пессимистической концепцией непобедимости мещанства проникнуты его произведения, в частности повесть «Долгое прощание».

Другие, наоборот, утверждают, что Ю. Трифонов смело и мужественно обнажил отрицательные явления нашего быта, что он привлек к ним внимание, что сама позиция писателя — позиция отрицания мещанства и потребительского отношения к жизни.

«Да, все три московские повести Ю. Трифонова, если суммировать одним словом, — о мещанстве. Не ветхозаветном и давно обнаруженном за тюлевыми занавесками и канарейками на окошке, а нынешнем, особом, «высшего сорта», — утверждал В. Соколов в «Вопросах литературы». И далее объяснял, что он имел в виду, говоря о современном мещанстве «высшего сорта»: «Интеллигентность, не пустившая корни вглубь. Образованность, научившаяся брать по максимуму, а отдавать по минимуму».

М. Синельников, другой участник обсуждения повестей Ю. Трифонова, во многом соглашаясь с В. Соколовым, считал, что, «если бы Ю. Трифонов задался целью более полно выявить связи героя с жизнью, находящейся за пределом бытового семейного существования, он, бесспорно, получил бы возможность расширить и углубить антимещанскую направленность повести, показать силы, противостоящие обывательскому равнодушию».

Наконец, сам автор, Ю. Трифонов, начал свое выступление в обсуждении с парадоксального, казалось бы, утверждения: «Но вот что, по-моему, я знаю точно: о чем я не хотел писать. Не хотел я писать об интеллигенции и о мещанстве. Ничего подобного даже в уме не держал». Заканчивал писатель словом «в защиту быта. Быт — это великое испытание. Не нужно говорить

о нем презрительно, как о низменной стороне человеческой жизни, недостойной литературы. Ведь быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность».

В литературе 20-х годов нередко противопоставлялись быт и бытие, быт рассматривался как нечто низменное, как убежище для мещанина от сквозных ветров исторического бытия человечества, бескорыстной героики революционного времени.

«Берегитесь вещей! Они очень быстро и прочно порабощают нас», — предостерегал А. Грин в одном из своих рассказов.

Как тревожный колокол прозвучало проклятие Маяковского в знаменитой поэме «Про это»:

Все так и стоит столетья,  
как было.  
Не бьют —  
и не тронулась быта кобыла.

И вот теперь Ю. Трифонов утверждает, что «быт — это обыкновенная жизнь, испытание жизнью, где проявляется и проверяется новая, сегодняшняя нравственность».

Для многих было неожиданным само появление этих повестей. После романа «Утоление жажды» с его поэзией труда, трудовых преодолений, утверждения героического деяния как основы жизни — вдруг малозначительные, «скучные» люди, незначительные происшествия, будничность.

Но такое чисто внешнее рассмотрение ничего не может объяснить ни в творческом движении писателя, ни в характере его новых произведений. Некоторые герои из книги рассказов Ю. Трифонова «Под солнцем», фигура журналиста Зурабова в «Утолении жажды» могли бы послужить для внимательного читателя своеобразным «мостиком» к тому жизненному материалу, который лег в основу повестей. Существует и более сложная, опосредствованная связь между «старым» и «новым» Ю. Трифоным. Один из героев «Утоления жажды» с вызывающей гордостью, с полным сознанием важности того дела, которым он жил, заявил: «Если нет дела, которое любишь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить».

Героями повестей Ю. Трифонова оказались люди, у которых нет любимого дела,

которое было бы «больше твоих радостей, больше твоих несчастий». Незадачливый переводчик, неудачливая актриса, драматург, который ищет и пока ничего не находит... Посредственность, которая стремится выдать себя за талант.

В то же время в этих людях есть неудовлетворенность своим положением, они смутно тянутся к чему-то высшему. Конкретная бытовая среда, в которой они живут, «ниже» их, в ней отчетливее проступает потребительское, а то и хищническое отношение к жизни.

Ю. Трифонов стремится нанести удары по мещанству, которое прикрывается латами «интеллектуализма», духовных потребностей и интересов. Он не боится сорвать маски, показать хищный оскал потребителя, для которого, в конце концов, главное в том, чтобы «сладко жить». Жрать и пить.

В то же время в этих повестях Ю. Трифонова есть внутренние противоречия, и противоречия нарастающие. В «Обмене» писатель нашел ту «внутреннюю точку наблюдения», которая позволила ему оценить своих героев «отблеском костра», революционным бескорытием, верой и надеждой, самими обстоятельствами жизни тех, кто осуждал и имел нравственное право на этот суд.

В последней повести «Долгое прощание» писатель как бы останавливается перед драматизмом и сложностью происходящего. Трудно начинавший когда-то в драматургии Ребров, который теперь «процветает, хорошо зарабатывает сценариями», вспоминает прошлое, «и ему кажется, что те времена, когда он бедствовал, тосковал, завидовал, ненавидел, страдал и почти нищенствовал, были лучшие годы его жизни, потому что для счастья нужно столько же...».

В этой формуле счастья нет того, что можно назвать любимым делом.

И начинающий драматург Ребров и поэт-переводчик, герой повести «Предварительные итоги», редко испытывают те мгновения радости, озарения, которые дарит искусство подвижникам.

Искусство для героя «Предварительных итогов» тяжелое ремесло, которое кормит его и семью. «Переводить стихи — моя профессия. Больше я ничего не умею. Перевожу я с подстрочника. Практически могу переводить со всех языков мира, кроме двух, которые немного знаю — немецкого

и английского, — но тут у меня не хватает духу или, может быть, совести».

Он не удовлетворен своим положением. Но через все его рассуждения о жизни, о себе проходит мотив усталости, мотив невозможных утрат. «И все было так: одно хватало, что попроще, а другое — откладывал на потом, на когда-нибудь. И то, что откладывалось, постепенно исчезало куда-то, вытекало, как теплый воздух из дома, но этого никто не замечал, кроме меня. Да и я-то замечал редко, когда-нибудь ночью, в бессонницу. А теперь уж некогда. Времени не осталось. И другое: нет сил. И еще третье: каждый человек достоин своей судьбы».

Он пытается «бунтовать», восстает против мещанского окружения, судит часто весьма пронизательно и беспощадно и свою жену Риту, и сына, и подругу жены Ларису, и своего «работодателя» Рафика...

Многие из этих характеров воссозданы в повести с совершенно очевидной интонацией неприятия и отрицания.

Приглушенно, но достаточно, чтобы услышать, звучит тревожный голос писателя, который призывает нас задуматься над судьбами тех людей, которые при определенных условиях приходят к безрадостному существованию. Как только утрачиваются общественные побудительные мотивы жизни, творчества, люди оказываются пленниками потребительской морали. Эгоизм и приобретательство определяют жизненное поведение, приводят к тому, что Рита как бы начинает повторять Ларису, которая умеет «устроиться» в жизни.

Но бунт героя против «среды» непоследователен. Его не хватает на борьбу, потому что он сам человек «без идеала». Мерещится где-то ему счастье в патриархальной семье туркменского садовника Атабалы, в неразмышляющем приятии жизни в ее извечных и первозданных проявлениях.

Герои повестей Ю. Трифонова, в сущности, пленники, добровольно подчинившие себя нехитрому закону «не так живи, как хочешь, а как живется».

Не отсюда ли безрадостное, пассивно-зеркальное настроение, в котором пребывает герой «Предварительных итогов»? Моральный вывод, к которому он приходит: «Каждый человек достоин своей судьбы» — означает безвольное подчинение обстоятельствам. Легкий налет иронии и грусти лишь подчеркивает тут пассивность личности повествователя.

Ради чего же заключаются компромиссы, делаются уступки эгоизму и потребительской морали? Почему так быстро гаснет протест?

Через все повести — «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание» — проходит мотив любви-страдания, безрадостной любви, соединившей по какому-то капризу, казалось бы, далеких друг другу людей, любви, которая мучает и держит, от которой нет избавления.

Это не пылкая драматическая любовь с катастрофами и озарениями, это не любовная пытка, которая сводила в могилу героев Достоевского.

Это любовь, которая стала привычкой. Любовь, спасающая от одиночества.

Несчастлив в своей семейной жизни герой «Предварительных итогов». Он с отчаянием и стыдом вдруг убеждается, что прозевал, не заметил, как переменялась его жена Рита, что из сына вырос циник и наглец. Никак «не склеится» семья у Ляли Телепневой и Реброва («Долгое прощание»). Все что-то или кто-то мешает... Странная любовь, странное совместное существование на грани разрыва.

Но оказывается, что и такая любовь — единственное, что дает героям повестей Ю. Трифонова силу быть выше других, выше «среды», в которой они живут. Потому что эта любовь бескорытна.

Рвет с Лялей Ребров, и она превращается в заурядную мещанку, ушло то, что давало ей возможность жить на сцене. Но и для самого Реброва разрыв с Лялей оказался роковым. Он превращает его в ремесленника-сценариста.

И вот тут следует сказать об одной особенности последней повести Ю. Трифонова. Автор стремится предельно устраниваться из повествования.

Но самоустранение писателя приводит к определенным художественным просчетам.

В «Долгом прощании» все события даны глазами двух персонажей: начинающего драматурга Реброва и актрисы Ляли Телепневой. Объективное по виду повествование окрашено их восприятием, их отношением к миру, к людям.

Избранная Ю. Трифоновым стилевая форма не позволяет ему последовательно провозвести нравственный суд над своими героями. Между тем это было необходимо, потому что мещанство в современных условиях нередко проявляет себя не только внешне — в поступке, слове, деле, но и в



чувствах, в содержании, в характере эмоций.

Современная проза все чаще обращается к уму, чувствам и опыту читателя, стараясь не навязывать ему выводов и решений. «Голоса» героев, форма несобственно-прямой речи — ныне излюбленные стиливые приемы. Искусство художника, видимо, заключается в том, чтобы, гибко используя экспрессивное богатство повествовательных форм, сохранить при этом единство видения, суметь донести до читателя свою концепцию действительности.

Повесть В. Астафьева «Пастух и пастушка», опубликованная в «Нашем современнике», вызвала поначалу разноречивые оценки. И я думаю, основание для спора, для разноречивых оценок это произведение дает. Но при этом мы не должны забывать об уважении к талантливому художнику. К тому, что он сделал уже в литературе.

В. Астафьев — писатель пронзительного чувства времени и привязанности к земле. Писатель, который хорошо чувствует нравственное богатство русского человека, будь это молоденький герой повести «Где-то гремит война» или умудренная жизнью бабушка в «Последнем поклоне». Произведения его неизменно привлекали внимание критики на протяжении последнего десятилетия.

Квалифицированным суждением о новой повести В. Астафьева мне представляется рецензия С. Залыгина, опубликованная в «Литературной России» (19 ноября 1971 года). И в то же время суждением неполным, в ряде моментов неточным и противоречивым.

С. Залыгин попытался определить прежде всего нравственное содержание этой повести. Действительно, повесть В. Астафьева обращается «внутрь», к жизни чувства, к внутренним переживаниям и чувствам главного героя молодого лейтенанта Бориса Костяева.

Но думаю, что С. Залыгин не совсем прав, посчитав главный нравственный мотив «Пастуха и пастушки» в том, что «бывает так, что людям и на войне не чуждо все человеческое, вопреки этой ее природе».

Вся советская литература о войне основана на утверждении «человеческого», и если бы повесть В. Астафьева только на это обращала бы внимание, то вряд ли мы говорили бы о ней сейчас.

Подзаголовок повести В. Астафьева «Современная пастораль» несет в себе двойной смысл: утверждение любви как «вечного» чувства, связующего людей, и трагическую невозможность для любящих соединиться, преодолеть жестокость обстоятельств.

Строгий реалист В. Астафьев использует в этой своей повести некоторые принципы романтической поэтики. Символика в самом заголовке, в начальной и финальной сценах, когда женщина ищет любимого и находит его могилу «посреди России».

Патетические ноты финала не совсем сопрягаются с сюжетно-конфликтной основой повести. Замкнутое «кольцевое» движение кажется скорее плодом замысла, чем естественного движения жизненного материала.

Я могу только согласиться с С. Залыгиным, который пишет, что у Астафьева «чуть-чуть», местами, чувствуется излишняя сентиментальность либо просто нарочитость — хотя бы в той сцене, с которой несколько искусственно начинается и тоже несколько искусственно кончается его пастораль, в сцене, где уже седая женщина, в которой мы должны узнать Люсю, находит в степи могилу своего любимого.

Случайны ли эти «просчеты» формы или они каким-то образом связаны и с общей мыслью произведения В. Астафьева?

Мне кажется, что писатель бывает несвободен, когда он заранее как бы формулирует для себя, что он именно собирается выразить в своем произведении. Жанровая заданность «Пастуха и пастушки» (пастораль) повлекла за собой и некоторые особенности содержания. Трагический финал как бы предопределен одной из начальных сцен: солдаты взвода, которым командует лейтенант Борис Костяев, видят в деревне погибших от снаряда старика и старуху — «пастуха» и «пастушку». Именно здесь начинает звучать лейтмотив всего произведения.

Встреча двух молодых людей — Бориса и Люси, чуткость, нежность, всепоглощающее чувство. Неожиданное спешное расставание... Люся не успела узнать адрес полевой почты Бориса, Борис не запомнил даже названия села, в котором жила Люся. Одна из самых впечатляющих сцен повести: Борис вновь встречается с Люсей, испросил, выпросил отпуск, разыскал Люсю.. Сила чувства, пронзительная печаль. И все лишь в воображении, в предположении того, как могло бы быть.

В. Астафьев во многих местах своей повести выступает во всеоружии мастерства, которое само по себе в искусстве не существует и лишь способствует тому, чтобы с наибольшей глубиной выразились переживания героев.

Письмо матери, которое читает Борис Люсе, при всей непосредственности и «реалиях» быта, звучит с большой силой. Изображение солдат в этой повести, особенно образы двух земляков — Карышева и Малышева, достойно продолжает лучшие страницы советской литературы о войне.

Но повесть В. Астафьева может вызывать и вызывает серьезное несогласие с автором.

С. Зальпину кажется, что Борис Костяев и умирает-то неизвестно от чего — «от раны или от тоски по Люсе». Пастораль так пастораль в трагическом ее исходе. Две песчинки, две маленькие жизни, соединившиеся в урагане войны, чтобы тут же быть отброшенными друг от друга. И будет дано им соединиться лишь на могиле одного из них...

Но в повести В. Астафьева герой ее умирает не от любви и даже не от раны. Скорее он умирает от усталости на войне.

Собственно мысль повести, как мне кажется, выражена в одном из авторских рассуждений: «Жажда жизни рождает неслыханную стойкость — человек может перебороть увечье, поднять тяжесть выше своих сил. Но если нет ее, значит, остался мешок с костями. Потому-то и на передовой, бывало: даже очень сильные люди ни с того ни с сего начинали зарываться в молчание, как ящерицы в песок, делаться одиночками среди людей и однажды с обезоруживающей уверенностью объявляли: «А меня скоро убьют». Иные и срок определяли: «Сегодня или завтра». И никогда не ошибались, почти никогда».

Герой повести В. Астафьева живет в каком-то тумане непреодолимой усталости и страдания. «Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него... вот так зазнуть бы в безвестном местечке, в чьей-то безвестной хате, и от всего отрешиться. Разом, незаметно и навсегда. Это было бы так хорошо... «Это что я? Что за блажь? Какая дурь опять в голову лезет!..»

Война была долгой. Война была тяжелой. Всякое случалось с нами. И видимо, не у одного Костяева могли быть минуты, когда хотелось «от всего отрешиться. Разом, незаметно и навсегда».

Но жизнь держала. Материнской дальней слезой, отцовским словом, любовью, в которую верилось, солдатским долгом перед родиной, журчанием лесного ручья, белозубой улыбкой ромашки, выглянувшей из-за кустика, — всей своей сутью держала жизнь то, что одной ей пока принадлежало по праву.

Трагический исход подготовлен характером многих чувств и переживаний Бориса Костяева. У него не осталось того, что сам автор назвал «жаждой жизни».

Но для читателя остается вопрос, на который в повести нет ответа: что же привело к надорванности, к смертельной усталости именно этого героя, Бориса Костяева? Картины боев, рассуждения о смерти сами по себе еще не ответ. Требовался куда более гибкий инструментарий психологического анализа. И наконец, самое главное. Трудно поверить, что у молоденького лейтенанта оказалось так мало «защепок» в жизни, того, что держит тебя в самых драматических обстоятельствах.

Таким образом, в основе некоторых художественных просчетов этой повести лежат содержательные элементы. Бросается в глаза прежде всего отвлеченно-морализаторская постановка художественной задачи: любовь не смогла преодолеть смерть, потому что была утрачена «жажда жизни».

Можно ли об этом писать? В. Астафьев написал. Меня занимают другие герои. Люди, которые умеют стоять до конца. Не могу не вспомнить слов Горького из воспоминаний о Л. Андрееве: «Для меня человек всегда победитель, даже смертельно раненый, умирающий».

Борис Костяев и солдаты его взвода исполняют свой долг до конца. Ненависть к фашизму в повести не декларирована, она во многих сценах и картинах: в рассказе Люси о пережитом во время оккупации, в переживаниях Бориса, который стал свидетелем, как увозили фашистского генерала, покончившего самоубийством. Во всех батальных сценах и картинах. Раненый Борис Костяев не покидает своих солдат. Уходит из окопа лишь по приказу.

Но во всех чувствах героя, в размышляющем голосе, в голосе его «души» звучит мотив надорванности, невыносимой ноши. Погибает бывший ординарец Костяева, почти мальчишка, — Шкалик. Подорвался на mine вместе с подводой. Свидетель его смерти Борис, по характеристике автора, «привык». «Ко всему привык, притерпелся.

Только там, в выветренном, почти уже пустом нутре, поднялось что-то, толкнулось в грудь, и оборвался в устоявшуюся боль, и дополнило ее свинцовой каплей. Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее».

В другом месте: «Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею страшно... Страшно, когда само слово «смерть»... делается обиходным, как слова «есть», «спать», «любить»...»

И когда няня, которая почему-то лишь одна оказывается возле Бориса в санитарном вагоне (ни сестер, ни врачей нет), удивленно говорит: «Такое лёгкое ранение, а он умер...» — у читателя уже готов ответ, подсказанный автором.

Представляется весьма странным итоговое рассуждение А. Ланщикова о повести В. Астафьева: «Конечно, судьба Бориса Костяева в какой-то мере исключительна, но это исключение типическое, выражающее крайнюю, но в то же время достоверную степень духовного состояния целого поколения» (!) («Литературная газета», 8 сентября 1971 года). Критика «взахлеб» никогда не способствовала прояснению истины. А право же, стоило остановиться, отдышаться, поразмышлять. И тогда вряд ли критик увидел бы в судьбе Бориса Костяева хотя и «крайнюю, но в то же время достоверную степень духовного состояния целого поколения».

Пытливый интерес ко всем явлениям жизни, ко многим сложнейшим проблемам человеческого бытия, настойчивые жанровые и стилевые поиски в нашей литературе предъявляют к критике весьма серьезные требования.

Нам не хватает обобщающих исследований, в которых бы осмысливалось своеобразие современного литературного процесса. Много ли можно назвать работ, в которых успешно осмысливался тот вклад в эстетику социалистического реализма, который внесла наша литература последних лет?

Внимание, такт, бережливость в отношении к писателю предполагают и высокую меру требовательности, которая сама по себе не является, а может выйти только следствием жизненного опыта, эстетической

культуры, образованности, личной заинтересованности самого критика в успешном развитии нашего искусства.

Все чаще мы встречаемся со словом «сложно». О сложности говорят писатели, о сложности говорят ученые. В беседе с украинским писателем П. Загребельным известный ученый, член-корреспондент АН УССР А. Ивахненко несколько раз заявил, что объективный ход событий идет в направлении все большего усложнения человеческой жизни и даже: «Сложное наиболее совершенно» («Литературная газета», 23 августа 1972 года).

Белорусский писатель И. Мележ имел все основания заявить: «Научно-технический прогресс поставил перед нами новые труднейшие проблемы. Усложнился мир вокруг человека, его социальные связи, взаимоотношения с обществом, стала более полифонична его духовная сторона. Все-таки информационный взрыв — свершившийся факт... Одно дело опозитизировать труд человека с косой или плугом и совсем другое — изобразить мысли, чувства, эмоции человека, стоящего у пульта современной электронно-счетной машины, управляющей технологическим процессом крупного предприятия. Объекты, с которыми мы имеем дело, сугубо индивидуальны — что ни человек, то целый и неповторимый мир, Вселенная!» («Известия», № 208, 1972) Может ли критик не учитывать эту сложность, это богатство и разнообразие нашей действительности!

Современная повесть лишь часть того сложного движения, которое именуем мы литературным процессом. В ее качественном состоянии проявляются отдельные тенденции общего движения советской литературы.

Споры, дискуссии помогают нам общими усилиями определить то существенное, что определяет характер движения.

Но литературная критика не может лишь фиксировать сущее. Она утверждает высокие эстетические и нравственные принципы искусства, глубоко познающего жизнь, современную действительность, духовный мир советского человека.

Лишь передовая, марксистская образованная критика стала одним из факторов, способствующих прогрессу искусства.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Академик А. А. УХТОМСКИЙ

★

## ПИСЬМА

**М**не выпало счастье учиться у выдающегося советского ученого-физиолога академика Алексея Алексеевича Ухтомского, слушать его лекции по физиологии в Ленинградском университете и принимать участие в его беседах со студентами. Алексей Алексеевич переписывался со своими учениками, и я храню его письма за период с 1927 по 1941 год, адресованные мне. В них А. А. Ухтомский высказывал мысли о науке, философии, истории, морали, литературе, искусстве; он писал о жизни людей и их отношениях друг к другу. Поскольку письма касаются во многом личных сторон жизни А. А. Ухтомского, смысл их подчас может остаться неясным для тех читателей, кто незнаком с биографией ученого. Поэтому считаю необходимым рассказать хотя бы кратко об истории жизни моего учителя.

Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13(25) июня 1875 года в селе Восломе, Рыбинского уезда, Ярославской губернии в родовитой дворянской семье; род Ухтомских происходил от суздальских князей XII века.

В тринадцать лет Алексей Алексеевич был определен в кадетский корпус в Нижнем Новгороде. Уже в корпусе подростка Ухтомского начали волновать философские и этические проблемы, разрешение которых он пытался искать в религии. После окончания корпуса вопреки воле родных он поступил в Духовную академию. Однако теология не дала ответа на мучившие Алексея Алексеевича вопросы, и, блистательно защитив диссертацию, молодой кандидат богословия еще раз круто меняет свою судьбу.

В 1900 году А. А. Ухтомский поступает на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. Здесь он наконец находит себя и с этого времени посвящает всю жизнь науке.

Еще в студенческие годы Ухтомский начал проводить научные исследования в физиологической лаборатории профессора Н. Е. Введенского, а с 1904 года Введенский стал поручать ему подготовку животных для демонстраций на своих лекциях.

Однажды демонстрация не удалась: раздражение электрическим током мозга кошки, которое должно было вызвать сокращение мышц конечностей, вызвало у животного акт дефекации. Это наблюдение заинтересовало молодого ученого и на долгие годы привлекло его внимание.

Работая над магистерской диссертацией, защищенной в 1911 году, Ухтомский в многочисленных экспериментах воспроизвел условия неудавшейся демонстрации 1904 года. Их результаты легли в основу выдвинутой Ухтомским впоследствии теории доминанты. В 1923 году, после многих лет проверки и обдумывания, Ухтомский впервые выступил с докладом о доминанте в Ленинградском обществе естествоиспытателей и опубликовал статью «Доминанта как рабочий принцип нервных центров».

Термин «доминанта» Ухтомский произвел от латинского слова *dominare* — господствовать. По Ухтомскому, доминанта — это временно господствующий рефлекс, который в текущий момент трансформирует и направляет другие рефлексy и работу реф-

лекторного аппарата в целом. При этом раздражения из самых различных источников уже не вызывают обычных реакций, а лишь усиливают деятельность главенствующего, доминирующего в данный момент центра.

Доминанты лежат в основе всей психической жизни человека, но они обусловлены не только и не столько физиологическими процессами, сколько социальными и этическими мотивами.

А. А. Ухтомский отмечал связь между созданной им теорией доминанты и учением И. П. Павлова об условных рефлексах. Он образно сравнивал исследования школы Павлова и школы Введенского, к которой сам принадлежал, с работой проходчиков во встречных шахтах, когда через разделяющую породу в одной шахте становится слышно, что делается в другой.

Большое место в жизни Алексея Алексеевича занимала педагогическая работа; он начал заниматься ею еще будучи ассистентом Н. Е. Введенского. В 1922 году после смерти Н. Е. Введенского Ухтомский возглавил университетскую кафедру физиологии животных и руководил ею до конца своей жизни.

Алексей Алексеевич был одним из организаторов при Петроградском университете рабочего факультета, где читал курс анатомии и физиологии. В 1919 году по инициативе преподавателей и сотрудников университета Ухтомский был избран депутатом Петроградского Совета. В 1932 году А. А. Ухтомский организовал и возглавил Физиологический научно-исследовательский институт при Ленинградском университете, который после смерти Алексея Алексеевича стал носить его имя.

За работы по физиологии нервной системы он получил премию имени В. И. Ленина.

В 1933 году А. А. Ухтомский был избран членом-корреспондентом, а с 1935 года он становится действительным членом Академии наук СССР.

Ухтомский глубоко интересовался философскими проблемами. В статье «Об условно-отраженном действии» он анализирует учение о рефлексе начиная от Декарта и кончая Павловым и сопоставляет его с ленинской теорией отражения, которая перед физиологическим учением о рефлексах ставит новые задачи.

С В. И. Лениным было связано и последнее публичное выступление А. А. Ухтомского. Оно состоялось в декабре 1941 года в университете на заседании, посвященном пятидесятилетию сдачи Лениным государственных экзаменов.

В. Л. Меркулов<sup>1</sup> приводит рассказы свидетелей о последнем периоде жизни Ухтомского и об этом заседании, которое проходило под грохот обстрела и завывание сирены, когда в большом университетском коридоре были разбиты окна и на полу лежали сугробы снега. Алексей Алексеевич произнес взволнованную речь. Сохранился план этой речи. Вот последний пункт этого плана.

«7. *а* Великого Волгаря, пронесшего далеко и славно русское имя среди народов мира,

в человека, которому выпало быть руководителем в момент, когда история приступила к рождению нового мира,

*у* человека, который умел вносить всевозможное смягчение и глубокую гуманность в самые острые моменты рождающейся исторической стихии, — вот кого из своих прошлых питомцев вспоминает сейчас Ленинградский университет в текущий жестокий момент своей жизни и жизни родной страны».

А. А. Ухтомский остался в осажденном Ленинграде. Он упорно отказывался покинуть город. Он был неизлечимо болен раком пищевода и спонтанной гангреной ноги. Но несмотря на тяжесть блокады и физические страдания, Алексей Алексеевич жил интенсивной умственной жизнью, до последних дней не оставляя научной работы.

Умер А. А. Ухтомский 31 августа 1942 года.

Сложными и противоречивыми путями шла жизнь А. А. Ухтомского. Отсюда противоречивость его мировоззрения: с одной стороны, строгий, тонкий и глубокий анализ научных фактов и данных, полученных в эксперименте, с другой — убежденность, что жизнь общества можно изменить, если люди перестроят свои доминанты, направив их не на себя, а на своих «собеседников» и на любые «человеческие лица».

<sup>1</sup> В. Л. Меркулов. Алексей Алексеевич Ухтомский. Очерк жизни и научной деятельности (1875—1942) М.—Л. Издательство Академии наук СССР. 1960.

Мысли о «собеседнике» и «человеческом лице» исходили как из научных взглядов, так и из этических и моральных установок Алексея Алексеевича. Возможно, что их питали и воспринятые им с детских лет религиозные традиции, с которыми он не смог окончательно порвать.

Признание и известность А. А. Ухтомского все более растут. Созданная им теория доминанты нашла применение не только в физиологии и других биологических науках, но и в психологии, педагогике, различных разделах медицины. До настоящего времени не устарели его теоретические мысли и предвидения.

Однако образ А. А. Ухтомского, крупного и самобытного ученого-энциклопедиста и необыкновенного человека, еще недостаточно освещен в литературе. В связи с этим недавно скончавшийся академик В. В. Парий, которого я познакомила с письмами моего учителя, отмечал особую ценность эпистолярного наследия А. А. Ухтомского: «Эти письма, по моему глубокому убеждению, представляют большой интерес не только для научных работников, но и для широкого круга советских читателей. Было бы большим ущербом для отечественной культуры, если бы эти письма остались неизвестными советской общественности».

**Е. И. Бронштейн-Шур.**

3 апреля 1927.

Утро после доклада о доминанте в 10 аудитории университета.

...Вчера, когда я усиленно пытался передать в докладе мои искания и ожидания, которые повели меня в сторону доминанты, все во мне опять взволновалось. Но на докладе все-таки получились какие-то обрывки. Иногда я даже удивляюсь тому, что такие обрывки все-таки улавливаются и по ним у молодежи восстанавливается нечто цельное, что хотелось сказать и чем я живу. Но все-таки это обрывки...

Вот сегодня под свежим впечатлением доклада с утра я и сел писать, чтобы дополнить вчерашнее, пока еще все это горячо. Конечно, это будет не «все». Как много того, что надо сказать!

Хочется сказать об одной из важнейших перспектив, которые открываются в связи с доминантой. Это проблема двойника и тесно связанная с нею проблема заслуженного собеседника. И та и другая служат естественным продолжением того, что доминанта является формирователем «интегрального образа» о действительности, о чем я пока очень кратко упомянул в статье 1924 г. во Врачебной Газете. А что для нас является более важным и решающим, чем «интегральный образ», который мы составляем друг о друге, о лице встреченного человека? По тому, как мы разрешаем эту ежедневную задачу, предопределяется в высшем смысле слова наше поведение, наша жизнь, наша ценность для жизни; в зависимости от того, как разрешим мы эту великую проблему, и жизнь ответит нам своим судом: ты ценишь и потому живи и побеждай, или ты легковесен и пуст и потому умри!

Проблема «Двойника» поставлена Достоевским, а мостом к ее пониманию послужила для меня доминанта. В одном собрании посмертных бумаг Достоевского я в свое время с удивлением прочел, что, по собственному убеждению этого писателя, его раннее и столь, казалось бы, незначительное произведение «Двойник» было попыткой разработать и высказать самое важное, что когда-либо его мучило. Неоднократно и потом, после ссылки, он возвращался к этой теме, и все без удовлетворения. Для читателей «Двойник» остается до сих пор каким-то загадочным, маловнятным литературным явлением! Для меня из доминанты стало раскрываться вот что.

Человек подходит к миру и к людям всегда через посредство своих доминант, своей деятельности. Старинная мысль, что мы пассивно впечатлеваем на себе реальность, какова она есть, совершенно не соответствует действительности. Наши доминанты, наше поведение стоят между нами и миром, между нашими мыслями и действительностью. Неизбежно получается та доминант-

ная абстракция, о которой я говорил вчера. Целые неисчерпаемые области прекрасной или ужасной реальности данного момента не учитываются нами, если наши доминанты не направлены на них или направлены в другую сторону. И тут возникает, очевидно ежеминутно в нашей жизни, следующее критическое обстоятельство: мы принимаем решения и действуем на основании того, как представляем действительное положение вещей, но действительное положение вещей представляется нами в прямой зависимости от того, как мы действуем! Очевидно — типическое и постоянное место нашей природы в том, что мы оправдываем наши поступки тем, что они соответствуют реальному положению; но для того, чтоб поступок вообще мог совершиться, мы неизбежно абстрагируемся от целостной реальности, преломляем ее через наши доминанты. Мы можем воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому подготовлены наши доминанты, то есть наше поведение. Бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть, то есть если наша деятельность и поведение направлены сейчас в другие стороны.

Плясуны перестали бы глупо веселиться, если бы реально почувствовали, что вот сейчас, в этот самый момент умирают люди, а молодая родильница только что сдана в сортировочную камеру дома умалишенных. И самоубийца остановился бы, если бы реально почувствовал, что сейчас, в этот самый момент, совершается бесконечно интересная и неведомая еще для него жизнь; стаи угрей влекутся неведомым устремлением от берегов Европы через океан к Азорским островам ради великого труда — нереста, стаи чаек сейчас носятся над Амазонкою, а еще далее сейчас совершается еще более важная и бесконечно интересная, неведомая тайна — жизнь другого человека.

Аудитории моей вчера было неприятно и нудно вспоминать о том, что сейчас умирают и страдают люди, и это только потому, что это сбивало с наличных доминант в светлой комнате, посреди молодых и жизнерадостных товарищей. А перенос доминанты на то, что сейчас делается совсем в другой жизни, мог бы спасти человека от отчаяния и окончательного суда над собою!

Итак, человек видит реальность такую, каковы его доминанты, то есть главенствующие направления его деятельности. Человек видит в мире и в людях predetermined своею деятельностью, то есть, так или иначе, самого себя. И в этом может быть величайшее его наказание! Тут зачатки «аутизма»<sup>2</sup> типичных кабинетных ученых, самозамкнутых философов, самодовольных натур; тут же зачатки систематического бреда параноика с его уверенностью, что его кто-то преследует, им все заняты и что он ужасно велик.

...Так вот, герой Достоевского Господин Голядкин (он же в более позднем произведении — «человек из подполья») и является представителем аутистов, которые не могут освободиться от своего Двойника, куда бы они ни пошли, что бы ни увидели, с кем бы ни говорили.

Господин Голядкин не «урод», не «drôle»<sup>3</sup>. Он может быть даже очень грандиозен, но, во всяком случае, чрезвычайно распространен. Это солипсист, который мог даже дойти до принципиального философского самооправдания в германском идеализме Фихте, или который приходит в ужас над жизнью и самим собой в гениальных «Les solitudes»<sup>4</sup> Мопассана, где указывается, что люди проживают целую жизнь вместе, как муж и жена, до конца оставаясь совершенно отдельными, чуждыми, замкнутыми, загадочными друг для друга существами. Голядкин пошел только дальше, чем Фихте и Мопассан: он не только усматривает во всех своего Двойника, но и доходит до святой ненависти к своему Двойнику, то есть к своему самозамкнутому, самоутверждающемуся,

<sup>2</sup> Аутизм — отгораживание от действительности и погружение в мир внутренних переживаний.

<sup>3</sup> Смешной, забавный, плут (франц.).

<sup>4</sup> Имеется в виду рассказ Мопассана «La solitude» («Одиночество»).

самооправдывающемуся «я». А уж это начало выхода! Один шаг еще — и щипленок пробил бы свою скорлупу к новой правде!

Если было бы иллюзией мечтать о «бездоминантности», о попытке взглянуть на мир и друга совсем помимо себя (бездоминантность дана разве только в бессоннице или в безразличной любезности старика Ростова!), то остается вполне реальным говорить о том, что в порядке нарочитого труда следует культивировать и воспитывать доминанту и поведение «по Копернику» — поставив «центр тяготения» вне себя, на другом: это значит устроить и воспитывать свое поведение и деятельность так, чтобы быть готовым в каждый данный момент предпочесть новооткрывающиеся законы мира и самобытные черты и интересы другого «Л И Ц А» всяким своим интересам и теориям касательно них.

Освободиться от своего Двойника — вот необыкновенно трудная, но и необходимейшая задача человека!

В этом переломе внутри себя человек впервые открывает «лица» помимо себя и вносит в свою деятельность и понимание совершенно новую категорию лица, которое «никогда не может быть средством для меня, но всегда должно быть моею целью». С этого момента и сам человек, встав на путь возделывания этой доминанты, впервые приобретает то, что можно в нем назвать лицом.

Вот, если хотите, подлинная «диалектика»: только переключивши себя и свою деятельность на других, человек впервые находит самого себя как лицо!..

---

6 апреля 1927.

...Итак, как же возможно поставить в себе поведение жизни и поведение мысли, то есть свои доминанты, так, чтобы достигнуть хотя бы в принципе такого чудесного результата: быть чутким к реальности как она есть, независимо от моих интересов и доминант! Как будто тут что-то невозможное, носящее в себе даже внутреннее противоречие! Как можно перешагнуть через самого себя?

Однако что-то подобное уже делалось в истории человечества! Лишь бы было спасительное недовольство собою и затем искренность в своих стремлениях...

Новая натуралистическая наука, как она стала складываться в эпоху Леонардо да Винчи, Галилея и Коперника, начинала с того, что решила выйти из застывших в самодовольстве школьных теорий средневековья, с тем чтобы прислушаться к жизни и бытию независимо от интересов человека.

Дело шло или об иллюзии создать «бездоминантную науку», или об установке и культивировании новой трудной доминанты с решительной установкой центра внимания и тяготения на том, чем живет сама возлюбленная реальность независимо от человеческих мыслей о ней.

И вял я неба содроганье,  
И горний ангелов полет,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье...

Открылись уши, чтобы слышать, и только оттого, что решились вынести из себя центр главенствующего интереса и перестать вращать мир вокруг себя. За эту решимость натуралист был награжден тем, что, изучая самодовлеющие факты мира, он не бывало обогатил свою мысль!

Теперь предстоит сделать еще шаг и еще новый сдвиг. Нам надо из самодовольственных в своей логике теорий о человеке выйти к самому человеку во всей его живой конкретности и реальности, поставить доминанту на живое лицо, в каждом отдельном случае единственное, данное нам в жизни только раз, и никогда не повторяемое, никем не заменимое.

Наше время живет муками рождения этого нового метода. Он оплодотворяет нашу жизнь и мысль стократно более, чем его прототип — метод Коперника.



Покамест метод этот был и есть только в отрывках и пробах. Но все-таки то, что остается закрытым от премудрых и разумных, так часто бывает открытым для детей и для всякого простого, действительно любящего человека. Моя покойная тетья, которая меня воспитывала<sup>5</sup>, простая и смиренная старушка, своим примером наглядно дала мне видеть с детства, как обогащается и оплодотворяется жизнь, если душа открыта всякому человеческому лицу, которое встречается на пути. Постоянная забота о другом, можно сказать, была ее постоянной «установкой». Старая девушка, не имевшая так называемой «личной жизни» или «счастья» в обыденном, ужасно принижающем человека смысле слова, она была для людей подлинным «лицом» и желанным Собеседником, к которому стекались и далекие малознакомые люди за советом и утешением, потому что она ко всякому человеку относилась как к самодовлеющему «лицу», ожидающему и требующему для себя исключительного внимания. Она имела возможность относительно покойно и безбедно жить в своем углу с некоторым «комфортом». Фактически она обо всем этом забывала и тряслась по осенним проселочным дорогам в распутицу, оставляя все свое, и с опасностью для жизни в ледоход тронувшейся Оки под Нижним переправлялась на ту сторону, и все потому, что у ней не было жизни без тех, кого она любила, и без кого у ней, собственно, и не было жизни. А любила она, можно сказать, всех, кто ей попадался, требуя заботы о себе. То она воспитывает своих младших братьев в громадной семье моего деда, то берет к себе осиротелых детей от прежних крепостных, потом отдается целиком многолетнему уходу за параличной матерью, в то же время подбирает двух еврейских девочек, оставшихся после заезжей семьи, умершей от холеры, и отдается этим девочкам с настоящей страстью; потом, схоронив мать свою, берет меня, на этот раз с тем, чтобы умереть на моих руках. Под влиянием живого примера тети я с детства привыкал относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то «человеке вообще» и не замечающих, что у них на кухне ждет человеческого сочувствия собственная «прислуга», а рядом за стеной мучается совсем «конкретный человек» с поруганным лицом.

И под влиянием того, что я знал мою тетю, я совсем особенным образом воспринял «Душечку» Чехова. Помните, как она расцветала на глазах у всех, если было о ком мучиться и о ком заботиться, и увядала, если в заботах ее более не нуждались? Такая она простая и смиренная, с такой застенчивой полуусмешечкой говорит о ней Чехов! А она ведь, серьезно-то говоря, совсем не смешная, как показалось преобладающему множеству чеховских читателей! Она — человеческое лицо, которому открыты другие человеческие лица, — то есть то, что для «премудрых» закрыто и не имеет к себе ключа! А таких бриллиантиков в действительности много множество среди нас, среди «Бедных людей» Достоевского! Вообще, я думаю, простым и бедным людям открыто и ощутимо то, что замкнуто о семи печатях для чересчур мудрствующих людей! Что касается меня, я принадлежу, к несчастью моему, к этим последним! Иногда мне кажется, что сама ученая профессия порядочно искажает людей! В то время как натуралистическая наука сама по себе исполнена этим настроением широко открытых дверей к принятию возлюбленной реальности как она есть, «профессионалы науки», обыкновенно люди гордые, самолюбивые, завистливые, претенциозные, стало быть, по существу маленькие и индивидуалистически настроенные, так легко впадают все в тот же солипсизм бедного Господина Голядкина, носящегося со своим Двойником.

Я ужасно боюсь доктрин и теорий и так хотел бы обещать моих любимых друзей от увлечения ими, чтобы прекрасные души не замыкали слуха и сердца к конкретной жизни и конкретным людям, как они есть..

<sup>5</sup> С раннего детства, воспитанием А. А. Ухтомского занималась сестра его отца Анна Николаевна, которая была для Алексея Алексеевича самым близким человеком и оказала большое влияние на формирование его духовного облика.

...К счастью для науки, она переполнена интуициями, как ей ни хочется утверждать о себе, что она привилегированная сфера исключительно «рассуждающего разума». Вот ведь даже в алгебре обнаружены теперь вкравшиеся туда интуиции, не говоря уж о геометрии и о прочей натуралистической науке. И это все к счастью, ибо иначе замкнутый на себя «рассуждающий разум» давно бы задохся, а наука перестала бы жить. Поле науки оплодотворяется интуициями, властно вторгающимися в сети «чистой доктрины», и они оказываются мудрее и прозорливее «чистой доктрины», ибо они складываются самою реальною жизнью, а жизнь и история мудрее наших наилучших рассуждений о них...

16 апреля 1927.

...Вот, в эти дни лежа больным, я перечитываю «Капитанскую дочку» Пушкина. Как живо проносятся все впечатления, пережитые когда-то в детстве, при первом чтении этой удивительной вещи! Чем она удивительна? Тем, что так захватывает общечеловеческое, и так просто, так любовно ко всему человеческому! Понятен и по-своему мил и Пугач, понятны русские мужики и казаки, понятен и по-своему Швабрин, которого Марья Ивановна своим нравственным чутьем так не любит и в то же время каким-то уголком женской души вниманием его заинтересована! О других не говорю уж! Особенно прост, мил и понятен сам рассказчик Гринев, от имени которого говорит сам Пушкин, в самом деле всечеловек, обнимающий своей широкой душой всякого человека!

Сейчас я уловил мотив из «Капитанской дочки», несколько поясняющий то, что я писал Вам в этом письме. Та «доминанта на лицо вне и независимо от меня», о которой я говорил Вам, достаточно просто и хорошо дана не в ком другом, как в Пушкине и вот в его герое — Гриневе. И сам Пушкин и, наверное, его Гринев не раз изменяли своей доминанте. Вот Вл. Соловьев<sup>6</sup> думает, что Пушкин и умер тогда, когда ему нечем стало жить от измены своей доминанте! Но драгоценная доминанта, которой он обладал и которая выявлялась в нем в часы вдохновения, была в раскрытости всему человеческому и всякому человеку, кто бы он ни был.

И вот что характерно: Швабрин называет Гринева — всечеловека — «Дон-Кихотом!» Вот я почувствовал, что ведь и я, слава богу, Дон-Кихот... Пусть так! Но кто же сам Швабрин? Для меня несомненно, что это тот же Печорин, «герой нашего времени» (то есть времени Лермонтова), тот же Онегин, наконец тот же лермонтовский Демон! Это все один и тот же ряд! Герой российского барского байронизма! В то самое время, как в Германии дошли до идеализации солипсического человека с собственным Двойником в философии Фихте, Шеллинга и Гегеля, у нас в России наша барская культура идеализировала его в «герое нашего времени» и Демоне. Может быть, что и сейчас еще не понимают со всею значительностью пройденного тогда пути, не вполне понимают и значения Демона в душе Лермонтова. Может быть, сам не желая того, Лермонтов поставил тогда перед людьми критический вопрос о значении всей индивидуалистической культуры прославленной Европы, в которой люди сатанеют от одиночества в себе, от безвыходной замкнутости со своим Двойником, от неумения выйти из самодовольных и самоуспокоенных теорий, о мире и людях к самому миру и самим людям! Гордый, самоуверенный, самозамкнутый и в то же время мучающийся и жарящийся в своем собственном соку — вот тот, который издевается над Дон-Кихотами! Ну, пусть он издевается — я останусь Дон-Кихотом!..

21 апреля 1927.

Я могу сказать про себя, что избалован в жизни тем, что встречал удивительных людей по скрытым душевным силам и качествам. И совсем неверно будет сказать, что я видел их удивительными и прекрасными, а они не были такими.

<sup>6</sup> Соловьев В. С. (1853—1900) — русский философ-мистик, публицист и поэт.

Нет, они именно были удивительными и прекрасными, только все это было скрыто от глаз других людей и толпы, слишком занятой индивидуалистическими интересами, постройкой индивидуалистического счастья, абстрактными теориями, так что слишком занятые собой и далекими отвлеченностями люди не видели то, что перед самым носом: не видели истинной красоты, бескорыстия, самозабвенной любви, всеискупающих человеческих качеств, которые были у них перед носом, — а они томились обо всем этом и тщетно искали этого в книгах, театрах, далеких теориях и фантазиях. Я счастлив, что у меня был достаточный слух и чутье к людям, — так что они выявлялись для меня. И мое убеждение, что кругом нас, не всегда заметно для нас, живут очень многие удивительные люди, а в каждом из нас есть скрытый цветок, который готов распуститься как предвестник того прекрасного, всем нам общего, которое должно быть впереди, чтобы объединить нас всех, таких рассыпанных и жалких в своем слепом одиночестве, в своей индивидуалистической культуре, которой мы еще так гордимся.

Мы в своих буднях и в будничном воззрении на жизнь и людей, которые нам кажутся «привычным и все тем же», и не подозреваем, как праздничен и бесконечно ценен и содержателен для нас человек...

6 мая 1927.

...Знаете, я с громадным страхом подхожу к музыке, особенно такой, как Бетховен. Ведь тут все самое дорогое для человека и человечества. И безнаказанно приближаться к этому нельзя — это или спасает, если внутренний человек горит, или убивает, если человек слушает уже только из «своего удовольствия», то есть не сдвигаясь более со своего спокойного самоутверждения.

Искусство, ставшее только делом «удовольствия и отдыха», уже вредно, — оно свято и бесконечно только до тех пор, пока судит, жжет, заставляет гореть... Поганый «закон Вебера — Фехнера»<sup>7</sup> делает то, что и Бетховен более не будит человека в спящем животном, — животное, в котором спит и едва всхрапывает человек, спокойно говорит о своих дрянных делишках и после Бетховена! А ведь это значит, что уж ничто святое разбудить его не способно!

...Пусть же не дает человек себе засыпать, пусть не подходит дважды к святому, — пусть Бетховен не заглушается привычкой; пусть он не будит для меня праздным удовольствием...

Бетховен творил не для человеческого «удовольствия», а потому, что страдал за человечество и будил человека бесконечными звуками, когда сам оглох...

15—16 мая 1927.

...И вдруг я опять почувствовал себя таким старым, ослабевшим, далеким от этой жизни, странным для нее. Впрочем, «странным» для окружающей жизни я был всегда, всегда. Оттого-то и не мог в нее влиться. Всех любил, но ото всех был отдельно: любил людей, но не любил их склада жизни, ревниво и упорно не хотел жить так, как у них «принято».

Никакой самый чуждый мне уклад жизни не мешал мне видеть и любить отдельных людей независимо от обстановки их жизни. Но обстановку их жизни — то, что у них «прилично и принято», — я очень не любил, видел в ней цепи и кандалы для самих этих людей и всеми силами уходил от этого. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею! Ушел бы и сейчас, если бы повторилось прежде. И на моих глазах разрушалось то, что мне казалось чуждым в людской жизни, что меня отделяло от них!..

...Я всю жизнь опрометью бежал от «обстановки» и «комфорта», видел в них своего врага, отвратительного идола вроде тех, что стоят в этнографическом музее Академии наук...

<sup>7</sup> По закону Вебера—Фехнера между интенсивностью внешнего раздражителя и силой ощущения имеется определенное количественное соотношение.

...Несмотря ни на что — радость в Красоте, ибо, еще раз, жизнь есть требование от бытия смысла и красоты; только там, где это требование продолжается, продолжается жизнь, и где это требование прекращается, прекращается жизнь.

24 мая 1927.

Рано утром я проснулся с готовой формулой, которая, мне кажется, выражает самым кратким способом основную мелодию, которая мною владела и владеет в жизни: мне представляется тревожным, опасным и вредным для человека то состояние, когда сбываются его мысли. Вот эта мелодия, воспитавшаяся во мне, может быть, с детства и владеющая мною откуда-то из глубины всего существа, объясняет многое, многое в моей жизни и поведении. Вот оттого я так готов уступить то, что для меня до болезни дорого... Оттого я никогда не настаивал на своих «правах» и, в сущности, ничего не считаю своим «правом». Оттого во мне всегда было некоторое презрение к тому, что принято считать хорошим, приличным, требующимся, важным...

Вот теперь я задаю себе вопрос: что же это во мне? Недоверие к реальности или недоверие к мыслям о реальности? Может быть, есть и первое; но преобладает несомненно второе! Реальность, милая, болезненная, любимая, режущая, радующая как никто, — и вместе убивающая, бесконечно дорогая и в то же время страшная, — в сущности, всегда такая, какую мы ее себе заслужили, то есть какова наша деятельность в ней, наше участие в ней. А вот мысли о реальности — это то, что всегда нечто такое, что вселяло в меня недоверие, тем большее недоверие, чем люди более ими довольны и гордятся.

«Человек всегда недоволен своим положением и всегда очень доволен своим умом и пониманием», — писал Л. Толстой. Я всю жизнь стремился быть довольным своим положением и всегда был недоволен умом, теоретическими построениями — тем, что называется у людей пониманием...

15 марта 1928.

..Ничто другое, как жизнь для других, выправляет, уясняет и делает простою и осмысленною собственную личную жизнь. Все остальное — подпорки для этого главного, и все теряет смысл, если нет главного...

...Любовь сама по себе есть величайшее счастье из всех доступных человеку, но сама по себе она не наслаждение, не удовольствие, не успокоение, а величайшее из обязательств человека, мобилизующее все его мировые задачи как существа посреди мира. Сама о себе любовь говорит: «Приближающийся ко мне приближается к огню; но тот, кто уходит от меня, не достоин жизни». Перифраз этого таков: я — огонь; приближающийся ко мне должен помнить, что может быть опален; но тот, кто из страха быть опаленным отделяется от меня, утрачивает источник жизни. Это древне-александрийский текст, когда-то меня особенно поразивший лапидарным выражением величайшей правды о том, чем мы живем и чем жив человек. Истинная радость, и счастье, и смысл бытия для человека только в любви; но она страшна, ибо страшно обязывает, как никакая другая из сил мира, и из трусости пред ее обязательствами, велящими умереть за любимых, люди придумывают себе личные мотивы, чтоб отойти на покой, а любовь заменяют суррогатами, по возможности не обязывающими ни к чему. Придумываются чудодейственные «программы» с расчетом на фокус, чтобы как-нибудь само собою далось человечеству то, что по существу достижимо лишь силами любви!..

...Тут более чем где-либо ясно и незыблемо, что физиологическое и материальное обуславливает собою и определяет то, что мы называем духовным. И тут в особенности ясно также, что половая любовь не может быть поставлена в один план с такими побуждениями, как голод, или искание удовольствия, или искание

успокоения. Это старое, весьма гнусное заблуждение, норовящее уронить святыню в грязь, а дело сексуальной любви превратить в гигиеническое отхожее место. Этим переполнена наша городская культура Европы, и это убедительнее, чем все прочее, говорит о том, что культура эта на песке и обречена! Если будущий социализм хочет быть здоров и прочен, он должен вытравить все остатки гнилого «либерализма» из сексуальной жизни. Для этого путь один: поставить человеческое лицо на подобающее ему место ничем не заменимой ценности и исключить предмет любви...

...Если у меня в жизни было и есть что-то хорошее для встречаемых людей, то это хорошее, по-видимому, в том, что я глубоко и до конца верю в великий смысл жизни и в людей; и в том, что я соблюл в себе благоговение к человеческому лицу, которое выше всего и неповторимо, а обязательства перед ним вечны. Все остальное для него, то есть чтобы жив был возлюбленный человек, — чтобы поднимался, расцветал, бодрился и нес радость в жизнь других и в бытие.

...Я считаю пессимизм тяжелой и очень противной болезнью. Но вместе с тем я с самого молодого возраста знаю ту муку, на которую обречена в мире подлинная любовь и которую я пережил, лишаясь покойной тети. Для малодушия лучше об этом не знать. Но тот, кто хочет знать жизнь в полноте, чтобы быть надежным другом для своих друзей, должен знать и это. И после этого не может быть более слепого оптимизма, которым норовит жить танцующая и гуляющая публика.

...Слепой оптимизм без страха и упрека есть такой же самообман легкомыслия, как пессимизм есть гнилостный самообман малодушия; тогда как здоровая жизнь человека — оптимизм зрячий, учитывающий все, что известно страшного в жизни и в людях, и при всем том сохраняющий веру в них, несмотря ни на что!..

...Но далеко не все то, о чем мечтает человек как о самом необходимом и прекрасном, приносит в самом деле добро людям.

Плох и негоден человек, ничего не желающий и не умеющий желать. Но когда человек желает, ему всегда кажется, что он желает добра. Между тем это лишь иллюзия, будто стоит пожелать и тем самым это уже и желание добра! Объективное добро достигается, как золото, промывкою и проверкою человеческих желаний, причем на многие пуды руды, которую выкапывает «старатель», очищается лишь золотник ценного вещества...

---

15 августа 1928.

...Я вот часто задумываюсь над тем, как могла возникнуть у людей эта довольно странная профессия — «писательство». Не странно ли, в самом деле, что вместо прямых и практически понятных дел человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей, писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать! И видимо, для него это настоящая физиологическая потребность, ибо он прямо болен перед тем, как сесть за свое писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает! В чем дело? Я давно думаю, что писательство возникло в человечестве «с горя», за неудовлетворенной потребностью иметь перед собою собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далекому собеседнику и другу, неизвестному, алгебраическому иксу, на авось, что там где-то вдали найдутся души, которые зарезонируют на твои запросы, мысли и выводы! В самом деле: кому писал, скажем, Ж.-Ж. Руссо свою «Исповедь»? Или Паскаль свои «Мысли о религии»? Или Платон свои «Диалоги»? Какому-то безличному, далекому, неизвестному адресату — очевидно, за ненахождением около себя лично-близкого, известного до конца Собеседника, который все бы выслушал и помог бы разобраться в тревогах и недугах. Особенно характерны в этом отношении, пожалуй, платоновские «Диалоги», где автор все время с кем-то спорит и с помощью мысленного Собеседника пере-

ворачивает и освещает с различных сторон свою тему. Совершенно явно дело идет о мысленном собеседовании, на этот раз уже несколько определенном: это спорщик, оспариватель высказанного тезиса. Тут у «писательства» в первый раз во всемирной литературе мелькает мысль, что каждому положению может быть противопоставлена совершенно иная, даже противоположная точка зрения. И это начало «диалектики», то есть мысленного собеседования с учетом по возможности всех логических возражений. И можно сказать, это и было началом науки. Так из «писательства» в свое время возникла наука! Из полубезотчетного записывания мыслей — их планомерное изложение с учетом их последовательности и закономерности.

Древний египтянин и вавилонянин начали неуверенное записывание своих неуверенных мыслей своими странными знаками, на глиняной поверхности, для неизвестного адресата. Его корреспонденции мы и теперь можем рассматривать, например, в ленинградском Эрмитаже. Грек из сопоставления таких корреспонденций попробовал сделать планомерный спор, диалектическую науку. Из горя и неудовлетворенности от венахождения живого собеседника возникло и писательство и наука!

Наука, как ее стали потом понимать профессионалы (что может быть скучнее профессионалов?), это уже не только учет возможных противоречий, как было в платоновских «Диалогах», но попытка выявить, что — после всех возражений — может быть признано за однозначно-определенную истину. Однозначно-определенная истина — это то, что мыслится без противоречий. Сравнительно легко было признать без противоречий, что существование собаки, кошки, львы, сосны, пальмы и проч. Возникла аристотелевская «естественная наука», соответствующая нашим «систематикам»<sup>8</sup> в ботанике и зоологии. Но уже бесконечно труднее было сговориться о силах и законах, владеющих событиями. Возникли попытки построить «геометрию без противоречий», «физику без противоречий», наконец, «метафизику без противоречий». Схоласты стали рисовать себе науку как совершенно безличную, однозначную, категорическую в своих утверждениях, чудесную и исключительную систему мыслей, которая настолько в е р х ч е л о в е ч н а, что уже и не нуждается более в собеседнике и не заинтересована в том, слушает ли ее кто-нибудь! Это пришел пресловутый рационализм! Рационализм обожествил науку, сделал из нее фантом сверхчеловеческого знания. Профессиональная толпа профессоров, доцентов, академиков, адъюнктов и т. п. «жрецов науки» и посейчас живут этим фантомом, и тем более, чем более они «учены» и потеряли способность самостоятельно мыслить! Засушенные, старые понятия они предпочитают живой, подвижной мысли именно потому, что там, где вместо живой и подвижной мысли взяты раз навсегда засушенные препараты мыслей, их легче расположить раз навсегда в определенные ящички. Вместо живого поля — гербарий! Оно спокойней и привычней для рационалиста и рационализма. «De l'homme à la Science»<sup>9</sup> — характерно озаглавил свою книгу по теории естествознания один из правоверных представителей современного рационализма Ле-Дантек<sup>10</sup>. «La Science» — это, видите ли, уже не «l'homme», это что-то неприкосновенное для человека!<sup>11</sup> Для этих самодовольных людей, которыми переполнены наши кафедры, было чрезвычайным скандалом, когда оказалось, что систем геометрии без противоречия может быть много множество, кроме общепринятой евклидовой; и систем физики может быть множество, кроме ньютоновской. А это значило, что «однажды навсегда построенная система истин» есть не более как претенциозное суеверие, а рационализм снова должен уступить свое так хорошо насиженное место диалектике. Великое приобретение нового мышления в

<sup>8</sup> Систематика — биологическая наука, имеющая своей задачей описание всех ныне существующих и вымерших видов животных и растений.

<sup>9</sup> От человека к науке (франц.).

<sup>10</sup> Ле-Дантек Ф. (1869—1917) — французский философ.

<sup>11</sup> Вот отчего покойный П. Ф. Лесгафт мог наблюдать, что через четыре года «выделки» слушатели оказывались значительно поглупевшими! Это оттого, что они заражались рационалистическим суеверием от своих учителей! (Прим. А. А. Ухтомского).

том понимании, что «систем знания» может быть многое множество, развиваются они, как и все на земле, исторически и в истории имеют свое условное оправдание, но логически равноправны. По-прежнему за ними стоит живой человек со своими реальными горями и жаждой собеседника.

Впрочем, были и есть счастливые люди, у которых всегда были и есть собеседники и, следовательно, нет ни малейшего побуждения к писательству! Это, во-первых, очень простые люди вроде наших деревенских стариков, которые рады-радешеньки всякому встречному человеку, умея удовлетвориться им как своим искреннейшим собеседником. И, во-вторых, это гениальнейшие из людей, которые вспоминаются человечеством как почти недостижимые исключения: это уже не искатели собеседника, а, можно сказать, вечные собеседники для всех, кто потом о них слышал и узнавал. Таков Сократ из греков... О Сократе мы ровно ничего не знали бы, если бы за ним не записывали слов и мыслей его собеседники — Платон и Ксенофонт...

Отчего же они не писали, эти всемирно гениальные люди?

Мне кажется, что оттого, что они никогда и не имели неутоленной жажды в собеседнике, ибо имели всегда наискреннейшего собеседника в ближайшем встречном человеке! Вот в чем секрет! И вот отчего люди толпами шли к ним! Уметь видеть и находить в каждом ближайшем встречном человеке своего искомого собеседника! Тогда, конечно, обращаться к мысленному дальнему собеседнику и не придется! Зачем к дальнему, когда все тебе нужно перед тобой? И в то же время как писатели всех времен, малые и великие, обращались к «дальнему», пронося подчас свои гордые носы мимо неоцененно дорогого близ себя, эти великие мужи умели находить и распознавать искреннейшего собеседника в «ближнем». Вот секрет! «Дальние» узнавали о них через «ближних».

И притом вот что замечательно. Всякая сила развивает свое действие обратно пропорционально квадратам расстояния. То, что дальний испытывает на далеком расстоянии, он, естественно, рассчитывает испытывать сугубо с приближением к источнику. А ведь сплошь и рядом бывает, что писатель, ученый, моралист и поэт, разливающий соловьиной сладостью для дальнего, оказывается несноснейшим субъектом для своих ближайших домашних! Чем ближе к человеку, тем хуже! Тут какая-то радикальная ложь, когда начинают серьезно уверять, будто забывают ближнего для дальнего! Это сбрехнул когда-то Ницше в минуту недуга, а дураки повторяют как некую норму! Хороша «норма», когда перед нами очевидный обман для дальнего, который по мере приближения к показавшемуся идеалу находит всего лишь претенциозную скотину!

Вот оттого я более всего хотел бы обладать этою способностью: видеть в ближайшем встречном человеке своего основного искомого, главного и лежащего на моей ответственности собеседника. Всю жизнь хочу жить для ближнего, а на деле умею кое-как жить только для дальнего, не находя сил жить до конца для ближнего!

Теперь я хочу изложить Вам один из наиболее занимающих меня вопросов в связи с доминантами. Вы, может быть, помните мой эскиз об «интегральных образах»? Так вот, — вопрос об «интегральном образе» мира, в каком мир должен представляться для людей разного склада, например для писателя, беседующего через головы ближних с далекими мысленными Собеседниками, или вот для этих людей, видящих реального и окончательного Собеседника в ближайшем встречном.

Несколько лет тому назад известный германский теоретик познания профессор Алоиз Риль<sup>12</sup> писал, что мышление ученого ничем не отличается от мышления мужика. Это совершенно верно! Абстрактный аппарат мысли один и тот же. Разница между людьми и их мировосприятиями не в мыслях, а где-то гораздо глубже! Дело в том, что восприятие не только мира, но даже и ближайшего все-

<sup>12</sup> Риль Алоиз (1844—1924) — немецкий философ.

дневного опыта чрезвычайно разнообразно и изменчиво, притом не только от человека к человеку, но и в одном и том же человеке в разные моменты жизни.

Вот еще пример из классической литературы. В «Поэзии и правде» Гёте рассказывает о своей юношеской поездке в Италию и о впечатлении от созерцания картин Микеланджело. Вначале они поразили его чуждостью восприятия мира. Было тяжело и беспокойно смотреть на них. Но когда после длительного и все более углубленного изучения их молодой Гёте вышел «на свежий воздух», он почувствовал, что и улица, и люди, и деревья, и мир стали видиться совсем по-новому. Микеланджело сделал в Гёте какую-то глубокую перестановку, заразил его своим мировосприятием. Из этих примеров уже намечается, что то, что для людей представляется «действительным», «основным», «постоянным» и «характерным» в вещах, определяется в чрезвычайной степени складом восприятия реальности в данный момент. Этот «склад восприятия», могущий так внезапно изменяться, очевидно, обусловлен физиологическими. Человек только может констатировать, что с известного момента для него «все в мире изменилось!», «весь опыт другой!». Такое внезапное изменение восприятия наблюдается у параноиков; его отмечают у Ницше в определенный момент его болезни (перед написанием «Так говорил Заратустра»), его почувствовал в себе Гёте под влиянием Микеланджело. В действительности оно гораздо чаще и обыденнее, чем мы думаем, — мы только мало обращаем на него внимания! В сущности, после каждого более или менее крутого перелома жизни склад дальнейшего восприятия и опыта уже не тот, что был досих пор!

Склад восприятия действительности, с одной стороны, довольно легко передается по преданию от других, поддерживается привычкой и традицией данной общественной группы; с другой — он может быть весьма различен у ближайших людей одной и той же специальности: оттого у разных ученых и школ одни и те же вещи видятся с разных и неожиданных друг для друга сторон, — потому ставятся совсем различные опыты, все освещается новым и неожиданным светом. И оттого же посреди одних и тех же вещей и людей Федор Павлович Карамзov видит, понимает и соответственно действует совсем не так, как видят, понимают и действуют Иван, Алеша, Митя или Зосима. Как же физиологически создается, чем воспитывается этот столь глубоко различный склад восприятия, как можно было бы им овладеть?

Моя исходная, первая и последняя задача — в этом. В частности, в чем заключается и как воспитывается склад восприятия Зосимы, этого одинаково открытого и готового Собеседника и для Федора Карамазова, и для Алеши, и для деревенских баб, и для Ивана?

Постепенно я узнал, что он создается большим, чисто физическим насилием над собой, готовностью ломать себя без жалости; затем преданием от других, прежде всего от простого народа; наконец, детским отношением к миру как к близкому, интимно-любимому, уважаемому собеседнику и другу. Для взрослого этот склад восприятия, если он не заложен с детства, очень труден, требует постоянного напряжения, удерживается лишь большим трудом, самодисциплиной, осторожным охранением совести. Но он необыкновенно ценен общественно: люди льнут к человеку, у которого он есть, по-видимому, оттого, что воспитанный в этом восприятии человек оказывается необычайно чутким и отзывчивым к жизни других лиц, легко переставливается на другие мироощущения и вытекающие из них горя других лиц. Такой человек обыкновенно наименее замкнут в самом себе, у него наименьший упор на себя, наименьшая склонность настаивать на своем и своей непогрешимости. Он привык постоянно и глубоко критиковать себя, — оттого он смирен внутри самого себя и не критикует людей, пока они сами не просят его помочь им в их беде! Если он критикует других, то только как врач — стараясь распутать корни болезни. Словом, это доктор Гааз<sup>13</sup>, вечно преданный, как друзьям, арестантам и каторжанам из Мертвого Дома.

<sup>13</sup> Гааз Ф. П. (1780—1853) — русский тюремный врач.



У Федора Павловича, у Мити, у Ивана — у каждого своя отдельность и замкнутость, что ни человек, то свой особый, как бы самодовлеющий мир, своя претензия, оттого и свое особое несчастье, свой особый грех, нарушающий способность жить с людьми! При этом поведение каждого таково, каково мировосприятие, а мировосприятие таково, какова воспитанная склонность поведения. Тут для каждого замкнутый круг, из которого вырваться чрезвычайно трудно, а без посторонней помощи обыкновенно и нельзя! Лишь потрясение и терпеливая помощь другого может вырвать человека из этой роковой соотносительности субъекта и объекта, то есть из того, что мир для человека таков, каким он его заслужил, а человек таков, каков его мир! Надо ведь ни более и ни менее как переменить в человеке его физиологическое мировосприятие, физиологическую, закрепленную привычку непрерывности его жизни! А это очень больно и очень трудно! Ибо ведь человеку в его инерции обыкновенно все лишь подтверждает его излюбленное миропонимание, действует он так, как мироощущает, а мироощущает так, как действует. «*Chaque vilain trouve sa vilaine*»<sup>14</sup>. Каквы доминанты человека, таков и его интегральный образ мира, а каков интегральный образ мира, таково поведение, таковы счастье и несчастье, таково и лицо его для других людей.

В самое последнее время я познакомился с неожиданным единомышленником из «писателей», именно профессиональных писателей, то есть таких, которые хотят заглушить тоску по живому собеседнику процессом писания для дальнего. Это М. Пришвин. В некоторых местах он поражает меня совпадением с моими самыми затаенными мыслями. «Я очень верю теперь, — пишет он, — что мои робкие шаги в журналистике, воспринятые цельным человеком с большим талантом и волей, могут превратиться в великое дело исследования жизни, недоступной самым подвижным романистам и новеллистам. Мне представляется на этом пути возможность доработаться до такой формы, которая останавливает мгновение пролетающей жизни и превращает его в маленькую поэму...» («От земли и городов». ГИЗ. 1928, стр. 7). «Путь исследования журналиста в моем опыте сопровождается все время, с одной стороны, расширением кругозора до того, что в дело пускается все пережитое, прочитанное и продуманное, а с другой — поле сужается исключительным вниманием, со страстью сосредоточенным на каком-нибудь незначительном явлении. И от этого почему-то чужая жизнь представляется почти как своя. И вот как только это достигнуто, что свое личное как бы растворяется в чужом, то можно с уверенностью приступить к писанию, — написанное будет для всех интересно, совершенно независимо от темы, Шекспир это или башмаки...» (ibid., стр. 320 и след.). «Оно правда, — очень трудно выслушивать чужую жизнь, чтобы она проходила так близко около тебя, как будто была своя собственная. Для этого вовсе не обязательно любить человека, а надо только обладать тем чувством общности, которое так часто прорывается у русского человека в вагонных беседах и непременно должно быть в таких странах устного предания, какой была до сих пор Россия» (ibid., стр. 290). Вот и Зосиме, и доктору Гаазу, и всем этим опытным натуралистам *par excellence*<sup>15</sup> свойственна эта методика проникновения в ближайшее, предстоящее пред ними как в свое родственное, о которой говорит М. Пришвин, но только в специально воспитанной и развитой форме, притом не для «писательства», а для самого приближающегося к ним человека. Это и есть «доминанта на лицо другого», о которой я Вам читал 2 апреля прошлого года! Надо очень рекомендовать опыты Пришвина на этом пути. По форме писательства он несомненно классик из плеяды Тургенева и Аксакова, но, что для меня гораздо важнее, он в писательстве — открыватель нового (а для простых людей — старого как мир!) метода, заключающегося одновременно в растворении всего своего и в сосредоточении всего своего на другом (на встречной реаль-

<sup>14</sup> Каждый гриб находит свою поганку (франц.).

<sup>15</sup> В особенности (франц.).

ности, встречном человеке). Для Зосимы, для Гааза это метод исходный и основной с самого начала!

И если уже для писателя этот метод оказывается так труден, как видно из работы Пришвина, то для человека, ушедшего в этот метод целиком, он является, конечно, делом постоянного напряжения, труда целой жизни изо дня в день!

Усредненный и спокойный «интеллигент», ценящий в глубине души более всего Комфорт довольства собою, вряд ли решится встать на этот путь. Он всегда будет склонен замкнуться ради своего покоя на утешительной, портативной и экономной теории.

Обыденное наше устремление по преимуществу к покою и самоудовлетворению имеет по-своему то «положительное», что становится возможно до последнего момента не замечать того ужаса, в котором в действительности живешь; так что опять и опять успокаиваешь себя, что «ножья ломать не из-за чего» и «мир, говоря вообще, все-таки благополучен!..». Одним словом, получается та блаженная слепота, которая как будто помогает жить, то есть жить беззаботно, катаясь по Парижам и предаваясь тонкостям «Paris plaisir'a»<sup>16</sup>, не задаваясь по возможности ощущением, что при этих занятиях незаметно и мимоходом сбиваешь с ног живых, милых, прекрасных людей. Недаром люди так настойчивы в этом устремлении к «покою» и «самоутверждению», недаром эта тенденция просочилась и в науку, например в школе покойного Ферворна<sup>17</sup>, которая строит физиологическую теорию, исходя из предрассудка а priori, будто всякая ткань и всякий организм «в норме» устремлен только к «компенсации раздражителей» и к возвращению в покой безразличия! Слепая философия слепых, не успевших протрять глаза ценят! Она была бы смешна, если бы не была горька по последствиям...

...Тут есть самые дорогие мои мысли, которые я вносил за всю жизнь и, может быть, никогда более не напишу. И мне кажется, что продолжается та передача себя, которая была когда-то в аудитории...

22 августа 1929.

...при всей абстрактности, по своей природе мысль есть ведь тоже живое переживание, и пока она не зафиксирована и не засушена в препарат, она наполнена и «эмоциональными» и «волевыми» элементами — в ней далеко не одна абстрактная логика. И вот мы в значительной мере умерщвляем свою мысль, лишаем ее жизненности и естественности, делаем искусственной, когда препарируем ее на бумаге. Задача в том, чтобы суметь уловить свою мысль в ее естественном течении и положить ее на бумагу, не смяв, не лишив запаха. Некоторые глубокие немецкие математики основательно упрекали французских авторов, что они лишают в своем изложении математическую мысль ее натуральности — того первоначального хода, каким она развивалась и развивается. И это, создавая, быть может, впечатление особого «изящества» французского изложения математики, в то же время ужасно затрудняет ход науки, ее пропаганду, передачу ее динамики другим.

Разница между искусственно-абстрактным изложением отпрепарированной мысли и передачей мысли в ее натуральном движении — это та же разница, что есть между формальной логикой и так называемой диалектической логикой...

10 июля 1935.

...На этих днях мне минуло 60 лет. Вот уже на один год пережил я своего отца.

По этому поводу скажу нечто о времени и его значении как фактора событий, как маленьких, так и больших, в организме и в жизни человека в целом.

...Много проблем философского содержания возникло оттого только, что

<sup>16</sup> Удовольствия Парижа (франц.).

<sup>17</sup> Ферворн Макс (1869—1921) — крупный немецкий физиолог.

люди пытались характеризовать вещи и самих себя в постоянных чертах, независимо от времени.

Вот, например, проблема: может ли человек все знать и понимать или для этого есть некоторые обязательные границы? Как известно, тут есть, с одной стороны, «агностики», столь уверенные в своей правоте, что готовы драться со своими противниками. С другой стороны, есть уверенные в принципиальной безграничности своего понимания и знаний «ротные фельдшера» и «волостные писари», которые служили предметом довольно скорбных размышлений для умных людей от Сократа до Салтыкова-Щедрина.

Фактически наблюдаем и знаем мы из вседневного опыта вот что: «Лишь под старость начинает быть понятным для нас наше детское». Лишь после того, как долго поживешь на свете, начинаешь несколько понимать свои собственные мотивы и поступки прошлого. Так вот, что тут особенно замечательно: принципиально все можем знать и понимание может расти безгранично; но как раз в тот момент, когда нужно вполне срочно внести в жизнь свое очередное разумное действие, тут-то и не оказывается достаточного проникновения и восприимчивости для того, чтобы адекватно проникнуть в ответственное значение момента и в последствия того, что сейчас совершается. Начинаем понимать более или менее серьезно лишь *post factum* то, что прошло, и в то самое время, когда самоудовлетворяемся в мысли, что прошлое-то наконец поняли, незаметно для себя переживаем новое настоящее, которое и сейчас, как издавна, переживается нами в своей наибольшей части бессознательно, с тем чтобы по своему смыслу открыться лишь в будущем! Постоянно учась понимать заново свое прошлое, человек постоянно вновь и вновь входит в новое настоящее мгновение, роковые последствия которого откроются опять-таки лишь в более или менее отдаленном будущем. Вот это замечательное и постоянное запоздание понимания относительно момента, когда оно нужно в особенности, и есть один из очень типичных ежедневных фактов нашего аппарата знания. Время, как вполне самостоятельный фактор, сказывается здесь в особенности. А вместе с тем открывается вся острота того, как и в какую сторону должно воспитывать свое внимание и чуткость наряду со знаниями отвлеченно-научного характера. Только постоянным самовоспитанием и упражнением внимания и внимательности к людям и к среде вообще можно достигнуть той высокой подвижности и чуткости рецепции, которая необходима для бдительного понимания каждого текущего момента, каждого вновь встречаемого человека и момента жизни. Очень мало, вообще говоря, людей, достигших такого понимания и вытекающего из такого живого понимания момента — также и того, что из него и затем должно быть впереди. Действительное понимание конкретной действительности есть всегда и предвидение того, что из этой конкретной действительности должно быть в будущем. Вот такое конкретное предвидение столь же редкий дар и достижение, как и подлинное, проникающее понимание текущего момента...

27 октября 1940.

...Я очень ослаб под влиянием сутолоки и множества неприятностей, наваливающих на меня в последнее время. Начинаю прихварывать типичным образом для моей семьи: начинает сдавать сердце. Преподавание в университете продолжает поддерживать меня морально, и я черпаю в нем силы для продолжения работы. Без него было бы плохо...



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Бочаров.** Война неотвязная.— **А. Турнов.** Родник поэзии.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**А. Сергиев.** Социалистическое общество и научно-техническая революция.—  
**Марк Поповский.** Пессимизм или оптимизм?

## Литература и искусство

### ВОЙНА НЕОТВЯЗНАЯ

**Константин Симонов.** Двадцать дней без войны (Из записок Лопатина). Повесть.  
«Знамя», 1972, №№ 9, 10.

В одном из выступлений вскоре после войны Борис Горбатов заметил: «Некоторые товарищи говорят, что будто бы в момент исторических потрясений люди живут только этим. Еще Толстой в «Войне и мире» это высмеял. Он говорил, что потом только историкам кажется, что народ жил только этим. На самом деле это было совершенно не так — народ и кушал, и свои дела устраивал, и т. д., и т. д. ... Желание все подвести под какую-то линейку, как-то обеднить человека мне кажется вредным, так же как и стремление опорочить всякое проявление элементарно человеческого в человеке»<sup>1</sup>.

Эти слова выясняют многое в нынешнем творчестве К. Симонова. Рядом с главным, существенным в жизни сражающегося народа, что запечатлено в трилогии «Живые и мертвые», прорисовываются все новые подробности жизни тех лет в повестях симоновского цикла «Из записок Лопатина». Существовая как самостоятельные произведения, они тесно связаны с трилогией. Сам писатель как-то говорил, что из шестиде-

сяти печатных листов первоначального рыхлого варианта романа «Живые и мертвые» он решительно отсек несколько глав, на материале которых были затем написаны две повести, открывшие этот цикл, — «Пантелеев» и «Еще один день».

Под повестью «Двадцать дней без войны» стоит дата: 1971—1972. И все-таки она тоже тесно связана с уже завершившейся трилогией. Легко можно найти, скажем, общие детали в этой повести и в «ташкентских» главах романа «Солдатами не рождаются»: главы романа и повесть выросли из личных наблюдений, отложившихся за те считанные дни, что были отпущены редакцией Симонову для доработки сценария зимой 1942 года.

Но есть и гораздо более существенные нити — идейные.

Разговор в семье тбилисских друзей возбуждает у Лопатина «не отменное, а только оттесненное войной, грустное в своей силе, горькое в своих предчувствиях, но все-таки нормальное, именно нормальное человеческое чувство ценности человеческой жизни. И даже не ценности, а бесценности и невозстановимости никак и ничем». Это, в сущности, та самая мысль, что

<sup>1</sup> «Советская литература и вопросы мастерства». Сборник статей. Вып. 1. М. 1957, стр. 385.

продиктовала внутреннюю полемику романа «Солдатами не рождаются», — мысль о ценности человека на войне: напомним резкую реплику Серпилина против наименования, пусть даже условного, солдат по фронтовому коду «спичками», его настойчивое желание взять злополучные Грачи меньшей кровью, острый разговор в кабинете Верховного Главнокомандующего...

Ника в новой повести спрашивает Лопатина (это было в разгар сталинградских боев): «Сейчас мы уже лучше стали воевать, чем немцы, или нет?» И он отвечает так, «словно обязан был отчитаться перед ней в том, над чем сам много и тяжело думал после последней своей поездки на Западный фронт...». Эта дума, как мы помним, составляла и внутренний пафос романа «Последнее лето», заключающийся в развитии идеи: мы теперь стали воевать несравненно лучше! Именно поэтому ведь К. Симонову и не понадобилось описывать само «сюжетное» завершение войны — взятие Берлина: этот внутренний пафос полностью выявил себя в описании операции «Багратион».

Что же заставило К. Симонова написать сегодня эту повесть о поездке Лопатина из Москвы на Закавказский фронт, снабженную «завлекательной» любовной интригой: в Москве Лопатин оформляет развод со своей бывшей женой, а в Ташкенте завязывается счастливая любовь к женщине моложе его на семнадцать лет — увы, так похожая на любовь Серпилина к доктору Барановой в «Последнем лете» со всем комплексом недоверчиво-радостных терзаний, свойственных стеснительному чувству человека, которому «под пятьдесят», к женщине намного моложе его. Само построение повести словно преследует двойную цель: заставить читателя всерьез задуматься над тем, что увидел Лопатин во время поездки, и в то же время удержать его надежными средствами беллетристики.

Чтобы ответить, почему автор решил написать именно эту повесть, следует, очевидно, сначала задаться более широким вопросом: отчего возник и так последовательно утверждается в прозе К. Симонова этот своеобразный жанр — то ли документальной повести с прозрачно зашифрованными именами, то ли беллетризованного дневника со свойственными этому жанру легкой иронией, мимолетностью наблюдений и встреч, раскованностью повествования, позволяющей легко обрывать сюжетные нити,

и, наконец, со свободой движения внутри самого жанра записок, дающей художнику право избирать разные интонации, разные композиционные ходы, разный характер повествования?

Может быть, К. Симонова переполняет вся масса впечатлений, вся громада войны, все обилие дневниковых записей? И не от неудовлетворенности уже сказанным в трилогии, а от переизбытка впечатлений обращается он к жанру записок, не замечая частые повторения деталей, ситуаций, переживаний, как бы проламываясь сквозь них?

Попробуем найти этому свой ответ.

Писателю по свойствам его дарования сложно и трудно дается эпический сюжет, несмотря на все субъективное пристрастие к нему. Для подтверждения этого достаточно почитать в статье «Перед новой работой» историю написания романа «Живые и мертвые», в котором из первоначальных шестидесяти печатных листов осталось в конце концов двадцать семь... Все повести цикла о Лопатине представляют собой своеобразные «сюжетно незавершенные» произведения: с точки зрения сюжетной перед нами просто чем-то примечательный, важный для понимания атмосферы тех лет случай «без начала, без конца». Вот и в этой последней повести — журналист из Москвы едет на Закавказский фронт через Ташкент и Тбилиси... Здесь не найти канонического сюжета, который образуется схваткой характеров в ходе развития какой-либо коллизии.

Для одних прозаиков война — это тема: «отписавшись», они переключаются на другие — деревенскую, производственную, школьную. Для К. Симонова война оказалась жизненной судьбой. И так подходит и к самому писателю заголовок нынешней повести, представляющий, в сущности, усеченную, недоговоренную фразу: «Двадцать дней без войны с неотвязной думой о ней!» Война и мысли о ней неотвязны от судьбы буквально всех персонажей — тех, кто трудится до изнеможения, кто тощает на скудном тыловом пайке, кто вспоминает родных на фронте или поминает не вернувшихся оттуда, кто решился иметь ребенка, кто не знает, приведется ли — и когда — еще раз встретиться с любимым. А через этот быт просвечивает бытие: война настолько велика по своим зримым и незримым воздействиям, что познание людей в эти годы — это вообще познание людей, не

менее актуальное и эффективное, чем в любой сверхсовременной и даже заглядывающей в будущее ситуации.

И в то же время это книга отнюдь не о вневременных «общечеловеческих» страстях и чувствах. Эта книга о той, всамделишной войне, и сама ее атмосфера передана естественно и доподлинно.

Пожалуй, при всей заманчивости сравнения цикла «Из записок Лопатина» со вторым стволом, растущим рядом с трилогией, независимо от нее, все-таки правильнее назвать это «собрание пестрых глав» побегими от единой, обильно питаемой корневой системы.

Ключом ко всем повестям, и в том числе к нынешней, могут служить слова из романа «Солдатами не рождаются», сказанные по поводу рассказа Тани на заводе о своих партизанских делах: «Не все имела право говорить и не все хотела. Но все, что говорила, каждое слово было правдой».

Недаром так взыскуют правды все герои повести. Симонова подталкивает, тревожит, заботит, что он никак не может высказать всю полноту правды, которую знает, видел, осознал, хотя то, что он говорит, правда.

Белкая актриса Зинаида Антоновна «с такой страстью искала правду, что ему вдруг показалось, что она, не знаящая о войне и десятой доли того, что знает он, способна в конце концов силой этой страсти и таланта доискаться чего-то такого, чего он сам при всем своем знании войны еще не доискался и не доищется».

Режиссер картины вспоминает, как, посмотрев кадры, снятые на заводе для киноборника, сразу понял, что их нельзя показывать, пусть полежат: «...на экране все сразу наружу вылезает, вся тяжесть происходящего; смотреть — сил нет!» Ника спрашивает Лопатина «обо всем — и о нем самом, и о жизни, и о войне — с прямой, требовавшей правды. И он говорил правду — и о себе и о войне».

Вспоминает Лопатин о трагическом исходе так удачно начатой Керченской операции зимой 1941/42 года...

О значении и неудаче действий десанта писал в недавно опубликованных мемуарах «Огненный бастион» маршал Н. И. Крылов. Но если маршал трезво оценивал военностратегические аспекты, то Лопатина остро резанула горькая память, когда ему сказали, как в небольшую грузинскую деревню после этой операции, в которой участвовала только что сформированная грузинская

дивизия, пришло сразу шестнадцать похоронок. Эта деталь, этот штрих, как бы заметка из писательского дневника, стала почвой для удивительного — на мой взгляд, лучшего в книге — эпизода в доме у Виссарiona.

Такие эпизоды хочется назвать хрестоматийными — настолько в них все исполнено значительности и значения; и бытовые детали печального, но не утратившего своей возвышенности ритуала военного застолья; и щемящая сила стихов грузина Бараташвили и русского Павла, не названного по фамилии, но легко угадываемого по самим стихам о погибшем восемнадцатилетнем сыне — младшем лейтенанте; тревожные раздумья о сыновьях на войне двух сидящих за столом мужчин: «Просто мой Вахтанг — давно мужчина, и давно в армии, и давно на войне. А твой Гоги еще год назад был мальчиком. И ты, мужчина, еще не можешь привыкнуть к тому, что он тоже мужчина»; и то, как поднимается на немислимую и неожиданную высоту — от уровня бытового к уровню бытийному — разговор о самопожертвовании, который столь часто возникал в годы войны и который, кстати, шел и в Ташкенте, когда Лопатин высказывал Зинаиде Антоновне свои взгляды на самопожертвование.

Виссарion поминает по грузинскому обычаю погибших, съев кусок лепешки, смоченной несколькими каплями вина. И то ли оттого, что немолодому Лопатину это напомнило причастие, то ли от горькой торжественности самого ужина, то ли от накопившейся за войну боли при виде множества рядом умиравших людей, но его вдруг пронзило удивительное чувство: «Рядом со всем этим происходившим на войне евангельская история становилась просто историей еще одного самопожертвования, совершенного когда-то одним человеком ради других людей. Уже полтора года войны разные люди по-разному повторяли это самопожертвование, спасая ценой своей жизни жизнь других людей, ложась вместо них в землю без всяких надежд на вознесение, ложась безвозвратно, часто безвестно, а порой и бесследно». Прочитав это, понимаешь, что цикл повестей рождается от переполненности впечатлениями войны, от желания все вновь и вновь рассказывать о том, что же проявила, обнажила, утвердила война в народе.

Я уже говорил, что в той мере, в какой новая повесть выросла из живых впечатле-

ний, она содержит много неопровержимо точных бытовых деталей и портретных зарисовок. Наверное, артисты с легкостью узнают великую актрису в Зинаиде Антоновой, военные историки — генерала, именуемого здесь Ефимовым, журналисты — «прототип» заикающегося Гурского. Но у всех у них другие имена, и действуют они по законам художественной прозы наряду с теми, кто скорее всего не был такой конкретной — или, во всяком случае, такой известной — личностью: молодая мачеха Нюки, решившая непременно взять домой из больницы для инвалидов парализованного, прикованного на всю жизнь к постели мужа; жена режиссера, когда-то сама беспризорница, теперь самозабвенно занимающаяся устройством эвакуируемых детей; попутчик Лопатина — капитан, возвращающийся после поездки к «неверной» жене.

Все это великолепные люди, неповторимые в своей индивидуальности и типичные для тех шедших по особому счету лет, — люди, которые живут своей жизнью, устраивают свои дела, по выражению Б. Горбатова. Но нет среди них никого, кто устраивал бы не дела, а делишки.

И в этом смысле повесть отражает то, что сохранилось в дневниках Симонова: изумление человеческой силой и отсутствие непосредственного, практического, как у всякого журналиста, интереса к тому, что не может выйти вскорости на газетную полосу.

Символом мудрости войны служит для Симонова, как когда-то для Толстого Платон Каратаев, догоняющий свою часть пожилой солдат, который говорит: «Главное, чтоб не зря пропасть. Сперва доказать, а после умереть... Я, когда в бою, располагаю так: чему быть, того не миновать... Раз напал враг, надо что-то с ним делать. А что с ним сделаешь? Не ты его, так он тебя». И Лопатин почувствовал, что он не смог там, в Ташкенте, с такой простотой выразить услышанное от этого солдата, «самого главного на войне человека, который в конечном счете сам за себя решает, как ему быть: лечь или подняться, выстрелить или не выстрелить, побежать или устоять».

У К. Симонова в его произведениях о войне (за исключением, пожалуй, рассказа «Пехотинцы») до сих пор не было глубокого интереса к рядовому солдату. Да и здесь, в новой повести, еще неприкрыто публицистичен нажим на «самого главного на войне человека». И все-таки это свиде-

тельствует о той внутренней работе, которая происходит у писателя в осмыслении войны.

И то, что этот солдат — человек пожилой, тоже знаменательно для К. Симонова. Ведь и в трилогии у него постепенно центральным героем стал Серпилин вместо Синцова. И Лопатин — сорокашестилетний человек. В этом обстоятельстве открывается немало важная особенность цикла.

В фактах биографии Лопатина мы легко угадываем самого Симонова: и участие в боях на Халхин-Голе вместе с редактором «Красной звезды», и два месяца в Сталинграде, и плавание на подводной лодке для установки мин в румынских портах, и даже упоминание о том, что за полтора года ездил на фронт девятнадцать раз, а в Ленинграде так и не побывал. Да и сами повадки, манеры — молодого, ухватистого, легкого на подъем журналиста, а не человека, которому, как ни кинь, все-таки сорок шесть. И уж совсем на романтический лад характеризует его Зинаида Антонова: «У вас злой ум и доброе сердце». Но при всем том он слишком идеален, чтобы стать вторым «я», автобиографическим героем: он и добр, и великодушен, и чуток, и душевно деликатен, и безукоризненно честен: «...гордился в собственных очерковых книжках точным обращением с фактами и презирал литературное вранье». Словом, в нем есть все добродетели образцового журналиста и нет той застенчивости и легкой самоиронии, которая должна бы сглаживать такой образ в восприятии читателя, будь он открыто автобиографичен. Перед нами К. Симонов, наспех надевший маску пожилого человека, из-за которой все-таки то и дело выглядывает лицо тогдашнего двадцатисемилетнего писателя.

Можно сказать, что Лопатин в большей мере функция, чем цельный характер. Но функция чего? И вот здесь разгадка того, почему я так настойчиво фиксировал внимание на двойственности повести: расчет на читательские раздумья — и «завлекательность», желание высказать всю правду — и невозможность досказать все до конца, трудное овладение эпическим сюжетом — и настойчивое желание воссоздать эпическую полноту бытия. А теперь еще и раздваивающийся главный герой. Оговорюсь сразу: двойственность повести — это не двойничество, а как бы «двойная тяга», придающая повествованию дополнительную внутреннюю силу.

К. Симонов не случайно сделал своего героя пожилым, многое повидавшим человеком. «Повзросление» героя художественно реализует — как метафора — ту зрелость, которая была достигнута писателем в итоге прожитых после войны лет (как бы подчеркивая это, он свои дневники назвал «Записками молодого человека»), воссоединяет Симонова тогдашнего с нынешним. Оттого и получается, что ведет себя Лопатин как молодой человек, сохраняя ту свежесть «тогдашнего» восприятия, без которой невозможен жанр «из записок», а размышляет уже как зрелый муж. И в этом тоже заключается «двойная тяга» повести: не только перенасыщенность автора тогдашними впечатлениями, но и перенасыщенность нынешними размышлениями. Писатель не иллюстрирует бесспорное, не разжевывает уже надкусанное, а напряженно размышляет.

Это и раздумья о характере человека, понимающего, что фашистов необходимо убивать, потому что иначе не победишь, но не принимающего определения убивать с «наслаждением», с «упоением»: необходимость убивать может вызвать удовлетворение тем, что ты хорошо выполняешь свой — пусть очень тяжелый — долг, но испытывать упоение от убийства?.. И убежденность в том, что нет некоего собирательного «фронтовика», как нет собирательного «тыловика»: можно ли, в самом деле, сравнить санитарку в роте с машинисткой в штабе фронта или вдову и мать нескольких сирот с женщиной, которая живет за спиной прочно забронированного мужа? И объяснение «парадоксального» факта, когда бойцы, застигнутые бомбежкой в голой степи, не разбежались, а ложились кучками, словно они еще могли чем-то помочь друг другу, если будут вместе: «И хотя это было вопреки инстинкту самосохранения — это был тоже инстинкт, еще более сильный: не оказаться одному перед лицом смерти, быть рядом с кем-то». Во всем этом — зоркость тогдашнего Симонова и мудрость взрослого Лопатина.

Есть среди этих раздумий и спорные, как, например, ответ Лопатина на просьбу режиссера передать предчувствие будущей победы в киноновелле о бойцах, обороняющих Сталинград. Лопатин безапелляционно возглашает: «Если всех наделить предчувствиями, будет неправда. Не было этого в октябре. Решимость стоять до конца была, а этого не было». Вряд ли правомерно так

разделять: решимость выдержать до конца возникает только тогда, когда в душе тлеет — пусть самый крохотный — огонек надежды, предчувствия, веры: человек, лишенный этого, не может стоять насмерть.

Но, повторяю, эффект повести — в искренности повествования, а не в беллетризации известного.

Переполненность впечатлениями бытия и переизбыток сегодняшних раздумий яснее всего сфокусировались на образе Вячеслава. Знаменитый поэт с мужественным голосом, он попал в первые дни войны по дороге на фронт под бомбежку и струсил до того, что был отправлен в госпиталь с нервным потрясением и там освобожден от воинской службы. Освобожден формально, как известный поэт; фактически он укрылся в Ташкенте, оправданный медицинской справкой.

Что же значат в повести строки по этому поводу: «Было не с ним одним; было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт не ездил, а просто эвакуировались, уехали... Но другим как-то забыли это, спустили — кому раньше, кому позже. А ему — нет, не забыли! Слишком уж не сходилось то, чего от него ждали, с тем, что вышло...»? Мы в самом деле знаем здоровяков, оставшихся, как отметины, книги о работе тыла, благополучно помняемые в истории литературы. Не означает ли это, что Симонов теперь с великодушием человека, честно выполнявшего свой воинский долг, хочет «восстановить справедливость»: «спустить» и ему?

Нет, писатель серьезно и дотошно пытается разобраться в том, что тогда было, безусловно, виной (справедливо отвергал редактор газеты стихи Вячеслава о войне, объясняя: «Мне его стихи из Ташкента не нужны»), а сегодня видится бедой: «Предполагалось, что, спасшись от войны, он сделал именно то, что хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье». Вина или беда? Симонов пишет о беде, приводя рвущие душу слова Вячеслава: «Совершенно не хочу жить. Но боюсь самого себя. Боюсь во второй раз того же позора. Я не могу перешагнуть не через страх смерти, а через ужас этой боязни за самого себя», — и сообщая мнение секретаря ЦК: «Не так уж он здоров и молод, чтоб непременно быть на фронте. А здесь у нас старается делать все, что может... Даром свой тыловой хлеб не ест». Но видя обост-



рившимся сегодня зрением несчастье, драму, автор не может отрешиться своей фронтовой памятью и от вины: «И все-таки правда Вячеслава о себе была только его правдой, а не вообще правдой. Вообще-то перед лицом войны он, хотя и мучился этим, все-таки жил несправедливой жизнью. И это тоже была правда. И более важная».

Так мы опять сталкиваемся с внутренней логикой повести: нет здесь категорично навязанной оценки, высвечены как бы два отношения, но читатель в меру своей совести сделает свои выводы.

Не случайно ведь в разговоре Лопатина с Вячеславом заходит речь о том, что П. А., который печатает очерки из Действующей армии, — «это тот самый, которого таким смертным боем били в начале тридцатых за все, что бы он ни написал. И за идеализм, и за пацифизм, и за псевдогуманизм, и еще черт знает за что! И просто за некоторые странности его письма». Да, именно тот П. А. начал с пополнения, дослужился до пехотного капитана и на второй год войны прислал в редакцию свой первый очерк, написанный от руки, без напоминания о том, что он прозаик.

Не для «баланса» трусости и храбрости, не для парадокса (мол, мужественный поэт оказался в Ташкенте, а «псевдогуманист» на переднем крае) рассказал нам сегодня всю эту историю К. Симонов. Историю, побуждающую ко многим размышлениям, кстати, куда более серьезным, чем

сопоставление храброго Гурского и трусливого Людина в повествовательной ткани романа «Солдатами не рождаются». И дело совсем не в профессии — писатель ли, журналист, забронированный ли специалист, как муж Тани в том же романе, — дело в освобождении от прямолинейности характеристик, в выходе к более широкому, нравственно-психологическим проблемам.

Мы погружаемся в сегодняшние раздумья над многими связанными в один узел проблемами. И о том, почему все-таки пошел в армию во время первой мировой войны Блок — «может, он при всем отвращении к войне чувствовал потребность разделить общую судьбу. Не просился, но и не откручивался, хотя, наверно, при старании мог». И о том, как в годы войны слишком часто говорилось о плохом и хорошем, «неожиданно» открывшемся в каком-то человеке: «Может, надо поменьше удивляться? Может, бывало и так, что плоско, скудно, недальновидно думали о жизни, о людях и обстоятельствах?» И о многом другом...

Неотступное стремление проникнуть в глубины войны, глубины бытия сделало эту «двойную» по всей своей структуре повесть внутренне цельной и такой актуальной в сегодняшней литературе, для которой столь настоятельна плодотворная потребность приблизиться ко все более полному и точному воспроизведению жизни.

**А. БОЧАРОВ.**

★

## РОДНИК ПОЭЗИИ

**Петрусь Бровка. Я вам скажу... Стихи. Новая книга (1967—1970).  
Перевод с белорусского. М. «Советский писатель». 1971. 192 стр.**

Я нисколько не хочу преуменьшать важности всей многообразной общественной и литературной деятельности Петруся Бровки, но думается, что главной из заслуг, принесших ему почетнейшее звание Героя Социалистического Труда, была его поэзия. Его лирика. Мы могли бы сказать о ней словами самого поэта: «Криница у родной деревни, неистошима и светла, ты для меня и добрым другом, и первым зеркалом была».

К такому идеалу поэзия Петруся Бровки стремилась с первых шагов поэта-селькора с наивно-откровенным псевдонимом Красный Карандаш.

Бровка сказал о стихах одного из своих

рано ушедших собратьев: «Помним, как песня кирпич подносила и по лесам поднималась все выше». И его собственная поэзия тоже все выше поднималась по строительным лесам, стараясь помочь соотечественникам и в то же время подмечая, схватывая все новые и новые черты их мужаяющих лиц.

Есть у Бровки стихи о том, как запела скрипка в руках вернувшегося домой с победой солдата и что было тому причиной:

— Меня такому научили  
Пути походов фронтовых.  
Я слышал, ветры голосили  
Над сном товарищей моих.  
Я слышал говор, что по краю

Проплыл дорогами войны,  
Я слышал, как родник играет  
В солдатских кружках жестяных.

Здесь, кажется, звучит и личное признание автора и голос поэзии вообще, которая устами самых чутких и вдумчивых не раз бесстрашно и горделиво говорила о своем ближайшем, кровном, хоть и совсем не простом родстве с жизнью (вспомним хотя бы сказанное в эпиллоге к «Василию Теркину»: «Скольким душам был я нужен, без которых нет меня»).

В подобной писательской позиции открывается нечто такое, что делает автора, поэта похожим на героя стихотворения «Когда отгрохотало лихо...». Этот солдат вернулся домой с войны «неприметно и тихо», он «свято верил, что победу другие люди принесли».

В лучших стихах Бровка неизменно покоряет эта естественность его интереса к тому, что в округ него, к жизни, радостное ощущение ее богатства и многообразия — без ревнивой и беспокойной мысли о собственном «весе» в мироздании.

Есть у поэта стихи, обращенные к любимой, где самое важное, кажется, заложено в строке: «Увидишь, как твой свет в груди несущий...» Но вот последняя строфа стихотворения — и вдруг чуть ли не помимо прямой авторской воли, а по какой-то трудноуловимой логике сменяющих друг друга образов звучит мысль, заставляющая глубоко, по-новому задуматься:

Любовь моя! Ко мне спеши  
Порой вечерней, позднею —  
Увидишь, как со дна души  
Восходит небо звездное.

Нет, отражение в поэтической кринице привлекает и покоряет не зеркальной точностью, а тем, что в эту картину влетается и нечто взошедшее «со дна души».

Пишу о сердце человеку.  
Гляжу — и дна не вижу в нем,—

так оправдывал Бровка в стихотворении «В стихах воспето все на свете...» мнимое однообразие своей лирики. И так закономерно, что именно поздняя лирика поэта, начиная с книги «А дни идут...», отмеченной несколько лет назад Ленинской премией, именно эта лирика, несмотря на свою большую тематическую сосредоточенность, а может быть, лучше сказать, благодаря своей цельности, последовательной «сердечности» завоевывает все большее читательское признание.

Ручьи, тропинки, рощи, вёски,  
Живые новости неся,  
На этом старом перекрестке  
Сошлись, как давние друзья.

Эти «живые новости» — естественное мировосприятие сегодняшнего нашего современника и соотечественника, который, как сам автор, «верил в парус багряный». Оно пронизывает собою любые, даже на первый взгляд «зарисовочные», стихи Бровка:

К рассвету листья посерели.  
Покинув рощи и сады,  
Они, как серые шинели,  
Прикрыли землю от беды.

Так в простом пейзаже как бы отзывается эхо постоянных, неотступных воспоминаний о самоотверженном порыве, о героической гибели ради жизни, о «солдатской капле крови — спасительнице земля», как сказано в другом стихотворении Бровка.

«На старом перекрестке» вечных тем поэзии — и человеческой жизни вообще — не перпевают общеизвестных истин: у того, кто намеревался здесь выложить сказанное ранее, до него, краденое золото оборачивается битыми черепками банальностей.

Здесь ценно только то, на чем «личное клеймо» творца, его ищущей мысли, хотя бы с виду и незаметное, вроде тех микроскопических, какими удовлетворялись тульские мастера в лесковском «Левше».

Я давно люблю «Дубовый лист» Бровка:

Когда зимою  
Вьюга стонет  
И злобно щерится мороз,  
Он прикрывает, как ладонью,  
Ту ветку,  
На которой рос.

Но, вешней зорькой  
Околдован,  
Он, встретив солнечный восход,  
Уступит место листьям новым  
И тихо наземь  
Упадет.

Стихи эти, конечно, в тесном родстве и с только что приводившимися и с другими — о «животворном полете» упавшего желудя. Мысли о связи единичного и целого, человека и народа звучат свежо и индивидуально. Краски, которыми работает художник, непосредственно восходят к жизни, природе, быту Беларуси, к задушевности и скромности ее народа.

В прекрасном стихотворении «Еще о предках» Бровка с волнением писал о том «достойном следе», который они оставили:

Терпенье, слитое с отвагой,  
По всем приметам узнаю.  
По той извилистой дорожке,  
Что обходила валуны,  
По старой деревянной сошке,  
Взрыхлявшей корку целины.

К слову сказать, человек, который так дорожит собственной национальной историей и культурой, оказывается чуток и восприимчив к жизни другого народа, к красоте иного края. Об этом говорит, например, стихотворение «В Карелии».

В елях, в соснах,  
Обходя озера,  
Вьется путь старинный,  
Как узор.

Этот изящный словесный рисунок, чем-то напоминающий белорусские народные вышивки, в то же время очень уместен в описании Карелии.

Краски, вынесенные Бровкой из его родного быта и собственного жизненного опыта, временами удивительно приходятся к разговору и о самых важных мировых проблемах; так, когда речь заходит о трудной борьбе, идущей повсюду на планете, поэт замечает: «Пусть иногда ростки добра лелеять надо, как птах, упавших из гнезда...» И «отвлеченная» тема вдруг согревает живым человеческим теплом, как птенец, спрятанный когда-то в детстве возле мальчишеского сердца.

Можно за всю жизнь не сказать двух слов с иным человеком, но полагать без особой самоуверенности, что его душа во многом близка тебе.

Так, наверное, думают о Бровке тысячи его давних читателей.

А. ТУРКОВ.

★

### Политика и наука

## СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В. Г. Афанасьев. Научно-техническая революция, управление, образование. М. Политиздат. 1972. 431 стр.

Книга известного советского ученого, доктора философских наук В. Г. Афанасьева «Научно-техническая революция, управление, образование» посвящена углубленному разъяснению решений и материалов XXIV съезда КПСС о современном этапе коммунистического строительства в СССР, анализу проблем, связанных с влиянием научно-технической революции на различные области жизни развитого социалистического общества, на методы и формы руководства общественным производством, научной деятельностью, социальными отношениями, работой в области образования и подготовки кадров.

Советский читатель уже имел возможность познакомиться с целым рядом глубоких и интересных исследований В. Г. Афанасьева, в частности с его книгой «Научное управление обществом. Опыт системного исследования» (1968), серией сборников «Научное управление обществом», вышедшей под его редакцией, и другими работами. Новая книга В. Г. Афанасьева охватывает широкий круг вопросов: анализ роли различных факторов интенсификации про-

изводства, развития социалистического общества, научно-технической революции, путей совершенствования управления и образования. Автор поставил перед собой задачу рассмотреть эти факторы в их единстве, взаимодействии, поскольку, по его мнению, только в единстве, совокупности они способны дать высокий эффект. При этом основное внимание В. Г. Афанасьев уделяет исследованию взаимодействия, интеграции научно-технической революции и научного управления.

Сущность современной научно-технической революции, подчеркивает автор, состоит в коренных качественных преобразованиях производительных сил. Преобразуются все стороны, все компоненты производительных сил, как материальные, так и человеческие. Развиваясь в эпоху глубочайших социальных преобразований, перехода человечества от капитализма к социализму, научно-техническая революция испытывает на себе огромное воздействие этих социальных преобразований и, в свою очередь, влияет на всю систему общественных отношений, на духовную жизнь общества.

В книге отмечается, что развитый социализм, процесс его постепенного перерастания в коммунистическое общество характеризуется заметным изменением соотношения экстенсивных и интенсивных форм развития производства, возрастанием роли интенсификации, хотя и формы экстенсивные здесь отнюдь не потеряли и не теряют своего значения. Развитие экономики, социальной и духовной жизни социалистического общества в значительно большей мере, чем в переходный период от капитализма к социализму, связано с использованием достижений науки и техники, совершенствованием системы управления, повышением квалификации работников.

На богатом фактическом материале В. Г. Афанасьев убедительно показывает, что в нашей стране накоплен большой опыт комплексной механизации и автоматизации производства. За десять лет (1961—1970) утроилось количество установленных автоматических линий, в четыре раза увеличилось число автоматизированных участков, в пять раз — автоматизированных цехов. В 1970 году в стране действовало свыше 400 автоматизированных систем управления производством.

В то же время автор отмечает, что для решения сложного комплекса проблем ускорения научно-технического прогресса необходимо обеспечить дальнейшее повышение эффективности науки, интенсифицировать процесс научного творчества.

Развитый социализм обладает огромными возможностями. Но эти возможности реализуются не сами по себе, а лишь в той мере, в какой они познаны и строго учтены в практической деятельности, то есть в зависимости от того, насколько эффективно управляется производство, общество в целом.

Управление общественными процессами выступает как важнейшее средство повышения эффективности функционирования и развития социалистического общества. Вот почему одной из центральных проблем, рассмотренных XXIV съездом КПСС, был комплекс вопросов, связанных с совершенствованием управления народным хозяйством, всей общественной жизнью страны в условиях всемерного развертывания научно-технической революции. Никогда еще в истории нашей страны, нашей партии вопросы управления не ставились столь глубоко и всесторонне, как на XXIV съезде.

Под социальным управлением, пишет В. Г. Афанасьев, понимается воздействие на

общество в целом или его отдельные звенья (экономику, социально-политическую и духовную жизнь и т. д.), с тем чтобы обеспечить сохранение их качественной специфики, их нормальное функционирование, совершенствование и развитие, успешное движение социальной системы к заданной цели. Автор отмечает, что существует два типа управляющего воздействия на социальную систему — это стихийное регулирование и сознательное управление.

Сознательное управление производством, социальной и духовной жизнью присуще всякому обществу, но в то же время оно имеет конкретно-исторический, а в классовом обществе — классовый характер. К. Маркс показал, что капитализм способен обеспечить эффективное управление отдельными предприятиями и объединением предприятий. Однако подлинно научное управление экономикой и обществом в целом при капитализме невозможно. В. Г. Афанасьев приводит много фактов, доказывающих, что современный капитализм с его узкими рамками частной капиталистической собственности ограничивает возможности развития науки и техники, придает ему болезненный характер. Показательно, что в США теперь все чаще поговаривают о конце «научно-технического бума», характерного для середины 60-х годов. Свидетельством этому является значительное сокращение ассигнований федерального правительства США на науку, а также усиление безработицы среди американских ученых. Например, в 1971 году в США работы лишились около ста тысяч научных работников и инженеров, которые были заняты исследовательскими разработками.

Лишь социализм впервые в истории создает возможность осуществлять научное управление народным хозяйством, всей общественной жизнью, в том числе и наукой. «Только социализм,— говорил В. И. Ленин,— даст возможность широко распространить и настоящим образом подчинить общественное производство и распределение продуктов по научным соображениям, относительно того, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, доставляющей им возможность благосостояния»<sup>1</sup>.

Анализируя понятие научного управления, автор подчеркивает, что это такое сознательное управление, которое осуществляется в соответствии с требованиями на-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 381.

учно познанных объективных закономерностей. «Под научным управлением,— пишет В. Г. Афанасьев,— понимается сознательное, целенаправленное воздействие на общественную систему или подсистемы в ее рамках на основе познания и использования объективных закономерностей и прогрессивных тенденций, с тем чтобы обеспечить ее эффективное функционирование и развитие. Управлять — это значит предвидеть, в каком направлении и как развивается общество, своевременно выявлять и преодолевать противоречия и препятствия, рационально использовать преимущества, реальные возможности социализма в целях его успешного перерастания в коммунизм».

Управление социальной системой может иметь своим объектом различные области общественной жизни. Управление производством, экономическое управление — один из основных его видов. Другим видом управления является социально-политическое управление. Это — управление как отношениями между различными общностями людей (классами, социальными группами, нациями, народностями, коллективами), так и отношениями внутри этих общностей, это регуляция социального поведения людей. Третий основной вид управления — управление духовной жизнью общества. Духовная жизнь людей также немислима вне организации, воздействия, контроля со стороны общества.

Область управления производством, а тем более социальными процессами,— объект изучения общественных наук. Теоретической основой научного управления в широком смысле слова является весь марксизм-ленинизм, научный коммунизм. Проблема управления обществом — комплексная проблема, заключающая в себе экономические, философские, политические, социологические, социально-психологические, правовые, этические и многие другие аспекты, а потому ее решение требует совместных усилий представителей различных наук об обществе и практических работников.

В связи с быстрым развитием науки управления, замечает автор, некоторые люди спрашивают: «вписывается» ли она в теорию марксизма-ленинизма, не означает ли недооценки партийного руководства обществом, опыта борьбы народа, партии за социализм? В. Г. Афанасьев считает, что для подобного рода опасений нет оснований. Проблемы управления, подчеркивает он, возникли и решаются в рамках марксизма-

ленинизма, теории научного коммунизма. «Управление,— говорил Л. И. Брежнев в своей речи в Харькове 13 апреля 1970 года,— превращается в науку, и этой наукой надо возможно быстрее и возможно глубже овладевать, упорно учиться».

Вся совокупность общественных наук дает в настоящее время главным образом качественную картину социальных процессов. Задача теперь состоит в том, чтобы качественный анализ существенно дополнить, обогатить количественным анализом социальных систем и процессов на основе марксистско-ленинской теории и методологии, в результате чего научное управление обретает точную количественную основу.

Современные задачи и уровень научного управления предъявляют новые повышенные требования к общественным наукам, требуют как никогда применения в них точных методов исследования, подготовки выводов такой степени обоснованности и точности, чтобы обеспечить надежные рекомендации, помогающие партии и государству вырабатывать и принимать правильные решения. Вот почему совершенствование методов управления теперь неразрывно связано с применением математических методов, научного моделирования, современных технических средств, в особенности электронно-вычислительной техники. Именно здесь, в области управления, происходит стыковка, интеграция не только различных общественных наук, но и наук общественных и естественных, технических. Общественным наукам также присущ процесс формализации, математизации знания, их достоянием все больше становятся естественнонаучные методы исследования.

Буквально на наших глазах, говорит В. Г. Афанасьев, рождается новая наука — экономическая кибернетика, которая призвана сыграть огромную роль в совершенствовании управления экономикой. Применяя экономико-математические методы и используя современные электронно-вычислительные машины, наука прокладывает пути наилучшего использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, территориального размещения различных производств, материально-технического снабжения, измерения затрат и их результатов в народном хозяйстве. В настоящее время можно говорить также о первых шагах социальной кибернетики, задачей которой явится прежде всего исследование и организация социальной информации, необ-

ходимой для управления общественными процессами. Эта новая область науки в СССР развивается на теоретической основе марксизма-ленинизма, достижений науки управления и теории информации. Она призвана быть действенным средством дальнейшего совершенствования управления, руководства всем процессом функционирования и развития социалистического общества, основой разработки оптимальных решений, направленных на повышение эффективности всех видов полезной деятельности.

В этой связи В. Г. Афанасьев ставит важный вопрос об организации сбора и обработки социальной информации и о разработке общей теории социальной информации. Он подчеркивает, что информация, используемая в управлении обществом, социальна по своей природе. Социальная информация несет на себе глубокий след классовых, национальных и иных отношений, отпечаток потребностей, интересов, психических черт социального коллектива, отношения в котором информация отражает и который пользуется информацией. В этом специфика социальной информации.

В современных условиях, отмечает В. Г. Афанасьев, сложилась более или менее стройная система источников получения информации, необходимой для управления социальными системами. Непосредственная связь с массами, коммунистами и беспартийными,— самый эффективный и надежный источник всесторонней и правдивой информации. Изучение статистических данных, отчетов позволяет получить представление о количественных параметрах системы, о результатах выполнения решений. Широкое распространение получили конкретные социальные исследования, проводимые силами партийных, советских, научных организаций.

Оптимизировать информацию, подчеркивает автор, это, в частности, значит избежать ее недостатка и чрезмерного избытка. Недостаток информации не дает субъекту управления возможности получить правильное представление о состоянии дел, разобраться в существе вопроса и принять рациональное решение. Недостаток информации — одна из причин субъективизма, необоснованных, скоропалительных решений. В то же время вреден и чрезмерный избыток информации. В этом случае информацию труднее систематизировать. Много времени и сил расходуется на ее переработку, создается опасность «потонуть» в по-

токах бессистемной, переработанной информации, а результат такой же, что и при ее недостатке,— необоснованность решений. Чем выше в системе управления стоит тот или иной орган, говорит В. Г. Афанасьев, тем обобщеннее должна быть используемая им информация.

В плане упорядочения движения социальной информации, обработки и анализа поступающих в аппарат управления по всем каналам информационных данных все большее значение приобретает научное моделирование социальных систем и процессов с применением математических методов и электронно-вычислительных средств. Научное моделирование процессов управления позволяет решать вопросы оптимизации размеров и структуры управляемых и управляющих систем, режимов и критических значений их основных параметров, течения информационных процессов. Моделирование позволяет разрабатывать различные варианты решения проблем управления, сравнивать их и выбирать наилучший.

Глубокой и интересной нам представляется мысль В. Г. Афанасьева о том, что исходной задачей в создании теории системы социальной информации является научная классификация социальных объектов, выделение их различных типов, классов, их исходных черт, параметров, которые необходимы для управления. Создание типовых информационных схем, несомненно, позволит разработать типовые системы управления сходными объектами и практически реализовать их, учитывая, разумеется, при их использовании и специфические, индивидуальные черты того или иного конкретного объекта. Иными словами, речь идет о создании взаимосвязанной системы социальных моделей, алгоритмов, типовых схем управления, позволяющих организовать эффективное функционирование и развитие различных звеньев информационного аппарата и использовать при этом самые современные технические средства.

Система социальной информации призвана обеспечить своевременное получение данных, необходимых для моделирования социальных процессов. Создание моделей позволит изучить поведение социальной системы при изменении тех или иных ее параметров и возможных возмущающих воздействий. По мнению В. Г. Афанасьева, для построения единой информационной системы и автоматизированной системы управления для всей страны необходимо разра-

ботать комплекс моделей, имитирующих экономическую систему, а затем на их основе создать набор алгоритмов управления, отражающих всю совокупность операций, производимых субъектом.

Применение математических методов, подчеркивает автор, возможно лишь при наличии определенных предпосылок. Это достаточная разработанность теории той области управления, где используются математические методы; наличие достаточного количества и надежного качества информации о системе, процесс управления которой отрабатывается математическим путем, программ для ее отработки; наличие унифицированной, легко обрабатываемой на ЭВМ документации, подготовленность систем для точного количественного анализа и описания; наличие определенного «набора» математических средств — моделей, графиков и т. д., пригодных для имитации управленческих процессов или хотя бы простых исходных позиций для построения этих моделей; наличие специалистов — организаторов, социологов, экономистов, правоведов, владеющих математическими методами, инженеров по конструированию, установке и эксплуатации электронных машин.

Само собой разумеется, что не следует переоценивать значение количественных методов в гуманитарных науках, особенно если они применяются на неправильной методологической основе. Количественные, в частности математические, методы только в том случае приобретают научную и практическую значимость, когда они нераздельно связаны с правильным качественным анализом изучаемых социальных систем и процессов, следовательно, когда количественные, измеримые характеристики изучаемого предмета рассматриваются в связи с его качественными сторонами.

Поскольку математическим языком могут быть записаны как марксистско-ленинские концепции, так и концепции буржуазных теоретиков, постольку и созданные на этой основе математические модели могут быть правильными, научными, точно отображающими объективные социально-политические системы и процессы, либо ненаучными и даже антинаучными, в которых объективные системы и процессы отражаются искаженно, неправильно, извращенно.

Весь вопрос в разработке и использовании в качестве основы для формализации действительно научной теории социально-

политических отношений, системы научных взглядов и концепций, правильно отражающей структуру и законы структуры функционирования и развития социально-политических систем. Вопрос же о форме записи такой теории или концепции подчинен вопросу о ее содержании. Никакая формализация теории не может устранить ее классовость, ее партийность, а также классовый партийный подход исследователя к изучаемым социальным системам и процессам. В этом, на наш взгляд, суть решения проблемы неразрывного единства качественного и количественного анализа. Вот почему процесс разработки формализованных моделей социальных систем и процессов, вопрос о применении математических методов в этой области, так же как и процесс разработки научной теории общественного развития вообще, представляет собой процесс борьбы материализма и диалектики против идеализма и Метафизики, процесс борьбы двух противоположных мировоззрений, одну из форм классовой борьбы в сфере идеологии.

Много внимания В. Г. Афанасьев уделяет разъяснению положений системного анализа, который получает все более широкое распространение в решении управленческих проблем. Автор правильно отмечает, что системный подход является неотъемлемой чертой марксистско-ленинского диалектического метода исследования, одной из существенных характеристик марксистской науки об обществе. К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин успешно применяли системный анализ при изучении процессов управления обществом.

Бесспорно, что системный подход не является универсальным. Он эффективен для решения проблем управления, которые хорошо структурируются, то есть расчленяются на компоненты и зависимости, поддающиеся формализации, логической и математической обработке. В силу этого параметры могут быть с достаточной степенью точности оценены количественно. Известно также и то, что в настоящее время теория социальных систем еще не настолько разработана и подготовлена в формальном плане, чтобы обеспечить достаточные предпосылки для широкого применения системного анализа в решении практических проблем управления. Однако это вовсе не свидетельствует об ограниченности возможностей его использования.

По мере развития теории и совершен-

ования методики моделирования социальных систем и процессов, по мере расширения средств математической формализации этих моделей возможности использования системного анализа, несомненно, будут все более расширяться. «Наука серьезно обогатила теоретический арсенал планирования, разработала методы экономико-математического моделирования, системного анализа и другие»<sup>2</sup>, — говорил Л. И. Брежнев. «Словом, необходим комплексный, системный подход к выработке ответственных решений. Мы приняли такой подход на вооружение и будем последовательно проводить его в жизнь»<sup>3</sup>.

Главное состоит в том, что системный метод и моделирование при анализе социального механизма должны применяться на основе диалектического и исторического материализма, марксистско-ленинской теории. Более того, этот метод может быть лишь конкретизацией марксистского диалектического метода, в частности его применения к изучению социально-экономических и политических систем.

Само собой разумеется, что использование метода системного анализа должно сочетаться с применением эвристических методов, а главное, с использованием опыта самих людей, принимающих решения, опыта их предшественников и коллег, их знаний и интуиции, способности оценить данную проблемную ситуацию и найти ключ к ее решению на основе практики решения аналогичных ситуаций<sup>4</sup>.

В своей книге В. Г. Афанасьев развивает мысль о том, что решение сложнейших проблем управления экономикой, общественными процессами предполагает не только организационные мероприятия и новые научно-технические средства, но также всемерное развитие и совершенствование социалистической демократии, сочетаемое с укреплением социалистического государства, централизованного планового начала в управлении.

Действительно, главное в управлении со-

циалистическим обществом — люди, трудящиеся, а потому именно и прежде всего от людей зависит эффективность управления, рациональная организация информации, эффективное и разумное использование даже самых совершенных научно-технических средств. Социалистическая демократия и научно-технический прогресс взаимосвязаны. Развитие демократии является в определенной мере следствием прогресса в области науки и техники, развивающихся в условиях социалистического общественного строя. В социальном управлении важно учитывать и умело в интересах общества сочетать специфические интересы рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, наций и народностей, всех поколений, различных социальных групп и коллективов, разрабатывать такие формы организации людей, формы стимулирования, которые побуждали бы их к трудовой и общественной активности во имя достижения стоящих перед обществом задач.

Конкретным воплощением неуклонно укрепляющегося и совершенствующегося научного управления системой социалистического общества является всестороннее руководство им со стороны Коммунистической партии Советского Союза.

Книга В. Г. Афанасьева интересна не только глубоким многосторонним освещением вопросов развития научно-технической революции и теории управления, но и постановкой широкого круга актуальных практических проблем, связанных с совершенствованием всей системы и организации социалистического производства, механизма определения цен в социалистическом хозяйстве, системы внедрения новой техники, освоения промышленностью новых видов продукции и значительным повышением ее качества, вопросов рационализации процесса подготовки специалистов для народного хозяйства, улучшения планирования научной работы, оптимизации использования научно-технических средств в системе управления, совершенствования форм соединения науки с производством, улучшении воспитания кадров в высших учебных заведениях на основе рационального сочетания общетеоретической подготовки и специализации, совершенствования системы подготовки высшего звена руководящих кадров и т. д. При рассмотрении этих вопросов автор проявляет глубокое знание конкретных, практических проблем, свою вооруженность богатым фактическим мате-

<sup>2</sup> Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС.

<sup>3</sup> Л. И. Брежнев. Интересы народа, работа о его благе — высший смысл деятельности партии. «Правда», 12 июня 1971 года.

<sup>4</sup> Эти вопросы были рассмотрены на страницах журнала «Новый мир» в обстоятельной статье Ф. Бурлацкого «Надежды и иллюзии» (1972, № 7), в которой излагаются положения, близкие взглядам автора рецензируемой книги.



риалом, данными статистики. Все это делает книгу В. Г. Афанасьева весьма интересной в практическом плане.

Постановка автором этих вопросов в некоторых случаях является проблематичной, а поэтому не бесспорна. Хотелось бы также заметить, что дискуссионный характер имеет и освещение автором некоторых теоретических вопросов. Это относится, в частности, к первой главе первого раздела книги. Отнюдь не считая наше суждение бесспорной и окончательной истиной, мы тем не менее хотели бы высказать сомнение в целесообразности постановки вопроса об «экономии времени» в такой форме, как это делается в указанной главе.

Хотя термин «экономия времени» широко используется в повседневной жизни, однако в научном плане, на наш взгляд, он является недостаточно четким. Действительно, что значит «экономия времени»? Поток времени, как отмечает сам автор, является непрерывным и постоянным. Его течение нельзя ни ускорить, ни замедлить. Если время — это форма бытия материи, то мерой движения материи (в том числе и «социальной материи») является, как известно, не время, а энергия в соответствующей форме, хотя это движение происходит во временных рамках. Отсюда движение «социальной материи» в фиксированной временной шкале, по-видимому, должно характеризоваться прежде всего масштабами и скоростью движения материальных и других ресурсов в функционирующей и развивающейся социальной системе или в отдельных ее ячейках в единицу времени. Неуклонное увеличение этого потока, скорости его движения и нарастания его масштабов является законом функционирования и развития социальных систем. Суть же интенсификации, по-видимому, состоит не просто в «экономии времени», как утверждает автор, а в возрастании размеров потока ресурсов, проходящих через производственную сферу социальной системы, в увеличении скорости их движения, в сокращении сроков их обработки и трансформации в полезные для человека продукты и формы деятельности. Рост производительности труда и повышение эффективности общественного производства означают экономию не времени вообще, а экономию трудовых затрат, рабочей силы людей в единицу времени и на единицу продукции или на конкретные операции.

Об этом, собственно, и говорит автор.

В термин «экономия времени» он, по существу, вкладывает понятия «повышение производительности труда», «повышение экономической эффективности», «рационализация различных форм и сторон функционирования социального организма и различных его частей» и т. д. Однако, на наш взгляд, такое использование понятия «экономия времени» в данном случае является менее адекватным, а следовательно, и менее удачным, чем уже установившиеся научные, в частности политэкономические, категории.

Следует отметить, что эти проблемы были освещены В. Г. Афанасьевым и П. Г. Кузнецовым, на наш взгляд, более четко в их содержательной статье «Некоторые вопросы управления научно-техническим прогрессом»<sup>5</sup>.

Трудно согласиться также с утверждением автора о том, что «закон экономии времени» К. Маркс «характеризовал как основной экономический закон коллективного производства — производства социалистического, коммунистического» (стр. 425). Приведенное ранее автором высказывание К. Маркса из подготовительных рукописей 1857—1858 годов, в период его работы над книгой «К критике политической экономии»<sup>6</sup>, на наш взгляд, не дает оснований для такой интерпретации.

Еще одно суждение: В. Г. Афанасьев правильно отмечает, что между рабочим и свободным временем «невозможно проложить четкую, а тем более абсолютную грань». Тем не менее по контексту освещения автором вопроса о соотношении рабочего и свободного времени порою чувствуется недостаточно диалектичная подвижность рамок такого разграничения.

На наш взгляд, было бы точнее рассматривать социальное время и его затраты на те или иные виды деятельности в контексте непрерывного процесса общественного воспроизводства как материального продукта — средств производства и средств потребления, так и воспроизводства рабочей силы — людских ресурсов в масштабе социальной системы в целом. В этом контексте как рабочее, так и свободное время выступает лишь как различные временные моменты функционирования и развития со-

<sup>5</sup> См. сборник «Научное управление обществом». Под редакцией проф. В. Г. Афанасьева. Вып. 4. М. «Мысль», 1970, стр. 225—230.

<sup>6</sup> Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. IV, стр. 119.

циальной системы, накопления ею новых ресурсов. В этой связи, по нашему мнению, еще нет достаточных оснований, чтобы постулировать положение о том, что «время при коммунизме будет единственным измерителем вклада каждого в общественное богатство, а экономия времени, и рабочего и свободного,—самым непосредственным, до предела ясным и чистым показателем общественного прогресса».

Указанные спорные моменты не умаляют научных достоинств новой работы В. Г. Афанасьева. Его книга в целом являет-

ся большим и интересным трудом, способствующим пропаганде успехов Советского Союза в борьбе за воплощение в жизнь призыва партии об органическом соединении достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства.

Книга В. Г. Афанасьева весьма интересна как для специалистов в различных областях общественных наук, партийного актива, так и для широкого круга читателей.

**А. СЕРГИЕВ,**  
доктор экономических наук.

★

### ПЕССИМИЗМ ИЛИ ОПТИМИЗМ?

**Б. Глемзер. Человек против рака. Перевод с английского кандидата медицинских наук И. Н. Шаталовой. Предисловие академика АМН СССР проф. А. А. Вишневого. Под редакцией и с послесловием доктора медицинских наук, проф. Ю. Я. Грицмана. М. «Мир». 1972. 303 стр.**

Не знаю уж почему, но за последние годы у нас почти совсем исчезли обращенные к широкой публике книги о такой немаловажной науке, как онкология. О раке, его истории, географии, о методах лечения злокачественных опухолей, о научных поисках и прогнозах мало пишут. Единственный вид массовой литературы на эту тему — брошюры санитарно-просветительского толка, которые совершенно не способны удовлетворить читателя, заинтересованного движением научной медицинской мысли. Создается впечатление, что некоторые издатели считают рак темой «неудобной», о которой лучше не распространяться. Такая «стыдливость» вызвала эффект, обратный ожидаемому. Давно замечено: если в какой-то области жизни недостает информации, возникающий вакуум тотчас заполняют всевозможные догадки, слухи, измышления. Не удивительно, что в последнее время мы то и дело слышим об открытии якобы «чудодейственных» противораковых средств, о знахарях, которые «лучше врачей» разбираются в лечении опухолевых болезней.

«Онкологическая мифология» наносит непоправимый вред и больным и здоровым. Единственное реальное средство против нее — откровенный разговор специалистов на страницах книг, журналов, газет. «Когда дело идет о спасении человека, лучше прямо говорить всю правду». Эти слова Ален Бомбар, мужественный французский врач и путешественник, произнес не по поводу рака, но они кажутся мне отличным девизом

для тех книг на эту тему, которые, надо надеяться, будут написаны. Этому девизу следует и американский журналист Бернард Глемзер, автор книги «Человек против рака».

Возможно, найдутся читатели, которые скептически отнесутся к медицинской книге, написанной не ученым. Таким я посоветую не спешить с выводами. Для рассказа о раке Б. Глемзер действительно избрал жанр сугубо журналистский — репортаж. Но перед нами репортаж особого рода. Желая получить самые точные, самые достоверные свидетельства о научной и медицинской стороне проблемы, автор не пожалел сил и времени. Он побывал в клиниках и лабораториях самых видных ученых западного мира, привел в своей книге высказывания крупнейших онкологов США, Англии, ФРГ, Франции, Индии, Японии. Вооруженный магнитофоном, журналист опросил исследователей, работавших в Африке, Китае, на Гавайских островах. Среди его собеседников оказались организаторы здравоохранения, хирурги, радиологи, химиотерапевты, иммунологи, вирусологи и представители других отраслей онкологии. Такой представительный состав интервьюируемых заставляет с уважением относиться к труду журналиста-популяризатора.

Привлекательна работа Б. Глемзера и по другой причине. Автор не ограничивается чисто репортерскими и популяризаторскими задачами. По ходу повествования он дает краткие, но точные характеристики своим собеседникам-ученым, набрасывает их

портреты, повествует о нелегкой борьбе, которая сопровождает почти каждую научную находку. Читатель получает возможность совершить вместе с учеными экспедицию по странам Центральной Африки, где какая-то прежде неизвестная опухоль поражает маленьких жителей Черного континента. Затем в Париже автор показывает нам опыты профессора Жоржа Матэ, который, будто осуществляя фантазии уэллсовского доктора Моро, на наших глазах «превращает» крыс в мышей и экспериментирует на обезьянах, имеющих человеческие хромосомы.

Личный контакт с творцами современной науки позволяет автору книги, полной трагических подробностей, сохранить в конце концов оптимистическое настроение. Объясняя свой оптимизм, Б. Глемзер пишет: «У мужчин и женщин, занимающихся проблемами рака, дела по горло. Это особенные люди, и постороннему наблюдателю кажется, что они не от мира сего. Сколько лет предстоит им еще вот так трудиться — 50 или 250? Никто не знает. Но они с головой ушли в свою работу... Ни о чем другом они, пожалуй, и не думают, без остатка отдавая себя своему долгу... Род человеческий не так уж плох, если он произвел на свет борцов против рака. Я восхищаюсь ими и нахожу, что они творят чудеса. Я горжусь своей принадлежностью к одному с ними человеческому роду».

Но главное в рецензируемой книге все-таки не литературное мастерство автора, а обширная (хотя подчас и противоречивая) информация о нынешнем, буквально сегодняшнем положении на фронте борьбы против опухолей. Глемзер не боится взглянуть правде в глаза: количество людей, пораженных злокачественными опухолями на планете Земля, непрерывно растет. Смертность от рака занимает второе место, после смертности в результате болезней сердца и сосудов. В США в 1965 году рак унес почти 300 тысяч жизней — 16,2 процента всех умерших. Однако для науки важен не только факт, но прежде всего его объяснение. Какие причины приводят к росту болезни? На Западе широкое хождение имеет теория, согласно которой рак у человека обусловлен генетическими, наследственными причинами: тот, кто обречен своими генами заболеть, заболит во что бы то ни стало. Новейшие исследования показывают, однако, что «генетический рок» в области онкологии — выдумка. И хотя происхождение

многих форм опухолей до сих пор остается тайной, нельзя не заметить, что в Англии, например, рак легких начал свое победное шествие (40 процентов всех раковых заболеваний!) с тех пор, как в обиход миллионов британцев вошли сигареты. То же самое происходит в США, где от рака легких умирают ежегодно 60 тысяч человек, 54 тысячи из них — курильщики сигарет. Генетическая теория не оправдала себя и в Японии. Там заболеваемость всеми видами рака резко увеличилась после перехода страны на индустриальные рельсы. Тысячи японцев стали жертвами болезней крови в прямой связи с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Вместо обусловленности генетической онкологии на каждом шагу наблюдают обусловленность социальную. «Одна из отличительных особенностей рака желудка,— пишет Глемзер,— состоит в том, что он чаще встречается у бедняков, чем у людей, живущих в достатке». Особенно важно, чем и как питался человек в первые 20—30 лет жизни. Росту опухоли в желудке способствует рацион, бедный мясом и животными жирами и, наоборот, избыток продуктами, содержащими много крахмала (картофель, хлеб, рис). Рак печени часто оказывается следствием цирроза печени, а это заболевание нередко наступает в результате злоупотребления спиртным. Опухоли поджелудочной железы также связывают с действием алкоголя.

Все эти и многие другие факты, выявленные статистикой за последние полвека, позволяют автору сделать немаловажный вывод: «80 или более процентов всех случаев раковой болезни вызваны определенным взаимодействием между индивидуумом и окружающей его средой». Понятие «окружающая среда» в данном случае включает не только пищу, условия работы, дурные привычки. Это одновременно и качество воздуха, которым дышит человек, и специи, которые употребляет, это и гигиенические привычки и даже религиозные обряды. Но как ни разнообразны все эти внешние факторы, ими все-таки можно управлять. Английский ученый Ричард Долл считает, что «мы уже сейчас в состоянии предотвращать ежегодно около 40 процентов всех случаев смерти от рака среди мужчин и... около 10 процентов среди женщин».

О путях предупреждения опухолевых заболеваний читатель сможет узнать много интересного из большого послесловия к

книге Б. Глемзера, которое написал профессор Ю. Я. Грицман. Советский онколог подробно остановился на тех вопросах, которые не осветил американский журналист. Речь идет о цитопротективном характере онкологической службы в Советском Союзе, о массовых осмотрах населения, которые позволяют выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Большая работа проводится в нашей стране и по оздоровлению среды. На VIII Международном противораковом конгрессе в Москве академик Л. М. Шабад выдвинул концепцию, которая сводится к тому, что уменьшение канцерогенных веществ во внешней среде и уменьшение контактов человека с канцерогенами не только снижает заболеваемость злокачественными опухолями, но и отдалает сроки появления опухолей. Концепция эта получила ныне государственную поддержку.

Но, конечно, большинство читателей книги Б. Глемзера будут прежде всего искать в ней ответ на то, каковы возможности врачей одолевать уже возникшие злокачественные опухоли. Чем сегодня может помочь страдающему человеку? Автор сообщает: в США живет около полутора миллиона мужчин, женщин и детей, прошедших курс противоракового лечения пять лет и более тому назад. В Великобритании около миллиона вылеченных от рака. А всего в мире лечение это, как полагают, сохранило жизнь четырем миллионам человек. В основном их спасло хирургическое вмешательство. Радиевая и рентгено-терапия тоже имеет свои заслуги. В некоторых случаях болезнь неизвестно почему проходит сама собой (бывает, оказывается, и такое!). Число излеченных с помощью химиотерапии Глемзер считает «мизерным».

Мифу о противоопухолевых «панацеях» автор противопоставляет суждение, с которым согласно подавляющее большинство современных онкологов: «Поскольку раковая болезнь представляет собой комплекс различных болезней, мы не можем в ближайшем будущем рассчитывать на открытие путей, которые предотвращали бы все формы рака». Как ни жестоко звучит этот вывод, он вовсе не означает для больного безнадежности. Четыре миллиона спасен-

ных — достаточно весомая цифра, чтобы мы могли считать онкологию наукой активной, действенной. Поиски новых средств борьбы против рака продолжаются. Химиотерапевты Японии, США, Англии, несмотря на прошлые неудачи, не прекращают поиск лекарственных препаратов, которые, губительно действуя на раковую клетку, сохраняли бы при этом жизнь клеткам здоровым. Ищут подступы к противораковой вакцине и вирусологи (хотя, как комментирует автор, «до сих пор не выяснено, является ли тот или иной вирус возбудителем рака, и, следовательно, создания вакцины пока не предвидится»). Французские иммунологи проводят обнадеживающие опыты, направленные на то, чтобы поднять сопротивительные силы организма с помощью прививок раковым больным БЦЖ<sup>1</sup>. БЦЖ в данном случае используется не как специфический препарат, а как средство, способное усилить иммунологическую активность организма и тем помочь больному противодействовать раку. Интересно, что мысль поднять общую сопротивляемость онкологического больного получила развитие и в Советском Союзе. Проблему эту оригинально решает школа ленинградского ученого Н. В. Лазарева. Ленинградцы предложили ряд препаратов (известных под общим именем адаптогены), которые усиливают невосприимчивость организма к самым различным вредностям и в том числе к агентам, вызывающим опухолевый рост. Опыты показали, что адаптогены уменьшают опасность метастазирования и помогают больному легче переносить действие противораковых химиотерапевтических препаратов.

Тот, кто прочитает книгу Бернарда Глемзера и послесловие к ней, получит большую и достоверную информацию о состоянии мировой онкологии. Изучение опухолевых заболеваний не может не продолжаться, и оно продолжается во всем мире с неослабным энтузиазмом.

**Марк ПОПОВСКИЙ.**

<sup>1</sup> БЦЖ (BCG) — культура ослабленных туберкулезных палочек, противотуберкулезная вакцина.

## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**БОРИС БОГДАНКОВ. Лед и пламя. М. «Детская литература». 1972. 143 стр.**

«В шестой класс я пошел, когда мне перевалило за тридцать. Сколько раз до этого я вполне искренне намеревался последовать добрым советам идти учиться. Но известно: «Добрыми намерениями вымощена дорога в ад». Так что же все-таки меня заставило свернуть с нее и отправиться в школу? Стыд!

Это было в экспедиции. Как-то мне пришлось писать объявление. Эка невидаль — объявление! Взял да написал. Вывесил его в столовой и довольный возвратился домой. И вдруг прибегают девчата-минералог и приносят мне мое объявление. Они увидели в нем грубые ошибки и, чтобы спасти автора от конфуза, поспешили снять.

Этот случай заставил меня не только покраснеть...»

Не правда ли, такая откровенность в автобиографической книге подкупает? Ведь мог же автор ограничиться тем, что рассказал бы о нелегком военном детстве, об эвакуации из Ленинграда, интернате, ремесленном училище, о том, как попал на завод, чтобы помочь семье. А в дальнейшем, дескать, подчиняясь велению жизни, опять стал учиться. Это тоже была бы правда, но, очевидно, не вся. Борис Богданков предпочитает откровенный и доверительный разговор. И так не только в этом случае.

Хорошее произведение для детей, как правило, с не меньшим интересом читается взрослыми. «Лед и пламя» — еще одно тому подтверждение.

Первая книга зрелого человека, который до этого не помышлял о литературном труде, работал модельщиком, грузчиком, обрубщиком, подручным сталевара на знаменитом Кировском заводе, был рабочим в геологической экспедиции, зимовал несколько раз на Севере. Поучительная книга о собственной жизни, о «путях, которые мы выбираем».

Юные читатели найдут здесь размышления о рабочей профессии и месте человека в коллективе, о порядочности, совестливости и чувстве ответственности не только перед другими, но и перед самим собой, о поэзии и об отношении к природе, о культуре поведения, долге, красоте родной

земли. Мы же, взрослые, наверняка подивимся ненавязчивой, я бы даже сказал — изящной дидактичности этого непринужденного, идущего из самой глубины сердца рассказа. Книга-то состоит отнюдь не из одних рассуждений, она адресована детям и повествует, как это и должно быть, о событиях интересных и волнующих.

Автор не поучает, иногда кажется, что он намеренно избегает обобщений и не выходит за рамки собственного житейского опыта, однако читатель вряд ли им пренебрежет. В этом, педагогическом смысле «Лед и пламя» лежит в русле лучших традиций нашей литературы.

И еще одна особенность книги. Это живое человеческое свидетельство «о времени и о себе». Уже десятилетия — целая эпоха! — отделяют нас от войны и далекой довоенной жизни. Меняются условия жизни, быт, привычки, традиции. Борис Богданков как бы воскрешает в своей книге подробности и детали предвоенной жизни ленинградской рабочей окраины «за далекою Нарвской заставой».

Автор не воспевает поэзию труда, он вообще сдержан в проявлении своих чувств, «воспевание» ему чуждо, малейшее проявление патетики он тут же словно бы спешит «заземлить». Но сам рабочий человек, он говорит о благородном труде рабочего с таким знанием тонкостей, с такой уважительностью, что поэзия рождается как бы сама собой, и уже невозможно забыть старшего мастера мартиновского цеха Сергея Максимовича, который много лет назад пришел к печам совсем мальчишкой, или механика Александра Ивановича, сумевшего перегнать чуть ли не под водой трактор через таежную реку. Да ведь это же истинные герои!

«Лед и пламя» относится к числу книг «бывалых людей». Чаще всего такая книга остается у автора единственной. В данном случае, возможно, будет иначе. Сама книга, особенно ее посвященная Северу часть, говорит, что запас впечатлений Бориса Богданкова далеко еще не исчерпан. Кто знает, может быть, со временем мы прочтем новую повесть этого интересного человека?

С. Славич.

**ВИКТОР СМІРНОВ.** Тревожный месяц вересень. Повесть. М. «Молодая гвардия». 1971. 336 стр.

В повести Виктора Смирнова мы видим мир глазами главного героя, юноши-воина Ивана Капелюха. Но это не сужает восприятия, не обедняет картину жизни, так как герой этот, несмотря на свои юные годы, личность яркая и значительная. До войны он успел всего лишь окончить десятилетку в Киеве. Но дальше был фронт, разведота, и мудрый командир Дубов, и тяжелое ранение на четвертом году войны, и инвалидность в двадцать лет.

Хорошо знакомая полеская деревушка Глухарка, в которую осенью 1944 года попадает Иван, сначала кажется ему тихой пристанью, где под любовной опекой бабки Серафимы можно отлежаться и отоспаться за все годы фронта и месяцы тяжелых страданий в госпитале, не теряя надежды, что вот-вот снова разрешат вернуться на фронт. Но и здесь, не успев оглянуться, Иван оказывается в центре ожесточенной борьбы не на жизнь, а на смерть. Он становится «ястребком», начальником истребительного отряда в составе двух человек (включая самого начальника) и с этими силами должен противодействовать грозной банде Голедо.

Три года в разведоте многому научили Ивана, и в этой сверхтрудной ситуации он действует, в общем, мудро и расчетливо, как опытный воин. Однако он очень молод, и при всей решительности и логичности его поступков чувствуется, что все происходящее для него озарено отсветом романтики. И поэтому хотя в повести много живого юмора, метких бытовых деталей (чего стоят в этом плане хотя бы образы неукротимой бабки Серафимы или добродушного хитреца Попеленко!), по основной своей сути это баллада о подвигах и любви. Природа, быт, люди — все тут воспринимается по-особому, сквозь ожидание боя и предчувствие любви. Вполне реальная полеская деревушка зачастую выглядит совсем по-сказочному. Лунный свет здесь бывает таким ярким, что глаза режет, и Млечный Путь тает в этом свете, как полоска снега, и все небо от него выплывает, а зато на земле все сияет и горит, даже навозная куча сверкает, «словно вся состоит из жемчужных зерен».

Романтическая интенсивность чувств и мыслей сказывается и в поступках людей. Но — что является, на мой взгляд, особой удачей автора — романтический колорит не смазывает четкости контуров. Ведь высокая, героическая тональность нередко приводит к тому, что характеры начинают тяготеть к символу, поступки героев теряют конкретную мотивировку, исходят просто из общей, наперед заданной функции данного образа. У Виктора Смирнова такой романтизацией, пожалуй, грешит образ молчаливой красавицы Антонины, да и то речь здесь может идти только об излишнем сгущении колорита, а реалистическая мотивировка поступков и в этом случае вполне убедительна.

Свой характер, свою линию поведения имеют и второстепенные персонажи: вождь банды Горелый сидит под Глухаркой не потому, что он злодей и обязан противодействовать счастью героя, а есть у него вполне весомые материальные причины, чтобы не уходить отсюда; Варвара не роковая соблазнительница, а расчетливая мещанка, желающая устроить свою судьбу, урвать свой кус счастья, не заботясь об остальных.

А с другой стороны, сам Иван Капелюх отнюдь не удачливый добрый молодец из сказки, который и со Змеем-Горынычем справится, и красну девицу из неволи спасет, а вполне реальный советский юноша, рано повзрослевший после трех лет фронта. Конечно, он и удачлив, и смел, и сметлив, он не теряется в сложных и опасных обстоятельствах, но все это черты вполне реальные, типичные для многих юношей, прошедших школу войны.

Однако при всех этих чертах общности со своим поколением Иван Капелюх — личность яркая и незаурядная. Его отличает внутренняя цельность, способность к сильному, бескомпромиссному чувству и многогранное, поэтическое восприятие мира. Именно ему мы обязаны тем, что безвестная Глухарка и ее обитатели становятся для нас интересными, именно через его восприятие мы понимаем, как много прекрасного и сложного в этой словно бы простой, незатейливой жизни...

Ариадна Громова.

★

**А. АНТОПОЛЬСКИЙ.** У очага поэзии. Очерк творчества Расула Гамзатова. М. «Советский писатель». 1972. 312 стр.

Очерк о Гамзатове — первая книга автора, задача была сложна: его «объект» — явление живое, динамичное, критический канон которого еще не успел сложиться.

«У очага поэзии» начинается как рассказ о серьезных, а то и специальных литературоведческих предметах, который, однако, мог бы быть прочитан и понят всяким, окончившим восемь — десять классов. Это научно-популярная книга: дело важное, о нем говорят много, но мало кто умеет делать. В очерке видна неустанная забота о читателе, его восприятии; продуманы начала, концовки, длительность и количество глав, их названия, соблюдена верность полюбившейся у нас многим истине, что понять поэта значит «отправиться в его страну»: автор сел в самолет и полетел на родину Гамзатова. Тем охотней он ведет туда других; углубляется в долины и ущелья Дагестана, в древний быт его народа, в историю аварцев, знакомит с их певцами и мыслителями — со всем тем, что было впитано и ранним творчеством поэта, и его зрелыми стихами, и его лирическим эпосом, и его прозой. Свой материал А. Антопольский распределяет на 16 увлеченно написанных главок, каждая из которых любовно и законченно сложена, то прочно,

как отдельное строение, то складно, почти как стих.

Что в творчестве Гамзатова выделяет Л. Антопольский как главное? Прежде всего национальную сущность жизни, песен, языка, традиций народов Дагестана. В поэтической системе Гамзатова, как удачно показывает автор, эти истоки питают ключевые образы его творчества, образы «очага», «окна», высоты и другие.

Несколько глав очерка посвящено мотивам философской лирики Расула Гамзатова — его восьмиистишиям о времени, вечности, смерти, любви, материнстве, детстве. Отдельно рассказано о поэмах, о прозаическом произведении «Мой Дагестан», написанном, по мнению Л. Антопольского, «не по книжным законам» (так называется соответствующая глава). Две культуры, вскормившие поэта, два языка, родной и русский, как «материя» его духовного бытия, поэтический перевод как помощь и сотворчество — проблемы, поставленные Л. Антопольским, от главы к главе становятся сложнее: читателю придется после легкости первых страниц кое-где несколько напирать.

Очерк Л. Антопольского завоюет себе аудиторию. Но на путях автора есть потери. Так, гео- и этнография его темы (хотя и тут найдется о чем поспорить) очерчены лучше, чем то, что так победно прорывается у Гамзатова из глубин истории и национальности в «окно» XX века, к людям иных племен. Первое уловлено в самой поэтической образной ткани, второе рассматривается по преимуществу как момент биографии или как тема. Верно намеченные тематические линии позволяют Л. Анто-

польскому многое сказать о философской лирике поэта и по ее поводу, а все же цельный облик Гамзатова-поэта несколько потеснен безудержным критическим комментарием, не прерванным вовремя: «Величественный хорал, месса природы, неподражаемое многоголосье... Безъязыкий, но говорящий о себе оракул. Вырвать его тайну нельзя...».

Л. Антопольский многое постиг в поэте и донес до читателя темпераментно и творчески. Но, следуя тому же движению любознательности и проникновения, мы уже не хотим иной раз остановиться там, где критик поставил точку. Принять ли безоговорочно авторское суждение о «детскости» истинной поэзии, подкрепленное авторитетом Лорки, острием же своим обращенное против «интеллектуалов» и «нетрадиционалистов»? Подобно тому как Дагестан, «горная страна» творчества Гамзатова, — это и его земная родина и поэтический символ, так и «детскость» поэтов — понятие обманчивой простоты. Автор знает и предупреждает об этом, но сам бывает излишне доверчив. А бывает и нестрог: разве нечем ему напугствовать поэта, с которым делил он хлеб-соль и поднимался в горы?

Под конец еще одно из прочих возможных замечаний, существенное для книги популярного жанра: увлекая читателя к поэтическим вершинам, стоило бы несколько увеличить в тексте жесткий минимум чисто фактической информации: когда, где, какие сборники Гамзатова вышли в свет, кто писал о нем, кроме цитированных авторов?

**Г. Трефилова.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**Многоязычное Советское государство.** Коллективная монография. 432 стр. Цена 1 р. 70 к.

**В. Роше.** Избранные статьи и речи. 1940—1969 гг. Перевод с французского. 488 стр. Цена 94 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Г. Алибенова.** Всегда в пути. Жизнь и творчество Р. Рзы. Очерк. 206 стр. Цена 53 к.

**В. Влэстару.** Несколько летних дней. Рассказы. Перевод с молдавского автора. 238 стр. Цена 47 к.

**Г. Гачечладзе.** Художественный перевод и литературные взаимосвязи. 262 стр. Цена 81 к.

**С. Григорян.** Падает снег. Стихи. Перевод с армянского. 216 стр. Цена 51 к.

**Э. Грин.** В стране Ивана. Роман. 784 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Ю. Збанацкий.** Волны. Роман. Перевод с украинского. 366 стр. Цена 79 к.

**В. Козаченко.** Белое пятно. Повесть. Перевод с украинского. 256 стр. Цена 44 к.

**А. Кудрейко.** Устремленность. Стихи. 175 стр. Цена 54 к.

**Начинается день.** Рассказы о ленинградских рабочих. 264 стр. Цена 67 к.

**М. Протасова и И. Темкина.** Путешествие длиною в жизнь. О Борисе Лалине и Захаре Хадцевине. 238 стр. Цена 56 к.

**А. Решетов.** Запавшие в душу картины. Поэмы, баллады и стихотворения. 182 стр. Цена 72 к.

**Ю. Смуул.** Ледовая книга. Монологи. Перевод с эстонского Л. Тоома. 512 стр. Цена 1 р. 48 к.

**А. Урбан.** Фантастика и наш мир. 255 стр. Цена 56 к.

**А. Шаров.** Повести воспоминаний. 327 стр. Цена 64 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Алимжанов.** Сувенир из Отара. Роман. Вступительная статья И. Борисовой. 304 стр. Цена 49 к.

**Г. Березко.** Избранные произведения. В 2-х тт. Предисловие И. Козлова. Т. 1. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 89 к. Т. 2. Необыкновенные москвичи. Роман. 399 стр. Цена 91 к.

**Н. Браун.** Избранное. В 2-х тт. Предисловие Н. Тихонова. Т. 1. 239 стр. Цена 89 к. Т. 2. 289 стр. Цена 93 к.

**В. Бредель.** Избранное. Перевод с немецкого. Предисловие Р. Самарина. 399 стр. Цена 1 р. 56 к.

**В семье великой.** Рассказы советских писателей. В 2-х тт. Составление и вступительная статья И. Крамова. Т. 1. 567 стр. Цена 1 р. 70 к. Т. 2. 288 стр. Цена 1 р. 87 к.

**Д. Джэнобсон.** Сила любви. Роман. Перевод с английского С. Митиной и Р. Облонской. 240 стр. Цена 71 к.

**Д. Ийеш.** Шандор Петефи. Перевод с венгерского. 496 стр. Цена 1 р. 52 к.

**В. Колевский.** В. И. Ленин и художественная литература. Перевод с болгарского. 285 стр. Цена 1 р.

**Я. Купала.** Гуслиар. Избранная лирика. Перевод с белорусского. 271 стр. Цена 85 к.

**Л. Лебедева.** Повести Чингиза Айтматова. 79 стр. Цена 19 к.

**В. Лунашевич.** Дорога сквозь заросли. Повести и рассказы. Вступительная статья М. Кузнецова. 303 стр. Цена 76 к.

**Л. Михайлова.** Александр Грин. Жизнь, личность, творчество. 192 стр. Цена 48 к.

**С. Наровчатов.** Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Статьи о поэзии. 494 стр. Цена 1 р. 65 к. Т. 2. Литературные воспоминания. 398 стр. Цена 90 к.

**Ц. Норвид.** Стихотворения. Перевод с польского. Составление М. Полякова. Предисловие Я. Ивашкевича. 176 стр. Цена 40 к.

**Б. Нушич.** Автобиография. Перевод с сербскохорватского. 336 стр. Цена 1 р. 42 к.

**Н. Равич.** Молодость века. Войны без фронта. Воспоминания. 624 стр. Цена 1 р. 26 к.

**К. Симонов.** Тридцать шестой — семьдесят первый. Стихотворения и поэмы. 494 стр. Цена 2 р. 17 к.

**Е. Старикова.** Леонид Леонов. Очерки творчества. 336 стр. Цена 75 к.

**Х. Сиймискер.** Антон Таммсааре. Жизнь и творчество. 159 стр. Цена 38 к.

**О. Форш.** Избранные произведения. В 2-х тт. Вступительная статья А. Тамарченко. Т. 1. Одеты камнем. Роман. — Рассказы и очерки. 495 стр. Цена 1 р. 7 к. Т. 2. Радищев. Роман. 429 стр. Цена 95 к.

**Чжан Тянь-И.** Записки из мира духов. Повесть. — Рассказы. Перевод с китайского. 238 стр. Цена 1 р. 7 к.

**Н. Яновский.** Лидия Сейфуллина. Критико-биографический очерк. 246 стр. Цена 57 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Библиотека современной фантастики.** Антология. Т. 23. 272 стр. Цена 99 к.

**А. Битов.** Образ жизни. Повести. 286 стр. Цена 49 к.

**Г. Кемоклидзе.** В ожидании весны. Рассказы. Предисловие Г. Гулиа. 192 стр. Цена 26 к.

**А. Кобринский и Н. Кобринский.** Много ли человеку нужно? («Эврика») 319 стр. Цена 70 к.

**А. Липатов.** Чекан души. Рассказы. Предисловие С. Никитина. 224 стр. Цена 30 к.

**В. Цыбн.** Капели. Повесть и рассказы. 351 стр. Цена 78 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Пришелец.** Излучина. Стихи. 110 стр. Цена 30 к.

**Н. Тихонов.** Полдень в пути. Избранные стихи. 234 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Р. Фатуев.** В долине Дагестана. Роман, повести, рассказы. 496 стр. Цена 93 к.



## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Е. Брандис.** Сила молодая. Повесть о писательнице М. Вовчок. 240 стр. Цена 50 к.  
**Добрыня и Змей.** Десять былин. Составление, подготовка текста и вступительная статья В. Аникина. 112 стр. Цена 35 к.  
**Р. Достян.** Тревога. Повести. 223 стр. Цена 52 к.  
**Е. Коковин.** Корабли моего детства. Рассказы и повести. Предисловие В. Фраермана. 446 стр. Цена 95 к.  
**О. Романченко.** Властитель синодала. Страницы биографии А. Чавчавадзе. 176 стр. Цена 43 к.  
**Ю. Хазанов.** «Я — Робин Гуд». Рассказы. 111 стр. Цена 35 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

- А. Иванов.** Вечный зов. Роман. 752 стр. Цена 1 р. 77 к.  
**М. Луконин.** Признание в любви. Поэма. 184 стр. Цена 1 р. 1 к.  
**С. Поделков.** Без огня. Стихотворения и поэмы. 303 стр. Цена 1 р. 42 к.  
**В. Федоров.** Седьмое небо. Романтическая поэма. 195 стр. Цена 1 р. 5 к.  
**М. Хонинов.** Все начинается с дороги. Стихи и поэма. Перевод с калмыцкого. 126 стр. Цена 47 к.

## «ИСКУССТВО»

- Н. Калитина.** Французская пейзажная живопись. 1870—1970. 263 стр. Цена 5 р. 22 к.  
**Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.** Часть 2. Переписка 1896—1959.— Воспоминания об О. Л. Книппер-Чеховой. 432 стр. Цена 1 р. 91 к.  
**О современной буржуазной эстетике.** Сборник статей. Выпуск 3. 368 стр. Цена 1 р. 87 к.  
**М. Сокольников.** В. Н. Бакшеев. Жизнь и творчество. 168 стр. Цена 1 р. 95 к.  
**В. Шварц.** Йозеф Кайндц. («Жизнь в искусстве») 191 стр. Цена 1 р. 12 к.

## «ПРОГРЕСС»

- А. Герэн.** Командос «холодной войны». Записки. Сокращенный перевод с французского. 222 стр. Цена 70 к.  
**Организация управления производством в капиталистических странах.** Сокращенный перевод с английского, немецкого и французского. 151 стр. Цена 1 р. 54 к.

## «НАУКА»

- А. Азизян.** Ленинская национальная политика в развитии и действии. 382 стр. Цена 1 р. 89 к.  
**М. Алексеев.** Пушкин. 468 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**Интернациональное и национальное в литературах Востока.** Сборник статей. 304 стр. Цена 2 р.  
**История Франци.** В 3-х тт. Ответственный редактор А. Манфред. Том 1. 359 стр. Цена 2 р.  
**Н. Конрад.** Запад и Восток. Статьи. Издание 2-е, исправленное и дополненное. 496 стр. Цена 2 р. 29 к.  
**Н. Кравцов.** Проблемы славянского фольклора. 360 стр. Цена 1 р. 63 к.  
**Мирза Галиб — великий поэт Востока.** Сборник статей. 291 стр. Цена 1 р. 7 к.  
**Проблемы двуязычия и многоязычия.** Сборник статей. 359 стр. Цена 2 р. 67 к.  
**Т. Родина.** Александр Блок и русский театр начала XX века. 312 стр. Цена 2 р. 49 к.  
**Русская советская поэзия.** Традиции и новаторство. 1917—1945. 379 стр. Цена 1 р. 93 к.  
**Советская литература и мировой литературный процесс.** Изображение человека. Сборник статей. 460 стр. Цена 2 р. 3 к.

## «МЫСЛЬ»

- Б. Быховский.** Кьеркегор. («Мыслители прошлого») 238 стр. Цена 25 к.  
**Р. Каганова.** Ленин во Франции. 430 стр. Цена 1 р. 28 к.  
**Ленин и культурная революция.** Хроника событий. 1917—1923 гг. 496 стр. Цена 1 р. 53 к.

## «ЭКОНОМИКА»

- Научные основы управления социалистическим производством.** 263 стр. Цена 1 р. 21 к.  
**Эффективность капитальных вложений.** Вопросы теории и практики. 247 стр. Цена 1 р. 24 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- Воспоминания об Александре Грине.** Автобиографическая повесть. Воспоминания. Вокруг А. Грина. Составление и вступление А. Сандлера. Лениздат. 607 стр. Цена 1 р. 35 к.  
**Александр Неверов.** Из архива писателя. Исследования. Воспоминания. Куйбышев. Книжное издательство. 336 стр. Цена 1 р. 53 к.  
**А. Хурмевара.** «Калевала» в России. К истории перевода. Петрозаводск. «Карелия». 103 стр. Цена 34 к.  
**Яснополянский сборник.** Статьи. Материалы. Публикации. Тула. Приокское книжное издательство. 253 стр. Цена 81 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 26/Х 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 4/И 1973 г. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.). А 09117. Тираж 160.000 экз. Зак. 3508.

Набрано и сматрицировано в типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Отпечатано с матриц в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», г. Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0354.

Цена 70 коп.

70636